

Дмитрий Ружников

ПОЛЯК



Дмитрий Ружников

Роман первый

Поляк

Санкт-Петербург
«Геликон Плюс»
2013

УДК 832.161.1
ББК 84(2Рос-Рус)6
Р 83

Р 83 Ружников Д. Поляк. Роман первый. — Санкт-Петербурга, «Геликон Плюс», 2013. — 492 с.

ISBN 978-5-93682-918-5

«Поляк» — роман о забытых войнах, о мужской дружбе, о мужестве и отваге, о верности воинской присяге, о трусости и предательстве, о любви.

Глеб Смирнитский, поляк, офицер лейб-гвардии Семеновского полка проходит через множество боев и испытаний, ни разу не усомнившись в единожды данной им клятве русского офицера. «Это люди чести! Даже если они враги», — говорит о нем И. Сталин.

УДК 832.161.1
ББК 84(2Рос-Рус)6

ISBN 978-5-93682-918-5

© Д. Ружников, текст, 2013
© «Геликон Плюс», оформление, 2013

Дай Бог поменьше рваных ран,
когда идет большая драка.
Дай Бог побольше разных стран,
не потеряв своей однако...

Евгений Евтушенко

Народ, не имеющий своих героев, обречен на гибель.

Веселясь и подтрунивая друг над другом, группа студентов исторического факультета знаменитого Парижского университета Сорбонна рассматривала небольшой, всего в несколько минут, фильм с нечеткими и прыгающими кадрами. На экране стреляли какие-то допотопные пушки, бесшумно взрывались снаряды, поднимая столбы земли, солдаты бежали в атаку, падали, а в конце фильма медленно, криво проползли и застыли несколько кадров, на которых два молодых человека, очень красивых, стройных, высоких, в военной форме, с орденами-крестами на груди, о чем-то беззвучно говорили и весело улыбались с экрана.

— Какие симпатичные! — пронеслось по женской половине аудитории. — Таких красивых лиц сейчас не встретишь. Господин профессор, это документальный фильм? Кто эти военные? Французы?

— Коллеги, — сказал профессор истории Жан Дюкло, — кто-нибудь сможет мне ответить, какой период мировой истории показан в этом фильме?

По аудитории пронесся шорох непонимания, и вдруг одна студентка подняла руку и воскликнула:

— Я знаю, кто это! Это русские офицеры во время Первой мировой войны. У нас дома есть фотография моего прадеда в такой же военной форме и хранятся его награды — такие же кресты. Прадед у меня из России и воевал в русской армии, которая защищала Париж.

— Как Париж? — удивленно спросил кто-то из студентов.

— Да, в нашей семье известно, что он был в составе армии, посланной во Францию русским царем для защиты Парижа.

— Очень хорошо, Анна, — сказал профессор Дюкло. — Никто больше ничего не хочет добавить? Анна права — это русские офицеры времен Первой мировой войны. Более того, это не просто офицеры, а офицеры лейб-гвардии Семеновского полка, первого регулярного воинского формирования, которое создал русский император Петр Первый по подобию тогдашних военных полков европейских стран. До Петра в России не было регулярных войск, были стрельцы и ополчение. Над этим полком шефствовали все русские императоры. В мундире этого полка захватила власть и стала императрицей Екатерина Вторая, впоследствии названная «Великой». На пленке два офицера этого полка; судя по погонам — поручики: тот, что справа, — Михаил Тухачевский, будущий маршал Советского Союза, он был расстрелян по приказу Сталина. Кстати, во время Первой мировой войны он попал в немецкий плен и находился в одном лагере для военнопленных с будущим президентом Франции Шарлем де Голлем, и тот в своих воспоминаниях отзывался о нем как об одном из самых храбрых офицеров, которого он когда-нибудь встречал. Де Голль вспоминал, что такого же храброго офицера он встретил во время своей службы в двадцатых годах прошлого века в Польше, где он принимал активное участие в борьбе против напавшей на эту страну большевистской России, войсками которой — вот вам и превратности судьбы — руководил Михаил Тухачевский. Де Голль пишет в своих мемуарах, что это был поляк по фамилии Смирнитский, с которым они вместе прибыли в Польшу из Франции, куда тот добрался из России, где был капитаном в царской армии и имел множество наград. И де Голль, и этот поляк за проявленный героизм в защите свободы Польши были награждены польскими орденами. К сожалению, мы ничего о капитане по фамилии Смирнитский в архивах не нашли: ни

в Польше, ни в России, что, конечно, очень странно. Правда, в сороковых годах прошлого века, во время оккупации Польши Советским Союзом, многие документы в польских архивах были уничтожены, а о закрытости русских архивов я и не говорю. О расстреле тысяч польских офицеров в Катыни Россия призналась только сейчас, через семьдесят лет, и то в России есть много людей, которые, несмотря на неопровержимые доказательства, продолжают утверждать старую сталинскую ложь, что это сделали немцы во время Второй мировой войны.

Но об этом мы будем говорить на следующей лекции. Я сделал это небольшое отступление, чтобы вы понимали, как много мы не знаем об этой войне, в которой погибли миллионы людей и распались четыре империи: Российская, Австро-Венгерская, Германская и Османская. Во всем мире эту войну называли «Великой войной», но когда в 1939 году началась новая мировая война, ее переименовали в «Первую мировую войну». В царской России ее называли «германской», «Второй отечественной»; захватившие власть в России Ленин и большевики называли эту войну «империалистической», «захватнической». О ней в Советском Союзе почти ничего не говорилось, это была для русских самая неизвестная за всю их историю война, хотя она закончилась революцией и гибелью российской империи. О войнах Александра Македонского школьники в Советском Союзе знали больше, чем об этой войне. Вот и о втором офицере с этого снимка нам, к сожалению, ничего не известно. Но, судя по наградам, это был очень храбрый офицер.

Коллеги, тема нашей сегодняшней лекции: «Роль России в Первой мировой войне и в победе Антанты над Германией и Австро-Венгрией».

— А разве русские в ней участвовали? — раздалось из аудитории.

— Жак, вы не слышали, что я только что рассказывал? Прекратите шептать на ушко вашей милой соседке и, может быть, услышите что-нибудь новое для себя. Да, участвовали! И Анна правильно сказала о Русском экспедици-

онном корпусе во Франции. Это, конечно, была не армия, но это были несколько десятков тысяч солдат, и они так храбро дрались, что немцы боялись наступать на участках фронта, где были русские. Если бы не русские, немцы, возможно, захватили бы Париж, а Франция проиграла бы войну Германии.

— А я читал, что и Первую, и Вторую мировую войну выиграла американцы и Францию от поражения спасли они.

— Да, американцы, конечно, сыграли значительную роль в победе над немцами в Первой мировой войне, особенно в конце войны, когда численность их войск составила почти два миллиона солдат, но все-таки вы, уважаемый коллега, заблуждаетесь. И я постараюсь вас в этом переубедить...

Профессор поправил свой модный вельветовый пиджак и стал рассказывать. Рассказчик он был великолепный. Аудитория притихла и стала заинтересованно и внимательно слушать...

Часть первая

Вторая отечественная

I

Вот судьба так судьба. Думал ли туберкулезник Гаврило Принцип, что станет то ли величайшим злодеем, то ли величайшим героем двадцатого века? Ну носился больной паренек с идеями террористскими, так кто из молодежи с такими идеями в начале того века не бегал? Вон, вся Россия была в «бомбистах» — взрывали и стреляли всех: от императора и его министров до губернаторов и помещиков. А тут Балканы! Только-только из-под Османской империи выползли, как тут же австрияки на лакомый кусок сразу же позарились и посчитали, что Босния и Герцоговина их территория, — запросто так решили, никого не спрашивая...

Ну повезло один раз эрцгерцогу Францу Фердинанду, когда Неделько Чернобровиц гранату не в его машину бросил. Сама судьба просила — остановись! Так нет же, решил еще покататься по Сараево. Ну и прокатился, еще и жену свою, Софию, зачем-то прихватил. И день-то какой выбрал — Видов день! Святой день для всех сербов — битвы на Косовом поле!

Разве это не судьба, что Гаврило Принцип остановился около ларька и бутербродик решил купить, а эрцгерцога не по той дороге повезли? И все — тщедушный Гаврило револьвер выхватил и выстрелил, и надо же, как точно: все семь пуль попали в шею Фердинанду и в живот Софии. В Софию-то зачем? Она вообще не была женщиной императорского рода. Гаврило потом каялся на суде, что вроде и не хотел — не в нее целился, а в сидящего рядом своего, сербского генерала. И вот — война! Да еще какая — мировая!

А может, Гаврило и не виноват? Он вообще-то не сербом был, а австрияком. Чего к Сербии-то придрались? По-

вод был нужен для войны? Так эрцгерцог Фердинанд был императору Австро-Венгрии Францу-Иосифу всего лишь племянником. Нелюбимым. В императорском семействе все было что-нибудь да не так: брата императора — мексиканского императора Максимилиана расстреляли повстанцы; единственный сын Рудольф при загадочных обстоятельствах покончил жизнь самоубийством вместе со своей возлюбленной Марией Вечерой; жену Елизавету застрелили. Да и жена у эрцгерцога Фердинанда была простой чешской Софией Гугенберг и их брак не признавался в европейских императорских домах, а дети не могли претендовать на трон. В простых граждан стрелял Принцип. Так что никакой он не идейный и не политический герой, он — уголовник!

А убитых Гаврилой Принципом эрцгерцога с женой похоронили тайно, ночью — гробы в яму кинули, и все: никаких траурных речей и музыки, и это в музыкально просвещенной Вене. Как собак.

И при чем здесь Сербия? А Россия? У нее же с Германией был перед самой войной тайный договор заключен о ненападении. У России перед каждой мировой войной такой вот тайный «договор о ненападении» с немцами. Может быть, в этом и кроется причина обеих мировых войн — в таком вот «ненападении»?..

И ведь дожил Гаврило Принцип до конца войны, которую развязал. Аж в апреле 1918 года умер в тюрьме от своего туберкулеза. Видимо, в те времена хорошо лечили в императорских тюрьмах такую страшную болезнь: на свободе от туберкулеза умер бы намного раньше. А может, даже и на войну попал — к ее концу в Австро-Венгрии всех в солдаты забирали, не разбираясь...

В то время, когда Принцип стрелял в великих особ, генерал в отставке, шестидесятилетний пенсионер, потомок незаконной дочери Генриха IV и самого Мартина Лютера Пауль Людвиг Ганс Антон фон Бенекендорф унд фон Гинденбург проигрывал от нечего делать по вечерам на тактических картах войну с заклятым врагом Германии — Россией. И возможное наступление русских в Вос-

точной Пруссии проигрывал: как, да что будет, если вот так?.. И не в шахматы играл — армии стрелками по картам водил.

Так бы и сидел перед камином будущий генерал-фельдмаршал и рейхспрезидент Германии, национальный герой, награжденный за свои подвиги перед страной особой Звездой Большого Креста — «Звездой Гинденбурга», и продолжал бы есть любимое кабанье мясо, запивая тяжелым домашним немецким пивом, если бы Гаврило Принцип из своего револьвера не выстрелил... Судьба!..

II

Император российский, Николай II Романов войны не хотел — он ее боялся! Он помнил, чем закончилась война с Японией: не просто позором и потерей территорий и престижа страны, а революцией, которую подавить удалось только силой. Он помнил, как тогда отличился лейб-гвардии Семеновский полк, когда в период полного хаоса в Москве батальоны гвардейцев прибыли в первопрестольную на поезде и, не раздумывая, начали стрелять в толпу и разогнали восставших на Пресне. Император полк любил. Рабочие Москвы ненавидели! Почему он вспомнил сейчас семеновцев — так войны боялся и революции!

— Алиса, это война! — обратился император к жене Александре Федоровне и нервно пробежал по кабинету. — Посол Германии Пурталес два часа назад вручил моему министру иностранных дел Сазонову ноту об объявлении войны. И мы остались один на один против Германии и Австро-Венгрии.

— Как одни, Ники? — спросила спокойным голосом сидевшая в кресле Александра Федоровна. — А наш «Сердечный союз»?

— Вот-вот, «сердечный». Где она, сердечность? Молчат, суки.

— Не ругайся, Ники. Германия все-таки решила воевать на два фронта?

— Где ты видишь второй фронт?

— Успокойся. Как говорят русские, утро вечера мудренее. Увидишь, завтра Франция получит такую же ноту.

— А Англия?

— Все зависит от того, как пойдут немцы на Францию: если через Бельгию, то Англия вступит в войну.

— Но Бельгия нейтральная страна. И Германия будет драться с Францией в первую очередь за Эльзас и Лотарингию.

— Это, Ники, так считают французы и твои бездарные генералы в Генеральном штабе. А я знаю немцев лучше вас всех. Немцам наплевать на чей-то там нейтралитет, — для них Германия превыше всего!

— Что ты предлагаешь, Алиса? — Император с любовью называл свою жену, Александру Федоровну, этим уменьшительным ласковым именем, хотя она по рождению именовалась Викторией Алисой — в честь своей бабки королевы Великобритании Виктории. А она его с такой же любовью называла уменьшительным от Николая — Ники.

— Ничего не делать. Ты вчера назначил Верховным главнокомандующим своего дядю, Николая Николаевича, — вот пусть он и командует. Ники, прошу тебя, ни в коем случае не лезь в командующие, как бы и кто бы тебя ни уговаривал.

— И тогда все лавры от победы над Германией достанутся дяде!

— Победу еще надо завоевать! Это не Турция, это даже не Япония с ее флотом, это Германия.

— Какая ты, Алиса все-таки умная.

— Я не умная, я разумная — а это большая разница. Кстати, из Зимнего нам надо переехать в Царское Село.

— Зачем?

— А в Зимнем развернем госпиталь для раненых; пусть твои верноподданные знают, что ты ради победы готов на все.

— Какие раненые, Алиса? Три-четыре месяца — и война закончится.

— Я не уверена, что так будет. Японцев мы тоже хотели шапками закидать. Всегда помни Цусиму, Николай.

— Ты, как всегда, права. Пойду поговорю с мамой.

— О чем, Ники, ты с ней хочешь говорить? О войне? Так ей-то какое дело? Покойный батюшка твой, Александр Александрович, ни одной войны не провел — все отдыхал в Финляндии на рыбалке.

— Как ты можешь так говорить, Алиса? Он был счастливый человек. А у меня уже вторая война. Я боюсь, я очень боюсь этой войны!

— Что ты все боишься? Бояться надо Бога, а более никого. Ты же царь!

— Знаешь, Алиса, после рождения Алексея я стал бояться. Не как государь, как отец. И откуда эта болезнь в нашем роду? Боткин говорит, что она передается по наследству по материнской линии и что это передалось от твоей бабки Виктории.

— И ты в это веришь? Это все твоя мать так говорит, она со дня нашего знакомства против меня. Ты же знаешь: она, да и отец твой покойный были против нашей свадьбы. Они же хотели тебя женить на этой лягушатнице, дочке графа Парижского. Сейчас ты был бы зятем Луи-Филиппа. Может, жалеешь?

— Прекрати, Алиса. Ты же знаешь: для меня нет ничего дороже тебя и наших детей. Я готов отказаться от престола ради вас.

— Знаю-знаю, Ники. Я тебя тоже люблю. Но врагов у нашей любви всегда предостаточно... И меня очень беспокоит Алексей. Ему все хуже и хуже. Я дни и ночи обращаюсь к помощи Всевышнего, но все тщетно. Надо вернуть в столицу старца Григория.

— Ни в коем случае! Этот мужик погубит нас. Против меня восстанет Государственный совет.

— Наплевать на твой совет. Тебе что, не дорога жизнь твоего сына, наследника престола?

— Ах, прости, Алиса, прости; я с этой войной совсем потерялся и забыл о тебе и семье. Как Алексей?

— Очень плохо: упал и опять опухли ноги. Врачи бессильны. Надо звать старца Григория.

— Хорошо, Алиса, зови. Я пойду, у мне встреча с Верховным главнокомандующим.

— Иди, Николай, царствуй. И все должны знать, что ты царь!

Когда император вышел, Александра Федоровна заплакала. Это на людях, при дворе она казалась властной, строгой, надменной, и все ее таковой и считали. Но болезнь сына, не просто сына — наследника, привела к нервному срыву, и государыня все больше и больше замыкалась в себе, все меньше верила врачам, а больше в Бога и в людей, обладающих, как ей казалось, сверхъестественными возможностями. К таковым она относила и «старца Григория» — Григория Распутина. Не было бы Распутина, появился бы другой «старец» — она была готова на все ради больного сына. И в начавшейся войне, в которой еще не был убит ни один русский солдат, она, немка по происхождению, но русская царица по призванию, приняла странное для государыни решение: стать санитаркой в военном госпитале. Что делать — с головой у нее точно было не все в порядке. Ни одна княжна и графиня в России не последовала за своей государыней. Только их высочества, дочери императора, последовали за матерью.

Александра Федоровна перекрестилась на многочисленные иконы различных святых, покрывающие все стены ее кабинета. «Ах, Вильгельм, Вильгельм, не сдержал слово. А ведь и года не прошло, как здесь, в России, клялся в вечной дружбе. Одно слово — немец! — подумала государыня и вдруг как-то ударило в сердце: — А Ники-то опять выпил! Боже, неужели в своего отца-алкоголика? Тому сорок девять было, когда умер. Это все Минни виновата: надо было мужа в ежовых рукавицах держать, а тот ее на руки, а у самого бутылка в кармане — захочешь, да не увидишь, при его-то росте почти в два метра... Просится же Минни в Крым, ну и пусть едет. Датчанка! И Ники ко мне больше не притрагивается. Может, разлюбил или нашел какую-нибудь фаворитку? Я бы знала. Нет, он меня любит. Это все переживания... и водка. Надо с ним серьезно поговорить. Ему же всего сорок шесть. А мне? Сколько же мне?.. Сорок два». Государыня встала и пошла в детскую, к цесаревичу Алексею. У дверей на стуле дремал

матрос — дядька наследника. Увидев Александру Федоровну, он вскочил.

— Ваше величество... — зашептал.

— Как Алексей? — тоже шепотом спросила императрица.

— Спит, ваше величество. Компрессы доктор на колени положил, и успокоился, уснул бедный, — тихо ответил матрос.

— Ну и слава Богу! — обрадовалась Александра Федоровна и перекрестилась. — А ты иди, поспи.

— Да нам, ваше величество, здесь-то привычнее.

— Скажи: его величество приходил?

— Приходил, тоже спросил и ушел... туда, — махнул рукой в сторону покоев вдовствующей императрицы-матери Марии Федоровны Романовой.

— Хорошо, отдыхай, — Александра Федоровна тихо пошла обратно в свой кабинет. Шла и думала: «Все-таки пошел к Минни. Зачем разрывать мое сердце... Ах, Алеша, Алеша, сынок... Надо звать старца Григория. Не будет наследника — не будет и нас... — и как-то не к месту еще подумалось: — Вернуть бы все назад. Куда “назад”? В Дармштадт, в детство? Избави боже! Эта нищая Германия! Это вечное: “Этого нельзя, того нельзя!” Фике чуть не голой приехала в Россию и всего добилась. Вот же дворец — ею построен! Надо держаться и Николая держать, — слабый он. Любящий и слабый».

III

Глеб Смирнитский, выпускник по первому разряду одного из лучших военных училищ России — Павловского, что на Большой Спасской улице столицы империи — Петербурга, в звании подпоручика ехал на войну — Вторую отечественную. И домой ехал, в Польшу, точнее, в ту часть разодранной между Россией, Германией и Австрией в результате Венского конгресса Польши, что принадлежала России на праве унии и называлась Царством Польским. Он не был дома все четыре года учебы в военном училище,

и на душе у молодого человека было радостно и грустно одновременно: из-за желания побыстрее увидеть и обнять любимых и родных ему людей и от наступающей неизвестности, связанной с объявленной войной. Еще никогда он не видел столько людей, охваченных патриотизмом, больше похожим на умопомешательство, заполонивших весь Невский проспект столицы империи, которую зачем-то наскоро переименовали в Петроград (чем старое название помешало?), и в этом «ура-патриотизме» под визг и обморочные падения дам орущей толпы, несущей на руках людей в офицерской форме, было что-то неестественное, не радостное, а страшное и дикое — азиатское. А что камни в витрины немецких магазинов летели, то и это считалось проявлением русского патриотизма.

На вокзале усыпанный цветами и поцелуями восторженных столичных курсисток молодой человек с трудом пробился к своему вагону. Провожаящая военных толпа выла и редела от счастья.

Глеб Смирнитский был поляком наполовину — по отцу. Мать, Татьяна, была русской, дворянкой, дочерью полковника Глеба Александровича Переверзева, героически погибшего на русско-японской в Порт-Артуре. В честь деда и был назван молодой человек. Мать Глеба молоденькой девушкой влюбилась в приехавшего на несколько дней в Москву журналиста одной из варшавских газет Станислава Смирнитского и, тайком обвенчавшись, уехала с ним в Польшу. В семье Переверзевых разразился страшный скандал: к неравному браку (Переверзевы были дворянами со времен Петра I), да еще с католиком, отнеслись с нескрываемым раздражением, дочку не понимали и проклинали: как могла она выйти замуж без согласия родителей, за какого-то полячишку, да еще и за писаку-журналиста? Такое в их православной семье простить было нельзя! И даже рождение внука Глеба не смогло повлиять на отношения между семьями. Правда, полковник Переверзев дочку по-своему любил, довольно быстро неудовольствие его прошло, и он тайком писал дочери редкие, но добрые письма. Татьяна была ребенком от первого брака — ее мать умерла от чахотки,

когда девочке было всего десять лет, а Глеб Александрович был не просто человеком военным, но любил повоевать; он быстро женился, больше не по любви, а по необходимости, на молодой вдове своего военного товарища, взяв новую жену с ребенком-девочкой, и дал им свою фамилию, а вскоре родился еще и совместный сын Александр. Мачеха Таню не любила и хоть скрывала, но обрадовалась, когда та убежала из дома. Может быть, этот побег молоденькой девушки был бегством из ставшего неродным для нее дома? Жестом отчаяния? Но, к сожалению, Глеб Александрович воспринял женитьбу дочери так, как ему описала события жена, и на дочь махнул рукой — взрослая, чего там... Тем более подрастал сын Александр, как казалось, надежда и опора отца и семьи. Когда полковник Переверзев погиб, Татьяне Смирнитской даже не сообщили о его смерти; она узнала о его гибели из русских газет, которые приносил муж и в которых печатались списки награжденных и погибших в русско-японской войне. От отца остались только несколько писем и фотография, на которой был изображен полковник с лихо закрученными усами и Георгиевским крестом на груди. А когда в 1907 году в страшной катастрофе поезда под Лодзью погибли родители маленького Глеба, московские родственники отказались приехать на похороны, и отношения между семьями полностью прекратились. В семье дяди Владислава Смирнитского, где после гибели родителей воспитывался Глеб, чтобы не травмировать сироту, старались не вспоминать далекую московскую родню. Глеб же, учась в Петербурге, знал, что в Москве у него есть родственники, но он был гордый юноша и поэтому ни разу за все годы учебы не постарался их найти или хотя бы напомнить о себе каким-нибудь известием. Он слишком любил свою мать, чтобы изменить ее памяти. Настоящими родителями он считал семью своего дяди, которая его любила, как родного сына, и старался отвечать им такой же любовью.

Поезд двигался по российским просторам не спеша: пыхтел черным дымом, посвистывал паром, стучал коле-

сами: тук-тук, тук-тук. От Петрограда до Москвы все леса, луга да речки — грибы бы с ягодами собирать, а тут война! Мобилизация! Пьяный поезд. В воздухе больших и малых городов, промокших деревень с покосившимися хатами витало: сейчас немцам дадим по зубам, защитим русский православный крест и обратно, домой, с медалями на груди и деньгами в кармане. Вот тогда-то уж точно погуляем! И, говорят, повезет только тем, кто первый. Сказывают: война-то месяца два будет длиться, ну три, не больше. Вперед! Ура!

На каждой станции останавливается поезд, забирая в свое нутро пьяных мужиков с котомками за плечами, оставляя на деревянных перронах, а где и на земле ревущих в голос русских баб. А мужики выпивали свой стакан самогона и кричали:

— Ты чего, Матрена, ревешь? Вернусь — лошадь, корову купим, дом выправим и заживем! Эй, Рассея — раздвинься, новгородские идут!

— Куда прешь? Знай наших! Мы, тверские, завсегда готовы за царя-батюшку...

А за тверскими кричали московские, рязанские, смоленские, владимирские — весь *рассейский* народ в едином порыве кричал: «Бей немцев!.. Боже, благослови царя на священную войну!..»

Пляшет Россия перед смертью! У русских всегда безумная, пьяная радость перед войной. И в этом пьяном угаре у всех на уме одно: быстрая победа и на чужой территории! А уж с вечным врагом — немцем от души посчитаемся. Эта ненависть к немцам у русских в крови! Столетняя!..

Все сразу забылось: что вот так же десять лет назад японцы «закидали шапками» — да с таким позором, с реками крови сотен тысяч убитых русских солдат, с потопленным флотом, с отдачей русских земель выходили, выползали из той войны.

Смотришь на историю России и начинаешь понимать, что толком-то ни одной войны путем искусства военного, сбережения своего народа и солдата не выиграли. Ни одной! Ну если только Суворов. И то... Откуда это в нас, в

русских? Уж как бы должны быть осторожны, уж как бы должны быть недоверчивы, вся история государства российского этому учит — с татаро-монгольского нашествия учит. А может, это нашествие и выбило из русского народа тот стержень самосохранения, уважения к себе, к своим соплеменникам? Трехсотлетнее поклонение азиатской силе уничтожило русских, создало новую форму народа: смешение с азиатами и безразличие к гибели своих соотечественников. Почему же Русь-то сохранилась? А на насилии над народом и сохранилась. Государство московское, а потом и российское построили на крови, жестокости, убийствах, и к кому — к своему, русскому человеку! А бунты, а революции... У-у-у!

И сейчас, в этот последний месяц лета четырнадцатого года, верилось, что многомиллионная армия — с мобилизацией, с радостью студентов от зачисления в добровольцы, с погромами немецких магазинов, с переименованием столицы — в едином порыве с друзьями по военному «Сердечному союзу — Антанте» возьмет и раздавит эту ненавистную, Бисмарком созданную молодую германскую империю. Только жижга пивная да сосисочная останется!

Вот на эту войну 3 августа 1914 года подпоручик Глеб Смирнитский и ехал воевать. Он, потомок знаменитого, но забытого временем и судьбой старинного рода, ведущего свой счет еще с польских рыцарей, храбро сражавшихся и умиравших в великой Грюнвальдской битве, шляхтичей, имевших когда-то свой герб и проливавших кровь за свободу и независимость Польши в сражениях и с немцами, и с литовцами, и с русскими, воевавших на стороне Наполеона против России, участвовавших в восстании под руководством Костюшко, он — сирота, воспитанный в семье дяди, получивший за отличие в учебе при выпуске из училища чин не прапорщика, а подпоручика и право выбора места несения службы, избрал не блистательный Петербург и карьеру штабного офицера, а службу в самом знаменитом, самом известном, самым Петром Алексеевичем созданном лейб-гвардии Семеновском пол-

ку, который был приписан на случай войны к спешно разворачивающейся в Польше 2-й армии под командованием генерала от кавалерии Александра Васильевича Самсонова. И от роду Глебу Смирнитскому было двадцать лет. Был он высок, строен, серо-голубые глаза обрамлены темными ресницами, как все военные, пострижен был коротко, но с аккуратным боковым пробором, разделяющим чуть волнистые волосы; ему бы очки — и вылитый молодой адъютант университета.

Грустно было ехать одному: уж к Москве подъезжали, а никто в купе не поселился, да и в соседних было тихо.

В Москве, с такого же шумного, кричащего тысячами голосов вокзала в соседнее купе вошли двое офицеров — Глеб видел их в приоткрытую дверь, и когда уже поезд тронулся, дверь его купе отворилась и вошел молодой подпоручик со значком выпускника московского Александровского военного училища. Сразу бросилась в глаза необычная красота офицера: большие, навывкате голубые глаза, черные брови, ровно изогнутый «римский» нос, прямое лицо; юноша был высок, под стать Глебу, но шире в плечах и груди. В лице его, в глазах было что-то холодное и страстное одновременно.

— Давайте знакомиться. Подпоручик Михаил Тухачевский, — сказал вошедший.

— Подпоручик Глеб Смирнитский.

Так иногда бывает между мужчинами: встретились в первый раз, протянули руки для рукопожатия — и необъяснимо, сразу возникло чувство дружбы и доверия. И здесь оно возникло: как молния, между ними промелькнула с крепким пожатием юношеских рук.

— На войну? В какую армию? — спросил Тухачевский. — Я во 2-ю, к генералу Самсонову.

— Туда же, к Александру Васильевичу.

— Отлично. Дадим прикурить немцам.

— Давно пора!

— По значку — вы окончили Павловское училище?

— Так точно, а вы — Александровское?

— Да.

— Вы поляк?

— Если не против, давай на ты. Я из смоленских Тухачевских. Ну а где смоленские, там и польская кровь имеется. Ну вы-то точно поляк?

— Да, по отцу. Мать русская.

— Родители где, в Польше?

— Я сирота.

— Глеб, прости меня, ради бога. А что до Павловского окончил? Не со школьной же скамьи?

— Нет, Варшавский кадетский корпус.

— А я Московский кадетский корпус.

— Судя по званию подпоручика — отличник.

— Да, но и ты тоже. Сам выбирал полк?

— Да. Только сейчас не до выбора — война.

— И в какой полк?

— В лейб-гвардии Семеновский.

— Вот здорово! И я в Семеновский!

Молодые люди прониклись еще большим уважением друг к другу, узнав, что едут служить в один, самый знаменитый полк; болтали, выходили из вагона на станциях, покупали вареную картошку, молоко, огурцы и ржаной хлеб. А на платформах плясала, выла, пела Россия, провожая мужиков на войну.

— Как всегда — с пляской на смерть, — сказал Михаил.

— Этого у русских не отнять, — поддержал Глеб.

— А у поляков по-другому?

— Да нет, еще большее бахвальство.

— А жаль. Ничему не научились с японской.

— Не скажи — армия другая, вооружение другое. Посмотри, какой народный порыв. И название у войны какое правильное: «Вторая отечественная».

— Лишь бы не было, как в первую — за Москву убежали.

— В первую мои предки с войсками Наполеона до Москвы дошли, да и в шестьсот двенадцатом тоже в Москве были. Михаил, ну зачем такой пессимизм?

— Не нравится мне это дикое веселье.

— Так не свадьба — на смерть люди идут.

— Возможно, я не прав, Глеб... извини. Кстати, у тебя что из оружия: тот, что выдали по окончании училища — револьвер Нагана? Он в атаке неудобен. Согласен?

— Ты прав: семь пуль выпустил и можешь выкидывать. В бою не перезарядить.

— А я вот кое-что тебе покажу, — Тухачевский открыл свой офицерский чемодан, порывшись, достал отливающий темным металлом пистолет и с любовью человека, обожающего оружие, произнес: — Пистолет Браунинга!

— Я знаю. Удобен. Особенно заряжать легко — обойма, — восхищенно сказал Глеб. — Но дорого. Мне не по карману.

— Мне отец с дядьками подарили к окончанию училища.

И оба с удовольствием стали разбирать пистолет, обсуждая его достоинства и недостатки. Пришли к выводу, что и револьвер Нагана и пистолет Браунинга оба хороши, но пистолет лучше.

— У браунинга есть недостаток — патрон девять миллиметров. Попробуй найди, — сказал Глеб

— Да, согласен. Кстати, сейчас Маузер собирается выпустить свой новый пистолет под девятимиллиметровый патрон.

— А ты знаешь, что Маузер выпускает пистолет на двадцать патронов? Вот это оружие! И патрон — семь и шестьдесят два миллиметра.

— Как у нагана?

— Да.

Возбужденно говорили, как люди восхищенные и любящие оружие. С пистолетов перешли и стали хвалить винтовку Мосина, сменившую в русской армии винтовку Бердана, потом дошли до пулемета Максима...

— Вот страшное оружие! — сказал Глеб. — Когда появилось многозарядное оружие, сабли канули в Лету, а этот пулемет заставит и шашки выкинуть. Ненужной красивой безделицей на боку болтаться будут.

— До этого еще далеко. Куда конница денется? А у этого пулемета надо для начала выкинуть станину, эти семь-

десять килограммов, тогда его хоть можно носить. Я читал, что немцы разрабатывают какой-то легкий пулемет. И это уже оружие этой войны. Правда, пулеметы Максима устанавливают на бронеавтомобилях, которые у вас в Петербурге делают, на «Путиловце».

— Знаю, нам показывали — хорошая машина. Но все зависит от поставок из Англии автомобилей Остина. А те, сам знаешь, только говорить умеют. Но что интересно: бронеавтомобиль — чисто наше, российское изобретение.

— Ты имеешь в виду бронеавтомобиль Накашидзе?

— Да.

— А ты знаешь, что когда их сделали во Франции и перенесли в Россию, то немцы два бронеавтомобиля реквизировали для изучения и наше военное министерство даже ноту не послало?

— Как бы нам не встретить в бою свои же бронеавтомобили.

— Во-во, и я к тому же. Но это еще что! Вам рассказывали о совсем новой технике — танках?

— Так, вскользь. Я так и не понял, как эта тяжелая, громадная уродина на гусеницах может передвигаться? Это далекое-далекое будущее. И то вряд ли.

— Нет, Глеб, это уже реальность нашего времени. Вот увидишь, они появятся уже на этой войне! И это будет последняя война людей против людей, в будущем наступит война моторов. Вот тогда точно шашки и сабли повесят на стены для красоты.

— Ты, Михаил, фантазер: какие танки, если пулеметы предлагается запретить как негуманное оружие?

— Всякие запреты только подстегнут разработку новых видов вооружения. И пример — гранаты. Вам показывали?

— Даже заставляли бросать эти банки с ручками. Тяжелые и неудобные. И уж не офицерское это оружие точно.

— Согласен — уродина. Правда, у немцев удобнее... И почему у них все оружие какое-то ладное: берешь, а оно с рукой сливается? Что пистолеты, что пулеметы, а гранаты — мы на десять метров в лучшем случае свою «банку» можем бросить, а они со своей длинной ручкой — на трид-

цать-сорок, вот и подойди к ним на штыковую атаку, — и вдруг Тухачевский сразу как-то в разговоре переключился: — Ты, Глеб, в Москве бывал?

— К сожалению, нет. Говорят, что это самый красивый русский город. У меня там есть родственники по матери.

— И что, ни разу не был?

— Не приглашали, — грустно ответил Глеб.

— Будешь, — серьезно заметил Михаил. — Это я тебе обещаю. Глеб, какая она, Москва, красивая. И летом, и зимой. Я в Петербурге был: он строгий, чопорный, в нем все время хочется живот подтянуть. И девушки другие — прямые какие-то.

— А москвички?

— Будет первый отпуск, и поедем обязательно в Москву. Москвички — они очень красивые, хохотушки и все чуть-чуть курносые, — Тухачевский засмеялся, потом достал из нагрудного кармана небольшую фотографию, где, немного вполборота, сидела за столиком с цветами красивая молоденькая девушка с толстой косой, перекинутой на грудь. — Это моя невеста, Нина, ей семнадцать лет; она только что после гимназии поступила в университет, а в апреле пятнадцатого ей исполнится восемнадцать, и мы поженимся. Так решили наши родители, — с теплотой в голосе сказал Михаил и, погладив фотографию тонкими пальцами, спрятал обратно в нагрудный карман и спросил: — А у тебя, Глеб, невеста есть?

— Нет, не встретил. И когда это произойдет, я не знаю: может быть, через день, хотя вряд ли — война, может через год, а может, через двадцать лет... Я хочу так, как и должно быть: как молния в сердце, и ты вдруг понимаешь, что это и есть любовь. Но когда-нибудь это обязательно произойдет, и, наверное, лучше, если после войны.

— Решено — в отпуск вдвоем в Москву, будем искать тебе невесту.

— Смешной ты, Михаил, — мы же едем на войну.

— И что? Мы с тобой, Глеб, едем побеждать, получать награды и звания. Мы еще генералами будем. Вот увидишь!

— Хорошо бы и живыми, и генералами, — засмеялся в ответ Смирнитский...

Ах, молодость, как ты хороша!

IV

В дверь постучали, и в купе заглянул офицер с погонами штабс-капитана.

— Господа офицеры, прошу к нашему столу, в соседнее купе.

Отказывать офицеру выше званием в армии не принято. Глеб и Михаил поднялись и пошли в соседнее купе.

— Прошу, господа подпоручики, — пригласивший штабс-капитан широко открыл дверь. В купе находился еще один офицер, тоже штабс-капитан. Только сейчас, вблизи, Михаил и Глеб увидели, что у офицеров на мундирах отличительные нагрудные знаки — белые разлапистые эмалевые кресты лейб-гвардии Семеновского полка. Стало как-то страшно неловко.

— Проходите, присаживайтесь, господа офицеры. Давайте знакомиться: лейб-гвардии Семеновского полка штабс-капитан Алексей Петрович Хлопов, — пригласивший подпоручиков офицер протянул руку для рукопожатия. Хлопову было лет тридцать. Высокий, широкий в плечах, темноволосый, с живыми карими глазами, в которых плескалась искорка смеха. Его попутчик был уже немного пьян. Ему было далеко за тридцать, ближе к сорока — тот возраст, когда погоны подполковника давно должны бы были украшать его мундир. Штабс-капитан выглядел даже старше — седина сильно побила его короткую прическу. На левой стороне мундира висел Георгиевский крест. Офицер встал и, пожимая руки Михаилу с Глебом, поздоровался:

— Веселаго Семен Иванович, лейб-гвардии Семеновского полка штабс-капитан.

Молодые люди вытянулись и громко и уважительно сообщили свои фамилии и звания. Все сели на диваны, но разговор явно не клеился: чувствовалась стеснитель-

ность молодых офицеров. На столе в блюде лежал нарезанный лимон, яблоки, лежала фляжка и стояли два стакана.

— Французский, — сказал, постучав по фляжке, штабс-капитан Хлопов. — Думаю, вам известно, что офицерам гвардии не положено сидеть в обычных ресторанах, посему я вас покину на десять минут, а вы пока поговорите. — И Хлопов вышел из купе.

— На войну, господа офицеры? — спросил неулыбчивый Веселаго.

— Так точно, господин штабс-капитан, — бойко, хором ответили молодые офицеры и встали.

— Бросьте вытягиваться, господа подпоручики, на войну едем, не до чиновоклонства будет. Давайте по-простому: либо по имени-отчеству, либо «господин штабс-капитан». Я ведь до штабс-капитана из добровольцев дослужился. Так что не удивляйтесь, что староват для такого звания. Хотя — гвардия... Ох, и тяжкая нам война предстоит. Похуже японской.

— Почему, господин штабс-капитан?

— А немец — не японец! Те были жестокие, а эти и жестокие, и умные! А мы с нашим «Ура!» как побежим вперед, не оглядываясь ни назад, ни в стороны, вот он нам и даст. Да еще с нашим пронемецким генералитетом, ну и еще кое с кем...

Молодые офицеры сообразили, о чем говорит пьяненький штабс-капитан, но сделали вид, что не поняли. Разговор о немецкой линии в императорской семье свободно гулял и в армии, и в военных училищах.

— Как-то вы, Семен Иванович, уж очень жестко, — сказал Михаил Тухачевский.

— А я, господин подпоручик, на собственной шкуре испытал предательство в армии. На японской. Вот оно — предательство! — Веселаго показал на Георгиевский крест. — Хорошо, что не деревянный!

Разговора не получалось. Молодые люди замолчали. Так бы и сидели молча, но, слава богу, в купе вернулся штабс-капитан Хлопов, за ним шел официант из вагона-

ресторана с корзинкой; в корзинке были бутылки коньяка и шампанского, закуски, хлеб, тонкие стаканы, рюмки, скатерть, салфетки, ножи, вилки, ложки и блюдца. Официант, прежде чем расставить посуду и приборы на столе, старательно протер все тонкой чистейшей салфеткой.

— Пожалуйста, господа офицеры, — расставив все принесенное на столике, сказал официант и, выходя из купе, добавил: — Если что понадобится, скажите проводнику, а он мне. Всего хорошего.

— Что, господа, пока я отсутствовал, Семен Иванович вас пугал? Пугал, пугал — вижу. Он у нас человек прямой, если скажет, то не в бровь — в глаз. Давайте-ка лучше выпьем. В какой полк едете, господа офицеры?

— В ваш, господин штабс-капитан, в лейб-гвардии Семеновский, — ответил за обоих молодых людей Тухачевский.

— Ба, так, значит, к нам? Оба?! Вот с какими орлами в бой пойдем, Семен Иванович. Его благородие штабс-капитан — командир седьмой роты, а я — восьмой... Кто что будет: коньяк, шампанское?

Молодые люди выбрали шампанское. Веселаго и Хлопов коньяк.

— Ну, давайте выпьем за победу и чтобы через полгода мы с вами и все эти мужики, — Хлопов показал в пробегающие за окном вечерние сумерки, — вернулись домой живыми.

— Твои слова, Алексей Петрович, да Богу бы в уши. Только, думаю, далеко не все вернутся и не через полгода, но выпить надо, и прежде всего за этих самых мужичков, которых мы завтра на смерть поведем.

— Ну что вы, Семен Иванович, все как-то грустно? Мы с вами люди войны. За победу, господа офицеры!

Все встали и выпили.

— Вот, господа офицеры, у нас спор с Семеном Ивановичем: он считает, что никто не готов к этой войне и Россия не готова больше всех. А вы что думаете?

— Лично я, господин штабс-капитан, готов к войне! — ответил Тухачевский.

— Вот! Вот он, правильный и правдивый ответ на все ваши слова о неготовности России к войне, — смеясь, повернулся к Веселаго Хлопов. — Как вам?

— Эта война — не случайность, — спокойным голосом заговорил Веселаго, глядя на стакан с коньяком в своей руке. — И, поверьте, быстро она не закончится; перейдет в окопную войну, а окопы, как всем известно, рыть-то никто не умеет и не хочет, да и рыть нечем — даже лопат нет, и затягивание войны приведет к голоду в городах и обнищанию деревни: солдат-то, он кто — крестьянин. И это приведет к социальному взрыву, революции в России и гибели монархии.

— А почему именно в России, Семен Иванович? В Германии и Австрии что — лучше? — спросил Хлопов. — И как это вы представляете Россию без царя?

— Почему именно в России? Друг мой, вы забыли девятьсот пятый год, а я тогда вот таким же подпоручиком приказывал семеновцам стрелять в толпу рабочих на Пресне в Москве. И если бы мы тогда не стреляли, неизвестно, была бы сейчас монархия или нет. Самое страшное в этой войне — проиграть ее, даже не всю, а начало, и тогда этот весь восторг и визг, все эти бравурные речи и марши превратятся в злобный вой разъяренной толпы, и не только рабочих и крестьян, но и солдат. В кого тогда прикажете стрелять? Вот что страшно! Нельзя проиграть войну, к которой наше с вами отечество не готово. Это же не балканская война, когда мы освобождали наших, поработанных турками «братушек-славян», здесь-то мы какие цели хотим достигнуть — Германию разбить? И что, если разобьем? Что — не будет Германии? Будет. А может, эта война нужна полякам? Кстати, вы, господа подпоручики, оба поляки?

— Только я, — сказал Глеб Смирнитский.

— Вот вы, господин подпоручик, поляк, при этом русский офицер и будете драться с немцами за Россию. А сами поляки будут драться?

— Наверное... не знаю.

— Вот именно — «не знаю»; если и будут, то каждый за свою Польшу: кто-то, как вы, за Россию, кто-то за австрия-

ков, меньшинство за немцев, но они все бы объединились и стали бы драться против всех за свободу своего отечества. Кстати, а вы знаете, что поляки должны ненавидеть семеновцев? Это ведь семеновцы под началом Александра Васильевича Суворова разбили войска Костюшко. А Костюшко для поляков символ борьбы за независимость. Так что вся эта война будет на территории многострадальной Польши: кто у кого отберет ее кусок, который раньше друг дружке подарили. На большее сил ни у кого не хватит! Никаких Берлинов и Петербургов.

— А Франция?

— А я о Франции не говорю. Мне, если честно, на нее наплевать. Запомните: они нас выручать в этой войне не будут, а мы их будем! Как только германец их прижмет, так мы наших мужичков в шинелях под орудийный, а теперь и пулеметный огонь и бросим! — Веселаго залпом выпил коньяк. — А они — нет! Они знают, что без России их германец за несколько недель разобьет!

— Ну как можно, Семен Иванович, с таким желанием идти на войну? — спросил Хлопов, стараясь долить в стакан Веселаго коньяка.

— Не старайтесь, Алексей Петрович, вы что, хотите меня напоить? Что молодые офицеры обо мне подумают? Не надо, прошу вас... А на ваш вопрос скажу: война — это ремесло, это опыт и это желание победить. Слабость нашей армии не в нас, строевых офицерах, она в штабах, в генералитете и еще кое-где.

— Прекратите, Семен Иванович. Вы выражаетесь как социалист. Что подумают о нас господа подпоручики?

— А правда, что вы думаете? — спросил, вдруг засмеявшись, Веселаго у Смирнитского.

— Мои предки все воевали: и с рыцарями, и с немцами, и с литовцами, и с русскими. Я военный, и моя роль в этой жизни — защищать отечество. Я присягу русскому государю дал, — ответил Глеб. — А что там будет — не мое дело. Мой дед был полковником русской армии. Погиб на японской. Как поляк я не люблю великого для всех русских Александра Суворова, а как русский офицер преклоняюсь перед

его гением полководца, и как человек, давший клятву служить России и ее императору, я готов умереть за Россию. И для меня немец — враг! Я знаю, что пообещал император Николай Александрович полякам: отобрать у австрияков и немцев Галицию и Великое княжество Познаньское и восстановить Польшу в ее прежних границах. Почему же я не должен воевать за такого царя? Почему поляки не должны воевать за такого русского царя? Вот вы говорите, что произойдет какая-то революция и монархии не будет. Но тогда я буду воевать за свободу Польши. Я же дал присягу нашему общему с вами императору, и, значит, если монархии не будет, я буду свободен от присяги. А присяга у офицера бывает одна! Так?

— Хорошо сказано! А я как-то и не подумал... Считаю, что в этом случае вы, подпоручик, будете правы, — ответил Веселаго. — Офицеры клятву два раза не дают. А вы, Михаил, что думаете?

— Я согласен с Глебом: политика не наше дело. Дед мой был генералом. Отец военным. К сожалению, из-за болезни в отставке. Почти все родственники военные. Мое дело — война! А России без царя быть не может! На то мы и даем клятву государю, чтобы император в нашем отечестве был всегда, и те, кто хочет это разрушить, являются нашими врагами.

— Слышите, господин штабс-капитан? Они люди военные и давали присягу. И этим все сказано. Давайте, господа, выпьем за армию и ее основу — офицерский корпус! И сегодня наша главная задача — разбить немцев, — громко предложил Хлопов.

Все выпили, и Веселаго трезвым голосом произнес:

— Уважаемые, господа офицеры, прошу меня извинить, за произнесенные слова. Русскому офицеру так говорить непристойно. Если позволите, давайте спьем все на коньяк. Не возражаете? Особо я хочу извиниться перед вами, подпоручик Смирнитский. Я на той войне, где сражался ваш дед, Георгиевский крест заработал и всегда считал и считаю, что там было много более достойных людей, чем я, чтобы получить эту награду, а уж чтобы остаться

живыми... Вы правы: мы — офицеры, давшие присягу... И приятно, что об этом сказали вы, молодые офицеры, идущие на войну. Алексей Петрович, а не кажется ли вам, что подпоручики — как раз те, кого мы с вами ищем? Господа, нам с Алексеем Петровичем нужны заместители на должностях младших офицеров. Я, если не возражаете, хотел бы пригласить вас, Михаил Николаевич, к себе в роту.

— А я с удовольствием — вас, Глеб... как вас по батюшке? — спросил Хлопов.

— Я поляк, а у поляков нет отчества, у них, как у всех католиков, двойное имя. Но у меня русское имя, и я православный. Моего отца звали Станислав.

— Ну, значит, вы — Глеб Станиславич, — без намека на иронию продолжил Хлопов. — Так будет ближе к польскому языку и из уважения к имени вашего родителя. По-русски я бы сказал «Станиславович». Мы с Семеном Ивановичем по прибытии в армию свои рекомендации командиру полка, его превосходительству генерал-майору Ивану Севастьяновичу Эттеру сообщим. Можете сослаться на нас... Ну что, согласны?

— Почтем за честь! — ответили подпоручики.

Дальше разговор перешел на любимую тему русских офицеров: оружие и тактику боя.

— И все же, господа, я настаиваю, что с появлением в армии нового оружия — дальнобойных орудий, пулеметов, многозарядных винтовок — война не только не будет скоротечной, как многие считают, а, наоборот, превратится в позиционную войну. Любая неподготовленная атака приведет к ненужной гибели людей — их просто перестреляют. Погибших будет сотни тысяч, а может, и миллионы. Поэтому силы армий быстро иссякнут; оружие, снаряды и патроны производиться в необходимом количестве не будут, вот тогда все зароются в землю и будут постреливать друг в друга... Наступит нищета в городах и разруха в деревне и замкнется круг, — говорил с жаром Веселаго. — И такую войну будут ненавидеть все! И чем больше будет отдаляться от народа победа, тем больше будет ненавидеть эту войну народ. А дальше — взрыв, социальный взрыв.

Вы, господа, вспомните, что произошло после поражения в русско-японскую — восстание рабочих! Но по сравнению с тем, что может произойти сейчас, это цветочки!

— Вы опять за свое, Семен Иванович. Ну договорились же. Может, будет как во времена Екатерины Алексеевны: лето повоюем — и все на зимние квартиры, на печку до весны? — засмеялся Хлопов.

— В окопы мы точно залезем. Где это вы видели, чтобы миллионные армии по домам разошлись? Нет, те красивые войны наших предков закончились. Вы еще рыцарей вспомните, — не унимался Веселаго.

— Вас послушать, так вместо винтовок надо срочно начать выпускать лопаты?

— Надо, Алексей Петрович, иметь и то и другое.

— И все-таки давайте отойдем от лопат к подготовленности наших войск к наступательным действиям.

— Согласен, Алексей Петрович, давайте. Я знаю точно одно: гвардия к войне готова. Я имею в виду и вас, Михаил Николаевич, и вас, Глеб Станиславич.

— Спасибо за доверие, господин штабс-капитан.

— И главное — помнить: это не учения под Красным Селом или парад на Марсовом поле, это война, на которой убивают!

— Давайте выпьем за войну! — предложил Хлопов.

— Давайте! — согласились все радостно.

И если Веселаго и Хлопов позволяли себе пропустить еще по рюмке-другой, то подпоручики, и так не пьющие, слушали серьезно, понимая, что перед ними их будущие командиры, и уже их лица выражали нескрываемое желание быстрее покинуть купе. Когда они, получив разрешение, ушли, Хлопов спросил Веселаго:

— Зачем вы так, Семен Иванович? Они молоды, они многого не понимают и тем более не знают, что такое война.

— Согласен, я неправ. Извините меня, Алексей Петрович. Как-то все сложилось, вспомнилась та, позорная война, и прорвало... Извините...

— Про революцию совсем уж зря. Ладно. Вы, Семен Иванович, почему Тухачевского-то выбрали?

— Вы, знаете, Алексей Петрович, в этом молодом человеке чувствуется что-то необычное, внутренний стержень какой-то, желание быть первым. Я бы, конечно, взял Смирнитского, но побоялся это сделать: стал бы его опекать, охранять как внука погибшего на той бесславной войне русского офицера. А мы едем на войну, и это недопустимо.

— Намучаетесь вы с Тухачевским, Семен Иванович. С его желанием быть первым.

— А мне такой и нужен — чтобы честолюбивый был и в пекло лез. Меня-то вы знаете: я семь раз отмерю, а один раз отрежу.

— О, как вы все рассчитали! Хотите его первым в атаку отправить?

— Не я хочу — он сам хочет. Это у него внутри. Война всегда требует таких людей. Но это другая война; на ней будет трудно поднять людей в атаку, это не как раньше — саблями махать. А Тухачевский, мне так кажется, сам первый в атаку поднимется и людей поведет, и не просто поведет — заставит. Только почувствует любовь к войне, к бою, к власти над людьми — и заставит. Нос у него гордый, как у Цезаря и Наполеона. И сколько он человеческих душ загубит, когда это чувство власти над людьми в нем проснется, я не знаю... Но будет — я в людях редко ошибаюсь — хороший будет офицер, поверьте мне. Ну а как вам наш поляк? Станиславич? Как вы умудрились правильно отчество-то произнести? Именно Станиславич. Я бы, наверное, не смог. Взяли его, потому что я первым взял Тухачевского?

— Ни в коем случае! Если вам нужен такой, как Тухачевский, этакий сорви-голова, то мне-то, при моем взрывном характере, как раз нужен такой, как Смирнитский. Он не медлительный, не сонный, он, мне кажется, умный, он рассудительный и голову вот так запросто ради славы или ордена подставлять не будет. Как он сказал о Польше! И как правильно провел жизненную грань — присяга офицера! Не любовь, не восхищение императором — присяга государю. И все! Коротко, умно необычайно. Из этого мо-

лодого человека вырастет отличный офицер, и не исполнитель, а, возможно, штабист, аналитик. Этот проявит себя на войне не меньше, чем Тухачевский, но, поверьте, с выдумкой, незаметно, но с огромной пользой для солдата... А вообще-то эти новые офицеры хороши. Думаю, успели их подготовить к войне.

— Вот в этом я с вами, Алексей Петрович, полностью согласен. Ну что, давайте ложиться спать — завтра Брест-Литовск, а там и Варшава.

— Да, наша молодость, когда можно было не спать неделями, к сожалению, прошла. Спокойной ночи, Семен Иванович.

— Какая такая «ваша молодость» прошла, Алексей Петрович? Всего-то за тридцать. Вам еще до генерала дослужиться надо.

— Спасибо, Семен Иванович. Хотелось бы генералом стать. Впрочем, чем черт не шутит...

— Одно жалко — нет в живых Льва Николаевича Толстого, кто же напишет правду об этой войне? — как-то грустно сказал Веселаго.

— Появится другой Толстой и напишет.

— Боюсь, не появится.

— Не пойму я сегодня вас, Семен Иванович, весь день какой-то пессимизм.

— Сам не знаю, что со мной. Напало что-то и не проходит. Предчувствие какое-то нехорошее гложет душу. Все время думаю о войне и что нашему отечеству предстоит.

— Давайте брать пример с наших молодых офицеров. А ведь они на нас смотрят: как мы себя поведем? Им-то пока все игра. Сами же мы такими были.

— Давайте спать.

А колеса стучали: тук-тук, тук-тук. На войну, на войну.

V

Не доезжая Бреста, в серости утра, на небольшом деревянном, сыром от росы настиле маленькой станции пела и плясала пьяная толпа. Больше всех веселился явно не

строевой доброволец: одет был в гражданское, котомки не имел, орал матом, хлестал водку стаканами и все лез целоваться к провожавшим на войну своих мужей плачущим бабам, за что получил кулаком по пьяной роже; на удивление не обиделся и в драку не полез, а, размазав по лицу текучую из разбитого носа кровь, продолжил плясать, орать и петь похабные песни. Увидев двух офицеров, стоящих около вагона остановившегося на несколько минут поезда, подскочил, провел рукой по разбитым губам и, вытянувшись, весело обратился:

— Ваши благородия, добровольца вольнонаемного возьмите к себе в денщики? А то ведь без нас немца разобьют, не успеем повоевать.

— А почему бы тебе не взять винтовку — и в атаку? — спросил Тухачевский.

— Вот! — и мужик показал правую руку. На ладони не было мизинца и безымянного пальца. — Топором еще мальчишкой оттяпал.

— Ну и сидел бы дома с женой и детьми.

— Нетуть. Холостой я.

— А с самоваром-то управляться умеешь?

— Обижаете, ваше благородие. Не только самовар, но и приготовить, и помыть, и постирать — все могу!

— Как звать?

— Архип Ферапонтов, ваше благородие.

— Вот что, Архип, доедешь до Варшавы, иди в штаб лейб-гвардии Семеновского полка, скажешь — денщиком к подпоручику Михаилу Тухачевскому.

— Век не забуду вашей милости! Не подведу, ваше благородие! Если надо — за вас жизнь отдам!

— А вот это лишнее. Жизнь надо отдавать за государя императора и отечество. Только больше не пей.

Молодые офицеры ушли в свой вагон.

— Братцы! — побежал к провожающим, поскальзываясь на сырых досках, Ферапонтов. — Я с вами, я на фронт! Меня берут к себе господа офицеры! Богачом вернусь! Наливай! — И уже на правах отъезжающего стал целоваться; никто больше по лицу не бил — солдат!

Вагоны дернулись — лязгнуло железо, поезд свистнул и натужно потянулся вперед. Вновь укладываясь на диван спать, Глеб спросил Михаила:

— Зачем он тебе? Там найдем.

— Глеб, ты же знаешь, денщиками не могут быть строевые солдаты, только добровольцы. Где там время будет искать? Да и чем-то понравился мне этот Архип. Что-то в нем необычное: посмотри — его по пьяной морде бьют, а он смеется!

— А ты, Михаил, сможешь солдата по лицу ударить?

— Не знаю... Но если струсит, товарищей бросит, то, мне кажется, я смогу такого человека даже расстрелять. А так: одного пожалеешь, другого — это уже не армия... Не знаю... Глеб, скажи, если, конечно, можешь, давно ты сирота?

— Мои родители погибли в девятьсот седьмом под Лодзью, при крушении пассажирского поезда. Родственники по матери нас, еще когда дед был жив, не признавали, а уж после его гибели и подавно. Мама даже о гибели своего отца узнала из газет, — ей не сообщили. Дед был полковником. Имел «Георгия». У него после смерти первой жены была вторая семья. Так что я с тринадцати лет сирота, воспитывался в семье дяди, и, как сам понимаешь, лучшая карьера для таких, как я, — карьера военного. И я не жалею. Приедем в Варшаву и пойдем к моему дяде Владиславу. У него прекрасная семья — жена и две дочери: Златка и Ядвига — красавицы. Я их не видел четыре года. У дяди свой домик и небольшой сад. Там так тихо и необыкновенно хорошо. Увидишь, тебе понравится... Все. Давай спать.

— Давай. Извини, Глеб, что задал этот вопрос, только тебе и себе душу разбередил... Уснешь тут... — сказал Михаил Тухачевский и через минуту спал. А Глеб еще долго-долго лежал с открытыми глазами и вспоминал свою жизнь: мать и отца, дядю Владислава, его жену и дочерей; почему-то с презрением подумал о семье деда; потом одернул себя: «При чем здесь все? Сын-то деда, Александр, наверное, лет на десять старше меня. Интересно, если офицер, как отец, то в каком звании? Капитан, наверное...

Вряд ли больше — войны-то за последние годы не было. Да что я? Какое мне дело? Скорей бы в Варшаву! Как же я хочу всех увидеть...» И уже засыпал, как вдруг всплыло лицо Архипа Ферাপонтова — тот показывал свою изуродованную руку и кричал: «Ваше благородие, все умею, все смогу... За вас жизнь отдам».

— Тьфу ты, покажется же такое! Как черт выплыл! — чертыхнулся тихо Глеб и провалился в сон, каким умеют спать только дети, юноши и молодые офицеры.

А колеса продолжали стучать: война, война...

VI

Варшава встретила летним теплом, невообразимой сутолокой на вокзале, куда выгружались регулярные войска и мобилизованные. Все пути были забиты эшелонами с людьми, лошадьми, пушками. И над всем этим стоял несмолкаемый, многотысячный гул военных команд, криков, топота солдатских ботинок, ржания лошадей, скрипа телег, урчания, пугающих простых солдат, диковинных автомобилей, свистков маневренных паровозов и криков бесстрашного, не боящегося никого воронья. Вот только их крика и их вида не хватало этим солдатам, идущим туда, на запад, к фронту. Ну что ты каркаешь? По кому из нас?..

Варшава — русский форпост перед грозной Германией!

И вся эта война начиналась на территории Польши. А как же иначе? И Царство Польское, и Галиция, и Великое княжество Познаньское — это же все земли Польши, с легкостью разделенной тогда, в 1815 году, между Россией, Австрией и Пруссией. Никто и не думал воевать на своей территории! Местом драки бывших союзников стало общее поле боя — Польша! И ни о какой мировой войне в тот момент и не помышляли. Россия хотела отобрать у бывших своих друзей польскую же территорию: у Австро-Венгрии — Галицию, у Германии — княжество Познаньское. Император Николай II даже пообещал полякам, что если те поддержат Россию в этой войне, то, отобрав эти земли, он вновь объединит куски Польши в единое целое, правда,

под своей унией. Австро-Венгрия пообещала сделать то же самое, а немцы ничего не обещали: они хотели все и себе! Поляки в начинающейся войне разделились на два фронта, и каждый считал, что только он прав. Русских не любили — помнили свои восстания и русские штыки и пушки! А немцев ненавидели все!

Штабс-капитаны Веселаго и Хлопов, узнав, что молодые люди хотят съездить к дяде Смирнитского, в суতোлке вокзала приветливо попрощались с молодыми офицерами, еще раз подтвердили свои предложения о должностях и, попросив сильно не задерживаться — война, уехали в полк. Смирнитский с Тухачевским, наняв пролетку, поехали в пригород Варшавы.

Дядя Глеба, Владислав Смирнитский, такой же высокий и подтянутый, с такими же серо-голубыми глазами и открытым приветливым лицом, расплакался, увидев на пороге своего небольшого загородного дома племянника, которого он не видел четыре года.

— Возмужал, вырос-то как, вырос. А на Станислава-то как стал похож... Мария, беги скорей, Глеб приехал, — кричал он на весь садовый участок.

В доме началась суматоха: Мария, жена Владислава Смирнитского, темноволосая, кареглазая, полноватая, невысокая женщина, увидев племянника, обняла, расцеловала, заплакала, потом побежала, радостно подвывая и поминая Матерь Божию, в гостиную накрывать стол. Прибежали две девушки лет пятнадцати-шестнадцати, дочери хозяев дома, Ядвига и Златка, и тоже стали обнимать и орошать слезами мундир Глеба.

— Прощу познакомиться, мой товарищ, подпоручик Михаил Тухачевский. Мы вместе едем служить в лейб-гвардии Семеновский полк.

— Очень приятно, очень приятно, молодой человек, — затряс руку Михаила пан Владислав и заинтересованно спросил: — Из каких Тухачевских будете? У нас раньше соседи были Тухачевские.

— Из смоленских.

— Тоже рядом! — радостно сказал Владислав Смирнитский и махнул куда-то рукой. — Смоленск-то — вот он, недалеко.

Все засмеялись.

Михаила смущали восхищенные взгляды двух очень похожих, очень симпатичных двоюродных сестер Глеба.

— Хватит, хватит, идите, помогите матери. А вас, молодые люди, я прошу помыться с дороги, и проходите на веранду. Я надеюсь, Глеб, и вы, Михаил, у нас побудете денка три?

— К сожалению, дядя, мы ненадолго, поздороваться — и нам нужно в полк.

— Мария, ты слышишь, они хотят уехать, — закричал куда-то в дом Владислав Смирнитский.

— Как? — прибежала и опять заплакала пани Мария. — Почему? Я так давно не видела Глеба. Он же мне сын!

— К сожалению, нам нужно в полк. Михаил, подтверди, — сказал Глеб.

— Да, пани Мария и пан Владислав, нас ждут в полку.

— Ну хотя бы пообедайте, — жалобно попросил пан Смирнитский.

— От обеда отказываться не будем, — сказал Глеб

— Ну почему так? — плакала хозяйка, накрывая на стол. — Зачем так несправедливо? Такие молодые — и уже на войну.

Пока мужчины курили на веранде, стол, в шесть женских рук, был накрыт и, как и положено польскому столу, был необычайно хлебосолоен. Хозяин налил в рюмки польской водки и, встав, сказал:

— Я хочу одного — чтобы вы вернулись с войны живыми!

Все встали и выпили. Пани Мария опять заплакала. Слезы полились и из красивых глаз молодых девушек.

Сидели недолго, но как-то тепло и уютно, как бывает в хорошем доме, где все любят друг друга. И если Михаил Тухачевский был москвичом и знал, что такое родной дом, то Глеб почти четыре года не был в этом единственном для него родном доме и тепло домашнего очага почти

забыл — так, иногда бывал в гостях у своих товарищей по военному училищу. И от этого, забытого в военной муштре, в жизни в казарме душевного тепла, от этой всеобщей к нему любви и доброты ему было так приятно, но в то же время так грустно, что очень хотелось плакать, и он время от времени покашливал, чтобы скрыть заполонившие его душу чувства.

На прощание пани Мария расцеловала и перекрестила, как католиков, молодых людей, опять обратилась за помощью к Божией Матери, чтобы спасла и защитила ее сыновей, которых с этой минуты, как она выразилась, у нее стало двое, и вновь заплакала. Сестры поцеловали юношей в щеки и залились стыдливой краской. А провожавший офицеров к калитке Владислав Смирнитский вдруг грустно и тихо спросил:

— Варшаву немцам не отдадите?

— Как можно, пан Владислав? — воскликнул удивленно Михаил Тухачевский.

— Это я так... Извините... Мы вас ждем! — сказал, прощаясь, пан Владислав и, расцеловав на прощание молодых людей, все-таки не выдержал, заплакал и сквозь слезы добавил: — Берегите себя и своих солдат! Мы за вас молиться будем!

VII

Лейб-гвардии Семеновский — любимейший полк их императорских величеств. А как же иначе: первый регулярный полк молодого царя Петра. Потешные игры долговязого юноши, над которыми посмеивались преющие в шубах и шапках до потолка бояре и привели к его созданию. Это не стрельцы с пиками, которым бы поорать да водки выпить, а потом бегом домой, на печку, калачи с пирогами есть. Это русская гвардия!

Лучший полк русской армии и самый ненавистный у эсеров, большевиков и «бомбистов» с 1905 года, с русской революции: пока другие колебались, стрелять — не стрелять, полк на поезде приехал из новой столицы империи

в старую и быстренько разогнал восставших, не раздумывая, стреляя на Пресне по «пролетариям с камушками». А стрелять в полку всегда умели.

Попасть служить в лейб-гвардию — счастье для любого военного, а в лейб-гвардии Семеновский полк — это как получить погоны лично от самого Петра Великого. Солдатами в полк отбирали служить только русских, грамотных, рослых и голубоглазых.

Для командира Семеновского полка Ивана Севастьяновича фон Эттера полк был не просто родным, он был своим. Его отец, Севастьян Павлович фон Эттер, рожденный в Великом княжестве Финском, после окончания кадетского корпуса был зачислен прапорщиком в лейб-гвардии Семеновский полк и прослужил в полку двадцать лет! Прошел все офицерские ступени и в звании генерал-майора свиты его величества стал командовать полком. И сын его, Иван Севастьянович, после окончания Пажеского корпуса тоже был зачислен прапорщиком в Семеновский полк и, как отец, дослужился до генерал-майора свиты его величества и командира этого знаменитого полка! А такой чин — это уже «превосходительство». Так что Эттеры без малого пятьдесят лет отдали службе в лейб-гвардии Семеновском полку! Их это был полк, Эттеров. Все об этом знали, и никто не возражал — только уважали.

В свой финский род — высокий и красивый, с бородкой «под царя», выходец из высшего света и до мозга костей светский человек Иван Севастьянович не был боевым генералом. Отец — да: командовал бригадой во второй турецкой компании, был награжден золотым оружием «За храбрость» и дослужился до генерал-лейтенанта. А сын был «паркетным» генералом, и прозвище в высшем свете имел соответствующее: «Ванечка». «Ванечке» нравилось красоваться на балах, танцевать мазурку, щеголять знанием языков, говорить на русском с акцентом, влюблять в себя дам и, конечно, быть на виду у их величеств — он же генерал свиты. А тут война! Тяготился войной фон Эттер. Нет, не того, что могут убить, а что балов не будет.

— Ваше превосходительство, в приемной выпускники военных училищ подпоручики Михаил Тухачевский и Глеб Смирнитский. Разрешите пригласить? Кого первым? — спросил Эттера такой же щеголеватый, как его командир, адъютант.

— Пригласите, пожалуйста, обоих.

В кабинет командира полка вошли два высоких, стройных молодых офицера. Вытянулись и представились:

— Ваше превосходительство, подпоручик Тухачевский.

— Ваше превосходительство, подпоручик Смирнитский.

Эттер посмотрел на офицеров. Первое впечатление бывает самым точным — они ему сразу понравились: не просто, как указано в документах, лучшие выпускники, но и красавцы — как смотрятся! Приятно! Что значит гвардия! Хороши! Вздохнул — вспомнил, что вот так же выглядел лет двадцать назад. Впрочем, и сейчас неплох. Только что, утром, расстался с одной из своих воздыхательниц. Здесь, в Варшаве, тайно — война все-таки — командующий Северо-Западным фронтом и генерал-губернатор Варшавского военного округа Яков Григорьевич Жилинский собрал нескольких генералов, знавших друг друга не по полям сражений, а по красивым петербургским и московским вечерам; были дамы, сидели тихо, как-то по-семейному. Иван Севастьянович никогда не имел отказов от влюблявшихся в него с первого взгляда женщин, поэтому сразу выбирал самую красивую и уже от себя не отпускал. Впрочем, они не возражали. В этот раз выбрал голубоглазую полячку, жену местного чиновника — представил себя Наполеоном с пани Валевской. На дуэль никто не вызывал. Все было пристойно. Номер в гостинице был заказан и оплачен. Генерал остался доволен. Надеялся, что и она.

Холеной рукой Эттер поправил безукоризненно подстриженные усы.

— Господа офицеры, вам несказанно повезло попасть служить в гвардию!

— Так точно, ваше превосходительство! — ответили хором вытянувшиеся перед генералом молодые люди.

— Тогда рад принять вас в моем полку.

Генерал встал из-за стола, подошел к офицерам и, пожав им руки, вернулся к столу, взял два листа и сказал:

— У меня есть два рапорта от штабс-капитанов Веселаго и Хлопова. Они просят зачислить вас в их роты младшими офицерами. Вы согласны?

— Так точно, ваше превосходительство!

— Чуть потише, господа — не на плацу, и не в летних лагерях под Красным Селом, и не на параде в Царском Селе. Своими просьбами штабс-капитаны мне же и облегчили задачу. Тогда я подписываю ваши назначения во второй батальон капитана Данина. Вы, подпоручик Тухачевский, в седьмую роту, к штабс-капитану Веселаго, вы, подпоручик Смирнитский, в восьмую роту, к штабс-капитану Хлопову, — Эттер расписался на приказах. — Служите с честью. И всегда помните, в каком полку вы служите! — Генерал взял со стола два белых разлапистых нагрудных креста с мечом и вензелями императоров Петра I и Николая II и торжественно произнес: — Вручаю вам, господа офицеры, отличительные знаки нашего полка. Идите и честно и достойно служите нашему отечеству и своему императору!

Молодые люди, щелкнув каблуками, вышли из кабинета командира полка.

— Когда-нибудь и я буду генералом! — тихо, но совершенно серьезно сказал Тухачевский.

— Не сомневаюсь, Миша, что так и будет, и его превосходительством будешь, — поддержал своего друга Глеб Смирнитский...

Молодые офицеры поступили на службу в батальон капитана Данина. Сергей Петрович был известен в полку своими независимыми взглядами в вопросах войны и удивительным бесстрашием. Это бесстрашие он проявил еще в русско-японскую войну, где молоденьким подпоручиком, заменив убитого командира роты, с тремя десятками оставшихся от роты солдат дрался в течение нескольких часов, отбивая бесчисленные атаки японцев. В той роте прапорщиком служил доброволец Семен Веселаго. Оба за храбрость были представлены к «Георгиям» и по оконча-

нии войны как герои были зачислены в лейб-гвардию, в Семеновский полк.

Данин встретил молодых офицеров приветливо:

— Смотрите, господа подпоручики, хорошо. Посмотрим, что будет в бою. О вашем назначении уже знаю, так что не задерживаю, идите в свои роты. Вас там ждут. Форму получите там же. Балов не будет. На войну, господа офицеры, приехали.

На прощание Глеб и Михаил, по русскому обычаю, расцеловались.

— Я тебе, Глеб, хочу сделать подарок, — и Тухачевский протянул пистолет Браунинга с запасной обоймой. — У меня такое чувство, что он тебе пригодится и для меня службу сослужит. Рядом будем — встретимся.

— Спасибо, Михаил!

VIII

Пауль фон Гинденбург, всеми забытый, третий год сидел на генеральской пенсии в своем поместье в Позене, что в главной военной земле Германии — Восточной Пруссии; гулял с собаками, кабанов да косуль стрелял, а по вечерам, при жарком камине, раскладывал карты, да не игральные — тактические, и цветными карандашиками рисовал стрелки по территории Восточной Пруссии и Царства Польского и план Шлиффена проверял и перепроверял. И каждый сантиметр карты он проходил и каждого нужного для войны германского солдата считал и пересчитывал. И все знал, — а чего не знал, то, как умный человек, из газет узнавал, в которых всегда все обо всем написано. Ну еще кое-что сообщал в письмах его единственный друг Эрих фон Людендорф.

Гинденбурга почему-то не любили за очень важные для военного качества: он любил точность и не переносил опозданий.

А опозданий к нему за последние три года и не было — его все забыли, кроме земляка, офицера германского Генерального штаба, генерала Эриха Людендорфа. Да и тот,

когда навещал, заранее согласовывал свой приезд, и не только дату, но и время. Привычка. И был внешне полной противоположностью огромному, с торчащими большими прусскими усами Гинденбургу: стройный, невысокий, с короткой прической и аккуратно подстриженными усами. Людендорф был моложе Гинденбурга на восемнадцать лет, а они дружили! Когда-то совсем молоденьким выпускником юнкерского училища Эрих воевал под командованием Гинденбурга на франко-прусской войне. Тот заметил необыкновенные аналитические способности и четкую исполнительность своего земляка, взял его к себе в штаб и стал помогать развиваться военному таланту Людендорфа.

Альфред фон Шлиффен свой план «Закрывающейся двери» с битвы при Каннах, произошедшей аж в 216 году до прихода Христа в этот мир, переписал применительно не к Римской, а к Германской империи. И великолепный план у него получился: 39 дней — и Франции нет! По поводу этого плана кайзер Вильгельм II сказал: «Обед у нас в Париже, а ужин в Санкт-Петербурге!» Кайзер вообще, обращаясь к нации, заявил: «Немецкий солдат вернется домой с победой раньше, чем опадут листья с деревьев». Надо же, как точен был кайзер — листья опали, но только в ноябре 1918 года, с поражением Германии!

Интересно, а если бы Шлиффен не ушел в отставку в 1906 году и не умер за год до войны и немцы воевали бы точно по его плану, то от Франции хоть что-нибудь осталось бы за первые сорок дней начавшейся Великой войны?

Но Гинденбург не Шлиффена план рассматривал, а то, что от него оставил новый начальник германского Генерального штаба Хельмут фон Мольтке (младший).

— Ганс, — приказал он своему, еще со службы в армии, денщику, — принеси-ка нам пива и мяса; мне, как всегда, сырого.

В гостях у отставного генерала был Эрих фон Людендорф, которого только что выгнали из Генерального штаба за его резкие выступления против решения социал-демократов в Рейхстаге о сокращении расходов на военных. Он направлялся командовать пехотной дивизией на Западный

фронт и впервые приехал к Гинденбургу без согласования времени своего приезда. Но Гинденбург не только не возмутился, он необычайно был рад его приезду.

— Эрих, что ты думаешь об этих новшествах Мольтке? Ты тоже считаешь, что русские три месяца будут проводить свою мобилизацию и подтягиваться к границам нашей Пруссии? — спросил Людендорфа Гинденбург, прекрасно зная, что тот, как никто, хорошо знает план Шлиффена, так как сам участвовал в его разработке.

— Русские кое-чему за десять лет после поражения от японцев научились: и вооружение более современное, и подготовка солдат другая, и новые военные заводы появились, но нам, немцам, с нашей железной дисциплиной и жестокостью к противнику они и в подметки не годятся. Но все-таки это русские. У них есть один очень большой плюс — громадный опыт умирать! Как говаривал Великий Фриц: «Нам бы столько солдат и таких солдат!» Россия по сей день аграрная страна, и у нее нет такой военной промышленности, как у нас, она не выдержит атак наших славных гренадеров. Насчет трех месяцев я не уверен. У нас есть все их планы по развертыванию войск, но русские эти планы так часто меняют, что можно запутаться, где в них правда, а где блеф. Как они сами в них разбираются, никто не понимает. Вот сейчас уже девятнадцатый план; во всяком случае, против нас они организуют Северо-Западный фронт, против австрийцев — Юго-Западный.

— Так и нам, с нашими депутатами-социалистами, нечем похвастаться. Посмотри, какая безработица. Денег на армию и на вооружение нет. Как воевать? А воевать надо. Что думает кайзер Вильгельм?

— Он тоже считает, что план Хельмута Мольтке не так уж плох и что мы разобьем русских к осени. Но если за германского солдата я спокоен, то на австрияков я и ломаного гроша не поставлю. Боюсь, что после первых же столкновений они побегут, как всегда бежали, и нам придется не на два фронта драться, а на три.

— Ты имеешь в виду два русских?

— Да. В Польше и в Галиции.

— И что ты предлагаешь?

— Надо начинать, как и задумано, с французов, но не через Голландию, а через Бельгию!

— Молодец, Эрих! Ты читаешь мои мысли! Эти любители жаб все продолжают думать, что мы будем воевать за Эльзас и Лотарингию?

— Удивительно, но их план номер семнадцать об этом и говорит.

Вошел денщик Ганс с большим медным подносом, на котором были огромные фарфоровые кружки с пивом и куски жареного и сырого мяса.

— Ты все тот же, Эрих, — Гинденбург разгладил свои огромные усы, — все тебе обжаренное мясо нужно. Что значит штабист. А я — нет, не могу, привык к сырому мясу, чтобы кровь капала... — Гинденбург взял с подноса большой кусок жирной кабанины, насадил его на одну из шпаг, в большом количестве висевших на стенах родового замка, и стал жарить его на огне в камине. По залу разнесся запах горелого мяса. Гинденбург, сам громадный, как медведь, вытащил горящее мясо, бросил на блюдо на столе и, обжигаясь, стал рвать куски руками и отправлять их в рот — только усы потемнели от жира; и чтобы не обжечься, запивал горелое мясо большими глотками пива. Потом вытер руки о скатерть и продолжил:

— И все-таки что ты думаешь о Восточном фронте?

— А что я должен думать, Пауль? Там у нас всего одна армия — 8-я, да еще под командованием этого болвана Максимилиана Притвица; и это против двух русских армий. Они его в клещи возьмут и раздавят. Да еще этот дурак вздумает наступать.

— Ты так думаешь, Эрих? А я вот с тобой не согласен. Посмотри, кто у русских командует армиями: 1-й — тихоня Ренненкампф. Кстати, немец! Где отличился? В подавлении восстаний в Китае и в России. Его за это русский император Николай любит и награждает. «Не орел, но проявил твердость в 1905 году» — это не мои слова, это слова их императора. 2-й армией командует Самсонов. Это вообще не солдат. Ты смотрел его послужной список?

Наказной атаман Войска Донского, Туркестанский генерал-губернатор. И не забывай, Самсонов с Ренненкампом враги. Я тут выяснил, что в русско-японскую войну у них произошла настоящая потасовка на кулаках. Говорят, кое-как разняли. И они будут помогать друг другу? Не смешите меня!.. А над ними — командующий фронтом, Яков Жилинский! Бог мой, вот вояка так вояка. Военный агент на Кубе, советник на Гаагской конференции. Подумать только: будучи на русско-японской войне — не воевал! Правда, три года был начальником русского Генерального штаба. А перед этим всего-то командовал корпусом. И что сделал? Да ничего! И это командующий Северо-Западным фронтом? А ты говоришь, что русские реформу в армии провели? Пока этот тихоня Ренненкамф будет ползти, Самсонов, чтобы прославиться, побежит вперед. Тут-то и надо его бить. Первым! Лишь бы Притвиц сам на русских не побежал, как, кстати, и назад, за Вислу — с этого дурака станется!

— Пауль, меня смущает только одно: предостережение покойного Бисмарка о войне с русскими.

— Этот алкоголик много чего говорил. Тебя какое из них смущает?

— А вот, — Людендорф вытащил бумажку из кармана кителя и начал читать: «Даже самый благоприятный исход войны не приведет к разложению основной силы России, которая зиждется на миллионах собственно русских...»

— «Эти последние, даже если их расчленишь международными трактатами, — перебив Людендорфа, продолжил цитировать Бисмарка Гинденбург, — так же быстро вновь соединяются друг с другом, как частицы кусочков ртути». Ты это высказывание имел в виду, Эрих?

— Какая память! — восхитился в ответ Людендорф.

— Кому нужна моя память, а главное, мы же не высказываниями будем воевать, а армиями. И лучше германской армии в мире нет. Еще бы ей генералов поумнее.

Людендорф подошел к столу и стал внимательно смотреть на вычерченные рукой Гинденбурга стрелки на картах.

— Интересно, откуда у тебя, Пауль, такие подробные сведения? Тут все просчитано.

— Эрих, голова дана человеку прежде всего, чтобы думать. Я имею в виду генеральскую голову. Солдат не должен думать, солдат должен исполнять приказы и умирать за свое отечество.

— Пауль, можно сделать тебе предложение?

— Конечно, Эрих. Я же здесь, в одиночестве, тупею среди этих карт.

— Чтобы осуществить твой план войны на Восточном фронте, я бы предложил часть войск провести между Мазурскими озерами и спрятать там. В нужный момент они и ударят Самсонову во фланг. Такой вариант предлагался в генштабе, но на него не обратили внимания. Согласно плану Шлиффена, прежде чем бить русских, надо разбить Францию. Это только дураки думают, что мы будем воевать на два фронта. И с этой одной 8-й армией и с Притвицем во главе как бы нам русские не дали пинка под зад, когда мы будем расправляться с французами и повернемся к ним спиной...

— Хорошо, что в Генеральном штабе есть такие умницы, как ты, Эрих! Только я давно все обдумал, — Гинденбург вытащил из вороха карт одну. — Смотри! Вот она, настоящая война! И место это — Танненберг!

Людендорф посмотрел на стрелки, бегущие по карте, удивленно поднял брови и восхищенно сказал:

— Великолепно, Пауль. Только я где-то это видел... Вспомнил: в армии, у Притвица, в штабе служит Макс Гофман. Я его знаю еще по работе в Генеральном штабе, он в русском отделе служил. Так он, кажется, это и предлагал, но его никто не слушал?

— Макс Гофман, говоришь? Проверим — не утекли ли мои расчеты... Ладно. Теперь еще один к тебе вопрос: кто из нынешних наших генералов в состоянии воевать с русскими? Я не говорю о тебе, ты — лучший! Но ты штабист. Кто? Кроме Притвица, конечно.

— В у Притвица есть два отличных генерала: командиры корпусов Август фон Макензен и Отто фон Белов.

Макензен прошел все ступени службы — от вольноопределяющегося до командира корпуса. Правда, староват — шестьдесят пять. Но, думаю, если ему дать возможность самостоятельно воевать, он сотворит чудеса.

— Значит, говоришь староват в шестьдесят пять. Если мне шестьдесят семь, то я, по-твоему, глубокий старик?

— Я не тебя имел в виду, Пауль.

— Ладно. Что скажешь об Белове?

— Пятьдесят семь лет. Из семьи военных. Отец — генерал-майор. Тоже прошел все ступени службы от командира роты до командира корпуса. Но пока над ними обоими будет нависать Притвиц, они вряд ли смогут проявить себя.

— Хорошо. Осталось немного — мне вернуться в армию. И я уверен — это наступит очень скоро. Даже раньше, чем мы думаем!.. Или ты так не думаешь, Эрих? — Гинденбург тяжело, басом, как все очень большие люди, засмеялся. Потом резко оборвал смех и положил на стол одну из карт. — Эрих, вот карта германских границ на Западе. Если наступление будет проведено не через Голландию, а через Бельгию, то обрати внимание на крепость Льеж — там можно практически решить исход войны и, разбив бельгийцев, нанести французам сокрушительное поражение. Но запомни: Льеж без тяжелых орудий не взять. Можешь туда добавить авиацию. Пусть массированно бомбят: толку ноль, но наведут панику и страх. Я тут посчитал: у Германии всего одно преимущество в технике — это в тяжелых орудиях. В восемь раз! Вот этим и воспользуйся. Когда ты их там разобьешь и возьмешь Льеж, надеюсь, ты не забудешь замолвить словечко перед Мольтке за своего старого друга.

— Пауль, я еду командовать всего лишь дивизией в армию Отто фон Эммаха. Это, во-первых, а во-вторых, Льеж — это не орешек, это камень!

Гинденбург достал и разложил на столе схему фортов Льежа.

— Откуда у тебя схема? — удивленно спросил Людендорф. — Такая есть только в Генеральном штабе!

— Эрих, ты забыл, что я генерал и в предыдущей войне громил этих лягушатников так, что от них только петушиные перья летели. Оттуда и схема. Посмотри сюда. Только тяжелые орудия решат участь фортов Льежа. Бить надо сюда, сюда и сюда! — Гинденбург потыкал толстым пальцем в схему. — И еще: в расположении фортов есть одно уязвимое место — между фортами Флером и Эвенье... Вот тут... Я все рассчитал, Эрих. Пусть Эммах наступает, где хочет, — он будет только терять наших славных гренадеров, а ты, друг мой, постарайся ударить именно здесь, и вся слава достанется тебе.

— Но Эммах не так глуп.

— Я знаю. Отто — хороший вояка, но будь сам собой, Эрих. Ты думаешь, если тебя выгнали из Генерального штаба, то твоя жизнь и твоя карьера военного закончились? Ничего подобного! Поверь мне, это только начало твоего, а может быть, и моего величия. Да, кстати, мне писал сын, что будет воевать под твоим началом. Ты помнишь этого непоседу?

— Оскар. В каком он сейчас звании?

— Всего лишь лейтенант. И это в тридцать один год! Нынешние руководители в военном ведомстве не любят вспоминать героев предыдущих войн. От произношения нашей фамилии у них начинают болеть зубы.

— Пауль, ты хочешь, чтобы я его спрятал в штабе?

— Я хочу, чтобы ты в нужный момент поставил его на острие атаки! Я говорю о Льеже! Эрих, мы никогда не знаем, что нам подкинет в следующий момент судьба! Главное, не забудь, когда станешь национальным героем, своего старого друга!

— О чем ты, Пауль? Как ты можешь так говорить? Мы же с тобой друзья!

— Я о старости, Эрих, о старости...

Людендоф поехал на войну, а «старик» Гинденбург остался один на один со своими знаниями.

Как в воду глядел отставной пенсионер. А может, прекрасно все рассчитал в тишине лесов?

IX

Дядя царя, великий князь Николай Николаевич Романов, длинный, как коломенская верста, разглаживал усы и бородку клинышком. С июня 1914 года Лукавый, как звали в свете за чрезмерное честолюбие и жажду власти великого князя, стал Верховным главнокомандующим всеми сухопутными и морскими силами Российской империи. Император хотел сам возглавить армию, но побоялся, да и умная жена, Александра Федоровна, отговорила. В армии Колю Лукавого любили — за храбрость, за хамство и мат, за любовь к войне. Вот и Ставку Верховного главнокомандования он создал, и Государственный совет обороны.

Это потом, когда смертельно прижало, большевики вспомнили, что до них в России тоже умные люди были.

Верховный пригласил в Ставку под Барановичами командующего Северо-Западным фронтом Якова Григорьевича Жилинского и командующих армиями: 1-й, Павла Карловича Ренненкампа, и 2-й, Александра Васильевича Самсонова. На столе были развернуты карты той части Польши, которая принадлежала Германии. Ну не России же. Доктрина у России всегда была одна — война на чужой территории. Только получалось почему-то все наоборот!..

Обсуждался план удара двумя русскими армиями по 8-й германской армии Максимилиана Притвица. На картах все проходило прекрасно. А если учесть, что на совещании не было ни одного боевого генерала, то решения принимались быстро и согласованно.

— Наша задача, — говорил великий князь, — взять в клещи армию Притвица, разбить ее и дальше двигаться на Познань.

Командующий фронтом Жилинский поставленную задачу конкретизировал:

— Ваша, Павел Николаевич, — обратился он Ренненкампу, — армия ударом с севера отрезает Притвица от Кенигсберга и движется навстречу армии Александра Васильевича. Ваша, Александр Васильевич, армия обходит Мазурские озера и ударяет в районе Алленштейна в пра-

вый фланг германской армии, не давая ей отступить за Вислу, и смыкает «клещи». У вас, господа, колоссальный перевес в войсках. Под вашим началом почти двести тысяч солдат. Да вы Притвица должны раздавить! Я как командующий фронтом в этом уверен. Все приказы подписаны. Император, отечество, народ ждут от вас победы!

Все уже начали вставать, чтобы отбыть к войскам, как вдруг, расправив усы, генерал Ренненкампф обратился к Верховному главнокомандующему:

— Ваше высочество, а если Александр Васильевич вовремя не повернет на германца, я ведь один на один с Притвицем останусь?

— Как вы можете, Павел Николаевич! — с возмущением воскликнул Самсонов и непроизвольно дернул себя за бороду. — Ваше высочество, что он говорит? Вы, ваше высокопревосходительство, оскорбить меня хотите? Не выйдет — не девятьсот четвертый год! Чего тут сложного-то — пройду мимо Мазурских озер, поверну вправо и германцу в бок и ударю! Вы сами-то, Павел Николаевич, вовремя поверните! Знаем мы вас: не ко мне навстречу пойдете, а к Кенигсбергу побежите. Славы захотели? Одним ударом судьбу войны решить, так ведь, так, Павел Николаевич? Так мыслите?

— Ваше высочество, да о чем таком говорит Александр Васильевич? Это оскорбительно! Да я вас... на дуэль...

— Прекратите, господа! — Верховный встал, и его коротко стриженная седая голова замаячила где-то под потолком. — Как вам не стыдно — судьба войны решается, а вы тут разбираетесь, кто из вас лучше воюет. Разбейте Притвица! Вдвоем! У вас для этого есть все! Идите, господа! Нам необходима эта первая победа. Отечество ждет ее от нас. Я уже доложил о планах государю... Он ждет этой победы и не сомневается в вас. Да, кстати, к вашей армии, Александр Васильевич, придается лейб-гвардии Семеновский полк. Поставьте его впереди, на острие атаки, чтобы немцы видели, кто на них идет! Весь полк, конечно, не надо — все-таки семеновцы. Один-два батальона.

— А мне? — спросил Ренненкампф.

— Не могу. Мало ли что... Лейб-гвардия...

— Впрочем, мне даже лучше... Меньше мороки, — тихо прошептал Ренненкампф.

Командующие выехали в войска на невиданном для войны транспорте — автомобилях.

Самсонов ехал и думал: «Вот сволочь этот Ренненкампф. Немец, мать его. Ничего, ты бейся-бейся, а я германца-то посильнее обойду, да не во фланг, а вообще в тыл ему зайду. И все лавры победы мне и достанутся!»

А ехавший к своей армии Ренненкампф тоже злился: «Ишь ты, девятьсот четвертый вспомнил! А Жилинский-то, сука, промолчал — как же, ни в одном бою не участвовал, а командующий фронтом. И не надейся, Александр Васильевич, что я тебе помогать буду! Жди, как говорят русские, когда рак на горе свистнет! Я Притвица и без тебя разобью и пойду не к тебе навстречу, а, как ты правильно заметил, на Кенигсберг! Познать-то мне зачем? Пусть ее Самсонов и берет. В самое сердце немцу надо ударить, в прусский Кенигсберг!»

Павел Николаевич Ренненкампф все делал, как предписывалось: послал в разведку кавалерийскую дивизию генерала Гурко. Гурко 14 августа проскакал 20 верст и не встретил противника! Он даже город захватил — Макграбов, о чем срочно сообщил командующему; правда, в городе германских войск не оказалось. Были резервисты, но без оружия, и при виде русских всадников они разбежались по домам с ратушной площади маленького городка, где пили, покачиваясь и громко напевая, хорошее немецкое пиво. Гурко с казачками тоже пивка попробовали, плюнули — не казацкий напиток, показали удивленно и со страхом глядящим в окна жителям городка джигитовку с шашками и пиками и... ускакали обратно за государственную границу — домой!

Так прошли первые три дня этой войны!

Ренненкампф задумчиво боялся — где противник? Медлил, но все-таки через три дня топтания приказал: «Вперед... не спеша...» — и вся армия — 65 тысяч человек с пушками, лошадьми, пулеметами — стала тихонечко пе-

реходить границу. Шли, а противника все не было. Ренненкампф испугался: может, ловушка, заманивает германец?

Но не все боялись, — вперед вырвался корпус генерала Штейнбока: двигался без разведки, без охранения, колоннами, с развернутыми знаменами! Штейнбок уже представлял, как он первый настигнет отступающего противника и разгромит его. Ренненкампф послал ему приказ: «Остановитесь! Подождите основные силы». Да куда там — вперед, за славой! «Этот старый немецкий пердун еще приказывать мне будет! Выиграю битву и займу его место, — засмеялся, прочитав приказ, Штейнбок. — Немца на немца поменяем».

Максимилиан фон Притвиц, старый вояка, когда узнал, что русская армия перешла границу, в своем штабе собрал генералов и ткнул пальцем в карту:

— Армию двигать сюда, к Гумбиннену — вот место, где мы разобьем русских. Генерал Макензен, ваш корпус на острие их атаки. Генерал Белов, прошу ваш резервный корпус как можно быстрее привести к Гумбиннену и помочь Макензену.

— Но, ваше превосходительство, — задали вопрос штабисты, — что делать со 2-й русской армией? Самсонов, согласно решению русской Ставки, должен вот-вот выдвигаться и ударить нам во фланг.

— Да бросьте вы вспоминать этого Самсонова. Пока он обогнет Мазурские озера, мы разобьем Ренненкампфа. Надо же: немец против немца — что у русских за армия, когда в войне с нами командуют их армиями немцы же? Ну ладно бы лет сто-двести назад, а то ведь в наше время! Впрочем, у них и императрица — немка. Итак, мой приказ: армии идти к Гумбиннену и готовиться к битве.

Но и в немецкой армии тоже не все было в порядке с дисциплиной. Командир корпуса Герман фон Франсуа, как и русский генерал Штейнбок, решил, что он выиграет начало этой войны, и, наплевав на приказы Притвица, повел свой корпус на русских. Притвиц, узнав, приказал: «Остановитесь и идите к Гумбиннену!» Ответ не заставил себя ждать. «Приду, когда разобью русских!» — заявил бравый командир и вышел в лоб на праздню идущие колонны кор-

пуса Штейнбока, а так как увидел русских первым и шел без песен и развернутых знамен, то так дал по русскому корпусу: смял и разбил пехотную дивизию — почти вся дивизия полегла, а русские солдаты и офицеры, которые не погибли, попали в плен. Генерал Франсуа открытым текстом по радио сообщил о своей победе над русскими и погнал захваченных русских, как скот, в плен, как когда-то гнали в полон русских тевтонские рыцари. Когда командир 25-й пехотной дивизии генералу Семенову доложили о перехваченной радиограмме немцев, то тот таким же открытым текстом начал ругаться:

— Штейнбок, сука немецкая, прославиться решил! А надо идти выручать.

— Как? — спросили офицеры штаба дивизии. — Дивизией против германского корпуса?

— Там наши, русские солдаты умирают! Вперед!

Семенов свою дивизию бросил вдогонку Франсуа, догнал и так измолотил, что, побросав орудия и пленных, brave немецкий генерал с огромными потерями кое-как оторвался от преследования и с поникшей головой появился перед командующим армией Притвицем.

— Ну что, навоевался, генерал? Опозорил германскую армию. Хрен бы с ним, что солдат потерял, но ты германский дух победителей в наших солдатах подорвал. Иди, занимай с остатками своего корпуса место на поле боя — если от тебя и твоих солдат ничего не останется, я плакать не буду. Твой командир с сегодняшнего дня Август Макензен. Он тебе быстро мозги вправит! Пошел вон!

Ренненкампф к Гумбиннену подошел фронтом аж в 50 километров — всего тысяча солдат на километр! И опять же русским повезло: перед армией стоял один Макензен. Да и этот brave генерал, по-видимому, тоже решил получить лавры победителя русских. В надежде, что его успеет поддержать корпус Белова, Макензен направил своих солдат в атаку... и поплатился. Кое-чему русские и правда научились после войны с Японией. Корпус был встречен таким ураганным артиллерийским огнем, что, оставив восемь тысяч убитыми, Макензен бесславно отступил.

Когда дым над полем боя рассеялся, открылась страшная картина: некоторые убитые не упали, а стояли и смотрели мертвыми глазами, а черепа их были срезаны снарядами; мертвые лошади лежали вместе с мертвыми седоками, и над всем полем боя стоял нестерпимый запах сгоревшего пороха и сгоревших трупов. Про противогазы еще никто не знал, и чтобы не задохнуться, русские солдаты мочились на тряпки и закрывали ими носы.

А Белов все тихонечко шел, шел... и наконец пришел; узнав обстановку, он спешно отошел с поля боя, заявив, что он в резерве и никаких дополнительных указаний не получал.

Ренненкампф, как Кутузов после первого дня Бородинской битвы, отдал приказ: «Германца гнать!» — но когда узнал, что потери его армии составили 17 тысяч солдат, приказ отменил — пусть и другие повоюют. И сколько ни посылали угроз в его адрес из Ставки, командующий армию не сдвинул с места.

Притвиц же отдал приказ спешно отступить за Вислу — за что и поплатился! В германском Генеральном штабе быстро нашли виновника поражения: выгнали Максимилиана Притвица с должности командующего армией, обвинив его в поражении и неспособности руководить войсками, что и подтвердили генералы Макензен и Белов, а также Герман Франсуа, который больше всех кричал, что, если бы не Притвиц, он бы русских разбил, и назначили нового командующего армией... Пауля Гинденбурга.

Но вначале была слава Гумбиннена и позавидовавший такой славе Самсонов, который точно в согласованный Ставкой день повел свои войска через границу, к месту своего несмываемого позора — на Танненберг!

Х

Когда немцы разбили корпус Штейнбока, в плен попал и штабс-капитан, командир роты Александр Глебович Переверзев. Штабс-капитан был прекрасным офицером и имел хороший послужной список. Да, не воевал, и что?

Большинство офицеров в таком звании не воевали. И для многих эта война была счастливой картой, единственной возможностью, быстро, если повезет, дослужиться до штаб-офицерских званий и должностей командиров полков, а это уже дворянство, ордена и личный доход. Чего греха-то таить — на войне убивают, и не только солдат, но и генералов, и по должностной лестнице даже карабкаться не надо — главное, останься живым! Каждый считал, что он и есть тот счастливчик, которому повезет. Александр Переверзев очень хотел стать полковником, как его отец, иметь «Георгия» и иметь еще детей с любимой женой — единственный ребенок, сын Никита, уже взрослый — двенадцать лет, тоже хочет, как дед и отец, стать офицером, готовится поступать в кадетский корпус.

Рота со своим командиром дралась необычайно смело, отбивала атаку за атакой, когда закончились патроны, пошла в штыковую и почти вся полегла! Штабс-капитану повезло — контузило взрывом, потому и остался живой. Его, оглушенного, полуслеплого, не понимающего, где он находится и что с ним, вместе с двумя такими же ранеными русскими офицерами немцы забросили, как бревна, в телегу и повезли по тряской сухой дороге в плен. Переверзев плотно, в обнимку, лежал между этими двумя офицерами, и только его голова моталась из стороны в сторону, и от этого мотания, от этой сдавленности он время от времени терял сознание и даже не заметил, что его товарищи по несчастью умерли. У первого была маленькая дырочка в полевой гимнастерке, чуть повыше ремня, и его живот наполнялся из продырявленной осколком кишки калом, раздувался от газов; раненый кричал, его рвало, и он этой зловонной рвотой захлебывался, заливал своих товарищей, а потом затих и умер. А у второго всего-то была сломана кость голени, но так как ему не оказали помощи и не наложили шину, то от тряски отломки его кости ходили друг против друга, терлись, скрипели, и он вначале кричал матом и молил Бога, чтобы его пристрелили, а потом — как говорил великий русский хирург Николай Пирогов: «Бойся тех, кто молчит!» — замолчал, посинел и умер от болевого шока.

И Переверзева бы не довезли — экая потеря для немцев, но вмешались судьба и дивизия генерала Семенова. Когда немцев разбили и пленных освободили, то солдаты, выгружая лежавших в телеге трех офицеров, решили, что они все мертвы, и понесли их облеваннные, вонючие тела к выкопанной наскоро могиле. И в самый последний момент, когда один из солдат брезгливо доставал из карманов убитых документы, ему вдруг показалось, что мертвый штабс-капитан тихо-тихо застонал. Солдат испугался, размашисто закрестился и заорал: «Санитары!» Санитар не спеша подошел к убитым, и солдат, показав трясущимся пальцем на мертвого штабс-капитана, прошептал: «Этот, кажись, живой». Санитар, старослужащий и поэтому повидавший на своем веку всякого, как учили, достал и поднес к губам мертвого маленькое зеркальце, и оно — о боже — запотело! И это маленькое зеркальце и эта дымка на его поверхности спасли жизнь Александру Переверзеву.

Штабс-капитана отправили в тыл, где он отлежал два месяца в лазаретах. Жизнь ему спасли, а душа как будто перекосилась: Переверзева стали периодически мучить страшные головные боли, от которых не было спасения; не помогали ни лекарства, ни компрессы; эти боли иногда переходили в приступы эпилепсии. В конце концов военная комиссия признала штабс-капитана негодным для войны и выдала маленькую бумажку, по которой Александр Переверзев становился простым гражданским человеком.

Бывшего офицера указом его величества наградили низшей офицерской наградой — орденом Станислава III степени, без банта и отправили на пенсию по инвалидности. Если бы штабс-капитан потерял руку или ногу, то его на каждом углу Москвы встречали бы как героя, защитившего отечество, а так он стал никому не нужным человеком с одиноким орденом на френче без погон.

Любимая жена, недолго думая, мужа-инвалида бросила и ушла к одному из тысяч расплодившихся сразу, с первого дня войны, спекулянтов, гордо называвших себя «новыми буржуа», при этом оставив Переверзеву и двенадцатилет-

него сына. Из всего имущества у бывшего штабс-капитана осталась небольшая двухкомнатная квартира и фотография отца — героя, погибшего на русско-японской войне полковника Глеба Переверзева. Когда-то принадлежавший полковнику большой дом после его смерти как-то быстро оказался отписанным дочери его второй жены, и Александру Переверзеву в сущности ничего и не досталось, кроме дворянского звания. Так это уже были времена, когда дворянские звания не кормили. Правда, как офицеру — инвалиду войны чиновники пошли навстречу: его сына Никиту приняли в Московский кадетский корпус на полное государственное обеспечение, а так бы дворянский род Переверзевых пошел по миру с протянутой рукой. Переверзев хотел устроиться на какую-нибудь работу, но его как инвалида «на голову» не брали — отказывали под любым предлогом. Вначале это обижало, потом злило, потом наступило равнодушие. Чтобы снять периодически возникающие нестерпимые головные боли и утихомирить всплывающую откуда-то из груди злобу на всех, Переверзев все меньше и меньше стал выходить на улицу — сидел в своей комнате и пил водку... Иногда, в день получения очередной пенсии, выпив, вдруг вскакивал и шел в ресторан, где веселился московский свет — буржуа, штабные офицеры и множество прехорошеньких женщин. Заказывал графин водки, какой-нибудь закуски, к которой не притрагивался и пил, смотрел на веселящихся окружающих и наливался злобой на эту праздную публику, на окружающий мир, на войну, на власть... орал и ругался, и его выводили из ресторана и предупреждали, чтобы больше не приходил — не пустят. Он на какое-то время затихал, а потом опять напивался, и все начиналось по новой — до мельчайших деталей одинаково. Он уже не стремился искать работу — кому нужен инвалид, пусть даже войны? Их, этих инвалидов войны, становилось в России с каждым днем все больше и больше: безногие ползали по улицам и площадям городов на деревянных тележках, безрукие и слепые, с обезображенными взрывами лицами, протягивали обрубки на папертях. Кому нужен дворянин, бывший штабс-капитан, инвалид

Александр Глебович Переверзев — только сыну, и более никому.

XI

Вот вам и судьба с этим Гинденбургом. Военные штабы нескольких стран годами операции разрабатывали, как немцев в Пруссии разбить, а пенсионер все их планы, вечером у камина в карты поигрывая, да не в игровые — в военные, и разгадал. Все на фронте происходило и случилось именно так, как и предвидел и предсказал Пауль фон Гинденбург.

Для захвата Льежа германским Генеральным штабом была создана группировка из шести отдельных пехотных бригад под командованием генерала Отто фон Эммаха, которую красиво назвали «Мааская армия». Дивизия Людендорфа вошла в состав бригады генерала Ганса Вюссова по прозвищу Дебил. Как Дебил дослужился до генерал-майора, одному Богу известно, ну еще некоторым чиновникам в Рейхстаге и правительстве — он был чьим-то родственником. Он знал всего одну команду: «Вперед!». Ему бы века на три раньше служить! Впрочем, и другие командиры бригад были не намного умнее Вюссова. Мааская армия пошла в лоб на великолепно укрепленные форты Льежа, да еще бельгийцы взорвали мосты через реку. Немцев расстреливали из пушек, а тех, кто все-таки доходил или доползал до фортов, бельгийцы приканчивали из пулеметов. Это было побоище! Убитые немцы столь плотно лежали перед фортами, что защитники выходили из фортов и растаскивали в стороны трупы, чтобы вести огонь! И так атака за атакой.

Людендорфу надоело исполнять приказы Дебила и укладывать в штабеля своих солдат; при невыясненных обстоятельствах генерал Вюссов был убит шальной пулей (немецкой?), и командиром бригады назначили Людендорфа — командующий Эммах был чуточку прозорливым, да и генералов в запасе у него не было.

Умница Людендорф, став командиром бригады, сделал так, как ему советовал Гинденбург: притащил на свои

позиции тяжелую артиллерию, договорился с авиацией — те нанесли массированный бомбовый удар (впервые в мире) по фортам, правда, убили всего семь человек, но страху навели. А Людендорф ударил из тяжелых орудий и методично стал разрушать форт за фортом, а потом пошел во главе гренадеров в атаку, в стык между фортами Флером и Эвенье, закрепился на противоположном берегу и, обогнав свои войска, на автомобиле (!) доехал до главной цитадели города. Бельгийцы, не оказывая сопротивления, сдались! За взятие Льежа Людендорф получил высший орден Пруссии — «Голубого Макса» и стал национальным героем. Сын Гинденбурга был все время в первых рядах атакующих войск. Людендорф помнил просьбу своего друга.

Путь на Париж был открыт. А французы все ждали, когда немцы будут воевать за Эльзас и Лотарингию!

И как все хорошо начиналось у немцев на Западном фронте: точно по плану «Закрывающейся двери», если бы не русские.

Хельмут Мольтке вызвал Людендорфа в германский Генеральный штаб.

— Забудем обиды, Эрих? — сказал Мольтке. — Не я тебя выгнал из Генерального штаба и скажу тебе честно, и мне эти крикуны-социалисты поперек горла стоят. Наше дело, Эрих, война и победы. Ты видишь, что происходит на Восточном фронте? Позор! У нас все силы брошены на взятие Парижа. Я предлагаю тебе возглавить штаб 8-й армии. Притвицу не хватает мозгов, а солдатам его армии успеха — они полностью деморализованы.

— Никогда! — перебил начальника Генерального штаба Людендорф.

— Что «никогда»? Я не понял, генерал, — вы отказываетесь исполнять приказ во время войны? Вы знаете, что за это полагается? Расстрел! Вы что о себе возомнили? По-видимому, не зря вас называют Выскочкой!

— Ваше превосходительство, вы меня неправильно поняли! Я имел в виду то, что пока 8-й армией будет командо-

вать Максимилиан Притвиц, я не хочу быть в ней начальником штаба.

— Ну... как гора с плеч! И кого ты, Эрих, предлагаешь вместо Притвица? — радостно спросил Мольтке.

— Гинденбурга! — был ответ.

— Не смейся, Эрих! Старик Пауль, наверное, давно забыл, как на карты смотреть, все по лесам кабанов стреляет.

— Ошибаетесь, ваше превосходительство! Он единственный, кто может спасти Германию на Восточном фронте!

— Ну, раз единственный... и только из уважения к тебе, Эрих, я сейчас же отдам приказ о назначении Гинденбурга командующим 8-й армией. Пусть возвращается. Думаю, хуже не будет, если в армии вместе с тобой будет и он. Какая тебе еще помощь нужна? Только не ввязывайтесь в драку с русскими — ты же знаешь, нам нечего снимать с Западного фронта. Главная наша задача — быстрее поражение Франции!

— Позвольте вас поправить, ваше превосходительство: не Гинденбург при Людендорфе, а Людендорф при Гинденбурге. И только так!

— Хорошо, хорошо. Я знаю, что вы друзья. Только помни Эрих, о чем я тебя просил: не ввязываться в драку... хватит нам Притвица! Ваша задача — имеющимися силами сдерживать наступление русских, пока мы не расправились с лягушатниками. И старину Пауля об этом предупреди. Иди, Эрих, да поможет вам Бог.

— Ну-ну, посмотрим, — посмеиваясь, сказал, выходя от Мольтке, Людендорф, — сейчас старина Пауль покажет вам, как он забыл карты... И Бог ему вряд ли для этого будет нужен.

Гинденбург как будто ждал посыльного с приказом из Генерального штаба о своем назначении — несколько не удивился. «Ганс! — крикнул денщику. — Поехали!»

Вышколенный десятилетиями службы Ганс взял уже уложенный генеральский чемодан и понес к коляске. Правда, по дороге спросил:

— Карты брать?

— Стареешь, Ганс, — ответил Гинденбург и, постучав пальцем по своей голове, произнес: — Все здесь. Все до последней деревни и последнего солдата!

Старикан Гинденбург пришел в разбитую 8-ю армию вместе с Людендорфом и сразу же вызвал к себе в штаб генералов Макензена и Белова. Генералы думали, что они пойдут в отставку вслед за бывшим командующим армией Максимилианом Притвицем, а Гинденбург, расправив свои огромные усы, прорычал с высоты своего роста:

— Что, обос... перед русскими?! И кто вас разбил при Гумбиннене? Немец! Вот что, Август и Отто (Гинденбург был поклонником Фридриха Великого в вопросах простоты обращения к подчиненным), у вас есть возможность смыть этот позор. Пока этот осел Ренненкампф остановился и думает куда идти, быстро собирайте свои бегущие корпуса и ведите их вот сюда, — показал на карте, — вот этим путем.

— Но там же озера? — спросил удивленно Макензен.

— Точно, не пустыня. Вот этим путем пройдете. Ты, Август, станешь здесь, ты, Отто, — здесь. Когда Самсонов свою армию проведет между вами, тогда и разрежете его на части.

— А он пройдет здесь? И когда? — удивился Белов.

— Здесь и через три дня. Так что галопом скачите.

— Но это же армия! Мы что, двумя корпусами ее разобьем?

— Эрих, — обратился Гинденбург, к присутствующему начальнику штаба армии Людендорфу, — и ты говорил, что эти молодцы могут свернуть горы, если им дать волю? Что-то мне не верится. Они — трусливые кролики, а мне нужны волки. Мне что, вас заменить, или вы хотите стать героями нашего отечества? Почему двумя — забирайте всех, и как можно быстрее заберите корпус у этого придурка Франсуа, пока он его совсем не угробил.

— Мы все поняли! — хором ответили генералы. — Мы задушим армию Самсонова.

— Ничего вы не поняли! Разбить Самсонова — это половина дела. Надо разбить его моментально, после чего развернуться и разбить Ренненкампфа. Понятно?

— Так точно!

— Посмотрим, как вы поняли. Эрих, усиль их артиллерией и отдай им все боеспособные части. Кстати, отдай им эти две русские уродины — броневые автомобили. Посмотрим, как они себя покажут в бою. Я все-таки думаю, что вы там, в Генеральном штабе, ошиблись, когда отказались их у нас производить. На хрена тогда мы их украли? Любоваться, что ли? На них посмотришь, и сразу с... хочется от страха. Вот русские молодцы: вроде и создать ничего путного не умеют, а смотрите, какое оружие! Когда еще танки-то появятся — все обещают?

— А как они, ваше превосходительство, между озер пройдут? — спросил фон Белов.

— Надо будет — на руках протащите! Вы меня еще благодарить будете, что я вам дал такое оружие. Скольким солдатам жизнь сохранит. Мы не русские, мы своих солдат беречь умеем.

— А Ренненкампф? С ним что делать? Он же может нам в спину ударить?

— Не ударит, Август, не ударит! На сдерживание Ренненкампфа оставим парочку дивизий, и пусть они перед ним так шумят, чтобы он трясся от страха и думал, что против него стоит вся наша армия. И еще одно: смотрите сюда — вот место, — он показал на карте, — где вы Самсонова будете бить, — Танненберг. Ничего вам не говорит? Вот что значит молодежь, не знающая истории своей страны! Здесь в тысяча четыреста десятом году произошла знаменитая Грюнвальдская битва, где наши предки — тевтонские рыцари потерпели поражение от поляков. А вместе с поляками против наших предков тогда дрались литовцы и русские. Так что пора отомстить за тот позор! Ребята, в бой! Не посрамите старика Гинденбурга! — и уходящим генералам, в спину, глухо проговорил: — Август, там у тебя командиром батальона капитан Оскар Гинденбург — не жалеть, бросать в самое пекло!..

А как хорошо, как красиво шли русские полки!

ХП

Коля Лукавый вызвал в Ставку командующего Северо-Западным фронтом Жилинского и задал всего один вопрос:

— Яков Григорьевич, вы тут в рапорте о состоянии дел на фронте приписку какую-то непонятную сделали, да так мелко, что я кое-как с лупой прочитал, что командующий 8-й германской армией Максимилиан фон Притвиц снят с должности и Мольтке назначил новым командующим армией какого-то Пауля Гинденбурга. Кто этот Гинденбург? Что эта замена значит? И кто такой новый начальник штаба 8-й армии Эрих Людендорф?

— У нас очень мало сведений по Гинденбургу. Он уже три года как генерал в отставке. Воевал на двух войнах. Уже три года на пенсии. Зачем его поставили вместо Притвица, непонятно. Видимо, у Мольтке действующих боевых генералов не хватает, — Жилинский мелко засмеялся. — Смешно — пенсионеров призывают обратно в армию. Что касается Людендорфа, то до войны он занимался в германском Генеральном штабе мобилизацией. Был снят со своего поста и отправлен на Западный фронт. Командовал пехотной дивизией, затем бригадой. По полученным сведениям, отличился при захвате Льежа и был награжден за взятие этой бельгийской крепости «Голубым Максом».

— Это что еще за награда? Я о такой не слышал.

— Так немцы называют свой высший прусский орден «За заслуги». Кстати, Людендорф с Гинденбургом — земляки и друзья. Поэтому, наверное, вместе и назначены.

— И все-таки что нам от этих назначений ждать?

— Да ничего. Эта моя приписка, ваше высочество, — так, к сведению. Что можно ждать от разгромленной армии, возглавляемой пенсионером?

— Да, Германия, мы ожидали от тебя чего-то большего... чем генералов-пенсионеров. Ну и хорошо. Как там Александр Васильевич?

— Все идет согласно утвержденному Ставкой плану. Самсонов с Ренненкампом берут 8-ю германскую армию

в клещи, и никакие смены командующих немцам уже не помогут. Разбиваем 8-ю и далее на Познань и на Берлин!

— Хорошо звучит: «на Берлин!». И не думалось, что так быстро с немцами расправимся!

ХІІІ

Гвардейцы рот Веселаго и Хлопова считали, что им необыкновенно повезло: из Семеновского полка только батальон капитана Данина был направлен в бой. Так — показать себя, пройти с развернутыми знаменами впереди войск. Царское Село, да и только! А то гвардия — и вдруг не воюет? Остальные батальоны полка оставались на территории Польши. Хлопову и Веселаго завидовали все офицеры, а какая радость и возбуждение были у Тухачевского со Смирнитским! Через несколько дней по прибытии в полк — и уже в бой.

— Эй, молодежь, — кричали им, — всех немцев не перебейте! Нам оставьте. Все хотят иметь ордена!

— Может, чего-нибудь и оставим, — весело кричали они в ответ.

Архип Ферাপонтов чего-то объелся и слег в лазарет.

— Не выздоровеешь к моему возвращению — замечу! — пригрозил Тухачевский.

— Как можно, ваше благородие. Обижаете... Ой, извините, в кусты мне надо. Съел чего-то...

— Как бы у тебя, Архип, не медвежья болезнь?

— Как можно, ваше благородие... Ой, побегу. Я день-два травки попою и вас догоню. Не сумлевайтесь...

Архип побежал в кусты. Тухачевский покачал головой и, задорно засмеявшись, побежал к батальону, который рота за ротой выстраивался ровными волнами перед командиром полка его превосходительством генерал-майором фон Эттером.

— Семеновцы! Лейб-гвардия! — кричал поставленным за десятилетия военной службы голосом Эттер. — Вы идете в бой защищать святую русскую землю от поругания ворогов. Перед вами враг, который напал на наше отечество.

Как при Полтаве, как при Бородине не посраим себя — умрем за царя и отечество! В бой, семеновцы! Да пребудет с вами Бог! Вперед! — слышно было, как слезливо задрезжал в конце речи голос командира полка.

— Батальон-он... Шагом ма-а-рш! — скомандовал зычным голосом капитан Данин, и батальон как выдохнул — раз, и повернулся сотнями солдат, и пошел строем перед фон Эттером с вынутыми, сверкающими на солнце шашками офицеров и начищенными штыками гвардейцев; и всем им с нескрываемой завистью смотрели вслед оставшиеся офицеры и солдаты полка — вот повезло-то: сейчас день-два — и засверкают награды на их груди. В армии Самсонова уже было известно, что немцев разбили при Гумбиннене и они отступают и бегут за Вислу, и их армии осталось только успеть ее догнать, добить... и получить ордена. Впереди ждала слава!

Как-то необычайно началась для молодых офицеров эта война. Без единого выстрела входила армия в Восточную Пруссию — непривычно тихо и легко. Немцев не было видно. Впереди пролегла широкая дорога. В воздухе птички поют. Справа Мазурские озера плещутся, слева кустики с редким лесочком. Жарко. Построившись в колонны, роты, батальоны, полки, дивизии, корпуса пошли по этой дороге. Шинели в скатках, форма легкая, летняя, обмотки на ногах чистые, ботинки новые, а у гвардейцев сапоги скрипят, офицеры и вестовые на сытых, пританцовывающих от этой сытости лошадях... красота! Песен и развернутых знамен только не хватает. Из строя никто в кусты по нужде не выбегает — не положено без приказа. А сбегали бы — может, и не так радостно шли: увидели бы, как из дальних кустов, из озер смотрят на идущую армию в бинокли немецкие офицеры, как поднимаются на нужный угол артиллерийские стволы, пулеметы расчехляются, запалы на гранатах проверяются, штыки к винтовкам привинчиваются... Зачем разведка? Какой противник? Главное — успеть догнать бегущего за Вислу немца. Шире шаг! Как же счастливо на сердце у командующего армией, его высокопревосходительства, генерала от кавалерии, награжденного аж три-

надцатью орденами и золотым почетным оружием, Александра Васильевича Самсонова. Имя-отчество-то какое!

Генерал Самсонов приказы Ставки знал, да, как бывает на Руси, по-своему их понимал: раз немца нет, то не к Ренненкампфу поближе пошел, чтобы, согласно планам, «клещи» армии германской устроить, а стал влево отворачивать. Говорят, что у человека при ходьбе у правой ноги шаг шире и идет он не по прямой, а зигзаг делает — влево. Вот Александр Васильевич зигзаг влево и сделал. И так был уверен в своей непогрешимости, что когда немец с флангов «под корень» по его армии ударил, то все вперед приказывал идти и сам к войскам выехал. А приказы отдавал по радио открытым текстом!

И почему у нас, у русских, всегда как-то так... не так?

И все происходило, как Гинденбург предсказывал: Ренненкампф после победы под Гумбинненом остановился то ли от радости, то ли от страха, а когда уже стали из Ставки на него орать, еле поплелся и отвернул вправо к Кенигсбергу, а Самсонов побежал вперед и влево. Вот из Мазурских озер Гинденбург, оставив против Ренненкампфа всего две дивизии, одна из которых была вообще из необстрелянных резервистов, ударил по армии Самсонова.

Ах, как красиво шли русские войска!

Когда загрохотало со стороны озер и начали взрываться снаряды, то никто ничего и не понял. И только когда еще и с другого фланга понеслись снаряды, начали соображать — немец разрезает армию на части. И командующий армией со звонким военным именем-отчеством принял такое, кажущееся ему единственно правильным и верным решение: он в этот, еще открытый мешок стал проталкивать свою армию вперед, как сеledку в сеть, плотно набивая в узком пространстве войска, выталкивая на голую равнину, в поле. Даже прозорливый Гинденбург такого не мог предвидеть — русские сами себя загоняли под снаряды и пулеметный огонь!

Немцы сдавливали петлю на теле армии, отсекая корпуса, а командующий Самсонов зачем-то выехал в войска, в окруженные части, вместо того чтобы заниматься своей

прямой обязанностью — руководить и спасать армию. Немцев-то было в пять раз меньше! Самсонов со всем своим штабом забрался в немецкий котел и начал отдавать приказы, опять же открытым текстом, один глупее другого и устроил такую неразбериху и хаос, что никто уже не понимал, что делается и что делать. Армия и побежала... назад, где немец петлю уже сдал и ее ждал. Все по Гинденбургу!

А какая радость была у генералов Макензена и Белова — наконец-то их заметили, наконец-то они могут себя проявить. И кто их заметил — пенсионер Гинденбург. Гинденбург был тонкий психолог: развел генералов в стороны и каждому отдельно сказал: «Фас!» Завидующие друг другу и желающие только для себя славы генералы бросились рвать русскую армию — кто сильнее и злее!

XIV

Батальон семеновцев шел впереди, шаг у гвардейцев широкий — по росту и шаг. Может, и ожидали встречной атаки немцев, которой все не было, да и успокоились, чуть не бежали от радости — ушли вперед значительно.

— Господин капитан, остановиться бы, оторвались от своих основательно. Подождать бы... Да и устали люди, жарко, — просили Данина.

— И где немец? И что за война? — командир батальона открыл карту и пальцем по ней провел, а потом этим же пальцем указал вперед: — Вон, видите, вдалеке лесок — там будет привал. Сообщите по ротам.

И понеслось по взводам и ротам радостно: «Прибавь шаг! Скоро привал — там, в лесочке...» И сразу повеселели и уже над усталыми, пыльными людьми понеслось:

— Наконец-то, а то мочи нет, так-то шагать который час...

— Что, неужели не научился терпеть на парадах-то?.. Там стоишь, стоишь... и-ии...

— Откуда ему уметь-то? Он всего-то по третьему году...

— А-а! Ростом вымахал — башкой в небо упирается, а терпеть не научился. Ты со своей колокольни привал-то не

просмотри. А то пробежим мимо... Все уж накурятся, а мы так и будем бежать...

— Куда ты там побежишь-то, когда по колено все под ногами развезет от ст...ки? Впереди нас две роты, они такие озера нальют: прежде чем ты дойдешь до привала — застрянешь!

— Ха-ха-ха... Правильно сказали, господин ефрейтор.

— А правда, говорят, что в старые-то времена у семеновцев чулки были красными?

— Ты к чему это? Но правда. Говорят, под Нарвой-городом по колено в крови семеновцы стояли, а не дрогнули, вот царь Петр и приказал такую форму им носить.

— А сейчас чего?

— А тебе что, портянки или обмотки красные выдать?

— А-а... Тогда, конечно, да...не надо.

— Не бойсь, сейчас желтыми будут!

И смех, и сразу усталости на лицах меньше, а где-то и хот. А командиры прикрикивают: «Разговорчики! Прекратить! Шире шаг! Куда ты поперся в сторону? Потерпишь». Да куда уж шире — почти бегом. Хорошо в гвардии — начальников над ней нет, она сама по себе: хочет — идет, хочет — стоит. Властен над ней только государь. Ну и Бог, конечно.

И когда немец ударил по корпусам армии с флангов, то это было далеко, за спиной, позади батальона, а впереди не было никого — во всяком случае, никто в лицо не стрелял. Здесь было тихо, а там — нарастающий вой и взрывы снарядов, пулеметные очереди и далекие, далекие крики.

Командир батальона капитан Данин, как знал, как умел, как учили, как на учениях, собрал прямо в поле штаб из командиров рот и их заместителей. Пришли и штабс-капитаны Веселаго с Хлоповым и своих младших заместителей — подпоручиков Тухачевского и Смирнитского привели с собой, пусть учатся воевать.

Сергей Петрович Данин, высокий, полноватый мужчина, страдал одышкой и от этого говорил с каким-то придыханием:

— Господа офицеры, позади нас идет бой. Откуда здесь противник, я не знаю. Мы же идем на соединение с армией Ренненкампа и сами должны окружить восьмую армию немцев. А тут удары по флангам... Что будем делать? Разворачиваемся? Прошу высказываться.

— А чего решать — надо разворачиваться! — громко сказал Хлопов.

— Допрыгались! — зло произнес Веселаго. — Как на параде шли! Мы же не знаем, какими силами противник наступает. Но то, что не малыми, понятно — все-таки против целой армии дивизию или корпус не бросишь. Интересно другое — почему впереди-то такая тишина? Странное окружение? Сил у противника на полное окружение нет? Или еще ударят в лоб как раз по нашему батальону?

— Прошу еще высказываться, господа офицеры. Важно выслушать всех.

— Принимать решение вам, Сергей Петрович. Так принимайте решение, и пойдём в бой. Умрем — так умрем за царя и отечество, — прозвучало из уст одного из командиров. И все стали высказываться, и все как один: «В бой! За царя, за отечество!»

— Все? Больше никаких предложений нет?

Перед Даниным стояли не трусы, не паникеры — офицеры императорской лейб-гвардии, и он это понимал и потому старался выслушать всех, хотя знал, что решение примет он, только он, и это решение он уже для себя принял, но медлил сказать об этом, а почему медлил — он и сам не знал. И когда он уже хотел отдать приказ об отходе назад, раздался тихий, спокойный голос подпоручика Смирнитского. Данин даже удивился, насколько был ровен и спокоен этот голос.

— Позвольте высказаться, ваше высокоблагородие?

— Да? — удивился Данин. Он удивился, что обращался не офицер штаба, не ротный командир, а младший заместитель, которому он разрешил присутствовать только по просьбе штабс-капитана Хлопова.

— Господин капитан, если немцы хотят отсечь и окружить, пусть даже часть армии, то надо идти не назад, а

вперед. Если мы повернем назад — мы в окружение сами и войдем!

— Как ты можешь, Глеб? Там же товарищи наши дерутся! — вспыхнул Тухачевский.

— Спокойно Михаил, не мы с тобой здесь принимаем решение. Я с позволения Сергея Петровича всего лишь высказываю свое мнение и предлагаю идти вперед и тем самым не попасть в окружение, пока немец это окружение нам не устроил.

— Ты... ты, Глеб, неправ, — тихо сказал Тухачевский.

— Ты еще скажи, что я трус, ну и сразу на дуэль...

— Я такого и не говорил, и не думал.

— О, как сцепилась молодежь! — вдруг засмеялся Веселаго. — Точно до дуэли дойдет.

— Может, мне вам, подпоручики, командование батальоном передать? — зло спросил Данин.

— Извините, господин капитан.

— А вы, подпоручик Смирнитский, уж больно осторожный. Вас пригласили для того, чтобы вы слушали, но не вмешивались. Там бой идет, связи нет, армия позади, командующий позади. Приказываю: развернуться и идти назад, — сказал Данин. Он знал свой приказ.

— Есть, — почему-то за всех ответил штабс-капитан Хлопов. — Правильно. Оружие к бою и спешным маршем вперед.

— Точнее, назад. А мне кажется, Смирнитский прав, — вдруг сказал Веселаго. — Сергей Петрович, может, не всем батальоном пойдём, а разведку отправим — один-два взвода?

— Семен Иванович, вы знаете: я всегда к вам с уважением отношусь и, по-видимому, соглашусь с вами и на этот раз. Кого пошлем?

— Сергей Петрович, прошу — пошлите моих, — продолжил капитан Веселаго. — Вот под командованием подпоручика Тухачевского и пошлите.

— А почему это ваших, Семен Иванович? Давайте так: взвод от роты штабс-капитана Веселаго и взвод из моей роты, под командованием... подпоручика Смирнитского, — предложил Хлопов.

— Прекратите, господа офицеры. Точно — что подчиненные, что командиры. Не стоит сейчас выяснять, кто лучше, — остановил спор капитан Данин. — Пусть идут два взвода роты штабс-капитана Веселаго под командованием подпоручика Тухачевского. И аккуратно, подпоручик, где перебежками, где ползком. А для осторожного или осмрительного подпоручика Смирнитского тоже дело найдется: штабс-капитан Хлопов, выделите под начало подпоручика взвод, и пусть он займет вон тот лесок, — Данин показал вперед рукой, — и если там немцы — выбить. Всех лошадей передать Смирнитскому, ему нужна скорость. Всем остальным занять оборону. Солдатам лечь на землю, а то в этом голом поле являемся для противника прекрасной мишенью. Жаль, лопат нет — хотя бы окопались. Пусть штыками роют. Подпоручик Тухачевский, в бой старайтесь не вступать, мне нужно знать, что происходит.

Шестьдесят рослых гвардейцев под командованием Тухачевского перебежками, ползком за час добрались до мечущихся, не понимающих, что делается, передовых частей армии и увидели месиво из мертвых русских солдат, стоны раненых и страх в глазах оставшихся в живых. Солдаты, не слыша команд, бегали под пулеметным и артиллерийским огнем, ложились на землю и прижимались к ней, готовые, как черви, зарыться в нее. А куда спрячешься — ни окопов, ни оврагов, ровенькая земля с цветочками да кустиками. И умирали глупо, даже не видя врага в лицо. Паника, неразбериха и страх — вот что увидел Тухачевский. Михаил, под огнем, смело встал и крикнул:

— Офицеров прошу подойти ко мне, — стали подползать прапорщики, поручики и один капитан. — Господа, для паники нет места, прикажите своим солдатам взять оружие, раненых и двигаться туда, вперед, вон к тому лесу, там наш батальон. Гвардейцы будут отходить последними.

— Что это вы себе позволяете, подпоручик? Наверное, только из училища, а туда же — командовать? Здесь я командую! Это корпус генерала Благовещенского, вот он и может нам приказывать. Это я могу вам приказать. Понят-

но? И мы не трусливые зайцы, чтобы драпать при виде противника.

— А я и не предлагаю драпать, господин капитан, я предлагаю отойти вон к тому лесу. Там находится наш батальон лейб-гвардии Семеновского полка. Прикажите сами. А насчет противника — я что-то его не вижу. Вы лучше меня должны понимать: останетесь здесь — всех перебьют артиллерией.

— А-а-а, лейб-гвардия, «паркетники»! Ни за что русский офицер не прикажет солдатам отступить. Пусть лучше славная смерть на поле боя, чем... — капитан договорить не успел — позади него разорвался снаряд и капитан, уже мертвый, упал и придавил Тухачевского к земле. Тухачевскому помогли выбраться из-под убитого, и он, отряхивая землю, вдруг засмеялся и весело спросил:

— Ну что, господа офицеры, здесь остаетесь или пойдете к нашему батальону?

Гвардия — не просто элитные части, но и очень хорошо обученные для войны офицеры и солдаты. На службу в гвардию подбирают молодых парней по всей стране и по особым меркам: чтобы русские, рослые, здоровые, грамотные, выносливые, — штучно подбирают. И готовят их к войне не просто «коли-руби», а чтобы умели отлично стрелять из винтовок и пулеметов, бросать только появившиеся на вооружении гранаты, ходить в атаки и быстро и беспрекословно выполнять приказы своих командиров.

Где словом, а где и оплеухой пехотные офицеры с помощью гвардейцев приводили в чувство ошалевших от страха солдат. Приказывали: «Бери раненых, оружие и ползком отходите вон туда...» И поле вдруг задвигалось — солдатам что надо: четкий и ясный приказ, и они, не бросая винтовок, таща на себе раненых товарищей, поползли от этих, им уже казавшихся открытыми ворот ада туда, вперед, и были необычайно счастливы от того, что им приказывают, и понимали, что, выполняя этот приказ, они отдаляются от грома выстрелов и взрывов, от своей, минутой назад казавшейся неминуемой смерти. Сотни солдат, как гусеницы,

ползли по полю, и это коричневое поле вдруг, как море, заходило зелеными волнами.

Немцы заметили непонятное для них движение русских слишком поздно — они считали, что на этом участке армия Самсонова уже разбита, а оставшиеся в живых солдаты деморализованы и, когда окружение будет полностью закончено, без сопротивления, легко сдадутся в плен. Ну а кто не сдастся... Для немцев главным было расчленить армию Самсонова на части и эту отсеченную часть окружить и уничтожить. В сжимающемся полукольце в страхе бегали и умирали десятки тысяч русских солдат. И если какая-то сотня-другая этих солдат вырвется и убежит, то куда они денутся — побегают и сами сдадутся через день-два.

Потеряв под артиллерийским огнем несколько нижних чинов, Тухачевский со своими гвардейцами вывел к батальону двести живых боеспособных офицеров и солдат из других полков и сотню раненых; вынесли на плечах — носилок не было.

Тухачевский с веселой улыбкой стал докладывать капитану Данину:

— Господин капитан, там месиво, полная неразбериха, хаос и паника. Немцы просто размазывает армию из орудий. Никто ничего не знает. Поговорите с офицерами, вышедшими с нами, они вам расскажут, что там происходит. Смирнитский оказался прав: нам необходимо как можно быстрее идти вперед, пока нас тоже не перебили артиллерией.

— А чему вы так улыбаетесь, подпоручик?

— Радости боя!

— Ну-ну. Молодец, подпоручик Тухачевский. Отходим, — приказал капитан Данин. — Вон к тому лесу. У Смирнитского там какая-то тишина — неужели немцев нет? Отход прикрывает рота штабс-капитана Веселаго. Раненых и оружие не бросать. Присоединившихся к нам офицеров и солдат временно подчиняю штабс-капитану Хлопову. Я думаю, господа офицеры не будут возражать? Знакомиться будем в лесу. Все, выступаем...

Глеб Смирнитский со своим взводом на лошадях столь стремительно ворвался в лес, что находившиеся там немцы

даже не поняли, что скачущие на них рослые солдаты — русские, и продолжали спокойно играть в карты и курить сигареты, а когда сообразили, что это противник, то уже было поздно и они стали быстро поднимать руки вверх. «Сдающихся в плен не убивать!» — успел крикнуть Глеб и, подскакав к стоявшему с разинутым от удивления ртом фельдфебелю, погрозил ему подаренным Тухачевским браунингом — про висевшую на боку шашку Глеб забыл. Немец сразу сообразил, что надо делать, залепетал о матери и детях и высоко вытянул кверху ладони. Без единого выстрела небольшой лесок был занят. Удивило, что даже патронные ленты не были вставлены в пулеметы. Глеб, приказав связать пленных и занять оборону, поскакал обратно к командиру батальона Данину.

XV

Августу Макензену доложили, что русские — батальон, не меньше — стараются вырваться из окружения. Макензен разозлился: как, почему, кто позволил? Но переносить огонь орудий с зажатых с флангов корпусов русской армии не захотел. Он вызвал получившего за взятие Льежа сразу звание капитана и теперь командующего батальоном гренадер сына Гинденбурга Оскара и приказал ему перебить русских.

— Оскар, ни один русский не должен уйти от смерти на этом поле нашей великой славы. Иди и перебей их. Можешь пленных не брать! — в приказе Макензена уже слышались гордые нотки голоса будущего знаменитого генерал-фельдмаршала. — И, кстати, возьми эти две железяки — бронеавтомобили, пора испытать их в бою. Русским оружием — и по русским. Отлично! Вперед, Оскар! Твой великий отец смотрит на тебя и восхищается тобой. Я приготовил для тебя погоны майора, возвращайся с победой, — а сам испугался и подумал: «Может, не посылать? Если он погибнет, Гинденбург меня расстреляет. Но он же сам приказал направлять его сына в пекло... А тут какое пекло — добить бегущих русских? Пусть идет. Зато потом

отпишу отцу, как он славно воевал, — смотришь, и мне что-нибудь перепадет от такой славы».

Немцы не ожидали сопротивления: шли в полный рост, страшась и сторонясь едущих рядом с ними двух гремящих, закрытых металлическими листами автомобилей с торчащими стволами пулеметов из башен, и натолкнулись на прикрывающую отход батальона роту штабс-капитана Веселаго.

Не зря же в русской армии тоже появились перед самой войной гранаты: пусть неудобные, большие, тяжелые, но оказалось, что против этого, прижавшего солдат к земле пулеметным огнем немецкого оружия они оказались необычайно эффективными. Первый, вырвавшийся вперед броневик подорвал Тухачевский: изловчился, подполз и бросил гранату — та упала под передние колеса, взорвалась, и автомобиль, громяхая металлическими листами, перевернулся набок. Немцы залегли и стали стрелять из винтовок; второй броневик отъехал назад, за цепи немцев, и по залегшим гвардейцам из него понеслись пулеметные очереди. В бронеавтомобиле сидел капитан Оскар Гинденбург и с удовольствием давил на гашетку пулемета. И все больше и больше раненых и убитых от этого прикрытого броней огня было в роте Веселаго.

Батальон уходил к лесу, а сзади слышалась винтовочная и пулеметная стрельба, и все понимали — там насмерть дерется рота Веселаго. Штабс-капитан Хлопов злился и громко требовал от командира батальона остановиться и вернуться на помощь своим товарищам. Данин был непреклонен, требуя отходить к лесу, пока перед ним не возник на лошади, весь в пыли, Смирнитский.

— Господин капитан, немцы, находившиеся в лесу, взяты в плен, лес свободен, потерь нет, солдаты занимают оборону, захвачены два пулемета.

— Молодец, подпоручик, — и, повернувшись к Хлопову, Данин приказал: — Ну вот, сейчас идите и помогите штабс-капитану Веселаго.

— Я предлагаю, господин капитан, — заикаясь от волнения, проговорил Хлопов, — обойти немцев, зайти им в тыл и попытаться уничтожить.

— Хорошо, господин штабс-капитан, действуйте.

— Пойдемте, подпоручик Смирнитский, пора выручать вашего друга Тухачевского. Рота, слушай мою команду! — крикнул Хлопов.

Так уж повелось в русской армии: самым храбрым доверяют прикрывать отход своих боевых товарищей. Пусть ценой своей жизни. От солдат роты Веселаго зависела жизнь батальона. Развернувшись овалом, в две цепи, оцетинившись винтовками, сберегая патроны, эти сто солдат отбивали одну за другой атаки немцев. Иногда идущих в атаку немцев встречали штыками. Русский штык был превосходным. Гвардейцы падали — вставали, стреляли и отходили. Еще и раненых за собой тащили. Но этот второй броневедомитель! Как кучно и прицельно он бьет — головы не поднять. А уж чтобы из винтовки достать... Немцы, легко потеряв первый броневедомитель, второй берегли и на бросок гранаты русских не подпускали. Те пробовали и погибали. А немцы под прикрытием огня пулеметов из круглой железной башни броневедомителя все ближе и ближе подходили к залегшим гвардейцам — уже вытащили гранаты и схватились за запальные шнуры. Граната у немцев на длинной ручке, легче русской и бросается далеко. Еще чуть-чуть — и хватит, чтобы забросать русских этим новым смертельным оружием. Удивляло немцев только то, что противник был удивительно спокоен; казалось, он никуда не спешил: стрелял — отходил, стрелял — отходил. Русские не кричали, не ругались матом, они, как на учениях, почти механически выполняли самую трудную и самую нужную солдатскую работу — воевали, и в этом спокойствии чувствовалась такое мужество, такое единство, что казалось, нет силы, которая заставит их побежать в панике.

Повезло Тухачевскому, что ранило легко и в руку. А должно было в грудь и насмерть!

И откуда только выскочили немцы? Рядом. В пылу боя не заметили, как они близко подобрались, — бросили гранаты и, когда те взорвались, бросились на оглушенных и раненых гвардейцев, стреляя в упор. Тухачевский, засыпанный землей, вскочил, оглушенный, двоих убил из нагана,

схватил лежащую на земле винтовку, вскинул на бегущего немца и только услышал щелчок; дернул затвор — патронов не было. «Все! — быстро подумал. — Смерть!» Вдохнул и увидел, как немец свою винтовку поднимает и, прижав приклад, целится в грудь. Неслось в голове: «Чего целиться с десяти-то шагов? Не Пушкин же!» Немец выстрелил. Руку обожгло, а немец упал. И вместо него вдруг возник Глеб Смирнитский!

— Хороший пистолет ты мне подарил, — захрипел подскочивший Смирнитский. — Жаль, последний патрон. Ранен? Дай перевяжу.

— Пустяки. Потом. Спасибо, Глеб! Ты мне жизнь спас! А ты здесь откуда?

— Так вас выручаем. А то вы немцев всех перебьете и нам никого не оставите или, не дай бог, погибнете героями всем на зависть. А насчет спасенной жизни — брось, для чего же ты мне такую прелесть-то подарил, чтобы я не проверил, какой он в бою? — удивительно спокойно, посмеиваясь, прокричал, наклоняясь к уху Тухачевского, Смирнитский. Сунул браунинг в кобуру и добавил: — Отходим, Миша.

Больше немцы в атаку не шли. Некому. Зашедшие им с тыла гвардейцы Хлопова в штыковой атаке их разметали. Остатки побежали. Быстрее всех с поля боя, подскакивая всей машиной, гремя железом, убежал с поля боя броневтомобиль с Оскаром Гинденбургом. Убить врага — да, немцы были готовы, а самим умирать не хотелось. Особенно когда русские так дерутся. Вот если бы артиллерию в помощь — тогда да! Немцы своих солдат стараются беречь! Понимают — не бесконечные. Не русские, те... у-у... Правда, Оскар Гинденбург солдат не берег, но свою жизнь терять не хотел. Когда он, весь пыльный, пропахший сторевшим порохом, появился перед Макензенем, тот радостно, оттого что капитан жив, воскликнул:

— Как дела, Оскар? Где русские?

— Нет русских — почти всех перебили, может, десяток-другой выскользнул, а так почти два батальона уничтожили.

— А сам сколько потерял?

— Почти всех. Герои! Хорошо, что у нас броневышки были. Но один сразу подорвали гранатой.

— Молодец, Оскар! Я сейчас же доложу главнокомандующему о твоём героизме. Забирай погоны майора — они твои по праву. У меня командира полка убило: пушка разорвалась — ему голову и оторвало; иди, принимай полк. Я думаю, твой отец не будет возражать, что я тебе, майору, полк доверю. Заслужил. И быстрее до полковника послужишься. Иди, добивай русских! Героям слава, мертвым память!

XVI

Батальон вошел в лес. У гвардейцев погибли два взвода, и полсотни солдат были ранены. Двести офицеров и солдат из других полков были организованы в одну временную роту. Огонь разводить запретили. Но солдатам было не до огня и еды — они, смертельно усталые, лежали на земле и спали. Тяжелее всех было раненым, но для них собрали всю воду, все бинты и выделили санитарями солдат, умеющих делать перевязки и ухаживать за ранеными. Срочно делали самодельные носилки из срубленных жердей и шинелей.

А сзади, до горизонта, слышалась непрерывная артиллерийская канонада и пулеметно-винтовочные выстрелы, вздымалась земля, и с этой землей взлетали человеческие тела, оторванные руки и ноги, по полю металась обезумевшие лошади, а сотни, тысячи русских солдат набивались в образовавшиеся от взрывов снарядов воронки в надежде, что «снаряд не попадает дважды в одно место», и лежали в них, плотно прижавшись — вместе мертвые и живые, надеясь спастись от несущегося с неба смертельного огня. И если снаряд попадал в такую воронку, то сразу всех и хоронил в этой братской могиле. А оставшиеся в живых, обезумевшие, уже не боялись и спокойно ходили по полю боя, наклонялись и с детской наивностью рассматривали убитых, радуясь, как радуются малые дети игрушкам, увиденному оружию, кускам одежды, оторванным рукам и ногам...

И генерал Благовещенский — наверно, такой же обезумевший — бросил свой корпус и успел убежать в тыл! Один! Этот генерал об офицерской чести, наверно, не думал. Да и о своих солдатах тоже.

Полукольцо сжималось, вытесняя русских вперед, к возможному спасению, а все стремились вырваться и бежали назад, к границе, где их расстреливали немецкие пушки и пулеметы.

Александр Васильевич Самсонов от позора застрелился. Честь — никому!

Заместитель командующего армией генерал Клюев после смерти Самсонова подергался-подергался и, построив в три колонны один из корпусов, под шквальным огнем повел его из окружения, но, положив убитыми несколько тысяч солдат, приказал сдаваться! Всем! Генерал тоже, наверно, честь свою никому не отдал...

Немцы добивали 2-ю армию! Так бесславно Россия вступила в Отечественную войну. Вторую.

XVI

Второй день батальон капитана Данина вместе с вырвавшимися из окружения солдатами других полков медленно отползал обратно к польско-германской границе. Могли бы и быстро пройти, но движению мешало большое количество раненых. Шли по всем правилам войны: с привалами, впереди — разведка. Неунывающий, казалось, не устающий Михаил Тухачевский, с разрешения командира батальона собрав вокруг себя три десятка таких же шальных солдат и унтер-офицеров, уходил в разведку — рыскал на лошадях впереди, натыкался на немцев, вступал в стычки, огрызался и отходил. Так на ощупь и шли.

А слева все грохотало — немцы уничтожали русскую армию. Окопная-то война еще не началась. Шли побеждать! Какие там лопаты...

Глеб Смирнитский забылся коротким сном. Ему, как всем, во время этих коротких привалов хотелось только одного — уснуть. Еще тогда, после первого боя в лесу, он

не испытал ни чувства страха, ни упоения от победы, ни жалости или ненависти к противнику. Он восхитился только одним — что он жив! Он с первой минуты этой войны стал выполнять свой долг офицера, делать все так, как его учили много лет в лучших военных школах России. Ему не снились ни убитые солдаты, ни стоны и крики умирающих, ни люди в серой военной форме, в которых он стрелял и которые либо молча умирали, либо с криком падали и корчились в нестерпимых муках предсмертной агонии. У Глеба не было ненависти к врагу — он был военным человеком. Ему было жалко только своих, русских солдат, и не потому, что они погибали, а что они так бездарно погибали, не принеся пользы своей отчизне и своим боевым товарищам. Может быть, в нем просыпалась тысячелетняя кровь его предков-воинов, и он старался воевать умело и без страха, без мысли «убьют — не убьют» — он был слишком молод, чтобы думать об этом. Он не шептал молитв и не просил Бога защитить его; он старался убить врага, враг старался убить его. В нем постепенно, по крупинкам, по капельке крови выковывался офицер. Русский офицер...

Странный Глебу снился сон — как в немом кино, что показывали в кинотеатре «Арс» на Архиерейской улице Петербурга. Бой идет: взрывы снарядов, люди почему-то с саблями бросаются друг на друга, кричат безмолвно, колот и рубят, падают, и над полем боя самое современное оружие — аэроплан кружит. А в середине поля большой шатер, какие ставит летом на Московской стороне цирк «Шапито». Глеб входит в шатер — и правда цирк: звери бегают по кругу, размалеванные клоуны плачут, акробаты кольца крутят, сальто вращают, и над всеми, высоко под куполом, на трапеции, девушка, красивая, стройная, с короткой прической каштановых волос и голубыми глазами. Зрители в ладоши хлопают. Глеб им кричит: «Что вы делаете? Уходите скорей, бой идет. Война!» А они как будто не слышат: клоуны продолжают смешить публику, которая от удовольствия смеется и утирает радостные слезы. Девушка на трапеции призывно машет Глебу рукой, трапеция опускается ниже, и она вдруг кричит ему: «Уходите! Вправо!»

Глеб проснулся, как от толчка. Голова болела. Подумал: «К чему бы это? Надо уходить вправо? Пойти и сказать штабс-капитану Хлопову? Засмеет, скажет: сон вещий видел? И все равно надо сказать. Верно — не на учениях. Война».

Смирнитский подошел к отдохавшему Хлопову.

— Господин штабс-капитан, разрешите обратиться с предложением?

— Я вас слушаю, господин подпоручик. Только быстро, сейчас выходим.

— Надо уходить вправо.

— Почему?

— Не знаю — надо.

— Приснилось, что ли? Так вы, подпоручик, сны-то из головы выбросьте — война. Тухачевский из разведки вернулся — чисто впереди.

— Надо уходить вправо, господин штабс-капитан.

— Вот заладил, подпоручик. Голову напекло?

— Не знаю почему, но надо уходить вправо, господин штабс-капитан.

— Заладил. Оставайтесь здесь, я к Сергею Петровичу.

Хлопов ушел, а к удрученно стоявшему Глебу подошел быстрый Тухачевский.

— Глеб, еще верст десять — и выйдем к своим.

— Ты прав, Михаил, только надо идти правее.

— Брось, я только что со своими орлами впереди на три версты все обшарил — никого. Мы и так крюк большой делаем, немец-то далековато слева остается. Слышно же по канонаде.

— Не знаю, Миша, почему, но надо.

— Там правее болото.

— Вот вдоль болота и пройти.

— Да ну тебя. У нас же раненые. Все, я пошел в свою роту.

Вернулся штабс-капитан Хлопов.

— Ох, уж вы, подпоручик... Сергей Петрович вам поверил. Решено вновь в разведку послать отряд Тухачевского — еще раз проверить. А раненых вести вот тем правым

лесочком, вдоль болот. С ними пойдете вы, господин подпоручик. И чтобы больше ничего не приснилось... Не возражать — это приказ.

Две сотни раненых и солдат, несущих носилки, уставшие, с провалившимися серыми, грязными лицами, с оружием, стали уходить вправо к болотам и скрылись в кустарниках. Вместо бинтов — окровавленные оторванные куски нательных рубах. Хорошо, что мелкие ручьи по пути — есть не хотелось, смертельно хотелось пить.

Пройдя всего две версты, отряд Тухачевского наткнулся на один из полков генерала Белова, который как будто ждал русских. Он в клочья разметал отряд, уничтожая пулеметным огнем. Тухачевского еще раз ранило, но опять, слава богу, легко — в другую руку. От немцев, отстреливаясь, оторвались не более десятка солдат. Остальные остались умирать на поле боя. Немцы преследовать не стали — вновь продолжили выполнять приказ Гинденбурга: уничтожить армию Самсонова.

Еще через день, крадучись, с разведкой, вдоль болот, с небольшими стычками и перестрелками батальон лейб-гвардии Семеновского полка вышел из окружения, потеряв убитыми около сотни солдат и офицеров. Грустно вышел, без горнов и фанфар. Из Восточной Пруссии обратно в Польшу.

Но эти-то хоть вышли и живые. А на полях под Танненбергом забелели косточки почти пятидесяти тысяч убитых русских солдат, да в два раза больше попало в плен!

Всего-то понадобилось пятьсот лет, чтобы Гинденбург отомстил за позор поражения немцев при Грюнвальде! Русским!

Пауль фон Гинденбург на радостях не праздновал победы, он уже кричал Макензену:

— Август, какого черта ты там топчешься, ты свою славу уже заработал, пусть Отто добивает русских, а ты быстро разворачивайся на Ренненкампфа. Я приказываю! И только попробуй послушаться. Не забывай — ты такой же старик, как я! Если что — сразу на пенсию! Ничего хорошего в ней нет. Это я тебе говорю — Гинденбург! Ты, я

смотрю, моего оболтуса в полковники метишь? Не рано? Тащи его с собой на Ренненкампфа, и пусть дерется. Тогда я еще посмотрю, стоит ли его делать полковником. Вперед, Август! Богиня Славы уже распростерла над твоей головой свою руку. Не дай ей ошибиться!

Макензен, развернув корпуса и опять пройдя среди озер, вышел «спящему» Ренненкампфу во фланг. И еще восемьдесят тысяч солдат потеряла Россия убитыми и ранеными!

Какое прекрасное начало военной кампании! Кровавый и позорный 1904 год вновь замаячил перед страной!

А как здорово все начиналось! И как красиво шли! На Берлин!..

И оружие новое появилось, вдруг ставшее столь необходимым в этой войне, — лопата. И окопчик выкопать, и могилку, чтобы похоронить...

Хорошо говорить через сто лет, что Ренненкампф был трусом, а Самсонов глупцом, и в поражении в Восточной Пруссии в августе 1914 года обвинять только их. Вот, мол, Ренненкампф осторожничал, не двинулся вовремя вперед, после того как разбил передовые корпуса 8-й германской армии; не повернул на помощь к Самсонову, а тихонечко топтался на месте и вообще на Кенигсберг стал армию поворачивать. Мол, немец по крови, «фон», не стал драться против немцев же. Да еще великий князь Николай Николаевич страдал сильной германофобией. А Самсонов вообще не был готов к атаке немцев! Не ожидал! И тем более никто не ожидал, что командующим у немцев поставят какого-то Пауля Гинденбурга.

Может быть, оно и так. Только и Павел Николаевич, и Александр Васильевич в точности исполняли приказ, отданный им в Ставке. И шли в соответствии с разработанным еще в 1912 году планом нападения на Пруссию — не один же Гинденбург над картами сидел. Ну на день-два задерживались с выполнением, так ведь Ренненкампф с боями шел — немцев при Гумбиннене разбил, да и армия под его началом была не немецкая — русская; виданное ли

дело, чтобы все вовремя делалось. Да и сам Ренненкампф в бою под Гумбинненом потерял немало: почти семнадцать тысяч человек — больше, чем немцы. И именно после его победы немцы решили отступить за Вислу, и отступили бы, и пошли бы русские армии дальше, как хотели, через Познань на Берлин, выполняя директиву Ставки, если бы генерал от кавалерии Павел Николаевич Ренненкампф не к Кенигсбергу повернул, а, наоборот, навстречу Самсонову; кто бы его удержал — парочка немецких дивизий? Только куда же ему было сворачивать, если там были сплошные Мазурские озера, немцам известные, а русским почему-то нет? И чего его винить, если Мольтке-младший, увидев полную бездарность командующего 8-й армией Притвица, когда Ренненкампф его разбил, поставил на армию... старика Гинденбурга.

Про Самсонова промолчим — в назидание потомкам: офицерам надо знать, как позор смывается! Тело генерала Самсонова там, на поле боя, немцы похоронили, но потом по просьбе русских вырыли и отдали. И увезли, и похоронили генерала от кавалерии, награжденного русскими императорами аж 13 орденами и золотым оружием, в родовой усыпальнице.

Свою-то честь он никому не отдал, а жизни простых русских мужиков?..

А Ренненкампфа надо хвалить хотя бы за то, что он на германском фронте первую и, наверное, единственную серьезную победу одержал в этой непонятной войне и потом, разжалованный, остался верен своей присяге, когда в восемнадцатом в Таганроге ему, старику, известный большевик Антонов-Овсеенко предложил служить в Красной армии, а он отказался. Честь — никому! Вот его, прежде чем расстрелять, и изуродовали штыками да глаза старику выкололи. За честь, за немецкую фамилию да за победу в августе четырнадцатого отомстили! Большевики — они же за поражение собственного народа с первого дня войны ратовали. А солдат за людей они никогда не считали! Впрочем, для них никакого собственного, русского народа не было! Одни пролетарии.

XVII

Выход из окружения батальона лейб-гвардии Семеновского полка да с такими, как всем казалось, небольшими потерями, вызвал восторг, временно затмив в полку горечь первых поражений в войне. Гвардейцев батальона капитана Данина встречали как героев. Но в штабе фронта зашумели: «Так они же с поля боя ползком убежали! Может, еще и наградить их?» Но громко высказываться побоялись — все-таки гвардия, да и не свалишь же на эту горстку солдат гибель армии Самсонова, а к гибели армии Ренненкампа они вообще никакого отношения не имели. И свои шкуры спасти надо было. Великий князь, Верховный главнокомандующий, узнав о выходе из окружения гвардейцев, да еще и со спасенными солдатами других полков, лично приказал: «Наградить!» Были награждены все: младшие чины — солдатскими «Георгиями», офицеры — орденами.

Глеба Смирнитского наградили заимствованным у поляков еще императором Николаем I самым польским орденом — орденом Святого Станислава 3-й степени с мечами. Михаил Тухачевский получил Анну 4-й степени и стал героем в Семеновском полку — у него, единственного из всех молодых офицеров, появилась уникальная награда — шашка с эфесом, украшенным орденом крестом и красным темляком. «Клюква» бросалась в глаза сразу, издали и вызывала дикую зависть у всех, кто ее видел, да еще и сам Тухачевский, с подвязанной черной косынкой раненой правой рукой, старательно придерживал шашку при ходьбе, чтобы было видно и темляк, и крест, а если приглядеться, то и надпись «За храбрость». Про его бесстрашие говорили с восхищением во всех ротках, и это восхищение с присказками перекатывалось в другие полки.

От лечения в госпитале Тухачевский отказался.

Вручал награды командир полка Иван Севастьянович фон Эттер — Тухачевскому и Смирнитскому с какой-то особой нескрываемой радостью:

— Вы, господа подпоручики, с первого дня своего появления в полку как-то сразу мне понравились. Я верю в ваше

большое будущее. И уж больно вы прыткий, подпоручик Тухачевский. Так пойдет — быть вам вскоре генералом! Нам всем на удивление. Благодарю вас обоих за такую примерную службу его величеству!

Молодые офицеры в парадных мундирах лейб-гвардии Семеновского полка, смущенные, красивые, вытянулись и поблагодарили его превосходительство, а потом пошли тратить полученные за ордена деньги — почти все и потратили на шампанское для своих боевых товарищей. На армию действующий с первого дня войны сухой закон не распространялся. Начальство на пьянку в полку закрыло глаза; в других полках тоже пили, но водку и не чокаясь — поминали погибших.

Батальон предложено было отвести на отдых, но нижние и офицерские чины возмутились — весь остальной полк бросали в Галицию, где Генеральный штаб захотел отомстить австрийцам за свое поражение немцам в Восточной Пруссии, — а их в тыл?

Данин обратился к командиру полка фон Эттеру и стал громко возмущаться в его кабинете — знал, что его превосходительство любит музыку и не переносит шума, — и добился, чтобы отдых отложили. Батальон спешно помылся, постирался, перевязался, кто смог, чтобы в госпиталь не идти, раны от начальства и медиков скрыл и, выпив по чарке водки, в бой — шампанское в сторону, пошел догонять свой полк в Галицию, к местечку Таранавки...

Архип Ферапонтов, излечившийся от непонятной болезни живота, старательно угождал Тухачевскому: «Что изволите, ваше благородие? Все будет исполнено, ваше благородие...» Боялся, что в бой пошлют или из армии выкинут?!

Еще не наступило время, когда из армии солдаты побежали толпами.

XVII

Только-только назначенный командующим 4-й армией генерал-лейтенант Алексей Ермолаевич Эверт был во-

енным с ранней юности. Окончив Московский кадетский корпус и московское же Александровское военное училище, всю жизнь служил в армии. Вырос от подпоручика до генерала, воевал и отличился храбростью в русско-японскую. Вот и в Галиции, командуя с августа 14-го уже армией, за спины других не прятался, старался быть вместе со своим штабом ближе к полкам, переходящим границу с Австро-Венгрией. Но когда пришел приказ о присоединении к его армии лейб-гвардии Семеновского полка, не особо и обрадовался — императорский полк, элита, не дай-то бог положить в бою — погоны вырвут с корнем. И оставил полк в тылу, подальше, как считал, от передовой, от боя.

Не знал генерал Эверт только того, что немцы на помощь к австриякам пошли, после того как разбили армии Самсонова и Ренненкампа. Да не просто шли — поездом ехали! Время — вот, что ценил больше всего уже прославленный Гинденбург. Он вызвал в штаб Макензена и спросил:

— Август, ты знаешь, как русский царь Николай задавил восстание рабочих в Москве?

— А что, в Москве восстание?

— Я думал, ты умней. Я имею в виду — в тысяча девятьсот пятом году.

— Наверное, попросил у кайзера Вильгельма наших гренадеров и те быстренько и с удовольствием расправились с русскими?

— Почти что так, — засмеялся Гинденбург. — Он отправил на подавление восстания лучший свой полк — гвардию... поездом.

— И?! К чему вы это, ваше превосходительство?

— Пока русские зализывают раны, ты тоже посадишь свои полки на поезда и поедешь в Галицию, спасти австрийцев, потому что, если мы их не спасем, русские ударят нам во фланг, а защититься нам нечем. На Западе все топчутся и никак не могут взять Париж. Выгрузишься здесь, — Гинденбург ткнул толстым пальцем в точку на карте. — В городке Таранавки. Там будет наступать 4-я армия их нового командующего Эверта. Сведения точные,

получены из штаба русского Юго-Западного фронта. Этот Эверт — генерал боевой, но хочет выслужиться, вот и, как Самсонов, побежит вперед, а ты по нему ударишь с фланга, и бей насмерть! Устрой им второй Танненберг. Иди, Август, и всегда помни не о наградах, а о... пенсии. И моего оболтуса, которого ты уже командиром полка назначил, отправь в бой. Рановато для майора. Пусть зарабатывает славу!

— Понятно! — сказал Макензен, еще раз удивившись прозорливости командующего армией — одной на весь немецкий Восточный фронт! Он же не знал, что такой вариант развития событий Гинденбург давно просчитал...

Немцы спешно и скрытно погрузили войска на поезда, и те, проехав по тылам двух фронтов, выгрузились с железнодорожных платформ прямо в поле и с ходу, расчехлив легкие орудия и спустив по доскам лошадей, пошли крушить 4-ю армию, да не в лоб, а, как и по армии Самсонова, во фланги ударили. И попятились, а где и побежали русские батальоны и полки. Ждали-то австрияков, бахвалились: «Шапками закидаем! Австрияки — не вояки!» А тут немец, который не просто умеет воевать, а окрылен своими победами над русскими, трепещет от радости перед новым боем и готов выполнить любой приказ ради этой новой победы.

Местечко, где выгружались германские полки, имело красивое название Таранавки! И стало бы оно вторым Танненбергом, когда с криками: «Братцы!.. Опять предали!.. Отходим!.. Сволочи, подставили под германца!.. А-а-а, где же моя рученька?.. Ой, ногу у Васьки оторвало... Санитары... Разбегайся, братцы!.. Убивают!.. О, господи!.. Мамочка... Немец-то, вот он... Ой, штыки-то у них какие?.. Как ножи!.. Смерть наша наступает...» — побежала русская пехота, еще толком и не видя самого врага, только почувствовав, как трясется и поднимается земля от взрывов и падают мертвыми свои же товарищи; и в этой панике уже не слыша приказов командиров — умирать-то никто не хочет: русский ли, немец ли — какая разница, бежали, бро-

сали оружие, топтали друг друга, раненым не помогали, хватались за хвосты одиноких лошадей, только бы успеть убежать от этого надвигающегося на сердце страха... И наткнулись на стоявших в их тылу гвардейцев-семеновцев; те стали бегущим тумаки раздавать, пинков надавали, даже смеялись: «Куда ж вы? Штаны-то, штаны не забудь постирать...» Потом плюнули и стали спокойно штыки к винтовкам привинчивать. А по полку уже команда бежит: «Приготовиться к атаке. Первый и второй батальоны шагом ма-арш!» И пошли! Как на плацу — не кланяясь. Командиры взводов слева от ровных солдатских рядов, командиры рот впереди, с вынутыми из ножен шашками. Блеск солнечный на кончиках штыков. И русское «Ура!» зазвучало над полем боя.

Роты штабс-капитанов Веселаго и Хлопова рядом. Красиво! И немец шел. Лоб в лоб — атака! Только не знал немец, что перед ним лейб-гвардия — Петра Великого полк, что двести лет назад, еще под Нарвой, с лучшей армией Европы, шведами, дрался и почти весь погиб, но не отошел!

Глеб Смирнитский не боялся и не дрожал; как в тумане, стрелял в немцев из револьвера, а когда барабан круг сделал, сунул машинально в кобуру и схватился за подарок Тухачевского — браунинг и все девять пуль во врагов и всадил. Патроны кончились — за солдатскую винтовку взялся и в штыковую атаку пошел. А справа штыком воюет, весь в крови, Михаил Тухачевский. Шашки наградные не доставали — они так, для красоты.

Немец такой атаки не ожидал, дрогнул и побежал, семеновцы с «Ура!» — вслед, кого догоняли — брали в плен, кто не сдавался, кололи штыками. Полки генерала Эверта, то ли видя бесстрашие гвардейцев, то ли устыдившись своего бегства, уже не ожидая приказов своих командиров, развернулись и вслед за гвардейцами побежали на поле боя. И тут уж над полем понеслась такая ругань и такой мат, с такой дикостью эти полчаса назад в страхе бежавшие с поля солдаты стали убивать немцев — в плен никого не брали — в злобе всех штыками, насмерть! Всю свою тру-

сость на сдающихся в плен вымещали, и остановить никто не мог. Страх! Пока гвардейский подполковник Павел Эдуардович Телло не закричал дико:

— Да остановите же их! Гвардейцы, остановите их! Стреляйте, но только остановите! Боже мой, какой позор для русской армии!..

Гвардейцы расстреливать русскую пехоту не стали — они стали их бить: ломать челюсти и выбивать зубы. А вот офицеры начали стрелять. Тухачевский стрелял. Смирнитский — нет. Но это было ужасающе: сотни немецких солдат корчились в предсмертных судорогах от ударов штыками — сотни, которые сдавались в плен. Над полем стояли плач, стоны и смертельный вой. И еще один вой — моторов — несся с неба. Это штабс-капитан Петр Нестеров на своем маленьком самолетике гнался за большим «Альбатросом», управляемым какими-то знаменитыми австрийскими баронами, и, догнав его, протаранил... Впервые в мире! Самолет с баронами рухнул на землю. На землю упал и самолет с погибшим во время тарана русским летчиком-героем. К выпавшему из обломков самолета телу мертвого летчика тут же подскочили русские солдаты, которые минуту назад убивали и грабили убитых немцев, и стали сдирать с Нестерова кожаную куртку, шлем, очки, сорвали награды и вытащили кошелек — все пригодится в хозяйстве. С трудом потом узнали в лежащем в одних кальсонах трупе великого пилота России.

Таранавки — поле славы русского оружия!

Живыми из боя вышли Глеб с Михаилом. Оба в крови — не в своей, во вражеской.

— Ну вот и закончился твой подарок, Михаил, — грустно сказал Глеб, показывая браунинг.

— А это на что? — Тухачевский вытащил из-за пазухи два пистолета и обоймы.

— Откуда?

— Так мой денщик Архип по офицерам немецким прошелся, когда убитых и раненых собирали. Он еще и гранаты немецкие прихватил, да я не взял — не наше это, не офицерское оружие; солдатам приказал отдать. Хотя под

Танненбергом не граната бы — нас бы всех положили из броневедомобиля.

— Мне второй пистолет не нужен, а вот обойму возьми.

— Бери. Уж больно хорошо ты с моим подарком обращаешься.

Не знал только Тухачевский, что не ради пистолетов и гранат ползал по полю боя его денщик, а чтобы пожить-ся, по карманам убитых немецких офицеров пройтись: у кого часы да портсигар, у кого цепочку с шеи сдернет, кольцо на пальце увидит — вжик ножом; и отсутствие пальцев на правой руке не мешало — лихо орудовал. Веселый малый быстро сообразил, что война для него — доходное место, в бой не лез, после боя появлялся. А Тухачевский-то думал, что он для него старается.

Исход боя был решен атакой русской лейб-гвардии.

— Хлопова ранило в ногу, унесли, — сказал Глеб.

— А Семен Иванович цел и невредим, ни одной царапины. Смеется: заговоренный, мол, с японской, там всю кровь оставил.

— Ты видел, что эти трусы-то устроили? Сволочи! Пока стрелять не начали — поубивали бы всех пленных.

— А у трусов, по-видимому, всегда так: убей того, кто тебя трусом сделал или кто видел, что ты трус. Позорище! Подожди, увидишь — наградят. За трусость и зверство.

— А как без этого. Первая победа.

— Дай бог, чтобы не последняя.

— Миша, я видел, ты в этих солдат стрелял.

— Да. И не жалею. Это уже не солдаты, не русские солдаты, это обезумевшая от страха и злобы толпа.

— И все же они русские. Как легко оказалось, что русские могут убивать друг друга.

— Брось Глеб. Это война. И это армия. Пойдем, пойдем, пора смыть с себя всю эту кровь.

Два офицера шли, и усталость от боя еще не пришла в их молодые тела, и их сердца быстро успокоились и уже спокойно стучали, и они разговаривали как-то обыденно, как будто шли с полевых учений где-нибудь в России и уви-

денное, страшное, может, и тронуло душу, но сразу забылось — сами-то живы!

— Архип, — на ходу, засмеявшись, крикнул Тухачевский идущему сзади денщику, — приготовь помыться и поесть.

— И выпить не забудь! — так же весело добавил Глеб. — Ты, Михаил, где этого дурня нашел?

— Неужели не помнишь? На станции под Брестом пьяный с расквашенной мордой плясал, а потом напросился в денщики?

— А-а, это тот, что с оторванными пальцами? Ох и намаешься ты с ним.

— А я его предупредил: чуть что — отправлю в атаку, первым!

— По-моему, он, если ты ему такое прикажешь, быстрее убежит от тебя... Впрочем, у меня не лучше: лентяй, каких свет не видел.

Повезло в этом бою еще одному офицеру, немецкому майору, командиру полка Оскару Гинденбургу. Его даже не ранило. Он, когда спускался с поезда, ногу подвернул, и его отвезли в госпиталь, а его полк почти весь погиб от русских штыков. Майор, узнав, свечку поставил Богу и попросился в штабные офицеры. Макензен не возражал — хватит переживать: «убьют — не убьют?» Ему уже не нужен был сыночек великого Гинденбурга, он сам становился велик и перевел Оскара подальше от смерти — в штаб корпуса.

Главным героем боя под Таранавками стал Николай Ермолаевич Эверт — награды посыпались...

Любят их императорские величества армию, а лейб-гвардию особо — сами в ней полковниками состоят. Приказом Верховного главнокомандующего за проявленную храбрость в боях в Галиции Михаила Тухачевского представили к «Станиславу» 2-й степени с мечами и бантом, а Глеб Смирнитский получил «Анну» четвертой, и у него, как и у Тухачевского, появилась шашка с орденом на эфесе, красным темляком и надписью «За храбрость». Молодых офицеров, произвели в поручики и назначили на должности старших ротных заместителей — благо вакансии появ-

вились: гвардия шла в бой в первых рядах и погибала тоже первой. И отпуск предоставили на десять дней. Во время войны! Заслужили!

— Поедем, Глеб, со мной в Москву. Ты, я помню, не бывал в Москве. Да и договаривались же, — кричал радостно, узнав об отпуске, Тухачевский. — Поедем, Глеб?! — и стал обнимать друга, шепча на ухо: — В Москве сейчас так хорошо...

— Поедем, поедem, — ответил не менее радостный Глеб.

— Вот и отлично. И Москву посмотришь, и я тебя с родными познакомлю. Они тебя очень хотят увидеть — я им отписал, как ты мне жизнь спас.

— Полно, Михаил, как ты можешь? Мы же с тобой военные — люди присяги. Но только заедем к моим, в Варшаву. Ждут.

— Обязательно заедем. А потом сразу в Москву. Невесту тебе найдем! Не возражай!

— Москва! — мечтательно сказал Глеб. — Поехали, Михаил!

XVIII

В Варшаве слезы радости: Мария, тетка — плачет; Владислав, дядька — слезы утирает; девочки, Ядвига и Златка, вокруг панов офицеров скачут, таких красивых, таких мужественных, с орденами на необыкновенно красивой гвардейской форме.

Сентябрьские вечера в Польше теплые; сидели на веранде, чай с вареньем и наливочкой пили, а вопрос все крутился, да не задавался. Но на второй день, перед отъездом, Владислав Смирнитский с духом собрался и, улучив момент, когда женщины ушли в дом, спросил, заикаясь:

— Неужели... Варшаву отдадут?

— Вы о чем, дядюшка? — удивился Глеб.

— О Варшаве, племянник.

— Почему так грустно, пан Владислав? — тоже удивился Тухачевский. — Галиция наша, австрияки бегут, немец

на два фронта долго воевать не сможет — выдохнется, да мы со своей стороны его придавим, и войне конец.

— Ну и дай-то Бог. А то все мои знакомые готовятся к приходу немцев. А я боюсь — что будет с моей семьей, если немцы придут?

— Не придут. Скорее, дядюшка, мы будем в Берлине... — успокаивал Глеб.

Михаилу Тухачевскому не сиделось, уже рвался домой, к родным, да и Глебу передалось это желание друга — очень хотелось побывать в Москве, в древней русской столице, в которой он раньше не бывал, хотя и родина его матери. Да и когда еще выпадет такая удача, и выпадет ли? Война.

— Скажи, Глеб, — тихо спросил племянника перед отъездом Владислав Смирнитский, — ты хочешь навестить своих родственников в Москве? Я тебе дам адрес.

— Нет, — прозвучал короткий ответ. — У меня нет родных в Москве. Все мои родные живут здесь, в этом доме.

Дядя Владислав всплакнул на плече у Глеба. Дядюшка становился старым, и его очень пугала война и связанная с ней неизвестность. Поляки знали о страшных поражениях русских в первый месяц войны и готовились к приходу немцев, которых ненавидели. Владислав Смирнитский боялся вдвойне — его племянник был русским офицером.

Ехали, смотрели в окно и удивлялись — всего-то два месяца войны прошло, а какая разительная перемена: да, еще орали, пили и плясали на полустанках, но как-то невесело, с оглядкой, с опаской — что там ждет впереди? По деревянным настилам станций уже катались на деревянных ящичках с колесами безногие инвалиды, звеня одинокими медалями, размазывая пьяные слезы по грязным опухшим лицам и прося, как подаяния, на водку. А в глазах дикая боль и злость: «За что?» И бросалось, бросалось в глаза: страх на лицах людей появился!

В Москве на вокзале бравурная музыка, шум большого города, люди, снующие туда-сюда, и никаких нищих и инвалидов. А сам город — как в праздник: желтый и багряный лист на деревьях, маковки многочисленных церквей

золотым огнем играют, мягкость говора, красота русских женщин, выпирающее богатство, восхищенные взгляды прохожих.

Как и в семье Глеба, у Михаила встречать сбежалась вся многочисленная родня: родители, братья, сестра. Стол был накрыт по-русски, по-московски: трещал от наливок и закусок. В магазинах старой столицы было все. Да и Михаил свои офицерские деньги почти все отправлял родителям. А ведь в лейб-гвардии служил, где расходы офицеров превышали денежное довольствие в несколько раз. Война! Не до праздников, да и на фронте платили больше, да новое звание, да награды... А здесь, в тылу, деньги ой как нужны. По Москве было видно, по магазинам и ценам...

Пришла Нина — невысокая, стройная, красивая девушка с толстой русой косой. Подала руку Глебу:

— Нина Гриневич.

Из-под длинных ресниц на Глеба посмотрели необыкновенной красоты большие зеленые глаза. Глеб залился краской. Нина рассказала, как она после лекций в университете помогает вместе с подругами в госпитале. Расплакалась:

— Раненых очень много. Много удаляется рук и ног. Так их жалко, этих простых солдат. Им прямо в палатах медали и кресты вручают и отправляют домой. А они, как начальство уходит, режут в голос, ругаются, просят пристрелить — куда они без рук, без ног, какой дом, как семью кормить? Потом напиваются. И где водку берут? И опять режут и ругаются. Страшно все!.. Из госпиталя до вокзала их везут в закрытой машине и сразу несут в вагоны, чтобы глаза своим калечеством не мозолили и граждан не пугали. Потому-то на улицах их не встретишь — всех по деревьям раскидали.

Молодые люди с орденами на мундирах как-то сникли — торжество встречи потускнело.

Мать Михаила Тухачевского Мавра Петровна встала из-за стола, рюмку подняла и сказала:

— Прекратите здесь страхи рассказывать и слезы лить. В моем доме радость — сын пусть ненадолго, но с войны вернулся, и это для меня праздник. И он — военный не

в первом поколении, и все мы — жены и матери русских офицеров — будем всегда ждать их с войны и надеяться... и слышишь, будущая невестка... будем верить, что они никогда не изменят данной ими присяге служить царю и отечеству и вернуться целыми и невредимыми домой. С возвращением домой, Миша и Глеб! — Мавра Петровна залпом выпила рюмку и бросила ее на пол. Рюмка не разбилась. Мавра Петровна ударила по рюмке ногой — та рассыпалась на кусочки — Вот так! — крикнула. — Давайте веселиться!

Праздновали хорошо, как и полагается в русской офицерской семье...

Потом целыми днями гуляли по городу. А Москва такая красивая! В один из дней зашли вечером за Ниной в госпиталь, увидели сотни раненых солдат, почувствовали нестерпимый запах карболки, нашатыря и гноя, и сразу как-то и красота, и праздник уличный померкли. Молодым людям захотелось туда, на фронт, к своим солдатам, в бой.

Походили еще по Москве, полюбовались Кремлем, осенними бульварами, ломящимися от еды магазинами, заходили в рестораны, где посетители вставали и кричали «Ура!» при виде красавцев-офицеров с боевыми наградами на необычайно красивых лейб-гвардейских парадных мундирах. Особо нравилось входить под руку с боевыми офицерами Нине; она чувствовала, с какой завистью и даже ненавистью смотрят на нее женщины в ресторанах, и это ее не забавляло, она этому радовалась. Глеб все восхищался красотой московских девушек. Михаил отводил глаза — Нина, не скрываясь, ревновала.

Вот так же они пришли в последний день отпуска в ресторан недалеко от дома. Им выделили лучший столик, прислуживать прибежал сам директор ресторана, который все заискивающе лепетал: «Что угодно героям войны? Ах, какая у нас красивая армия. Вы гвардейцы? Да-да, о чем я говорю: ваша форма, погоны, ордена — сразу видно, что вы гвардейцы». Конечно, было приятно от этого всеобщего внимания.

А в дальнем, темном углу сидел седоватый мужчина в офицерском кителе без погон, с одиноким орденом Святого Станислава на груди. Мужчина пил водку и закусывал каким-то салатом; официанты старались его не замечать и пробегали мимо: столько господ офицеров с орденами и, главное, деньгами было в ресторане, а этого инвалида с трясущейся головой пускали из жалости — все-таки офицер, пусть даже бывший, но пострадал на войне. Мужчина пил и наливался злобой и, напившись, поднялся, пошатнулся — водка выплеснулась из рюмки — и стал кричать:

— Давайте выпьем за победителей над германцами под Гумбинненом! Кто выпьет с бывшим штабс-капитаном русской армии? Брезгуете? Ну тогда я один выпью! — выпил, упал на стул и заплакал. — Где она армия? Она там, в общих могилах лежит! А здесь кто? Выскочки, карьеристы, говенные штабники... Что вытарацились? Может, предложите стреляться? С удовольствием. Только ни одна сука не захочет получить от меня пулю в лоб. Дайте мне пистолет, я вас всех перестреляю!..

Пьяного сопротивляющегося мужчину в офицерском кителе без погон вывели из ресторана. Какой-то толстый, с золотой цепью на брюхе буржуа крикнул:

— Какого черта всю эту пьянь в приличные заведения пускают? Ну ранили на фронте, так что — мы виноваты?

— Заткнись! — зло крикнул Михаил Тухачевский. — А то точно получишь пулю в лоб!

Праздник был испорчен. Из ресторана уходили расстроенные, и уже больше ничего не хотелось здесь, в Москве, а хотелось туда, на фронт, к своим боевым товарищам.

На прощание семья Тухачевских подарила Глебу красивый дорогой кожаный саквояж — подарок за спасенную жизнь сына. Отказываться было неудобно. Четыре дня пролетели, и молодые люди в сопровождении плачущих родителей Тухачевского и Нины поехали на вокзал.

А на вокзале, в тупике, подальше от людских глаз, выгружали из вагонов новые окровавленные обрубки русских солдат...

XIX

На фронте наступило затишье — немцы молотили французов, австрияки и русские зализывали раны поражений. Семеновский полк после Галиции вместе с армией генерала Эверта отошел, как считалось, на отдых. Командир гвардейского полка Эттер отдыхал — похаживал по тайным увеселительным мероприятиям. Отдыхал сменивший Самсонова после смерти новый командующий 2-й армией генерал от кавалерии Сергей Михайлович Шейдеман; отдыхал и новый командующий Северо-Западным фронтом генерал от инфантерии Николай Владимирович Рузский, награжденный царем за взятие Львова сразу аж двумя «Георгиями» и назначенный главнокомандующим фронтом вместо Жилинского! Ну хоть кого-то царь любил! Рузский по привычке, как улитка, в скорлупку завернулся: не трогайте, все хорошо, немец свое получил, австрияк получил, зачем наступать... Галиция всех расслабила. Забылся разгром 1-й и 2-й армий. Забылись десятки тысяч погибших. А раненые, что были отправлены в тыл и, возможно, там умерли, так это уже не боевые потери! Русские бабы еще народят! Правда, страх перед немцами появился — и у солдат, и у офицеров, и у командующих армиями и фронтами, и у Верховного главнокомандующего, великого князя Николая Николаевича Романова... Немец спесь-то со многих посбивал! Виновного в поражениях нашли: главнокомандующего фронтом Жилинского отправили... в советники в том же звании и с тем же жалованьем.

И в это сонное время за каменными стенами небольшого дома в Барановичах, в Ставке, вдруг стали поругиваться главнокомандующий Северо-Западным фронтом Николай Владимирович Рузский с таким же главнокомандующим, только Юго-Западным фронтом, Николаем Иудовичем Ивановым. И слов не выбирали, да таких, что Верховный, великий князь Николай Романов, сам большой любитель «прямоты» в своей речи, только голову поворачивал от одного к другому — даже рот приоткрыл в удивлении. В Ставке находились в этот момент сразу три генерала —

единственные, кто был награжден тремя «Георгиями», и все Николаи. Хоть загадывай! Так что каждый считал себя лучшим. Особенно Рузский... за особую любовь к нему императора.

Сейчас они ругались из-за Варшавы. Рузский всегда был трусом, причем трусом наглым, и во всех своих трусливых просчетах и ошибках он находил виновных. Всегда! Наверное, тем и нравился императору?

— Зачем нам Варшава? — кричал Рузский. — Да пусть ее немец забирает. Или поляки пусть сами ее и защищают.

— Ваше высочество, что такое говорит Николай Владимирович? Он что, не понимает: если мы отдадим Варшаву немцам, мы фактически проиграли войну? Да и как мы сможем наступать в Галиции, если Варшавы не будет? — возражал Иванов.

— Варшава — не Петроград и не Москва. Пусть Гинденбург увязнет в Варшаве, а мы со стороны Ивангорода и Новогеоргиевска потом ударим ему во фланги, — продолжал настаивать Рузский.

— Какие фланги? Варшава — крупнейший в Европе железнодорожный узел. Да если немец ее возьмет — мы до Петрограда раком пятиться будем, — кричал Иванов.

Иванов был и посмелее, и поумнее Рузского, не зря же поговаривали, что он был сыном то ли кантониста, то ли ссыльнокаторжного. Иванова поддержал и его начальник штаба фронта Михаил Алексеев:

— Ваше величество, если Варшаву сдать, мы из-за возможного удара немцами нам в фланг покатымся и сдадим австрийцам всю Галицию. И если только Галицию!..

— Тогда, ваше высочество, я умываю руки. Если так угодно, то пусть Николай Иудович и берет на себя всю ответственность за операцию по защите Варшавы, — выдал уже заготовленный ответ Рузский. Ему этого и надо было. Он всегда находил виноватых. Талант у него был такой.

Великий князь задумался, но ненадолго. Голова у Верховного была.

— Варшава — это не просто столица Царства Польского, это форпост нашей империи. Отдать Варшаву — проиг-

рать войну! — проговорил Романов. — Я согласен с Николаем Иудовичем и назначаю его ответственным за защиту Варшавы. Но прошу, Николай Иудович, отдайте вторую и пятую армии Николаю Владимировичу. Как же он будет воевать без армий? У вас все-таки армия генерала Эверта остается.

Коля Лукавый был русским офицером и не трусом и за место Верховного не держался — он любил правду говорить: что думал, то и говорил. Лучше бы прежде думал.

Русский своего добился — виновный, если что, найден. Решение было принято, и на фронте опять наступила тишина. Генерал Эверт же не знал, что его армия стала ответственной за Варшаву. Он спал!

Не отдыхал только уже генерал-полковник и уже командующий Восточным фронтом Пауль фон Гинденбург.

— Эрих, — сказал он своему начальнику штаба Людендорфу, — Русские считают, что у нас ничья? Они и в битве при Бородине считали, что Наполеон не выиграл, а сами потеряли половину армии и сдали Москву. Так что давайте поставим им шах и мат! Поехал я в генштаб.

Его авторитет был уже непререкаем, и он, договорившись в Германском полевом генштабе, забрал корпуса с Западного фронта, создал новую армию под командованием все того же Августа Макензена и ударил в стык русских фронтов по армии спящего генерала Эверта. И этого удара никто не ожидал и об этой армии никто в русской Ставке не ведал! И побежала армия к Варшаве. Немец с такой дисциплиной и с такой яростью ударил по русским дивизиям, что в считанные дни оказался перед мостами через Вислу. Армия русская, не научившись воевать, научилась бегать, особенно ее командующие.

Русский кричал в Ставке:

— Я говорил, я предупреждал! Во всем виноваты командующий Ренненкампф и... этот новый командующий 2-й армией Шейдеман. Еще один немец на нашу русскую голову! Всех их надо выгнать! Если не будет принято мер, я буду жаловаться императору!

И ведь жаловался! Еще как жаловался — Ренненкампа с Шейдеманом с постов сняли! Да и великий князь Николай Николаевич был известный германофоб. А их императорское величество, как известно, сильным характером никогда не отличался.

Преградой для прорыва немцев в город могли стать Висла и варшавские форты. Когда в Ставке об этом заговорил Верховный, Рузский замахал руками:

— Вы о чем, ваше высочество? Какие форты? Их давно уж нет, разрушились от времени. Да и чем защищать?

— Так вам же, Николай Владимирович, две армии отданы? Вот их и надо бросить в бой.

— Что вы, что вы, ваше высочество, они не готовы... да и бегут, ах, как бегут — удержать невозможно.

— И что же тогда делать?

— А я говорил: надо сдать Варшаву.

— Но... как сдать? Это же Варшава. Понимаете вы или нет — Варшава?!

— Понимаю. Но не я ответственный за Варшаву, а Николай Иудович. Вот пусть он и отвечает.

— Надо будет, отвечу, — сказал Иванов, а сам побледнел. Он в этой ситуации не хотел отвечать.

— Объясните: что все это значит? — спросил Романов. — Вы же говорили, что на варшавском направлении у немцев свежих сил нет. Все на Западном фронте. Откуда тогда это наступление?

— Не знаем! — ответили честно русские генералы.

— И что прикажете делать?

— Сдать Варшаву, — ответил Рузский.

— Остановить бегущих и драться, — ответил Иванов.

— Господи, Гинденбург опять нас провел, — прошептал Верховный главнокомандующий и вдруг зло крикнул: — Ваши высокопревосходительства, пойдите отсюда вон! Запомните: если сдадите Варшаву, я сам, лично, сорву с вас погоны, и пусть после этого государь выгонит меня из армии, но я это сделаю! Клянусь! Даю вам два дня, чтобы остановить бегство армии! Не остановите — можете стреляться, как Самсонов!

Генералы выбежали из кабинета. Русский шипел: «Сравнил меня с Самсоновым?! Стреляйтесь! Ишь чего захотел, чтобы я отвечал за чужие промахи... Дудки — пусть Иванов с Эвертом и отвечают. А я подожду, что да как получится. Известно же: пришедший на поле боя последним, всегда выигрывает — главный закон войны».

Казалось, варшавские форты существовали всегда, как всегда существовала для Варшавы возможность нападения германцев на этот польский город. И именно по левому берегу Вислы были построены эти форты — прекрасные военные сооружения с толстенными стенами, арочными переходами, пакгаузами, смотровыми площадками и подвалами. Даже для тяжелых орудий этой, технически революционной мировой войны форты оставались сильной крепостью, защищавшей город и мосты через Вислу.

Лучшие погибают первыми! Семеновский полк уже не дробили — слишком велики были потери в полку: за три месяца войны погибла треть состава. Для пополнения наспех отбирали уже не на мобилизационных комиссиях, а в запасных частях: тех, кто отличился храбростью, смекалкой, но и ростом и национальностью подходил; брали только русских. И все равно гвардия гибла.

Серошинельная человеческая река, не слушая команд и приказов своих командиров, выкатив глаза от носившихся меж солдат слухов о силе немцев, о неизвестных, но где-то уже наступивших окружениях, в страхе текла и текла между фортами по мостам в Варшаву. И уже открыто кричали: «Опять немец нам август месяц показывает... Опять предательство в штабах... А может, в Ставке или... повыше... Там одни немцы засели...» — и этот трепет измены бежал впереди отступающей армии, и достигал Петербурга, и кружился метелью в светских салонах знати и на фабриках среди рабочих. Уже в четырнадцатом закружил!

А за бегущими дивизиями спокойно, не торопясь, шел со своей армией Макензен. Он знал — Варшаву он возьмет. Так приказал ему Гинденбург. А Гинденбург никогда не ошибается.

Паника от отступающих русских войск передалась населению города, и по улицам и дорогам плотной рекой потянулись на восток автомобили, повозки и бегущее население. Наступал хаос.

Верховный главнокомандующий, человек сильной воли, чуть не плакал: «Сволочи, суки, бл... Кто поможет? Кто?» — и, ударив кулаком по столу, приказал адъютанту срочно вызвать командира лейб-гвардии Семеновского полка Ивана Севастьяновича Эттера, а когда тот появился в кабинете, обнял генерала и, как будто боясь, что их услышат, горячо зашептал на ухо:

— Ваше превосходительство, Иван Севастьянович, видите, что делается — бегут, сволочи! Остановить надо. Нет-нет, я не приказываю, чтобы, как тогда, под Таранавками, по зубам или, не дай бог, стрелять. Здесь бесполезно. Прошу вас, задержите германца, пусть на день, хорошо бы на два, пока эти говенные командующие очухаются... Направьте полк в форты, Висла и форты — вот единственная преграда... И конечно, героизм гвардейцев. Прошу вас, Иван Севастьянович, как можно быстрее... займите форты.

— Ваше высочество, гвардейцы насмерть встанут в фортах, но удержать мосты через Вислу — боюсь, это невозможно.

— Для ваших орлов ничего невозможного нет. Так и передайте вашим гвардейцам. Пусть вспомнят Нарву. А это новая Нарва.

Сам Ванечка в форты не поехал — хотя бы посмотреть, где будут умирать его гвардейцы; генерал свиты его величества — и в окопы?! Это уж слишком! У него для этого были боевые командиры батальонов и рот. Он со штабом остался в Варшаве. А батальоны рослых гвардейцев, расталкивая в стороны бегущих навстречу солдат, опрокидывая и скидывая с мостов повозки, как нож через масло, прошли сквозь отступающие в панике войска на левый берег Вислы и заняли стоявшие перед мостами форты. Еще и орудия и пулеметы с собой привезли.

Капитан Данин собрал в круглой башне форта «Алексей» командиров и старших офицеров рот, в том числе поручиков Тухачевского и Смирнитского.

— Господа офицеры, вы видели что происходит. Бегут! Нам дан приказ — удерживать мосты через Вислу и не дать немцам ворваться в Варшаву. Два дня! Это даже не приказ, это просьба Верховного главнокомандующего. Он просит нас помнить Нарву и верит в нас! Я осмотрел, как вы расположились на своих позициях, и, признаюсь, очень доволен увиденным. Вы должны знать, что это будет смертельная схватка и многие из нас погибнут, но мы русские офицеры, лейб-гвардия императора. Так умрем же за свое отечество и за своего государя! Вот что я хотел вам сказать — идите и с честью исполняйте свой долг. Впрочем, может быть, у кого-то из вас есть ко мне вопросы? — врожденная вежливость Сергея Петровича в обращении с подчиненными была известна всем. Посмеивались, но уважали. Знали: за этой интеллигентностью стоят воля и беспрекословность исполнения своего долга.

— Господин капитан, — обратился Тухачевский к командиру батальона, — позвольте высказать предложение?

— Мы вас слушаем, поручик Тухачевский.

— Я думаю, нам надо бояться ночных атак, поэтому предлагаю вдоль форта, где проходят дороги, вырыть траншеи, замаскировать и посадить небольшие отряды по десять-двадцать человек с пулеметами.

— Почему ночных атак? И зачем маскировка?

— А днем к фортам незаметно подойти почти невозможно. А маскировка от авиации противника.

— Мысль хорошая. Командиров рот прошу выделить необходимое количество гвардейцев под команду поручика Тухачевского, — и засмеялся: — Хорошо, что у нас есть лопаты. Есть еще предложения?

— Разрешите, господин капитан?

— Да, поручик Смирнитский, говорите.

— Форты — прекрасные укрепления, но есть один серьезный недостаток — связь. Здесь плохо работает радио. Я предлагаю увеличить количество вестовых у вас, Сергей Петрович, и у командиров рот. И сделать это как можно быстрее, чтобы научить солдат ориентироваться в переходах форта. Немцы прослушивают наше радио, и очень хо-

рошо. Мы по радио будем посылать ложные приказы, ложные сведения о количестве защитников, ложные атаки и отступления. Справа от нас в форте номер 6 укрепился первый батальон — давайте с ними договоримся о радиоигре. Пусть немцы и слушают наши переговоры. А наговорить мы можем такого... И о количестве защитников, и о количестве орудий, и о раненых, и о панике... Мы их запутаем. Выигрывает тот, у кого лучше связь, точнее, умнее связь.

— Штабс-капитан Хлопов, вы не возражаете, если мы заберем от вас поручика Смирнитского? Поручик, сколько вам необходимо человек?

— Я думаю, взвод. Это у нас будет взвод связи.

— Слышите, господа, в русской армии появилось новое воинское формирование — взвод связи, — опять засмеялся Данин. — Вы, поручик Смирнитский, все с идеями, и, признаюсь, неплохими идеями. Мне, господа офицеры, очень нравится ваше желание воевать здесь долго, — Данин повернулся к узким окнам и проговорил с горечью: — Посмотрите, как бегут. Как красиво бегут. Позор! Хотя бы за форты цеплялись..

XX

Новая армия Макензена почти без сопротивления, строевым шагом, посмеиваясь и удивляясь легкости бега русских войск, налегке, обгоняя свою застрявшую в грязи артиллерию, дошла до Вислы и была готова так же легко перейти по мостам через реку, но натолкнулась на стену — на форты. Из-за стен фортов встретили немцев так подготовленно, так умело, таким метким огнем пушек, пулеметов и винтовок, что немцы, не ожидая такого сопротивления, растерялись, остановились, а затем побежали от фортов, теряя сотни своих солдат.

— Макензен, ты чего застрял? — с шумом выдохнул сквозь свои огромные, торчащие в стороны усы Пауль фон Гинденбург. — Ты уже должен быть в Варшаве. А ты где — топчешься около мостов?

— Так форты...

— Какие еще, к черту, форты? Людендорф, о чем он говорит?

— О фортах, Пауль, о фортах. Никто не предполагал, что русские укрепят форты. По нашим данным, полученным из штаба командующего фронтом Рузского, Варшаву решено было не защищать, а тут... Мы даже не знаем, кто отдал приказ защищать эти мосты. Знаем только, что там гвардия, — перехватили радиопереговоры. Русские, как всегда, открытым текстом шпарят. Но не знаем, сколько там войск: по одним данным один батальон, по другим полк, а по третьим вообще дивизия.

— Какая гвардия? Это те, что у тебя выскочили из окружения, когда мы раздавили армию Самсонова? Это те, что не дали нам выиграть битву под Таранавками? Что происходит, Людендорф: какие-то гвардейцы останавливает армию? Если бы это была австрийская армия, я бы, может, и понял, но немецкую!.. Сотри их с лица земли, Август, иначе я сотру тебя! На пенсию отправлю!

— Но, мой генерал, это же форты!

— Что форты? Подтяни тяжелую артиллерию, устрой им ночную атаку... Черт, Макензен, я должен тебя этому учить? Людендорф, дайте ему все, что необходимо, но чтобы я больше не слышал об этих фортах и об этих гвардейцах! Вперед! Следующее сообщение от тебя, Август, должно быть из Варшавы! И моего оболтуса из своего штаба заberi, нечего ему там штаны протирать — пусть воюет, как все!

Август Макензен пришел в свой штаб и вызвал пополневшего от безделья и вина Оскара Гинденбурга.

— Оскар, это не мой приказ — твоего отца. Бери обратно свой полк и ночью возьми форты.

— Почему ночью?

— Днем ты весь полк положишь.

— Генерал, давайте пошлем два полка, три и возьмем форты штурмом.

— Оскар, я думал, ты в своего отца, который ценит каждого германского солдата. На узком пространстве перед фортами и полку-то не развернуться; ты хочешь положить

всех? Не выводи меня из себя. Я сказал: ночью! Иди и будь достоин своего отца. Тебе пора стать подполковником.

Майору Оскару Гинденбургу очень хотелось стать подполковником, а потом и генералом, как отец, и еще очень хотелось иметь Железный крест с дубовыми листьями за храбрость. Он выехал в полк, собрал штаб, выслушивать никого не стал, ткнул тонким хлыстом на карте в Вислу и рявкнул:

— Приказываю ночью перебить всех этих русских свиней, засевших в фортах, и быть в Варшаве. Первым десяти достигшим правого берега Вислы лично приколю на мундиры Железные кресты за храбрость. Вперед! На вас смотрит сам Гинденбург! — По-видимому, имел в виду себя.

Тухачевский оказался прав: немцы ночью без единого выстрела в полной темноте подошли к фортам на участках, где не было даже старых, осыпавшихся, заполненных осенней стоялой водой рвов, и, не дойдя до стен, были встречены огнем из пулеметов и винтовок. Немцы не отступали: они, как исступленные, волна за волной бежали к фортам, умирали под огнем, падали от разорвавшихся гранат, перегруппировывались, меняли место атаки и вновь натыкались на русский огонь, как будто этих русских солдат было так много, что они занимали все поле перед фортами или заранее знали, где, когда и какими силами немцы идут в атаку. Немцы перехватывали все радиотелеграммы, которыми открытым текстом переговаривались русские, и знали, что у русских паника, что большие потери, что особо тяжело на том-то и том-то участке боя, и бросали туда новые роты, но никак не могли прорваться к мостам. С рассветом бой стих. Оскар Гинденбург, получив осколочное ранение в ногу, был отправлен в тыл, в госпиталь. Полк его лежал мертвый перед фортами. Над несколькими сотнями выживших, обезумевших от боя, смертельно уставших солдат полка назначили командиром молоденького лейтенанта Генриха Штюрмера, и, дав отдохнуть сутки, вновь бросили на форты.

Немцы еще два дня штурмовали форты. И падали мертвыми.

Узнав о гибели целого полка, о серьезном ранении сына, Гинденбург взбеленился:

— Август, ты идиот! Я тебя заставлю лично поехать к каждой матери погубленных тобою солдат и на коленях просить у них прощения за гибель их сыновей!

— Но я все делал, как вы приказали: мы атаковали ночью...

— И что? — перебил Гинденбург.

— Они уничтожили полк... вашего сына.

— Лучше бы они и его убили. И тебя, Август, в придачу. Сколько русских в фортах?

— Не знаю...

— Как это?

— Мы перехватываем все их переговоры и никак не можем понять, сколько в фортах русских войск. Единственное, что точно известно, — там гвардия.

— Я об этом уже слышал. Август, лучше бы мне вместо тебя иметь такую гвардию и таких командиров. Ты третий день стоишь перед фортами. Если через два дня тебя не будет в Варшаве, сразу, не заезжая сюда, уезжай в свое поместье. На пенсию, сукин ты сын!

Атаки прекратились. Были подтянуты тяжелые орудия и начались методичные обстрелы фортов. Досталось и Варшаве — пригороды горели, унося в пламени горящих домов жизни сотен безвинных людей. Дом Владислава Смирнитского не пострадал, но вся семья хоронилась в просторном подвале.

Форты немцы взять так и не смогли!

На пятый день командующий армией генерал Эверт наконец-то проснулся и, отбросив противника, вышел во фланг немецкой армии. Проснулся и Рузский — он всегда попевал вовремя, когда пахло победой. Над немцами нависла угроза полного разгрома.

Гинденбург приказал отвести войска на границу Восточной Пруссии и — вот же неугомонный — тут же бросил армии на Лодзь!

Большого позора для русской армии не было.

Вначале немцы окружили русских в Лодзи!

Потом русские окружили немцев!

Потом благодаря приказам командующего фронтом Ружского немцы спокойно, без потерь, вышли из окружения!

Слава русским командующим!

Государь немножко пожурил Ружского и оставил на прежней должности!..

XXI

Командир Семеновского полка Эттер — Ванечка — ходил гогольком: как же, опять его гвардейцы спасли русскую армию от позора. То, что гвардейцев осталось чуть больше половины, конечно, ему было очень жаль, и давило в груди, и слезы наворачивались, но орден Святого Георгия 3-й степени на полосатой шейной ленте, врученный самим государем императором, да любимое царское трехкратное лобызание как-то легко сняли с генерала траур по погибшим гвардейцам — сам-то он мало представлял, что там, на фортах, происходило — даже связи не было, почему-то не отвечало радио. Правда, в штабе полка переговоры гвардейцев слышали, но так и не могли понять, о чем они говорили — какая-то чушь. А тут еще бал в переименованном Петрограде в честь генералов-победителей, где красавец Иван Севастьянович, как всегда, был у столичных дам нарасхват... Жизнь удалась!

Тухачевского наградили «Святой Анной» 3-й степени. Смирнитскому вновь вручили польский орден: Золотой крест Святого Станислава 2-й степени на шейной ленте. И десятидневный отпуск поручики получили.

Друзья зашли в варшавское ателье и сфотографировались на память: два молодых офицера стоят строгие, красивые, в необыкновенно красивой гвардейской парадной форме, с орденами-крестами на груди, с шашками со свисающими темляками. Глеб свою фотографию оставил у Смирнитских, Тухачевский повез с собой в Москву, родителям.

— Следующий, Миша, точно «Георгий»! — сказал Глеб.

— И тебе, Глеб, того же желаю!

Друзья обнялись и радостные пошли собираться в отпуск.

А в Москве была ранняя зима, выпал первый пушистый снег, и от этого белого цвета город стал еще красивее. По заснеженным улицам ездили кареты и пыхтели автомобили, и никто еще не готов был вытащить санки, но радовались этому первому снегу необыкновенно, как будто он скрыл под собой что-то старое, страшное, некрасивое, омерзительное. Магазины всё так же ломались от еды, рестораны были открыты всю ночь, и всю ночь в них играла музыка и гуляла веселая публика. В знакомом ресторане в углу так же одиноко сидел тот же мужчина, только более постаревший и поседевший, и все так же, напившись, кричал, чтобы выпили за героев Гумбиннена, но его уже никто не выводил из ресторана, никто не обращал на него внимания — таких одиноких, в офицерских формах без погон, с наградами и без, с одной рукой или одной ногой, было уже много, и все они пили водку и требовали выпить за них, за героев этой войны...

Сильно сдал и болел отец Михаила Николай Николаевич Тухачевский — сердце пошаливало. Но все искренне радовались приезду, как говорила Мавра Петровна, «сыновей», а Нина, не скрываясь, загибала тоненькие пальчики, считая оставшиеся месяцы до апреля, до свадьбы. И все знали, что свадьбе быть, и тихонечко готовились к ней.

На прощание родители подарили Михаилу и Глебу красивые офицерские полушубки, только-только появившиеся, только вошедшие в моду в обеих столицах среди невоюющих штабных офицеров. Где и как достали, не рассказывали. И оба поручика, такие красивые, со скрипящими портупьями и ремнями, с пристегнутыми наградными шашками, вызывали у окружающих еще большее восхищение и зависть. Отпуск пролетел мгновенно, и, пообещав вернуться к свадьбе, молодые люди, зацелованные и облитые слезами родных, уехали обратно в полк, на войну.

А Москва была так необыкновенно красива в эту первую военную зиму.

Заканчивался 1914-й — бесславный год войны. Для нас, для русских!

XXII

К зиме наступила та «окопная война», которая и привела к краху российскую, да и другие империи. Такая война, как червь яблоко, изнутри, медленно и беспрерывно съедала промышленные, сельскохозяйственные и человеческие ресурсы всех воюющих государств. Но всех тяжелей приходилось немцам — Германия задыхалась от войны на два фронта. Про план Шлиффена уже никто и не вспоминал: до Парижа было рукой подать, но все как-то достать не удавалось; все так зарылись в землю, в залитые водой по колено окопы, обвязались многочисленными рядами колючей проволоки, что не было сил побежать вперед по этой грязи — уж лучше в окопах сидеть, умирать в этой грязи не хотелось. Да и на востоке дела были не лучше. Как раз в феврале-марте пятнадцатого года, по расчетам и планам талантливых русских генералов, и должна была прекратиться эта война — поражением немцев, но она не заканчивалась, она топталась на одном и том же месте, на границе Пруссии и Польши. И сотни тысяч русских солдат уже лежали в общих могилах, и их души не понимали, за что же они погибли.

Но что там погибшие солдаты? Генералам русской армии вдруг понадобилась победа. Каждому своя, личная. И они опять стали ругаться в Ставке. Каждый кричал, что его направление главное, и всех больше расхрабрился вечно трусливый командующий фронтом Рузский.

— Надо усилить мой Северо-Западный фронт и ударить по немцам в Восточной Пруссии! — доказывал он.

— Что-то уж больно тихо на вашем фронте, Николай Владимирович, не надумал ли какую новую каверзу Гинденбург? У вас там точно все спокойно? — встречно спросил у Рузского Верховный главнокомандующий Николай Романов. — Может, наоборот, надо ожидать их наступления и усилить оборону?

— На моем фронте Гинденбург наступать не будет. После того как он получил от нас по шее под Лодзью, у него для этого нет сил. Самое время, пока он не очухался, развить успех.

— Чего он там получил? — съязвил командующий другим фронтом Иванов. — Благодаря вам, Николай Владимирович, германцы вместо поражения преспокойно, с барабанным боем, без потерь вышли из окружения под Лодзью.

— Как вы смеете меня оскорблять, Николай Иудович? Вы там на своем Юго-Западном фронте и представления не имеете, что такое настоящая война. Перед вами кто — австрийцы?! Да они никогда не умели воевать. Ваше высочество, я настаиваю: надо, пока противник не оправился от поражений, пока он со своим планом Шлиффена все хочет войти в Париж, наступать в Восточной Пруссии, а австрияки подождут!

— Ваше высочество, но прав-то Николай Иудович, — вступился за своего командующего начальник штаба Юго-Западного фронта Михаил Васильевич Алексеев. — Надо наступать на нашем фронте и отрезать фланговыми ударами Венгрию. Именно здесь, на этом направлении, мы можем получить быстрый и необходимый результат: разбить австрийцев и добиться выхода Австро-Венгрии из войны.

— Михаил Васильевич, а вы-то что вмешиваетесь в наш разговор? Мы уж как-нибудь с Николаем Иудовичем между собой, вдвоем, разберемся, где будет наступление. Ваша задача — вовремя карты на стол своему командующему подавать! — обрезал Рузский.

Рузский был наглым трусом!

Перепапка командующих возобновилась: замахали руками — карты фронтов полетели со столов. Коля Лукавый только головой на длинной худой шее кивал, а сам все не мог понять, кто прав: Рузский или Иванов? И принял решение (Соломон, ей-богу!):

— Не будем ругаться, господа генералы. Начнем наступление сразу на двух фронтах!

И это при том, что снабжение армий составляло десять процентов от потребностей!

— Как на двух? — удивились оба командующих фронтами. — А какими силами?

— Вы забыли, что вы командующие русской армией, которая со времен Суворова воюет не числом, а умением? Чего-чего, а удара двух фронтов Гинденбург точно не ожидает. Да и нашим союзникам по Антанте надо помочь! Им сейчас особенно тяжело, — германские воска под Парижем, и французы опять обратились за помощью к нашему государю, а его величество сообщил свое решение мне: помочь. Значит, вы, Николай Владимирович, наступайте, как и предлагаете, в Восточной Пруссии в районе городка Августов, а вы, Николай Иудович, со стороны Буковины на Венгрию — подвел итог Верховный главнокомандующий всеми русскими войсками...

Ну кто же знал, что командующий германскими силами на Восточном фронте Пауль фон Гинденбург сидел в полевом Генеральном штабе германских войск и втолковывал его начальнику Эриху фон Фанкельхайму:

— Эрих, пора кончать с этим планом Шлиффена. «Закрывающиеся двери», «открывающиеся двери» — все это чушь. Никуда эти лягушатники от нас не денутся. Но пока мы не разобьем русских, нам Парижа не взять — они будут контратаковать нам в спину на Восточном фронте, да еще нам придется помогать не проиграть эту войну австриякам. Пятнадцатый год надо сделать годом Восточного фронта.

Фанкельхайм до войны был военным министром Пруссии и сменил в сентябре 1914 года отправленного в отставку после поражения в битве на Марне Хельмута Мольтке. С Гинденбургом они были знакомы еще до войны.

— Пауль, — отвечал он, — я тебя, как весь немецкий народ, люблю, но понять не могу — как это ты предлагаешь устроить?

— Эрих, русские собираются наступать сразу двумя фронтами: на Восточную Пруссию и через Буковину на Венгрию.

— Я это знаю, Пауль, у меня сведения не хуже твоих. Я только не пойму, как они собираются наступать, если у

них некомплект полков на треть, а снарядов почти нет? Я бы еще понял, если бы они сконцентрировали свои силы на одном направлении, но на двух...

— А я о чем? Я предлагаю передать мне одиннадцать корпусов с Западного фронта и четыре резервных корпуса из Германии...

— Пауль, откуда ты знаешь про резервные корпуса? Это же сверхсекретные сведения...

— Для русских! — перебил Гинденбург. — Я создам новую армию в Восточной Пруссии, и когда эти слабые, растянутые по фронту русские войска начнут наступление, я с двух сторон двумя армиями отрежу их 10-ю армию, уничтожу ее, после чего ударю дальше на северо-восток. Но это первое. Второе. Разбив русских в Пруссии, я, совместно с австрийцами, ударом группы из двадцати дивизий вот здесь, в районе Горлицы, прорву русский фронт и возьму Львов и дальше ударами с двух сторон отрежу всю Польшу. Русским конец!

— А французы? Они же увидят, что с их фронта снимают корпуса, и сообщат русским...

— Если даже и увидят, уверен — промолчат. Это они русских просят помочь, когда сами бегут, но чтобы помогать русским? Эрих, если такое случится, я сразу уйду на пенсию!

— Когда меня выгонят на пенсию, я попрошу, чтобы Генеральный штаб возглавил ты.

— Ошибаешься, Эрих, мне этого мало: штаб пусть возглавит умница Людендорф, а мне нужны все германские вооруженные силы.

— Ты хочешь занять место Верховного главнокомандующего? А император? Значит, мне пора в отставку, — грустно сказал Фанкельхайм — Я знаю, что все будут против такого плана, но я подпишу такой приказ. Пауль, на тебя молится вся Германия.

— Я не против, чтобы молилась. Мои планы на этом еще не закончились.

— Пауль, может мне годика на три пойти на пенсию, а потом вернуться?

— Попробуй, Эрих, но скажу тебе как другу: ничего хорошего на пенсии нет.

Главным театром военных действий на 1915 год был избран Восточный фронт.

Русские об этом не знали!

Сняв с Западного фронта 11 корпусов и добавив еще 4 резервных корпуса, Гинденбург создал в Восточной Пруссии новую армию, которую проспал командующий фронтом Рузский. Целую армию!.. И союзники по Антанте проспали — не ведали, что с их фронта немцы войска снимают. А может, знали, да промолчали?

— Герман! — говорил Гинденбург командующему новой, неизвестной русским армии Герману фон Эйхгорну. — Я тебя выдернул с пенсии не для того, чтобы ты продолжал прохлаждаться. Я тебе вручаю армию, чтобы ты прикончил русских. На тебя смотрит вся Германия! На тебя смотрят смертельно уставшие голодные немцы. Не мне и не тебе — эта победа над русскими нужна нашим Гансам и Мартам! Иди и принеси им эту победу!

Через час Гинденбург примерно то же самое говорил командующему другой армией Отто Белову:

— Отто ты командуешь моей 8-й армией. Для меня она — как Великая армия для Наполеона. Иди и раздави русских. И вообще, Отто, тебе пора получить «Голубого Макса», Макензен тебя обогнал. Так догони его!

— Вы, ребята, — уже на прощание, посылая их в бой, сказал генералам Гинденбург, — зажмите эту 10-ю русскую армию, и чтобы ни один солдат не смог вырваться. Раздавите и убейте всех! Пленных можете не брать. Спишем все на мороз!

И когда генералы, щелкнув, как какие-то лейтенанты, перед великим Гинденбургом каблуками, вышли, он тут же вызвал командующего 11-й армией Августа фон Макензена.

— Август, — сказал Гинденбург, — тут Отто и Герман решили тебя обскакать — разбить русских в Пруссии. И хотя ты получишь по «Голубому Максусу», а то Отто считает себя обиженным: ты-то получил за Самсонова, а он нет. Но, Ав-

густ, я тебя в обиду не дам. Пока они будут расправляться с русскими здесь, в Пруссии, ты со своей армией ударишь в районе Горлицы и возьмешь Львов. И помни, Август, на тебя смотрят голодные немцы. Они хотят масла и хлеба, они хотят победы. Принеси им и то и другое. И прошу тебя русских не жалеть. Пора с ними кончать!

Подействовало. Каждый решил, что он-то и есть главный. И без ругани!

А в русской Ставке всё доказывали, кто имеет больше прав на победу... Что-что, а шкуру неубитого медведя в России делить умеют. И начали наступление на двух фронтах. Через два дня наступление захлебнулось: а с чего ему развиваться, если на орудие было десять снарядов, а фронт 10-й русской армии был растянут аж на 170 километров?

Странно все-таки: когда плохо на фронте у французов, так русские солдаты должны умирать, а как Гинденбург корпуса с французского фронта снял и бросил на русских, французики обрадовались... и поехали в Париж, на Монмартр — вино пить да с девочками в постелях валяться.

И пошли с двух сторон на русские корпуса две немецкие армии. Отто фон Белов со стороны Мазурских озер, которые он хорошо знал еще по августу 1914 года, так врезал с запада по 10-й русской армии, а командующий другой немецкой армией, о которой никто не знал, Герман фон Эйхгорн так добавил с севера, что русские побежали, умирая под орудийным огнем и копытами немецких лошадей, да так быстро побежали, что корпус генерала Булгакова за спиной оставили. Немцы его в кольцо и взяли. А к корпусу был приписан лейб-гвардии Семеновский полк.

Сорок тысяч русских солдат оказались в окружении двух немецких армий. От такого позора командующий 10-й русской армией генерал от инфантерии Фаддей Васильевич Сиверс застрелился. Честь — никому! Лучше бы это сделал его начальник — командующий фронтом Рузский! Маленький, неизвестный, заснеженный польский городок Августов и не знал, что на его полях и в лесах останутся лежать мертвыми десятки тысяч русских солдат. Какая слава!

Две недели в этих заснеженных лесах дрались в окружении эти десятки тысяч солдат, отбивая атаки втрое превосходящих сил противника. Благодаря их героизму и боязни немцев оставить у себя в тылу тысячи умирающих, но не сдающихся русских, удалось спасти бегущую 10-ю армию.

Израсходовав весь боезапас, корпус сдался... не весь! Два наполовину уничтоженных полка вырвались из окружения. Один из них — Семеновский. Сдавшийся в плен со всем своим штабом генерал Булгаков был награжден государем за героизм орденом Белого Орла и... уволен из армии. Остальные, почти все, получили кресты... деревянные!

XXIII

В сырых шинелях и сапогах было нестерпимо холодно. Не готова была армия к зиме. Окопы-то вырыли — лопаты появились. Солдат — крестьянин ли, рабочий ли — ладони в непроходящих мозолях с детства. А тут и рыть не пришлось — окопы были немецкие, взяты почти без боя в первый день наступления. А дальше стена из проволоки и огня. Попробовали пару раз подняться в атаку, уложили под пулеметным огнем солдат и вернулись. А еще через день оказались в окружении. В окопах, под ногами каша из растаявшего снега, а с неба беспрерывно снег с дождем — конец февраля. Серость неба днем и чернота ночью. И в этом липком, грязном снегу, без огня, без горячей пищи дрались с немцами семеновцы; до слипания глаз, до усталости в руках стреляли, отбивали атаки, засыпали на снегу и вновь дрались. До последнего патрона, до сломанного штыка...

Роту Веселаго окружили ночью. Немцы пошли в атаку без единого выстрела, тихо, как тогда, в сентябре четырнадцатого, на фортах Варшавы. И сразу в штыковую. Дрались с криками, с матом, в полной темноте, зло и умирали как-то зло.

— Господин капитан, Сергей Петрович, там со стороны роты штабс-капитана Веселаго какой-то непонятный шум: крики, ругань. Как бы не получилось как тогда на фортах в

Варшаве — ночная атака? Прикажите идти на помощь, — умоляюще попросил Хлопов.

— И я прислушиваюсь, Алексей Петрович. Поднимайте людей и броском вперед. Я сам с вами пойду.

— Не надо бы вам, Сергей Петрович, мы справимся.

— Не спорьте. Считайте, господин штабс-капитан, что это мой приказ. Вы же знаете, Семен Иванович не просто мой подчиненный, он мой боевой товарищ еще с японской, он мой друг. Поднимайте роту.

Немцы встретили гвардейцев пулеметным и оружейным огнем. Данин до окопов не добежал — пуля попала в грудь, и он, захрипев, упал лицом в снег и сразу умер. Атаку возглавил штабс-капитан Хлопов. Немцы вдруг прекратили огонь, но когда рота ворвалась в траншею, было уже поздно — немцы ушли, захватив пленных. То, что увидели эти смертельно уставшие, мужественные люди, потрясло их, у всех появились слезы на глазах: вперемежку лежали убитые немцы и русские, сжимавшие в мертвых руках винтовки со штыками, тесаки и ножи. Веселаго узнали только по Георгиевскому кресту — весь был изуродован тяжелыми немецкими тесаками. Михаила Тухачевского не нашли. Глеб Смирнитский, сам раненый, осмотрел каждого погибшего; взяв солдат, исползал все окрестности и среди захваченных немцами в плен и брошенных при отходе, окровавленных, но по счастливой случайности не добытых до смерти русских солдат нашел одного, который на вопрос о Тухачевском прошептал, что видел, как поручик дрался с немцами и потом на поручика немцы навалились, а дальше раненый ничего не помнил — потерял сознание от удара по голове. Зашептал сквозь слезы: «Спасибо, братцы, что спасли!» В офицерской землянке лежал полушубок, а в траншее нашлась наградная шашка Тухачевского с красным темляком — по-видимому, выскочил в траншею и дрался ею. Глеб обрадовался: раз не нашел убитого, значит, Михаил жив — в плен попал.

От батальона осталась половина способных стрелять и драться гвардейцев. Хлопов, как старший по званию из оставшихся живых офицеров, возглавил батальон и, соб-

рав остатки рот, назначил вместо себя командиром роты Глеба Смирнитского и еще два дня отбивал атаки немцев, а потом каким-то непонятным, немыслимым броском, ночью, молча, без криков «ура», с винтовками без патронов, без пулеметов, с одними штыками гвардейцы прорвались к своим... и раненых вынесли.

Радости не было — была смертельная усталость. Да и какая радость: Хлопова обвинили в бегстве с поля боя и гибели капитана Данина! И заступничество командира полка, генерала Эттера, не помогло. Обвинение шло от самого командующего фронтом Рузского.

— Они сами себя загнали в окружение, — выговаривал в Ставке Рузский. — Был же общий приказ отходить. Остальные же корпуса десятой армии отошли. Сиверс, дурак, застрелился, а так бы подтвердил, что приказ был отдан своевременно и он его получил. А коли корпус Булгакова и этот гвардейский полк приказ не выполнили и оказались в окружении, то должны были драться в окружении и не отходить! Именно неисполнение приказа Булгаковым и трусость таких, как штабс-капитан Хлопов, привели к нашему поражению. Умереть, но не отступать — вот девиз русской армии, а уж лейб-гвардии Семеновский полк... Я требую разжаловать штабс-капитана Хлопова и предать его военно-полевому суду. И всех убежавших с поля боя офицеров разжаловать в рядовые.

Возмутился генерал Иванов:

— Да как вы можете, ваше высокопревосходительство, так говорить о русских солдатах? Это же солдаты вашей армии! Да только благодаря мужеству этих, окруженных противником солдат вы не потерпели позорного поражения! — и обратился к Верховному главнокомандующему: — Ваше высочество, их необходимо наградить. По армии идет ропот, говорят об измене и предательстве и где — в Ставке?! Если мы тронем этих героев, мы поставим вас и государя императора в неприятное положение. Этого делать нельзя!

Иванов не столько защищал других, сколько спасал свою шкуру после страшного разгрома от Макензена под Горлицей.

— Вам-то с Алексеевым лучше бы помолчать, — сказал зло Рузский. — Галицию-то просрали! Я буду жаловаться государю!

— Ну-ну, жалуйтесь! А я буду жаловаться на вас, Николай Владимирович, — тихо произнес великий князь Романов.

— Как? — выдохнул Рузский. — Как это возможно жаловаться на меня, верного слугу государя? В таком случае я подаю прошение об отставке!

— Скатертью дорога! — ответил Верховный главнокомандующий и приказал адъютантам: — Готовьте наградные листы.

Рузский, наверное, ожидал, что император вспомнит его заслуги и будет просить остаться. Но государь после таких поражений испугался... армии и согласился на уход Рузского. Императору уже тогда начали шептать: «Пора, ваше величество, стать во главе армии. Во Франции был Наполеон, в Германии Верховным Вильгельм...» Император задумался, но отговорила умная жена:

— Ники, не сходи с ума — какой из тебя Верховный? Посмотри на себя в зеркало. Да и наследник болен, а там война, стреляют. А Рузского отпусти... пока.

Государь с доводами любимой жены, как всегда, согласился и отправил Рузского в отставку (по болезни), правда, ненадолго — через пять месяцев император, став Верховным главнокомандующим, вновь его вернет командующим фронтом...

После отставки Рузского фронт возглавил Михаил Васильевич Алексеев, генерал от инфантерии и... масон! Эта возглавляемая им тайная военная масонская ложа через два года, в марте семнадцатого, сыграет основную роль в отречении царя от престола. А сейчас император ему благоволит — не зря же, когда сам станет Верховным, поставит Алексеева начальником Генерального штаба, отдав ему всю военную власть в империи! Но это будет потом, а сейчас, весной пятнадцатого, после сокрушительных поражений стране нужны были герои.

Штабс-капитану Хлопову присвоили звание капитана лейб-гвардии, наградили орденом Святого Георгия 4-й

степени и назначили командиром батальона. Глеба Смирнитского, раненного при прорыве из окружения, тоже наградили «Георгием четвертой», присвоили звание штабс-капитана и назначили командиром роты вместо Хлопова. Михаила Тухачевского наградили «Владимиром четвертой», посмертно, как было написано в указе о награждении, и он был уволен из армии. Роты Веселаго не стало. Остатки влились в другие роты — из гвардейцев, пришедших в августе четырнадцатого на войну, не осталось и половины. Выбил немец! Лучшие погибают первыми!

Но Глебу предстояло самое трудное: после лечения, получив краткосрочный отпуск, он поехал в Москву к родителям Тухачевского.

А Архип Ферапонтов, денщик, так и не побывав ни в одном бою, умудрился получить медаль и после исчезновения Тухачевского как калека (пальцев на правой руке нет) забрался в какой-то продовольственный склад. При виде знакомых семеновцев морду в сторону воротил... Сука.

XXIV

За неполный год войны страна стала другой. Уже не плясали на железнодорожных полустанках пьяные мужики — не было мужиков; стояли, понуриив головы, молодые безусые парни. А рядом не было невест — стояли матери и молча плакали, сжимая платки в руках. И не было ни капли веселья — были безучастность и злоба. Сбывались предвоенные слова штабс-капитана Веселаго: Россия катилась не к победе — к революции!

А в больших городах на вокзалах выгружали, как дрова, солдат, похожих на обрубки: без рук, без ног, в окровавленных грязных бинтах; быстро запихивали в зеленые санитарные автомобили с красными крестами и везли по госпиталям, что разворачивались в училищах и гимназиях. Не до учебы в стране стало. Все для фронта и всех на фронт!..

А Москва удивила. Такая же праздничная, как в четырнадцатом, только сейчас по белому снегу катились запря-

женные сытыми рысаками санки, стреляли дымом автомобили, генералы расправляли усы на морозе, обнимая веселых, в меха закутанных дам. Иллюминация сверкала, рестораны гремели музыкой и взрывами шампанского, как будто и не было поражений, оплаченных кровью сотен тысяч русских солдат, и не было оставленных городов и деревень — ничего не было; было шампанское, красивые женщины и миллионы наворованных рублей в карманах. И появился какой-то Гришка Распутин. А вот снарядов, патронов, теплой одежды, бинтов на фронте не было...

И все это веселье катилось по улицам и бульварам древней столицы, а в пригородах, на заводах накалились злоба и ненависть. Страна на всех парах катилась к революции, в которую в четырнадцатом никто не верил, даже большевики, — а теперь она уже открыто стучалась в российские ворота.

У Тухачевских было сразу два горя. Отец, Николай Николаевич, вычитав в «Ведомостях» в списках погибших фамилию сына, слег, не вставал, а когда пришло письмо от Смирнитского, в котором он описывал последний бой и сообщал, что убитого Михаила не нашел и скорее всего тот попал в плен, обрадовался, хотел встать, но сердце не выдержало, и он умер.

Родные Михаила Тухачевского ждали приезда Глеба, и когда он сообщил, что выписывается из госпиталя и приедет к ним, пошли на вокзал, как будто встречали своего родного сына. Они хотели как можно быстрее услышать слово, означавшее, что их Михаил жив. Это слово, каким бы горьким оно ни было, было лучшим лекарством для их родительского сердца.

Не ожидал Глеб, что его так встретят: со слезами и с радостью, что он, Глеб, живой! Но хлебосольства уже такого не было; нет — было, конечно, но такое, какое бывает у честных людей в голодные годы. Семья-то держалась на деньгах, посылаемых с фронта сыном. Сын пропал — и достатка не стало. Все работали, но цены на продукты бежали впереди любых честных зарплат.

Мавре Петровне Глеб отдал наградную шашку Михаила. Та плакала на его груди и крестила:

— Спасибо, Глебушка, что добрые вести привез, что Мишу помнишь, что веришь и нам говоришь, что жив Миша. Ах, как бы был рад твоему приезду отец.

Пришла Нина. Она стала какой-то взрослой. Мало смеялась — все больше слезы стояли в печальных глазах. Говорила тихо и печально:

— Господи, что же происходит? И везут, и везут, и все тяжелые. Ампутированные руки и ноги, как дрова, в подвалах лежат, пока ночью, чтобы никто не видел, не вывезут на кладбище. Раньше хоть кто-то обратно на фронт рвался, а сейчас нет — какой угодно: без рук, без ног, но домой. Что же там, на фронте, происходит, что никто не хочет воевать?

— А воевать стало не за что. Сама же видишь, как по Тверской автомобили да рысаки в яблоках летят, — грустно сказал дядя Михаила Тухачевского.

— Я человек военный и не умею утешать. Я умею отдавать приказы и посылать людей на смерть. Но хочу вам всем сказать как фронтовик: кого мы не нашли и не похоронили, не считается погибшим. Я Мишу на поле боя погибшим не нашел, а значит, он живой, и он обязательно вернется, не может быть, чтобы не вернулся самый храбрый офицер на нашем фронте. Офицер, представленный за полгода войны к шести боевым орденам! Такие, как Михаил, от пуль не погибают. К тому же он мне сказал, что в будущем станет генералом, и я верю, что он станет генералом: вернется и станет. Надо только немножко подождать... — произнес, поднимая рюмку, Смирнитский.

Глеб прожил у Тухачевских три дня как сын, вернувшийся к родителям с войны. И как ни упиралась Мавра Петровна, оставил ей деньги и пообещал, что и в дальнейшем будет продолжать посылать часть своего офицерского жалованья; другую часть жалованья и паек он отдавал дяде с племянницами в Варшаве.

Он, может быть, немного бы и задержался, но случай заставил его уехать раньше, чем он планировал.

Он, гуляя по Москве с Ниной, зашел в один из ресторанов, где, как всегда, не было мест; но увидев боевого офицера с погонами лейб-гвардии и наградами, да еще с Георгиевским крестом, столик быстро нашли. Глеб заказал шампанское, фрукты и мороженое. Так захотелось мирного времени! А ресторан гудел от криков купцов в жилетках, костюмов и бабочек государственных чиновников, погон, эполет и дорогого сукна военных. Нина и Глеб сидели и разговаривали тихо, когда к столику подошел какой-то пьяненький хлыщ и, не обращая внимания на Глеба, начал развязано приглашать Нину танцевать.

— Уйдите отсюда! — сказала Нина.

— Да чего ты жеманишься, дешевка. Я тебе больше дам денег, чем этот бравый офицер...

Нина, от стыда, что ее приняли за продажную женщину, непроизвольно вскрикнула: «Ой!» — и залилась краской.

В следующее мгновение верткий человек лежал без сознания на полу — у него была сломана челюсть. Несколько так же ярко одетых пьяных молодых людей поднялись из-за столика и двинулись в сторону Глеба и остановились, когда услышали, как Глеб в образовавшейся тишине жестко и четко произнес:

— Не советую — пристрелю!

В притихшем зале вдруг раздались аплодисменты и чей-то женский голос крикнул: «Браво!»

Глеб почувствовал такое унижение, как будто он не офицер, а артист и сделал сейчас что-то такое театральное в угоду этой празднующей публике. Он бросил деньги на стол и сказал Нине: «Давайте уйдем». И они ушли, долго ходили по городу, но уже ничего не радовало Глеба. Он проводил Нину домой, поцеловал ей руку на прощание, хотя где-то в глубине сердца понимал, что в этот момент хочет страстно целовать ее лицо, и чувствовал, что и девушка хотела бы чего-то большего, вернулся к Тухачевским, собрал вещи, распрощался с плачущей Маврой Петровной и ночным поездом уехал на фронт, туда, где было все понятно и честно: пули и снаряды летели в него, и он мог погибнуть, но он знал, что так и должно быть на войне — на то он и боевой офицер...

Лето 1915года выдалось необычайно жарким. В Варшаве, казалось, плавилось небо. Хорошо Смирнитским — у них свой дом и свой, пусть небольшой, сад, а значит, тень. Только на город, да и на все Царство Польское надвигалась тень не туч, с желанным дождем, а гром орудий и разрывы снарядов...

В Ставке опять ругались. На этот раз командующие Иванов и Алексеев. И все по тому же поводу — кто из них главнее! Рузский ушел в отставку — лечиться, и ранее командовавшие одним фронтом, почти друзья Иванов и Алексеев с пеной у рта доказывали Верховному, чей сейчас фронт главный. Только вот про Варшаву добрым словом почему-то уже не вспоминали: вдруг «прозрели» и увидели, что слишком она выпирает в линии фронта и немец с легкостью может по флангам ударить. Тем более когда они, двое, проиграли немцам в Галиции.

Варшава с четырнадцатого года «выдавалась» в немецкую Пруссию, и русские стремились сгладить фронт, а Германия — срезать варшавский выступ. Коля Лукавый, как всегда, выслушал всех и, посчитав всех правыми, решил, что усиливать варшавский выступ все-таки на этот раз не стоит — доводы генералов перевесили. Рузского не было, а доводы были те же. Решили: надо фронт выпрямлять, да не в немецкую, а в русскую сторону! Но без паники: подготовленно, спокойно отойти на новые позиции и Ставку перенести в Могилев. А ну ее эту Варшаву! А если что, объявить это как военную хитрость — заманиваем врага на свою территорию. «Великое отступление» началось!

А в это время генерал-фельдмаршал Пауль фон Гинденбург пригласил к себе победителей зимней военной кампании генералов Белова и Эйхрогна и сказал:

— Ребята, вы крепко потрепали русских, но дело так до конца и не довели. И многострадальные немцы так и не увидели результата — разгрома русских, и им приходится еще больше затягивать пояса на своих голодных животах. Хватит! Вот перед вами ваш новый командующий, — Гин-

денбург показал на сидевшего в его присутствии Августа Макензена. — Август с сегодняшнего дня указом нашего любимого кайзера Вильгельма удостоен звания генерал-полковника и становится вашим непосредственным начальником. Август, чего расселся, встань, когда с тобой разговаривает генерал-фельдмаршал! Думаешь, если стал генерал-полковником, то можешь в моем присутствии сидеть? Не надейся! Я — Гинденбург! Заруби себе это на носу! Итак, господа, либо вы разобьете русских, либо все пойдете в бесславную отставку. И ты, Август, вместе с погонами генерал-полковника. Они тебя не спасут — ты такой же старик, как и я! Я в отставку не хочу, я уже в отставке был. Скажу вам честно, ничего хорошего в ней нет. Я понятно выразился? Кругом. Вон!..

Генералы щелкнули каблуками, увидев, как усища Гинденбурга сами по себе полезли вверх от гнева.

— Идите и умрите, но без победы не возвращайтесь, и тогда великая Германия и великий немецкий народ будут помнить вас в веках. Устройте им «Польский мешок». С вами Бог! — крикнул Гинденбург в затылки уходящих генералов.

Генералы поняли — лучше пулю в лоб!

Уже к началу августа фронт был выпрямлен — русские побежали; а что оставалось делать, если их еще до боев предали собственные генералы и снабженцы — даже снарядов с патронами не было, винтовки Мосина на берданки заменялись. А те немногие снаряды, что поступали, сделаны были в Англии и не подходили к орудиям! И за все это было уплачено русским золотом, обильно политым кровью русских солдат.

Дольше всех дрались в крепости Новогеоргиевск и на фортах Варшавы.

Рота штабс-капитана Смирнитского, как тогда, в четырнадцатом, вновь сражалась на варшавских фортах. Правда, это были уже не те форты: верхние этажи были разрушены артиллерией, но все-таки это были еще мощные укрепления. Из вооружения было несколько полевых пушек и пулеметы.

К роте семеновцев, к фортам, вышли отступающие — две сотни солдат. Эти двести солдат — все, что осталось от разбитого немцами пехотного полка. Остальные лежали разорванные, заколотые, застреленные в «Польском мешке», который русские генералы вместе с немецкими генералами старательно выпрямляли. Командовал солдатами молодой подпоручик, который представился:

— Подпоручик Ян Ковалевский.

— Штабс-капитан Глеб Смирнитский. Вы поляк, подпоручик?

— Да, из Лодзи.

— Ну, значит, вместе будем защищать нашу родину — Польшу. А я из Варшавы. Ян, рассредоточьте ваших солдат среди моих гвардейцев. Сами понимаете почему. Вам я предлагаю стать моим заместителем. Не возражаете?

— Почтем за честь воевать вместе с гвардией. Вы давно на фронте, господин штабс-капитан?

— С первого дня, пан подпоручик. Давайте, Ян, воевать дальше вместе.

— Есть, господин штабс-капитан... Впрочем, глупо, что я вас спросил, — стоит только посмотреть на ваши ордена. Как говорят русские: «Иконостас!»

— Будет вам, подпоручик, не в орденах слава, а в сохранных солдатских жизнях.

Смирнитский, помня удачи и промахи предыдущей защиты фортов и в то же время понимая, что Варшава будет отдана врагу и что помощи ждать неоткуда, старался расположить для боя роту так, чтобы гибель его солдат была минимальной, а врагов... даже попросил пристрелять легкие орудия и винтовки новобранцев. К каждому необстрелянному солдату «прикрепил» старослужащего солдата-гвардейца, сказал: «Отвечаете головой за новеньких». На что солдаты засмеялись: «Немец готов убить, свой командир голову готов оторвать!» Смирнитский, собрав офицеров роты, определил план... отхода. Никто не возмущался, все понимали — не четырнадцатый год, да и этот бой, дай бог, не последний. Пригодились знания предыдущей защиты, когда Глеб с созданным тогда взводом связи исследовал

все подвалы и ходы в фортах и нашел полузаваленный подземный ход, ведущий под Вислой на ту сторону реки.

Подошел подпоручик Ковалевский.

— Господин штабс-капитан, предлагаю усилить пулеметами вот эти и эти огневые точки, — показал.

— Поясните, подпоручик, почему?

— А угол обстрела будет больше, и наступающие немцы будут как на ладони. Я подсчитал.

— Как подсчитали?

— В уме.

— Вы что, математик, подпоручик?

— Так точно, Варшавский университет окончил.

— Хороших офицеров университет выпускает... или математиков. Молодец. Что вы, Ян, любили в гражданской жизни?

— Мне больше всего нравилось головоломки разгадывать.

— Тогда, Ян, вам бы шифровальщиком быть — вам бы цены не было.

— Не пробовал.

— Поверьте, очень хорошая военная специальность... Действуйте, подпоручик.

Еще до фортов Глеб успел заскочить к дяде, который в страхе со всей семьей прятался в подвале дома от пролетающих с воем над головой снарядов. Все, увидев Глеба, стали его обнимать и плакать, как по покойнику. Причитали хором:

— Глеб! Живой!.. Не уходи, Глеб, нам страшно...

— Перестаньте, перестаньте плакать. Я обязательно вернусь. Живой вернусь! Вы верьте мне и ждите. У меня, кроме вас, никого нет. Прощайте! Нет — до свидания!

— Прав я оказался, Глеб, прав, когда в прошлом году, когда вы здесь были с Михаилом, говорил, что русские отдадут Варшаву немцам. Надо было тогда еще уходить.

— Куда уходить, дядя? Там, в России, все трясется и ходуном ходит. Не дай-то бог, покойный штабс-капитан Веселаго прав окажется и все это закончится революцией. Тогда лучше это время пересидеть в Польше.

— Так, может, останешься, Глеб?

— Дядя, я этого не слышал. Я офицер, я присягу русскому императору давал.

— Прости меня, Глеб. Я так боюсь... Мы будем тебя ждать. Если вернешься, а меня не будет, Марию и дочерей моих, пожалуйста, не бросай.

— Лучше, если вы все меня дождетесь. Прощайте...

Никогда еще за всю войну Смирнитский не воевал с такой злостью, с каким-то азартом. Каждый его солдат знал свое место, знал куда стрелять, как и где хорониться при артобстреле. Макензен опять просчитался.

— Макензен! — орал Гинденбург. — Опять ты топчешься! Я не посмотрю, что ты у нас уже генерал-полковник, я тебя отправлю в отставку!

— Так форты...

— Какие, черт тебя возьми, форты? Ты же их еще в четырнадцатом разрушил.

— А засевшие в них русские все дерутся!

— Макензен, даю тебе два часа: сровняй их с землей, или я тебе подарю мой личный пистолет.

Никогда еще форты не испытывали такого артиллерийского огня. Целыми остались только подвальные и полуподвальные помещения. Но когда немцы вновь пошли в атаку, их из подвальных щелей, из-за разбитых кирпичных стен встретил пулеметный и винтовочный огонь.

Больше немцы в атаку не ходили. Подтянув тяжелую артиллерию, форты ровняли с землей. Правда, поздно — всех оставшихся в живых гвардейцев и солдат Смирнитский вывел через подземный ход на другой берег Вислы. Последним выходили перевязанный по груди бинтами Глеб, которого задело осколком, с лежащим на носилках раненым Яном Ковалевским...

Голова Ковалевского была забинтована окровавленным бинтом, но подпоручик был в сознании.

— Ян, выздоравливай быстрее. И береги свою голову, мне почему-то кажется, что она очень пригодится не только тебе, но и нашей Польше, — сказал идущий рядом с носилками Глеб, потом обратился к солдатам: — Аккуратней

несите. Ум этого молодого человека еще очень понадобится армии.

Как в воду глядел!

Смирнитский был моложе Яна Ковалевского на два года!

5 августа 1915 года немецкие войска вошли в Варшаву!

Россия «выровняла» фронт. Польша была потеряна.

Царство Польское перестало существовать... Навсегда!

XXVI

Лощеного красавца Ванечку было не узнать. Он нервно ходил по кабинету, сотрясаемому взрывами снарядов, трусовато серел лицом и обтирал вспотевший лоб надушенным платком. Перед генералом стоял навытяжку штабс-капитан Смирнитский.

— Штабс-капитан Смирнитский, я вам приказываю с вашей ротой охранять переезд Верховного главнокомандующего из Барановичей в Могилев. Я знаю, штабс-капитан, что вы ранены, что в вашей роте большие потери, что люди смертельно устали, но поверьте мне — некому! В армии хаос, паника. Все бегут, приказы не исполняются. Солдаты бросают оружие! Дошло до того, что некоторые части до того деморализованы отступлением, что сдаются в плен! Глеб Станиславич, прошу вас, исполните не приказ, мою просьбу, — говорил со слезой в голосе командир лейб-гвардии Семеновского полка генерал-майор Иван Севастьянович фон Эттер и умоляюще смотрел на Смирнитского. — Поверьте, голубчик, некого послать — все роты брошены на сдерживание немцев, а точнее, для сдерживания бегущих полков — примером показать, как надо умирать. И это называется упорядоченный отход на заранее подготовленные позиции? Позор! Сколько человек у вас осталось в роте, штабс-капитан?

— Всего шестьдесят, боеспособных — двадцать пять.

— У других, насколько я знаю, значительно хуже. Впрочем, вы всегда были молодец — солдата берегли... Поезжайте, Глеб Станиславич, пожалуйста. Вам выделяется два

автомобиля. Через два часа вы будете в Барановичах. Вас там ждут.

— Слушаюсь, ваше превосходительство! Я все исполню.

Оставив раненых под присмотром подпоручика и нескольких солдат, двадцать уставших, только что вышедших из трехдневного боя гвардейцев погрузились в две автомашины с открытыми кузовами и поехали в сторону Барановичей. В автомобилях на разбитой дороге так трясло, что о какой-нибудь возможности передохнуть, просто закрыть глаза и вздремнуть не было и речи. По дорогам отходили русские части. Лица солдат были землистого цвета, глаза потухшие. По такой жаре солдаты отступали в шинелях с поднятыми воротниками, как будто их трясло от холода. Винтовки, как палки, болтались за спинами. Некоторые были без оружия. Полки отступали толпой, ни звука, только шорох тысяч волочащихся по пыли сапог — лишь бы спастись. Фронт катился на восток — к Риге, к Пскову!

Верховный главнокомандующий Николай Николаевич Романов был в подавленном состоянии. Отдавал какие-то распоряжения, но тех никто не слушал. Одно хорошо — штабные документы были собраны и упакованы. А с документами — готовые как можно быстрее отъехать штабные офицеры; были автомашины, но не было приказа уезжать.

Верховный обрадовался появлению Смирнитского.

— Штабс-капитан Смирнитский. Прибыл для сопровождения вашего высочества и Ставки на новое место.

Спокойный, ровный голос Глеба несколько успокоил Романова. Он перестал лихорадочно ходить и нависать со своим ростом над немаленьким Смирнитским.

— Я вас жду штабс-капитан. Мне о вас уже звонили. Вы с передовой?

— Да, три дня отбивали атаки немцев на варшавских фортах.

— Как там, штабс-капитан?

Смирнитскому очень хотелось сказать правду, но он сдержался:

— Наши части отходят, ваше высочество.

— Бросьте, штабс-капитан. Бегут!

— Не все, ваше высочество.

— И то хорошо. И как будем эвакуироваться?

Романов хотел сказать «бежать».

— Штаб с документами мы отправим на двух грузовых автомобилях под охраной десяти моих гвардейцев. Вы, ваше высочество, поедете на своем автомобиле. Впереди и сзади будут два открытых автомобиля с готовыми к бою гвардейцами. Я, если позволите, буду с двумя офицерами рядом с вами.

— Действуйте, штабс-капитан.

— Разрешите идти, ваше высочество?

— Идите.

Приказы Смирнитского были короткими и жесткими. Гвардейцы выполняли их быстро и четко. Во всем чувствовался военный порядок и исполнительность. Офицеры Ставки сразу прониклись уважением к этому молодому штабс-капитану, увешанному орденами; чувствовали: этот не бросит. А когда поняли, что будут отправлены на машинах, да еще и под охраной гвардейцев, обрадовались и стали помогать грузить штабные документы, только бы как можно быстрее покинуть Барановичи, куда надвигается этот неуправляемый вал развалившегося фронта. Отправив офицеров Ставки в сопровождении гвардейцев, Смирнитский так же четко, жестко и быстро организовал отъезд великого князя Николая Романова. В машинах сопровождения были установлены пулеметы, и гвардейцы оцетинились винтовками. В среднюю машину посадили Верховного главнокомандующего бегущих русских войск. Кроме водителя в автомобиль командующего сели Смирнитский и два оставшихся в живых после боев на варшавских фронтах поручика. Кобуры офицеров были расстегнуты, чтобы при малейшем подозрении на нападение на их высочество незамедлительно открыть огонь. Смирнитский сел рядом с Романовым.

— Извините, ваше высочество, что сажусь рядом... и, пожалуйста, не поднимайте так высоко голову. Мишенью в данной ситуации являетесь вы.

— Хорошо, хорошо, господин штабс-капитан, — ровным голосом ответил Романов; в армии знали, что Николай Николаевич не был трусливым человеком, за что уважали. — Давно на фронте, штабс-капитан? Впрочем, о чем я? Судя по наградам — давно. Да и я вас помню. Часто ваша фамилия отмечалась в рапортах полка вместе с... как его... на «тэ»...

— Тухачевский, ваше величество.

— Да-да, как он?

— Пропал; по-видимому, попал в плен, когда вырывались из окружения в марте под Августовом.

— А-а! Августов. Позор! И такая слава погибшим! И почему у нас не вся такая армия?

— У нас хорошая армия, ваше высочество.

— Хотите сказать — плохие генералы?

— Я этого не говорил, ваше высочество.

— Подумали, штабс-капитан, подумали.

Смирнитский промолчал, сделал вид, что занят осмотром пробегающих окрестностей. Чем дальше отъезжали от Барановичей, тем на дорогах становилось спокойней; бредущие солдаты уступали путь ошетилившейся оружием веренице автомобилей. Некоторые офицеры отдавали честь. Ничто не предвещало беды — фронт все дальше отдалялся...

Что нашло на этого солдата: устал, испугался, озлобился, потерял рассудок? Но, завидев машины, он, как все, отошел на обочину дороги, а потом неожиданно вытащил из кармана шинели гранату и бросил в среднюю машину. Бросок заметил, пока граната еще не вылетела из рук солдата, Смирнитский и каким-то неуловимым движением, выхватив из раскрытой кобуры браунинг, который когда-то ему подарил Тухачевский, выстрелил в солдата, и видно было, как пуля разрывала тому голову. Смирнитский успел навалиться сверху на Романова и крикнуть: «Гони!» Эта секундная задержка броска гранаты уже мертвым солдатом спасла жизнь и великому князю, и самому Смирнитскому.

Граната пролетела над головой Смирнитского, обдав его каким-то смертельным дуновением, и взорвалась

перед идущей сзади машиной с охраной — автомобиль подбросило, и он перевернулся. «Гони!» — вновь крикнул побелевшему от страха шоферу Смирнитский, а один из офицеров, приставив к голове водителя револьвер, глухо крикнул: «Не останавливайся, иначе застрелю!»

Через минуту Смирнитский отодвинулся от Романова и тихо и спокойно проговорил:

— Извините меня, ваше высочество.

— Вы спасли мне жизнь, штабс-капитан. Скажите мне еще раз вашу фамилию.

— Смирнитский, ваше высочество.

— Я вас, штабс-капитан Смирнитский, забираю к себе в Ставку.

— Спасибо, ваше высочество, но если честно, я не хочу сидеть в штабе. Я — боевой офицер.

— Хорошо. Я не тороплю вас, штабс-капитан, подумайте. Но еще раз спасибо вам всем, господа офицеры. Я незамедлительно по приезде сообщу о вашем подвиге государю. Он должен сегодня прибыть в Могилев, в новую Ставку.

До Могилева две машины добрались еще через три часа. Больше никаких событий по дороге не произошло. Даже бледность шофера исчезла. Николай Николаевич беспрерывно курил.

В Могилеве, около здания, в котором разместилась Ставка, была суматоха: прибывшие раньше штабные офицеры командовали разгрузкой ящиков с документами, солдаты связи тянули провода, гвардейцы, охранявшие переезд штабистов, расположились, покуривая, в сторонке. Около входа в дом стояла охрана царя в черкесках и папахах. «Как ряженые», — подумал Смирнитский и впервые за много дней улыбнулся.

— Государь уже здесь? Подождите меня, штабс-капитан, — сказал Николай Николаевич Романов и вошел в здание Ставки.

Последний раз вошел как Верховный главнокомандующий...

Николай Александрович Романов, император и государь всея Руси, приехал, чтобы стать во главе русской ар-

мии. Боевая армия просила его не делать этого, петербургская же, штабная, алчная, бездарная армия упрашивала стать Верховным главнокомандующим. Этим решением император подписал себе и будущее отречение, и будущую казнь.

Об отставке великого князя с поста Верховного главнокомандующего Глеб Смирнитский узнал первым, от самого Лукавого, грустно вышедшего, чтобы еще раз поблагодарить офицеров.

— Штабс-капитан Смирнитский, я всю оставшуюся жизнь буду помнить вас и помнить, чем я вам обязан. Я назначен наместником на Кавказе и командующим Кавказским фронтом. Поедьте со мной, штабс-капитан?

— Простите меня, ваше высочество, но кроме того, что я русский офицер, я поляк, и мне очень хочется освободить от немцев Польшу.

— Прямо и честно! Благодарю вас за службу. Я официально обращаюсь к государю с просьбой всех вас представить к наградам. Пожалуйста, штабс-капитан, подайте рапорт на мое имя с перечислением всех гвардейцев, заслуживающих наград, включая рядовых. Я все сделаю, чтобы вы и ваши гвардейцы не были забыты, — Романов повернулся к стоящим в сторонке гвардейцам и, отдав честь, сказал: — Благодарю всех за службу и проявленную храбрость!

На глазах сурового на вид бывшего Верховного главнокомандующего блестели слезы.

Николай Николаевич Романов еще не знал, что эта отставка и ссылка на Кавказ спасет его жизнь и он, единственный из Романовых, останется живой, не будет убит большевиками и умрет в Италии через много лет...

Смирнитского наградили: через полгода вызвали в Ставку, и в присутствии великого князя Николая Николаевича Романова и генералов государь лично повесил на шею Глебу ленту с орденом Святого Георгия 3-й степени. Война и совершенный подвиг позволяли вручить эту высшую военную награду офицеру независимо от предыдущих наград — за проявленную личную храбрость! Но не штабс-капитану же! Великий князь настоял на своем —

уважал храбрость, а тут еще проявленную по отношению к его царственной особе. Смирнитскому присвоили звание капитана лейб-гвардии, назначили командиром батальона, и дворянство русское Глеб Смирнитский получил. Осталось только войне закончиться победой да из войны живым выйти...

После «Великого отступления» новый Верховный главнокомандующий русскими войсками назначил командующего армией Эверта главнокомандующим Западным фронтом, вернул и назначил главнокомандующим Северным фронтом «выздоровевшего» Рузского, а Алексеева назначил начальником Генерального штаба. Всем по заслугам!

А Иван Севастьянович фон Эттер, генерал-майор Свиты его императорского величества, после такого разгрома от пережитого заболел, подал прошение об отставке, получил ее и «Анну» 1-й степени на шею и уехал в свое имение в Финляндии. И тоже спасся от будущего красного террора — дожил до глубокой старости!

Немецкие генералы Отто фон Белов и Герман фон Эйхгорн получили «Голубых Максов», но Августа фон Макензена догнать не смогли: тот направился в Сербию, взял Белград и получил генерал-фельдмаршала. Все подчиненные Гинденбурга боялись одного — отставки и пенсии и поэтому добивались побед!

XXVII

Император и Верховный главнокомандующий вооруженными силами России Николай Александрович Романов больше всего на свете любил свою семью и... фотографию. Новая техническая мода увлекла императора: он много фотографировал и сам делал снимки в комнате без окон с красным фонарем. Стены его кабинетов в Александровском дворце в Царском Селе и в Ставке в Могилеве были увешаны фотографиями. В Зимнем дворце такая комната тоже была, но она была закрыта — во дворце, по просьбе императрицы, был развернут госпиталь для раненых. Го-

сударь хотел соорудить такую комнату еще и в своем штабном вагоне, но не стал — в поезде, катаясь между Ставкой и Царским Селом, он отсыпался. И катался император каждую неделю туда-обратно — без семьи он скучал и страдал, особенно по цесаревичу. А вот войну и руководить войсками Николай Романов не любил. Нет, он, как всякий русский царь, был офицером, подготовленным для военной службы и для руководства армией. Не зря же с пеленок был полковником русской гвардии ... Но быть подготовленным и любить войну — не одно и то же...

В Ставке ждали Верховного главнокомандующего, а он даже не знал, по какому вопросу. Позвонил Алексеев и попросил приехать. Начальник Генерального штаба из-за постоянного отсутствия Верховного принимал все решения единолично. А что делать — Россия воевала!

Император прибыл в полпятого утра, и в шесть началось совещание.

Докладывал Михаил Васильевич Алексеев:

— Ваше величество, ко мне обратился главнокомандующий французской армией генерал Жоффр. На их фронте сложилась крайне тяжелая ситуация под Верденом: немцы наступают и могут прорвать фронт, после чего путь на Париж открыт. Он просит начать наступление наших войск, чтобы немцы остановились — пусть на неделю, на две, пока под Верден придут воинские части из Англии и будут рекрутированы новые солдаты в самой Франции. Положение у французов катастрофическое...

Жозеф Жак Жоффр, французский главнокомандующий, маршал, считался во Франции национальным героем, победившим немцев в битве при Марне. Он имел все пять орденов Почетного легиона: от Кавалера ордена до Кавалера Большого креста. Его авторитет был непререкаем. Он также был награжден русским царем орденом Святого Георгия 3-й степени.

Правда, при речке Марне дело было совсем не так, как об этом рассказывали простым французам. В 1914 году тогдашний начальник Генерального штаба германских войск

Хельмут Мольтке-младший, когда командующий 8-й армией Притвиц потерпел поражение на Восточном фронте от Ренненкампа, снял часть корпусов с Западного фронта и отправил на Восточный, не забыв, по настоянию Людендорфа, сместить Притвица и назначить командующим армией Пауля фон Гинденбурга. На Западном фронте из-за возникшей нехватки войск и слабых знаний в географии немецкий генерал Клюк повернул свою армию севернее Парижа к речке Марне и оголил фланги. При этом англичане и французы так бежали, что даже мосты через Марну не взорвали! Клюку бы по мостам пройти, а он... А главнокомандующий Жоффр приказал войскам вообще бежать за реку Сену, за Париж. Участь Парижа была решена. И только командующий обороной Парижа генерал Галлиени, рассмотрев данные авиаразведки, понял, что немцы повернули на север и подставили французам свой незащищенный фланг! Галлиени на коленях умолял маршала Жоффра не отступать и начать контрнаступление. Англичане, те сразу же наступать отказались. Жоффру кое-как вдолбили в голову, что немецкая армия повернулась к нему боком. Он со страхом приказал контратаковать — и выиграл битву. И стал национальным героем! А англичане присоединились, когда немцы побежали, и Жоффр покрыл их французским матом и обозвал трусами, недостойными победы при Ватерлоо. Гордость английская выиграла... Да еще военный комендант Парижа Галлиени привез из столицы дивизию на фронт... на такси!

— Ваше величество, — продолжил Михаил Алексеев, — если крепость Верден падет, мы не выполним свои обязательства перед союзниками.

— Меня, конечно, несколько удивляет, что маршал Жоффр не обратился ко мне лично как к Верховному главнокомандующему, ну да ладно. Что вы предлагаете, Михаил Васильевич?

— Вы были в этот момент в поезде, ваше величество, — не моргнув глазом, соврал Алексеев (как будто не существовало радио и телеграфа), а присутствующие на сове-

щании главнокомандующие фронтами Эверт и Рузский подхалимски закивали головами, — поэтому я взял на себя смелость и подготовил директиву Ставки. — Алексеев подошел к большой карте на стене и, показывая деревянной указкой, продолжил: — Наступление начнется на стыке двух фронтов. Основной удар нанесет 2-я армия в районе озера Нарочь. Для ее усиления передается из других армий тридцать тысяч солдат, почти все орудия и пулеметы. По расчетам наше превосходство над противником будет двукратным, а может, и больше. Всего в наступлении будет задействовано около полумиллиона солдат и тысяча орудий. Когда фронт будет прорван, в бой вступят 1-я и 4-я армии.

— Очень хорошо, Михаил Васильевич. А что со стороны немцев?

— Я уже сказал, что наш перевес более чем в два раза. Плюс фактор неожиданности.

— А что с линиями немецкой обороны? — проявил эрудицию император.

— Там две линии обороны: окопы и проволочные заграждения в три ряда. Мы их прорвем с легкостью!

— Еще один вопрос: кто у нас командует 2-й армией?

— Вы же сами, ваше величество, после «Великого отступления» из Польши в августе прошлого года назначили командующим генерала Смирнова, — удивился Алексеев.

— И как Владимир Васильевич воюет? — задал уж совсем неуместный вопрос Верховный главнокомандующий и повернулся за ответом к Эверту.

— Да так себе. Служит, ваше величество.

— Ну и хорошо, давайте, Михаил Васильевич, я подпишу директиву, и сообщите о нашем решении маршалу Жоффру. Предлагаю назвать наступление «Нарочская операция» по названию этого озера, — император показал пальцем на карту. Все радостно согласились.

Ровно через три часа Гинденбург знал все о планах наступления русских из двух источников: из русской Ставки и Генерального штаба французских войск.

— Скажи-ка, Эрих, — спросил Людендорфа Гинденбург, — кто такой Смирнофф? Я что-то о таком генерале не слышал, да еще командующем самой битой русской армией.

— Не обижайся, Пауль, он твой ровесник, ему шестьдесят восемь.

— Старичок!

— Не то слово, Пауль. Это такой мягкий, деликатный, ничем не проявивший себя старичок. Мы как-то ожидали, что новый русский Верховный главнокомандующий, — Людендорф заливисто засмеялся, — поставит командовать этой армией настоящего боевого генерала, это же самая деморализованная русская армия. Ан нет, назначил старичка. Там еще и четвертой армией командует такой же генерал — Рагоза. До поражения в августе пятнадцатого командовал корпусом. И эти две армии составляют главную ударную силу русских в этом наступлении.

— В любом случае, Эрих, усиль нашу оборону. Обрати внимание, что второй армии приданы дополнительно тридцать тысяч солдат и тысяча орудий. Перевес у русских очень большой: триста пятьдесят тысяч человек в одной армии! Пусть по направлению атаки русских выроют дополнительные окопы, построят блиндажи и доты и установят проволочные заграждения. И пулеметы и орудия им дополнительно дай. Но помни — судьба войны решается под Верденом. С Западного фронта для усиления нашей армии снимается пять корпусов. Потом отправим обратно. Не бойся, французы, если даже узнают о переброске войск, из своей крепости, как из скорлупки, не вылезут — побоятся, — и уже обратившись к командующему 10-й армией Эйхгорну, Гинденбург сказал: — Герман, прикажи, чтобы солдаты не высывались из укрытий во время русской артподготовки. Нам каждый солдат дорог. Да, и возьми с собой моего балбеса. Что-то засиделся Оскар в штабах — пора и повоевать, как положено сыну Гинденбурга.

Немцы усилили все линии обороны, построив не только новые траншеи, но и бетонированные доты, а блиндажи были через каждые пятьдесят метров, чтобы было где

укрыться от снарядов. Все пулеметы пристреляли. Знали о наступлении и очень хорошо готовились.

Деликатный старичок генерал Владимир Васильевич Смирнов, как узнал, что его армия первой пойдет в наступление на немцев, заохал, схватился за сердце, закрылся в уборной и оттуда жалобно закричал адъютанту:

— Позвоните, его высокопревосходительству главнокомандующему фронтом Эверту и скажите, что я заболел. Я уехал в госпиталь!

И уехал же... Сука!..

И 2-ю армию по приказу Ставки возглавил командующий 4-й армией Александр Францевич Рагоза. И стал командовать сразу двумя! Вот это рост из командующего корпусом!

Рагоза представления не имел ни о составе, ни о действиях 2-й армии в этой наступательной операции. Он и офицеров не знал, а уж о том, что к армии, как в четырнадцатом году, был приписан лейб-гвардии Семеновский полк, и не слыхивал. От полка, правда, осталась две трети. Так все русские полки и армии были такими — некому было воевать, уже миллионы лежали мертвые и гнили в земле.

Рагоза вызвал в штаб своей армии командиров корпусов 2-й армии и спросил:

— Господа, вы знаете, что вам предоставлена великая честь: пойти и разбить немцев? До вас, я надеюсь, Владимиром Васильевичем и его штабом доведены ваши действия и задачи во время наступления?

— Доведены, ваше превосходительство! — отрапортовал громким и радостным голосом командир военной группы генерал Балуев. Он уже успел телеграммой поздравить самыми восхитительными словами назначение Рагозы командующим армией.

— Не знаю, как генерал Балуев, а вот я не знаю своих задач, — сказал командир одного из корпусов.

— И мне не известны мои задачи! — сказал командир другого корпуса.

— И мне... и мне — зазвучало.

— Хорошо, хорошо, сейчас штаб армии доведет до вас задачи в предстоящем наступлении. Да ничего сложного и нет — пойти и разбить немцев.

— Как Самсонов в четырнадцатом? — спросил язвительно кто-то из командиров корпусов.

— Ну зачем такие сравнения, господа генералы? Тогда против нас воевал сам Гинденбург, а сейчас... я даже не знаю кто. Все же просто: ваша армия идет в атаку, а мы вас поддерживаем.

— А вы, ваше превосходительство, разве не наш командующий? А почему наступаем не всем фронтом?

— Что вы, что вы, как можно всех сразу?

— Ну всё — на убой повели! Пошли, господа генералы, выполнять свой долг, — заговорили командующие корпусами и стали выходить из штаба армии. А Рагоза и не задерживал.

Русская армия вышла на свои передовые позиции для атаки...

После мощнейшей артподготовки, длившейся два дня, когда были израсходованы все снаряды всего Западного фронта, началось наступление. Немцы спокойно пересидели огонь русских пушек в дотах и блиндажах. В кого-то, конечно, попали.

Русские корпуса, рота за ротой, полк за полком пошли в полный рост на немецкие окопы, перед которыми оказалось десять (!) рядов колючей проволоки. Рагозой была применена новая тактика ведения боя: вначале идет один корпус — погибает, направляется следующий — погибает, следующий... И так день за днем, две недели! Шесть корпусов полегли полностью, чтобы взять первую линию обороны. А шесть корпусов вообще не приняли участия в сражении!

Командир Сибирского корпуса то ли напился, то ли сошел с ума: он построил корпус «свиньей», как рыцарей на Чудском озере (неизвестно, кем он себя представлял, но только не Александром Невским) и таким клином повел свой корпус прямо на немецкие орудия и пулеметы и весь корпус положил... вместе с собой!

Командующий фронтом Эверт орал, гнал вперед корпуса, и ничего не изменялось — армия погибала!

Когда батальон капитана Смирнитского ворвался в немецкую траншею, в ней были одни убитые — живые перешли во вторую линию обороны и стали обстреливать захваченные окопы из минометов, как будто только этим и занимались — настолько метко. А перед второй линией немецких окопов стояли еще десять рядов колючей проволоки!

— Занимайте блиндажи! Прячьте солдат! — приказал офицерам Смирнитский.

— Пришел приказ захватить вторую линию траншей! — доложил вестовой радиосвязи.

— Я еще не сошел с ума, чтобы уложить подчиненных мне солдат. Иди и оборви провода. Связи нет. Ты меня понял?

— Так точно, ваше высокоблагородие! — радостно крикнул солдат.

— Но запомни, если ты об этом кому-нибудь скажешь, нас с тобой обоих поставят перед рвом.

— Так точно, ваше высокоблагородие, поставят!

— Иди! От тебя зависит жизнь твоих боевых товарищей!..

Солдат побежал вдоль окопов.

А колючая проволока и сзади, и спереди была увешана, как гроздьями винограда, убитыми и орущими от боли умирающими русскими солдатами. Пошел снег, и этих умирающих не стало видно, только ужасные воющие крики раздавались из снежной пелены.

— Ползком к проволоке — снимайте тех, кто еще жив, и тащите сюда, в траншею, — приказал Смирнитский.

Пока шел снег, солдаты батальона Смирнитского успели притащить в траншею двести раненых. Но еще многие сотни так и висели на проволоке и либо тихо умирали, либо стонали и замерзали от холода.

— Сделайте проходы в проволоке и вытаскивайте раненых в тыл, — продолжил приказывать Смирнитский.

Выстроившись в цепочку, гвардия тащила и тащила из захваченных немецких окопов раненых боевых товарищей на свой передний край. Русская армия, русский солдат сам себя спасал от бесчестия своих командующих!

— Я немцев знаю: ночь наступит — и в атаку пойдут, тихо, без выстрелов. Приготовиться, подпустить как можно ближе и из пулеметов; если добегут, бросайте гранаты; побегут назад, вдогонку не бегать, немцы до своих окопов вам добежать не дадут — перебьют из пулеметов и вас, и своих! Пулеметы все рассредоточить. Сами пулеметные команды усилить. Тем, кто умеет из немецких стрелять, передайте захваченные. Все патроны и гранаты у убитых собрать. Выставить усиленное охранение. Остальным спать, — сказал офицерам батальона Смирнитский. Слушались его беспрекословно.

А как спать на сыром мартовском снегу? А ночью мороз. Спасали немецкие блиндажи — в них даже железные печки стояли и дрова были.

Гвардейцы роптали: «Так-то чего не воевать. Тепло».

Немцы, как и предполагал Смирнитский, появились ночью, но были встречены огнем и побежали, оставляя убитых и раненых, которые зависали на колючей проволоке. Не выдержавшие русские солдаты, особенно из новобранцев, бросились вслед и были встречены огнем из пулеметов; теперь уже над полем боя добавился русский стон и плач.

Сильнее всех кричал раненый немец, повисший на первом ряду колючей проволоки. Он все время звал маму — голос его, вначале звонкий, молодой, потом осел от крика и перешел на хрип.

— Не могу, можно сойти с ума от этого плача, — сказал, прикрывая уши, молоденький подпоручик. — Может, что-то можно сделать, господин капитан? Слышите: а это наш пристрелить просит. С проволоки неслось: «Что же вы, братцы... не дайте мучиться... Всего одну пулю... Люди вы али звери... стрельните... а-а-а! Господи, как же больно, мамочки...»

А рядом с русским солдатом висел на проволоке другой немецкий солдат и тоже плакал и поминал своего бога и свою мать.

Стоявший недалеко от Смирнитского в траншее солдат вскинул винтовку и выстрелил. Не попал. Глеб подскочил и с размаху ударил кулаком солдату в скулу.

— Ты что, сука, делаешь? Расстреляю!

— Так невозможно терпеть, ваше благородие. Как дети, плачут, и просит же пристрелить, чтоб не мучиться, — запричитал, схватившись за скулу, солдат.

— Дай сюда винтовку, — Глеб вырвал у солдата винтовку. Тот понял, что его сейчас будут расстреливать, и, упав на колени, завыл:

— Не убивайте, ваше благородие! Не со зла я, по глупости. Пожалейте, детей двое в деревне.

— Дурак! — обрезал Глеб и, достав из кармана платок, стал привязывать его к штыку; потом поднял винтовку с платком, помахал, вылез из окопа и пошел в сторону немцев. Никто не стрелял... С обеих сторон наступила тишина.

— Тебя, суку, точно надо было бы пристрелить. И если капитана немцы убьют, я тебя самолично прикончу. Я с капитаном с первого дня войны. Таких в армии давно уж нет — всех убило. Один наш Смирнитский остался. Видел, сколько у него орденов? И все за храбрость! А тебя за все годы он первого ударил. Так что молись, чтобы капитан живой вернулся, — сказал стрелявшему солдату старослужащий гвардеец с разрешенной к ношению во время войны бородой.

Смирнитский дошел до проволочных заграждений, снял с себя шинель и положил на нее раненого русского солдата, стараясь обернуть теплой тканью офицерского сукна и прошептал: «Потерпи, солдат». Тот притих, а потом проговорил: «Теперь-то уж чего, теперь-то уж вытерплю...» Глеб, оставив винтовку на земле, снял с проволоки жалобно плачущего немецкого солдата, который оказался молоденьким безусым рядовым в очках, и, взвалив его на плечи, согнувшись от тяжести, пошел к немецким окопам.

— Пригласите скорей господина подполковника, к нам идет русский с раненым, — крикнул немецкий лейтенант.

Смирнитский дошел до окопов и тяжело, но аккуратно снял со спины раненого и передал немецким солдатам. А спасенный мальчишечка, картавя, вдруг произнес на ломаном русском: «Спасибо, камрад».

— Я хочу поговорить с вашим командиром, — сказал по-немецки Глеб.

— Сейчас подойдет господин подполковник, — ответил ему, с любопытством разглядывая русского офицера и его ордена, немецкий лейтенант в каске.

Подошел с недовольным лицом подполковник. Смирнитский отдал честь и представился:

— Капитан Смирнитский. Господин подполковник, я предлагаю вам временное перемирие, чтобы забрать раненых с нейтральной полосы.

— Она не нейтральная, она наша. Сейчас мы начнем атаку, и вы все погибнете.

— Мы с вами, господин подполковник, люди военные, офицеры, и для нас с вами честь — погибнуть в бою.

— А если я вам откажу? И вообще прикажу вас расстрелять?

— Конечно, вы можете это сделать, но посмотрите — на проволоке висят в основном ваши солдаты. Вы решаете: жить им или не жить.

— Вы смелый офицер, капитан. Давно на фронте?

— С первого дня войны.

— Видно по наградам, что вы русский герой. Хорошо, капитан: два часа, и ни минуты больше.

— Одна просьба, господин подполковник: два часа с момента, как я дойду до своих траншей. Я вновь помашу белым платком.

— Опять «ваши траншеи». Хорошо... Скажите, капитан, что у вас за погоны?

— Это погоны лейб-гвардии Семеновского полка.

— А-а-а! Вот вы какие!

— Что вы имеете в виду, господин подполковник?

— Я с вами дрался под Танненбергом, дрался под Таранавками, дрался на фортах Варшавы. Вы необыкновенно смелые и храбрые солдаты. О вас знает даже мой отец.

— Позвольте узнать, господин подполковник, кто ваш отец?

— Генерал-фельдмаршал Пауль фон Гинденбург.

Наступило время удивляться Смирнитскому. Он, совладав с волнением, отдал честь подполковнику и сказал:

— Признаюсь честно, я горд тем, что познакомился с сыном великого генерала.

— Спасибо, капитан, за такие слова в адрес моего отца. Всего хорошего. Думаю, мы еще с вами встретимся, не на этой, так на следующей войне.

— Думаете, будет еще война?

— Обязательно!

Смирнитскому немецкие солдаты помогли выбраться из траншеи, и он пошел к раненому русскому солдату и, как ранее немца, взвалил его себе на плечи, взял винтовку и тяжело пошел к своим окопам.

— Давай, ребята, выносите скорей, договорился на два часа перемирия, — сказал Глеб, передавая раненого, который, разглядев своего спасителя, прошептал: «Спасибо, ваше благородие».

Солдаты вылезали из окопов и осторожно, нагнувшись, как будто ожидая выстрела, шли к проволочным заграждениям, к тем раненым, кто еще стонал и плакал, снимали их с проволоки и на спинах несли в свои траншеи.

Немцы тоже вылезли из траншей и стали выносить своих раненых солдат. Простые люди в шинелях по сырому от крови снегу выносили таких же простых людей в шинелях, и еще помогали снимать с проволоки других солдат, которых они несколько минут назад убивали и радовались, что убивали. И в их движениях не было ни капли злобы, лишь одно сострадание.

Увидев, что солдаты-гвардейцы вытаскивают раненых, из других траншей стали подниматься другие солдаты и тоже стали выносить своих товарищей. И немцы выходили и тащили орущих от боли солдат в свои теплые блиндажи — перевязывать и поить шнапсом с кофе. Молчаливо сотни, тысячи людей в серых мокрых шинелях, скользя по снегу, тащили окровавленных, плачущих от счастья, что

они живы, солдат к себе в траншеи, где, как им всем казалось, был единственный спасительный мир в их страшной солдатской жизни.

К Смирнитскому по траншеям пробрался сосед справа, капитан. Представился:

— Валериан Чума, капитан Польского легиона.

— Глеб Смирнитский, капитан, командир батальона лейб-гвардии Семеновского полка. Вы, Валериан, поляк?

— Да. А вы, Глеб?

— И я поляк.

— Как хорошо встретить земляка, хотя я все время среди поляков, но все-таки такая радость на душе. Спасибо вам, капитан, от всех поляков, которые сейчас выносят с поля боя своих земляков. И мертвых, и живых.

— Поспешите к себе, Валериан, сейчас два часа перемирия закончатся и немец сразу начнет стрелять. Советую — спрячьтесь все в блиндажах.

— Тогда я побежал, Глеб. Спасибо тебе еще раз. Своим полякам, приду и расскажу о тебе. Еще увидимся!..

— Обязательно, Валериан...

Когда два часа заканчивались, Смирнитский приказал:

— Всем в укрытия, сейчас минометы бить начнут.

Солдаты попеременно — живые и полумертвые от ран, —плотно прижавшись друг к другу, спрятались в блиндажах, молясь Богу, чтобы выпущенный снаряд пролетел мимо. Ровно через два часа немцы открыли артиллерийский огонь...

Две недели русская армия умирала на первой линии немецкой обороны, а потом отошла на свои старые позиции...

В результате этих боев было захвачено тысяча двести пленных немцев (!), 15 пулеметов, несколько сот винтовок и 10 квадратных километров вражеской территории!

Потери русских составили убитыми 76 тысяч солдат и офицеров — треть участвовавших в боях! 12 тысяч были обморожены и 5 тысяч были сняты убитыми и ранеными с колючей проволоки. Немцы потеряли, по их сведениям, 2 тысячи солдат! Всего!.. Врут!..

Зато немцы эти две недели не наступали под Верденом! Французы отдохнули, их офицеры даже в Париж отдохнуть скатались.

Глебу пуля попала в лопатку, сломала ее, но повезло — не прошла дальше; с поля боя его вытащил солдат, которого он пригрозил расстрелять.

— Ваше благородие, потерпите, я вас вытащу, — приговаривал солдат, таща на себе Смирнитского.

— Что, поквитаться хочешь? — шептал на ухо солдату, с кровавой пеной на губах, Глеб и терял сознание.

— Да вы что, ваше благородие? Где ж это видано, чтобы русский русского бросил?

— Еще увидишь.

В полевом лазарете пулю достали и отправили долечиваться в тыловой госпиталь.

— Что это за братания с врагом? — кричал вернувшийся после «болезни» генерал Смирнов. — Этот капитан должен понести наказание: с него надо сорвать погоны и отправить на передовую в пехотный полк рядовым. Я настаиваю на этом!

— Правильно! — поддержал Смирнова другой генерал — Рагоза. — Этот капитан не выполнил приказа и не взял вторую линию обороны! Военно-полевой суд — вот его награда.

Смирнитского арестовали прямо в палате и в бинтах на носилках отвезли в тюрьму и поместили в холодной сырой камере. Сердобольный надзиратель, старый человек, принес в камеру шинель, сказав: «От сына, погибшего на японской, осталась. Возьмите, ваше благородие. Бог милостив — все обойдется».

Возмутился арестом Смирнитского новый командир полка Сергей Иванович Саваж — пошел жаловаться к командующему фронтом. Не подействовало. И тут произошло для русской армии неслыханное: возмутились офицеры Семеновского полка, потом возмутился Польский легион, и это эхо возмущения покатилося по армии. Офицеры открыто стали называть командующих предателями. Волна

возмущения наконец-то дошла до катающегося в поезде, как ребенок на игрушке, Верховного главнокомандующего, и когда назвали фамилию арестованного гвардейского офицера, он мучительно вспомнил, чем его семья обязана этому капитану, и, испугавшись армии, наградил Смирнитского орденом Святого Владимира 4-й степени с мечами и бантом. Седьмым орденом! И было это сделано так быстро, что у Глеба не успели повязки намочнуть кровью. Армия!..

Глеба вернули в госпиталь, и доктора и особенно сестры милосердия с удовольствием продолжили его лечение.

А впереди был небольшой отпуск после ранения, и Глеб опять поехал в Москву к Тухачевским. Теперь, после потери Россией Польши, это был его родной дом... И была еще одна причина поездки — Нина. Глеб влюбился в невесту друга! Он в нее влюбился с первой минуты, как увидел, тогда, красивой тихой осенью четырнадцатого года...

XXVIII

И опять в семье Тухачевских его приняли с огромной родительской любовью — радовались его новым орденам и с грустью вспоминали сына. И чувствовалось: все, кроме матери, Мавры Петровны, смирились с мыслью, что, возможно, Михаила уже нет в живых.

Глеб вновь гулял с Ниной по Москве, но был отстраненно корректен: боялся за себя, боялся сорваться, наговорить глупостей, признаться в своих чувствах к ней... А Нина ждала, чувствовала и очень, очень хотела этого признания. В ресторанах при появлении гвардейского капитана с двумя «Гергиями» и рукой на черной повязке, офицеры вставали — понимали: перед ними не штабной, а самый что ни есть их боевой товарищ. Они зашли и в тот, знакомый ресторан, где всегда сидели втроем. И выбежавший их встречать хозяин ресторана улыбался радостно — он их узнал и даже освободил для них прежний столик и сам стал прислуживать. А в углу сидел все тот же, еще более поседевший и постаревший, в потертом мундире мужчина с блеклым

одиноким орденом на груди и пил водку. Он уже не требовал выпить за героев Гумбиннена, он вдруг крикнул:

— Надо всех расстрелять! Долой эту войну! Долой генералов-предателей!

В зале наступило молчание.

И в этой тишине встал Смирнитский и ледяным голосом произнес:

— Я бы мог вас пристрелить, и правильно бы сделал, и меня бы даже не судили, но я не буду этого делать, и знаете почему? Вы же офицер, у вас на груди боевой орден, и вы его получили, защищая наше общее с вами отечество. Вы клятву давали государю императору. И вместо того чтобы защищать свое отечество в эту трудную для него минуту, вы, офицер, призываете прекратить войну? Может, вы предложите нам сдаться на милость врагу? Подумайте, прежде чем говорить такие слова. А теперь встаньте и уходите.

Человек в поношенной форме как-то странно и громко икнул, посмотрел на Смирнитского удивленным взглядом и вдруг произнес: «Извините меня, господа!» — и быстро вышел из ресторана. Находившиеся в ресторане офицеры стали хлопать Смирнитскому, но эти офицерские аплодисменты только раздражали Глеба, и он, взяв Нину под руку, ушел ни с кем не прощаясь.

Его уважение к боевым товарищам, павшим и живым, пересиливало и не позволяло Глебу сказать Нине те нужные для него, да и для нее слова. Для Глеба Михаил был не просто другом, он и был для него боевым товарищем.

Глеб проводил Нину домой, поцеловал ее в щеку, хотя так хотел поцеловать в губы, и ушел к Тухачевским. «Нет, нет и нет! Не могу! Что я делаю? Это же моя, такая родная семья. Больше не поеду в Москву. Не поеду!» — говорил себе Глеб и, быстро собравшись и быстро попрощавшись с ничего не понимающими Тухачевскими, уехал на вокзал. Так быстро, что Нина об этом узнала, когда он уже уехал. Девушка расплакалась — она так ждала, что Глеб все-таки скажет те необходимые, нужные им обоим слова. Она в него влюбилась и сердцем чувствовала, что такие же чувства испытывает к ней и Глеб. Но сама открыться, признать-

ся не могла — понимала: это друг ее пропавшего на войне жениха. Она, узнав, что Глеб уехал, побежала почему-то к вокзалу по сырой от липкого весеннего снега улице и не замечала, что с неба на нее падает этот сырой снег — ее лицо было мокрым от слез.

А пьяный бывший офицер пришел к себе домой, где было грязно и воняло. Его сын жил в казарме кадетского корпуса и старался приходиться домой как можно реже, потому что видел, как его отец, единственный любимый им человек, спивается и опускается на дно этой жизни. Когда он приходил, то старался убрать квартиру, но как только он уходил к себе в казарму и у отца появлялись деньги — приходила пенсия или он что-нибудь продавал из своей квартиры, — он вновь начинал пить, и квартира опять превращалась в помойку. Мужчина тупо смотрел на грязный стол и зло думал: «Лучше бы он меня там пристрелил. Меньше бы мучиться», — и ему вспоминалось лицо этого увешанного боевыми орденами офицера. «А чем я хуже? — думал мужчина. — И я бы сейчас мог носить золотые капитанские погоны и иметь ордена на всю грудь!» Его не раз подмывало в пьяном угаре залезть в петлю, но сдерживала только любовь к единственному сыну — а как он?

На столе стояла недопитая бутылка водки. Мужчина вылил остатки в стакан и хотел уже выпить, но обратил внимание на лежавший на грязном столе конверт, который он вчера принес из почтового ящика. Такие конверты он время от времени получал; в них приходили отказы на его просьбы принять на работу, а в последних сообщалось, что ему уменьшают пособие по ранению. И он уже не возмущался. «Пусть, — думал, — все равно сдохну. Днем раньше, днем позже — какая разница». Ему было жалко только сына. Мужчина уже хотел выпить водку, но что-то в лежащем конверте показалось ему странным — какой-то необычный штампель, и он вскрыл конверт. На красивом, с печатью в виде двуглавого орла листе бумаги были напечатаны строгие строчки, в которых говорилось, что Переверзев Александр Глебович восстанавливается в ар-

мии, ему возвращается звание штабс-капитана и предписывается в трехдневный срок прибыть в запасный полк по адресу... где он будет заниматься обучением солдат... Мужчина читал эти строчки и никак не мог понять, к кому они обращены. «Что за чушь? О чем это? Кого в армию? Какие солдаты?» — и вдруг он понял, что это письмо направлено ему и что это не письмо, а приказ, та форма обращения, к которой он привык с раннего детства, и это его, Александра Переверзева, восстанавливают и в звании, и в армии. Он стоял и держал в одной руке письмо, а в другой стакан с водкой, потом медленно прошел к заваленной грязной посудой раковине и вылил в нее водку. Шатаясь, вернулся за стол, сел на старый стул и, опустив голову, заплакал, и это был не плач, это был вой, в который он, бывший штабс-капитан, инвалид Александр Переверзев вложил всю боль тех страданий и унижений, которые он испытал за последние два года.

Он тихо вылил и вытирал слезы потертым рукавом своего офицерского кителя, а потом встал, снял китель, нашел старую одежду, переоделся, разыскал ведро, засохшую половую тряпку и стал с остервенением мыть квартиру. Вначале ему было очень тяжело и он останавливался от ощущения нехватки воздуха и боли в груди, но потом, когда он уже вымыл полы во всей квартире и стал отскребать от засохшей грязи посуду, он вдруг радостно удивился, поняв, что тихо напевает... военный марш. И когда в уже блестящей от чистоты, проветренной свежим уличным весенним воздухом квартире он, помывшись и переодевшись в найденное в своем офицерском, не распакованном с ранения чемодане чистое белье, сидел за столом и пил чай — водки не было, да он, не давая себе никаких зарок, просто впервые за много месяцев и не хотел водки, — он вдруг опять вспомнил офицера из ресторана, которого он в этом ресторане иногда встречал и замечал, что у того становится все больше и больше боевых наград. Он вновь подумал, что этот офицер ему кого-то напоминает, и удивился, вдруг поняв, что глазами, взглядом тот напоминает ему его отца и, что показалось уж совсем диким, сына Никиту. И еще поду-

мал, что за все время после ранения и отставки он ни разу не был в церкви, и пообещал себе, что обязательно, как только получит новую форму и деньги, сходит и поставит свечку Богу и своему отцу. И вспомнил, непонятно к чему, что после отца где-то остались несколько писем его дочери, которая убежала с женихом в Польшу, и подумал, что надо бы найти эти письма — все-таки родная сестра; выпил чаю и лег спать в чистую постель, сказав себе, закрывая глаза: «Все завтра», — и впервые без кошмаров заснул.

XXIX

Пока Смирнитский ездил в Москву, в полку произошло ужасное событие — командир полка Сергей Иванович Саваж погиб, погиб глупо: лошадь во время обязательного ежедневного утреннего объезда поскользнулась в весенней грязи, Саваж не удержался и выпал из седла, а лошадь упала на него — он умер на месте. И новым командиром полка назначили Павла Николаевича Телло; все его знали и не возражали. Павел Николаевич всегда, с погон поручика, служил в Семеновском полку, был честен, смел, но не умел «двигаться по паркету», да и дворянский род его не был знаменит. Может, и не назначили бы, но шла война — гвардия все время была на передовой, на которой очень не хотелось быть столичным генералам.

Телло необычайно обрадовался приезду Смирнитского.

— Как вы смотрите, Глеб Станиславич, на то, что я командирую вас на недельку в Петроград?

— Я не против, но зачем?

— Поедете отбирать из запасного полка для себя гвардейцев. В батальоне-то вашем нет и половины состава. Да вы не беспокойтесь: приедете как к себе домой — запасной полк в нашей казарме, семеновской, расквартирован; вам покажут две-три сотни солдат, а вы уж отберете пятьдесят для себя... самых лучших. Ну, что, поедете?

— С удовольствием, господин полковник.

— Вот и хорошо. Идите, собирайтесь. Сейчас подпишу приказы и документы, и завтра с утра в путь. Билет вам на

поезд, считайте, уже куплен. Один в купе будете ехать. Красота!

— Почему один?

— Вы же Георгиевский кавалер.

«Пора кончать носить все эти награды — прохода не дадут. Герой?! — зло подумал Смирнитский. — Съезжу и спрячу до конца войны».

От батальона Смирнитского осталось меньше половины гвардейцев и несколько офицеров. Семеновский полк погибал... А с ним погибала элита русской армии и сама русская элита — в гвардейских полках служили лучшие офицеры России. Погибала и русская армия.

Если пехотные полки старались хоть как-то восстанавливать либо заменять за счет солдат из запасных полков, то в гвардейские полки все-таки оставался особый отбор, пусть не такой, как до войны, не в мобилизационных комиссиях, но все же будущих гвардейцев продолжали выбирать: отправляли офицеров в запасные полки, и они высматривали самых рослых, самых здоровых, грамотных и... русских. Хорошо, если из воевавших, после легких ранений — те не боялись сразу идти в атаку. Но с каждым месяцем войны находить таких солдат становилось все трудней и трудней. На такие «смотрины» и отправился Глеб Смирнитский в Петроград.

Он ехал и вспоминал, как два года назад вот в таком же поезде познакомился с Михаилом Тухачевским, а затем они в том же вагоне случайно встретились со штабс-капитанами Веселаго и Хлоповым и попали в их роты. Всего два года, а уже нет Веселаго и Данина, пропал Тухачевский, идущему в атаку Хлопову оторвало ногу, и он прямо на поле боя застрелился, и не было еще сотен знакомых офицеров и солдат Семеновского полка!

Купе с двумя мягкими диванами ему предоставили одному — Георгиевский кавалер. Глеб посидел, посидел, провел ладонью по прохладной коже дивана, вдруг с щемящей грустью вспомнил Нину и пошел в ресторан — гвардейским офицерам уже разрешалась такая, невозможная

до войны, вольность. В ресторане были одни офицеры, на вошедшего Смирнитского они посмотрели с уважением и начали приглашать Глеба к себе за столики. Сидевший один в самом конце ресторана молоденький пехотный прапорщик, с «третьим Станиславом» на груди, вскочил и, заикаясь от волнения, воскликнул:

— Господин капитан, можно вас пригласить за этот столик?

Глеб шел по мягкому ковру между столами, и сидевшие офицеры уважительно кивали ему, как старому знакомому, и он так же уважительно кивал им головой в ответ.

— Прапорщик Сергей Добрынин, — высоким юношеским голосом представился молоденький офицер, и на Глеба посмотрели полные нескрываемого восхищения, по-детски удивленные глаза. Прапорщик ехал домой в Петроград после легкого ранения в ногу. Это ранение он получил в первом же бою и так и не почувствовал страха, а наоборот, когда его наградили орденом, ошалел от счастья, а теперь ехал домой и ему казалось, что все встречные с восхищением смотрят на него и на его боевой орден. Но когда он увидел Смирнитского с крестами через всю грудь и на шейных лентах, понял, что он еще так далек от настоящей славы, и, сам не ожидая от себя такой смелости, успел вскочить и пригласить к себе Смирнитского. И вот теперь, заикаясь, он отвечал на вопросы этого, как ему казалось, такого красивого, такого мужественного, необыкновенной храбрости офицера. А Глеб смотрел на юношу и невольно вспоминал себя, вот такого же юного. Как же давно это было! И понимал, что юноша, пригласив его, не знает, как себя вести со старшим по званию, и еще говорить ему мешали его, Глеба Смирнитского, ордена. Он вспомнил Веселаго, улыбнулся и сказал:

— Давайте так: обращаться либо по званию, либо по имени-отчеству. Меня зовут Смирнитский Глеб Станиславич, капитан лейб-гвардии Семеновского полка.

— Сергей Павлович Добрынин, прапорщик, — сказал юноша и покраснел.

— Вот и прекрасно — познакомились, — Глеб протянул руку и пожал протянутую тоненькую ладонь Сергея Добрынина. — Что окончили, Сергей Павлович?

— Кадетский корпус, — и юноша, покраснев, посмотрел на значок Павловского училища на форме Смирнитского.

— И сколько же вам лет, Сергей Павлович?

— Восемнадцать, господин капитан, — с гордостью ответил Добрынин.

— Прекрасный возраст для войны, — грустно произнес Глеб. — Вы, Сергей Павлович, на каком фронте?

— Я на Юго-Западном, в восьмой армии генерала Каледина...

— Наслышан. Каледин — хороший офицер и командующий: умный, грамотный и смелый. Он еще на русско-японской отличился.

— Откуда вы знаете? — удивился Добрынин.

— Мой дед служил вместе с ним. Точнее, Алексей Максимович под началом моего деда. Дед у меня на той войне погиб. Полковник.

— А у нас в семье вот мы с братом военные. А отец инженер на Путиловском заводе, хотя и из дворян.

— А что, дворяне должны только в армии служить? Инженер — это прекрасно!

И они мирно сидели и разговаривали за столиком, немного выпивали, Глеб курил, и если бы не шум и стук поезда, крики сидевших за соседними столиками офицеров, то могло бы показаться, что они сидят где-то в кафе в то далекое, очень далекое мирное время.

А от всех столиков неслись здравицы в честь генерала Алексея Брусилова.

— А-а, я понял, — оглянувшись, сказал Глеб, — здесь, по-видимому, все участники Луцкого прорыва? Мы у себя на Западном фронте наслышаны про ваши победы. И завидуем. Я такой победы не знаю с начала войны! Давайте, Сергей Павлович, выпьем за вас, за одного из героев этого наступления.

Молоденький прапорщик был изумлен, что сидевший напротив, весь увешанный боевыми орденами офицер

предлагал выпить за него, именно за него, никому не известного прапорщика Сергея Добрынина. И в речи этого капитана не было ни помпезности, ни бахвальства, ни гордости — звучали какое-то внутреннее спокойствие и какая-то усталость. И этот гвардейский капитан в разговоре как-то незаметно, но при этом мягко извинившись, перешел на обращение «Сергей», и Добрынину это обращение очень понравилось, в нем было что-то родное, надежное.

— Только боюсь, Сергей, — продолжил Глеб, — что, по уже заведенной привычке, немцы снимут со своего Западного фронта войска и ударят по Брусилову. На поддержку французов рассчитывать не приходится, и на помощь нашего фронта вы можете не рассчитывать: после поражения в марте, когда костями наших солдат усеяли все поле боя — десятки тысяч полегли, командующие наступать побоятся. Так что Алексей Алексеевич останется один на один со своей победой и со своим поражением.

— Вы считаете, что мы потерпим поражение? Не может быть!

— Мне очень жаль, Сергей, но именно так и будет. Армии четырнадцатого года больше нет.

А за столиками кричали: «За Брусилова! Слава, Алексею Алексеевичу!..»

— Давайте, Сергей, поддержим ваших товарищей, — Смирнитский встал в полный рост и воскликнул звонким, привыкшим отдавать команды, голосом: — За офицеров Русской императорской армии! За их честь и отвагу!

«Ура!» — понеслось над столиками. Все вскочили и громко стали кричать: «За русских офицеров! За отчизну! За Россию! За победу над врагом!» И вдруг кто-то, сидевший поближе, по-видимому, рассмотрев на Смирнитском погоны и ордена, крикнул: «Слава русской гвардии!» — и вновь понеслось: «Слава! Ура гвардии!» — и всех громче, тонким юношеским голосом, кричал тоже вскочивший Сергей Добрынин. Когда выпили, сели, Смирнитский удивительно спокойным голосом, как будто не он сейчас кричал, спросил:

— Куда вы едете, Сергей?

— В отпуск после ранения, в Петербург.

— О, как вы красиво назвали город! Скажу вам честно: мне нравится это название города. И никакое оно не немецкое — больше испанское. Зачем менять имя, данное при рождении, в угоду толпе? Большая у вас семья?

— Родители и брат Александр. Он поручик в армии генерала Сахарова. Командует пехотной ротой. Тоже ранен, при наступлении на Луцк. Сейчас дома. Так что вся семья соберется вместе.

— Я рад за вас. А моя семья в Польше, и когда я ее увижу, одному Богу известно. В каком вагоне вы едете, Сергей?

— Билетов не было, и я нигде и не устроился. Надеюсь, где-нибудь присяду, вот пока здесь, в ресторане. Да и мои вещи все со мной.

— Тогда прошу вас разделить со мной мое купе. Мне как Георгиевскому кавалеру предоставили купе одному.

— Большое спасибо, но как-то неудобно — все-таки вы такой... герой... У вас так много орденов! Но всем же известно, что «Георгия третьей» капитанам не дают, а у вас есть — скажите, пожалуйста, за что?

— И не должны были давать, я вообще был штабс-капитаном. А дали по личному настоянию Верховного главнокомандующего, великого князя Николая Николаевича Романова, за то что я ему вроде как жизнь спас, ну и чтобы соблюсти хоть какие-то рамки приличия, присвоили капитана. Вы должны знать, что в армии мое гвардейское звание равняется подполковнику.

— Да я знаю и тем более удивляюсь. Можно задать еще вопрос? А сколько вам, Глеб Станиславич, лет?

— Двадцать два года.

— Сколько? В двадцать два — капитан лейб-гвардии и шесть орденов, в том числе «Георгий» третьей степени?! Невозможно!

— Ну перекрестите меня, Сергей. Может быть, я вам снесу? Орденов вообще-то не шесть, а семь, — и Глеб показал на орденский эфес шашки и красный темляк. — А что, я так старо выгляжу?

— Вы... вы очень взрослый...

— Ну спасибо, что не старый, — засмеялся Глеб. — Здесь шумно. Если не возражаете, давайте, Сергей, возьмем коньяк и пойдем в купе.

— Я бы с удовольствием.

— Вот и хорошо. Откроем окно и покурим. Вы курите?

— Балуюсь. На фронте начал.

— На фронте все начинают пить и курить. Что поделаешь — война. Интересно, после войны бросим? Что будете делать после войны, Сергей?

— Пойду учиться в университет.

— А я не знаю что... Если когда-нибудь попаду в Польшу, переоденусь в простую одежду, надену старую шляпу и буду выращивать яблони и цветы...

— В это мало верится...

— Во что? Что попаду в Польшу?

— Нет. Что наденете шляпу.

Глеб рассмеялся. Он давно так хорошо не смеялся.

— А вы, Глеб Станиславич, зачем в Петербург? — спросил обрадованный его смехом Сергей.

— Буду отбирать среди солдат запасного полка подходящих для службы в гвардии. До войны выбирали для нас, а сейчас мы сами ездим и отбираем. И с каждым месяцем все труднее и труднее найти достойных.

— Конечно — гвардия! — мечтательно произнес Добрынин. — А уж тем более в Семеновский полк.

— Как долго вы, Сергей, будете в отпуске по ранению?

— Мне предоставили десять дней.

— Стандартно и как знакомо.

— Можно еще спросить, Глеб Станиславич?

— Не просите и спрашивайте. Пожалуйста, Сергей.

— А я бы мог служить в лейб-гвардии?

— Желаете? Но хочу сразу сказать: гвардейцы погибают первыми. Гвардию бросают в бой первой, чтобы выиграть, и первой, чтобы не проиграть.

— Как бы я хотел стать гвардейцем. Я же из дворян. Бедных, правда, но из дворян, — сказал с гордостью Добрынин.

Смирнитский посмотрел на юношу: высокий, худощавый, русский, голубоглазый. Вспомнил себя. Усмехнулся и произнес:

— Ничего невозможного нет. Я буду в Петербурге неделю. Если не передумаете, найдете меня в казармах Семеновского полка на пересечении Загородного и Звенигородской.

— Я знаю, где это. Я недалеко живу, на Обводном канале. А вас, Глеб Станиславич, я бы очень хотел пригласить к нам домой в гости. Вам будут рады и родители, и мой брат.

— Спасибо. У меня в Петербурге никого знакомых нет, так что договорились.

В Петрограде было ветрено и сыро, шел мелкий противный дождик. Смирнитский надел и застегнул на все пуговицы шинель, а Добрынин лишь слегка ее накинул на плечи, так чтобы был виден его орден. Глеб по-доброму улыбнулся — вспомнил себя и свою первую награду и с грустью подумал о Михаиле Тухачевском: «Где-то там, в плену...» Он не верил в гибель Михаила, и даже если иногда появлялась такая мысль, каждый раз со злостью гнал ее прочь.

Над перроном гремел выбиваемый оркестром марш и радостно кричали встречающие. Поперек висел большой плакат «Слава героям-брусиловцам!»

На выходе с платформы Сергея Добрынина встречал высокий, крепкий, с живыми карими глазами поручик с таким же орденом Станислава 4-й степени на груди. Он воскликнул:

— Народ встречает героев Брусиловского прорыва, — и, обняв, стал расцеловывать Сергея, после чего тот, стесняясь, представил ему Глеба:

— Познакомься, Александр, это капитан лейб-гвардии Семеновского полка Глеб Станиславич Смирнитский.

— Александр Добрынин, поручик, — как-то без удовольствия представился старший брат Сергея, посмотрев внимательно на Смирнитского и на выглядывающий из плотно застегнутой шинели орден Святого Георгия 3-й сте-

пени, и отдал честь, явно не отреагировав на протянутую Глебом руку. Лицо Смирнитского закаменело. Наступила неловкая пауза. Глеб сухо сказал:

— Сергей Павлович, если надумаете, приходите. Честь имею, господа офицеры.

Как только высокая фигура Смирнитского скрылась за дверями вокзала, Александр Добрынин недовольно спросил Сергея:

— Где ты этого штабного хлыща нашел? Посмотри-ка, капитан, а «третий Георгий», и за что — за то, что мы погибаем на фронте?

— Ты абсолютно не прав, Александр, и мне очень за тебя стыдно. Этот капитан на фронте с первого дня войны, сразу после училища, и дослужился до капитана с подпоручика, и у него семь боевых орденов. Ты правильно подметил, что у него «Георгий третьей». Он его получил еще в пятнадцатом, будучи штабс-капитаном, единственный во всей русской армии, за спасение жизни Верховного главнокомандующего Николая Николаевича Романова. Он меня поселил в своем купе, и я о нем многое узнал. Мне показалось, что он просто хотел выговориться. Посмотри, какое усталое у него лицо. А ему всего-то двадцать два года.

— Сколько? Как мне? И капитан лейб-гвардии? Что же ты меня не одернул? Надо его найти и извиниться. А я что-то слышал про спасение Романова; нас тогда, летом пятнадцатого, так трепали немцы под Горлицей... О чем он тебе сказал, прощаясь? Да какое уж тут прощание... Как мне стыдно!

— Я попросил его взять меня служить в их знаменитый полк, а он сказал, что если я не передумаю, то смогу его найти на неделе в семеновских казармах на Загородном и он возьмет меня к себе в батальон младшим офицером роты.

— Вот это да! Как же тебе повезло, Сергей! А не обманет?

— Ты бы видел его награды! Вся грудь и шашка наградная! Знаешь, что он мне сказал: «Гвардия погибает первой!»

— Господи, боевой офицер боевому офицеру руку не пожал... Раньше за такое на дуэль вызывали. Позор мне! Я пойду с тобой и извинюсь перед ним. А может быть, он и меня возьмет?

— Не возьмет.

— Почему? — удивился Александр. — Обиделся?

— Говорят, что в гвардейских полках не разрешено служить офицерами братьям.

— Почему?

— Не знаю, наверное, чтобы не было протекции, а может, потому что погибают первыми.

— Ладно, об этом мы еще поговорим. Нас родители ждут, поехали скорей...

Когда пассажиры ушли, часть задних вагонов прицепили к маневренному паровозу и он, посвистывая, потащил их по путям в тупик; там открыли двери и стали выносить раненых солдат, всех в засохших кровавых бинтах. Некоторых, по-видимому умерших в пути и уже закоченевших, складывали отдельной поленицей — война забирала свою пищу! Но этого почти никто не видел. Была великая победа генерала Алексея Алексеевича Брусилова и всей русской армии. И эта победа могла бы решить исход войны... И все праздновали эту победу, и что там до каких-то полуживых и мертвых солдат, выгружаемых в тупике вокзала.

XXX

Командир запасного пехотного полка, расквартированного в пустующих семеновских казармах, Анатолий Евграфович Иванов сидел за столом в кабинете и не обращал никакого внимания на капитана, пусть и гвардейского, который все подсовывал ему какую-то бумагу со словами:

— Я к вам, господин полковник. По отбору солдат в гвардию.

Полковник и головы не поднимал от бумаг на столе: что-то подписывал, вчитывался, чиркал ручкой. Тогда со словами: «Что-то у вас душно в кабинете, господин полковник», — посетитель стал снимать шинель, и зазвенели

и засверкали кресты, и по мере того как шинель освобождала поджарую фигуру капитана, полковник поднимался с открытым ртом со своего кресла.

— Извините меня, господин капитан, — трепетно сказал полковник. — Я вас очень внимательно слушаю.

— Господин полковник, здесь все написано, — Глеб положил бумагу на стол. — Я прибыл, чтобы отобрать из вашего полка пятьдесят солдат, годных для службы в гвардии. Нужны рослые, здоровые, русые, голубоглазые, грамотные и... обязательно русские.

— Вряд ли, — вздохнул полковник, — вы наберете пятьдесят человек...

— Как это? Из полка не набрать пятьдесят человек для гвардии? Такого не может быть! Что же это за полк?

— Вы меня несколько неправильно поняли, господин капитан. Здоровых, грамотных и русских вы, может быть, найдете даже больше, но вы не найдете столько желающих идти на фронт.

— Поясните, господин полковник.

— Все эти солдаты наших запасных полков разложены политической агитацией. Вы знаете, кто такие большевики?

— Вскользь. Нам на фронте политикой заниматься некогда — мы там воюем и умираем. Это я не в ваш адрес, господин полковник.

— А я вам говорю то, что есть на самом деле. Большевики полностью разложили армию. Они призывают ее к поражению!

— Как к поражению? Русскую армию к поражению? Кому — немцам? И их не расстреливают? Да если бы хоть один такой агитатор появился в нашем полку, его рядовые гвардейцы, не спрашивая офицеров, без суда расстреляли бы и бросили в первую же канаву. И думаю, ничего бы им за это не было. Скорее всего, наградили бы.

— То на фронте и в гвардии. А здесь, в тылу, все не так. Вот вам пример: в соседних казармах на Звенигородской улице расквартирован такой же запасной полк откуда-то из Самары; его направляют на фронт третий месяц, а отправить не могут! Там какой-то фельдфебель мутит солдат

и кричит: «Долой войну! Хватит!» — и солдаты его слушают, и с ними ничего сделать не могут... И этого фельдфебеля не расстреливают. А может, не хотят? Ну хоть бы взяли и отправили, что ли, их подальше от столицы — так нет, все казармы забиты запасными полками. Что творится?! Я вам, господин капитан, безусловно помогу: найдем достойных из тех, кто уже воевал и понюхал пороху, да и из новобранцев отберем. Завтра с утра мы вам выделим бывший гимнастический зал и будем посылать солдат, а вы уж выбирайте, кто вам подойдет.

— А что же мне делать с этими политическими пристрастиями? Я же в них ничего не понимаю.

— Я вам своего заместителя пришлю. Он до прихода в полк в жандармском управлении работал по политическому сыску — хорошо разбирается, кто есть кто; он вам поможет.

— Благодарю вас, господин полковник.

— Что вы, господин капитан, это вы меня извините. Честно — плюнуть бы на все и простым офицером или даже солдатом пойти на фронт, только бы не видеть, что творится здесь, в тылу. Счастливые вы там, на фронте.

Смирнитский никогда не отбирал солдат для своего батальона — это делали другие, и он полагался на их знания и опыт. А недостающие для войны навыки солдат получал уже в полку и в бою. Но он, Смирнитский, со своим опытом, как никто, знал, какими должны быть гвардейцы. Он за годы войны создал для себя образ этого солдата: не просто крепкого, высокого, умного парня. В нем он искал необходимый внутренний стержень бойца: бесстрашного и умного, хитрого и справедливого, знающего главное: ни шагу назад без приказа, ни одного раненого не оставлять на поле боя, быть милосердным к сдающемуся врагу и безжалостным к трусам.

Утром в гимнастический зал пришел капитан лет сорока, чуть понурый, малоулыбчивый, с умным, внимательным взглядом. С погона свисал витой шнур — жандармский гомбик.

— Капитан Аркадий Васильевич Пороховщиков, — представился капитан.

Смирнитский ответил, пожал крепкую руку и спросил, показывая взглядом на гомбик:

— Не боитесь в наши времена носить? Некоторые ваши подчиненные неодобрительно смотрят на этот красивый предмет.

— Не боюсь, — ответил Пороховщиков и сам задал вопрос: — А вы, Глеб Станиславич, не боитесь носить погоны лейб-гвардии Семеновского полка, особенно в Москве, где вам могут припомнить девятьсот пятый год и разгон восставших на Пресне и спасение самодержавия?

— Меня, конечно, в девятьсот пятом году не было ни в полку, ни на Пресне, но могу вас заверить, что если бы был, то приказ выполнил. А вы, Аркадий Васильевич, жесткий.

— Это только кажется. Прошлая служба накладывает свой отпечаток.

— Ну и хорошо. Аркадий Васильевич, вам, наверное, полковник Иванов рассказал, в чем мне нужна ваша помощь?

— Вкратце. Вы будете отбирать солдат для вашего гвардейского полка, и вам нужны достойные и верные царю и отечеству люди.

— Лучше и не скажешь. Поможете разобраться?

— Я для этого и пришел.

— Тогда начнем, — Смирнитский приказал: — Приглашайте первого.

Этот первый запомнился. Высокий, широкоплечий, стриженный, сероглазый. Вошел и с порога, глядя на Смирнитского, отчеканил звонко:

— Ваше высокоблагородие, рядовой Степан Щетинин.

— Ну и откуда ты будешь, такой молодец? — Щетинин сразу Смирнитскому понравился и статностью, и тем, что назвал его «высокоблагородием». Так надо было обращаться к капитану лейб-гвардии, а к пехотному капитану, что считалось рангом ниже, «ваше благородие». Мало кто из рядовых это знал, а этот, удивительно, но знал.

— Так вологодские мы, — ойкнул солдат и еще больше понравился этим своим «о».

— Ты служил, воевал?

— Да, почти год, ваше высокоблагородие. Ранили немножко. Теперь ничего. Я даже медаль имею, но... украли здесь.

— А писать, считать умеешь, Степан?

— Так у нас в деревне, поди, все умеют. А я с малолетства, еще когда та война была, с японцем, всем землякам помогал письма писать. А сейчас вот здесь, в полку помогаю. А насчет счета, арифметики — значит, так: задавайте, отвечу.

— Хорошо. Скажи-ка, Степан, сколько будет два прибавить три?

— Пять. Вы что-нибудь посложнее, ваше высокоблагородие.

— Посложнее говоришь. Ну, чтобы долго не ходить: умножь двенадцать на тринадцать.

Солдат потянул руку к затылку, потом вспомнил, вытянулся и отчеканил:

— Это будет... сто пятьдесят шесть, ваше высокоблагородие.

— Молодец! Да тебе бы в писари или казну считать.

— Не-е, там воруют.

Смирнитский с Пороховщиковым засмеялись.

— Стреляешь хорошо?

— Врать не буду — белке, конечно, с первого раза в глаз не попаду, но со второго точно.

— Гранаты видел?

— Кидать приходилось. Тяжелая, зараза. А у австрияков легче.

— Скажи, что, и пулемет знаешь?

— Видел. Хотел научиться, но не дали. К нему очередь.

— Поверю на слово и ответь честно: сила в руках есть?

— Подкову дадите — согну.

— Ну-с, у меня вопросов больше нет. Насчет подковы проверю, не сомневайся. Что-нибудь спросите, Аркадий Васильевич?

— Конечно. Скажи, как ты относишься к царю?

— Я его люблю.

— О как! Ну а эти разговоры агитаторов против войны? Солдат замаялся, а потом сказал:

— Так я таких разговоров не слышал, ваше благородие. Опять в обращении не ошибся!

— Врешь, конечно. Выдавать не хочешь. Но у меня, Глеб Станиславич, больше вопросов нет.

— Ты знаешь, для чего тебя сюда пригласили? — спросил Глеб.

— Знаю, ваше высокоблагородие, — как-то просто, обиденно ответил солдат.

— Ну и что — хочешь служить в лейб-гвардии?

— Хочу, — так же спокойно ответил Степан.

— Считаю, что зачислен. Иди, собирайся.

— Спасибо, ваше высокоблагородие, что доверили.

Когда солдат, четко повернувшись, вышел, Смирнитский весело сказал:

— А говорили, что трудности будут. Этак-то мы с вами, Аркадий Васильевич, за пару дней управимся.

— Не спешите, Глеб Станиславич, все впереди.

Как в воду глядел.

Даже по меркам гвардейцев это был великан. Когда он вошел, Смирнитский непроизвольно заулыбался. Комичности добавляла форма: на солдата, по-видимому, соответствующего размера не нашли, и он стоял в не застегнутой на могучей шее, линиялой от множественных стирок гимнастерке, рукава которой подбирались к локтям, штаны были в обтяжку, а громадные ботинки ему были явно малы, и он при ходьбе семенял. Он не был толстым или рыхлым, какими бывают большие люди, ведущие малоподвижный образ жизни. Он был поджар в животе, а в плечах, в руках, в груди был настоящий атлет. Смирнитский сразу спросил:

— Как зовут?

— Иван Торопов, ваше благородие.

— Откуда ты такой, Иван, и чем занимался?

— С севера мы, с Печоры-реки, ваше благородие. Лес валил.

— Родители, что — каторжные? — спросил Пороховщиков.

— Почему каторжные? — обиделся Иван. — Мы спокон веку там живем, на реке. Дед говорил: лет двести живем.

— Подкову согнешь, Иван? — так, в шутку, задал свой вопрос Глеб.

— Двумя пальцами, ваше благородие.

— Писать, считать умеешь?

— Чуть-чуть, ваше благородие.

— Так зачем же ты в гвардию идешь?

— А говорят, там форма есть на меня и кормят хорошо.

Смирнитский с Пороховщиковым дружно засмеялись.

— Тебе, Иван, надо в цирк к Александру Зассу. Он прутья в узлы завязывал.

— А что с ним? — спросил Пороховщиков у Смирнитского. — Я на него ходил до войны.

— Насколько известно, попал в плен к австриякам, три раза бежал и сейчас работает в цирке в Вене под прозвищем «Железный Самсон»... Иди, солдат Иван. Там, в гвардии, солдаты тоже не маленькие, но тебя-то кем брать — окопы рыть? Иди.

Солдат расстроился, засопел носом, неловко повернулся и пошел каким-то простым шагом обиженного человека к двери, и было понятно, что он расстроен оттого, что ему отказали в простой, казалось бы, малости: сытно поесть и надеть нормальную, по его росту, форму.

— Прошу вас, Аркадий Васильевич, помогите этому парню. Он уникален, но если его пошлют на фронт, то убьют в первом же бою. Пристройте его в цирк Чинизелли. У вас, я уверен, есть нужные связи, — Смирнитский внимательно посмотрел на Пороховщикова. Тот понял, что он имеет в виду, улыбнулся и сказал:

— Постараюсь помочь, Глеб Станиславич. Если в цирк не удастся, где у меня, кстати, никаких связей нет, то где-нибудь попробую пристроить, где не особо сильно нужна голова; есть на бывшей моей службе такие места.

— Вот и хорошо, вот и славно. А если честно, то жаль, что не беру. В нем есть какая-то настоящая русская душа — нараспашку.

— Согласен с вами. По нынешним временам редкостное человеческое качество.

XXXI

В этом солдате все говорило, что он подходит в гвардейцы: рост, внешние данные, грамотный рабочий, знание оружия, опыт войны, солдатский Георгиевский крест и русские имя и фамилия: Мирон Ерофеев. В нем было что-то необычное, жесткое, и взгляд был смелый, и Смирнитский, залюбовавшись, почти сразу, с первой минуты принял решение взять этого солдата в свой батальон, когда вопрос задал Пороховщиков:

— Что ты, Мирон знаешь о самодержавии?

— То, что в России правят цари, а начиная с Петра Великого — императоры.

— И как ты относишься к императору?

— К какому?

— К русскому конечно. К Николаю Александровичу Романову.

— Никак.

— Как это? — удивленно спросил Смирнитский.

— Царь должен сам уйти, а власть должна принадлежать трудовому народу.

— И как ты это представляешь? Государь же — Помазанник Божий на земле!

— Если сам не уйдет — свергнуть!

— Ты знаешь, что тебе за такие слова будет?

— Знаю. В лучшем случае каторга.

— Ты социалист?

— Я большевик.

— Это те, кто призывает армию к поражению? — спросил Смирнитский у Пороховщикова.

— Во-во, они.

— Скажи: ты русский человек, православный?

— Да, ваше высокоблагородие.

— И ты, православный русский человек, солдат, награжденный Георгиевским крестом, призываешь нас к поражению в войне и к свержению царя?

— Да.

— Но почему?

— Потому что это не народная война. Это империалистическая война. Выигрывают от войны царь, буржуи, помещики, дворяне, а проигрывает народ.

— Я ничего не понял. Я даже не понимаю, все ли у тебя нормально с головой, а о душе я и не говорю. Иди отсюда. Пусть с тобой разбираются врачи.

— Слушаюсь, ваше высокоблагородие. Только я здоров. И придет время, вы это поймете.

— Уходи, пока я тебя здесь не пристрелил. Ты, фронтовик! Если бы ты такие слова сказал моим гвардейцам, они бы тебя расстреляли.

— А мы, когда захватим власть, вашу гвардию первую к яме и поставим. Мы ей Пресню припомним.

— Во-он! — сорвался Смирнитский. — Арестуйте его и предайте военно-полевому суду. Его надо расстрелять перед строем. Аркадий Васильевич, прошу вас, проследите.

— Да, конечно, Глеб Станиславич.

А Мирон Ерофеев, дойдя до двери, остановился, повернулся к Смирнитскому и четко и жестко произнес:

— Когда мы возьмем власть, то мы разрушим ваш царский Зимний дворец и напишем на его обломках то же, что написали коммунары на развалинах Бастилии: «Здесь танцуют!» — и вышел.

Глеб сидел потрясенный. Его поразила смелость этого солдата и то, что он, Смирнитский, так мог ошибиться в человеке, в выборе солдата, в которого он, да и другие тоже должны верить и вверять им на поле боя свою судьбу, свою жизнь.

— Я даже не представлял, чтобы солдат, награжденный «Георгием», мог такое говорить! Это непостижимо! Давайте, Аркадий Васильевич, пойдёмте в какой-нибудь ресторан и напьемся.

— Я с удовольствием. Я каждый день встречаюсь с такими солдатами. Меня от них тошнит.

— Меня уже от первого затошнило. Я бы с преогромным удовольствием вернулся на фронт.

— Пойдемте, Глеб Станиславич, я знаю здесь недалеко один уютный, тихий погребок.

— Пойдемте, пойдемте скорей.

Они сидели в небольшом кафе, расположенном в полу-подвале здания; овальные своды создавали какое-то особое, приятное ощущение покоя и размеренности, да еще свечи на столах и еврей, играющий на скрипке... Публики почти не было, и можно было спокойно, не напрягая голоса говорить.

— Я ничего не понимаю. Что же здесь происходит? Мы там, на фронте, оказываемся, совсем не знаем, какие события нас ждут в тылу. Я в Москве неделю назад слышал, как один пьяный отставной офицер выкрикивал лозунги против войны, и это было так непривычно и дико, но оказывается, это уже повсеместно. Кто они, эти противники войны? Ведь этот солдат грамотный, не крестьянин, рабочий, и, значит, до армии имел достойную жизнь. Он против, потому что хочет работать, а не хочет воевать? Но он же предлагает изменить государственный строй. Он предлагает какую-то новую форму государственного устройства, которую я не понимаю и не могу принять. Получается, что я там, на фронте, и такие, как я, защищаем и умираем и за этих социалистов и революционеров? Чтобы они могли хорошо есть, пить вино, носить пошитую для них одежду, вволю спать за счет государства и при этом поносить это государство, предлагать его уничтожить? И почему их так много? Только из-за войны, или есть еще что-то другое? Расскажите мне, Аркадий Васильевич, прошу вас.

— Их, Глеб Станиславич, много, но они разные. Этот солдат, которого вы предложили расстрелять, социал-демократ, большевик. Этих мало, но именно они, как сумасшедшие, на каждом углу, в каждой казарме кричат о будущей революции и призывают солдат не идти на фронт и к

поражению страны. Возглавляет их партию некий Владимир Ульянов, по кличке Ленин. У них у всех, как у собак, клички, которые они себе сами придумывают. Этот Ленин живет в Швейцарии и пишет там разные статьи с призывами к поражению России в войне. Он придумал и сейчас все сторонники его партии называют эту войну империалистической.

— Это что означает?

— Что это антинародная война, выгодная только фабрикантам и капиталистам в воюющих странах — империалистам, потому что они на ней зарабатывают деньги.

— Я не буду спорить, что кто-то наживается на войне. Это естественно, что производители оружия имеют большие доходы. Но они же создают рабочие места и платят налоги, а их дети, так же как и мы с вами, воюют с врагом и умирают на поле боя. Я их знаю — они рядом со мной в окопе и в атаке. Бесспорно, война затянулась и почти нет побед, но призывать к поражению... А как же сотни тысяч погибших русских солдат? Они-то за что погибли? За поражение? Да и что это за поражение — не в бою?

— Основа их идеологии — коммунизм и классовая борьба. Людей они делят на классы — капиталисты, дворяне, крестьяне, рабочие — и хотят уничтожить все классы, кроме рабочих. Как они говорят: построить бесклассовое общество.

— А рабочие?

— Дворян они уничтожат первыми, потом капиталистов и всех остальных, а рабочие как класс отомрут последними.

— Так все же офицеры, награжденные орденом Святого Георгия, становятся дворянами.

— Значит, этих офицеров в первую очередь и уничтожат.

— О, господи! Что происходит?! Прошу прощения, рассказывайте дальше.

— Кроме большевиков есть меньшевики — те же социал-демократы, но эти открыто против войны не выступают. Есть социалисты-революционеры, по-простому — эсеры.

Эти за отдачу земли крестьянам. У них есть боевые дружины, они стреляют в высших чиновников и генералов — продолжатели дела народовольцев. Есть анархисты. У этих полная каша. Все органы власти уничтожить. Армию уничтожить. Равенство, братство и взаимопомощь. Их идеолог князь Кропоткин.

— Князь? А лозунги почти как в армии. У нас тоже — ни одного раненого не оставлять на поле боя. Я, конечно, Аркадий Васильевич, из того, что вы мне сказали, почти ничего не понял, и у меня только еще больше заболела голова, но скажу одно: если уничтожить русскую армию, сама Россия погибнет.

— Так вы правильно все и поняли: они и хотят в первую очередь уничтожить армию как основу государства.

— Ну это-то им не удастся.

— Подождите, Глеб Станиславич, то, что вы сегодня увидели, только начало. Представьте, что таких, нежелающих воевать, половина солдат запасных полков.

— Половина? Не может быть!

— Я не собираюсь вас переубеждать, сами увидите...

Пороховщиков оказался прав: в следующие дни Смирнитский увидел такую ненависть к войне, такое нежелание идти на фронт со стороны сильных, грамотных солдат запасного полка, что стал понимать сказанные ему при встрече полковником Ивановым слова о желании идти на фронт даже простым солдатом.

Запасники приходили и начинали молотить такую чушь, как будто это была медицинская призывная комиссия. Солдаты понимали, что дать согласие идти в гвардию — значит, дать согласие сразу идти на фронт. А фронт — это уже знакомые им пустые деревни и заполненные калекami города. Они искали малейший предлог, только чтобы не попасть на фронт и в эти калеки. Они меньше боялись смерти, чем этого возможного страшного уродства. А до дверей зала гимнастики, где принимал Смирнитский, их, каждого отдельно, провожали солдаты-большевики и нашептывали, что надо говорить приехавшему «их благородию», чтобы не попасть на фронт.

За четыре дня Глеб с трудом отобрал два десятка солдат, подходивших по своим природным данным для службы в гвардии и... желавших воевать.

XXXII

В конце недели к Смирнитскому пришли братья Добрынины. Когда они вошли в гимнастический зал, Смирнитский и Пороховщиков обсуждали очередного солдата и опять, казалось бы, подходящий для службы в гвардии солдат рассказывал сказки о своей убогости, какой-то инвалидности, смущался, краснел, но стоял на своем — он не хочет служить в гвардии. Смирнитский, увидев входивших братьев, закричал:

— Все на сегодня. У меня сейчас голова лопнет, — и пошел навстречу Добрыниным, и на его лице засветилась такая радостная улыбка, что было видно, как он рад пришедшим офицерам. Первым к Смирнитскому подошел Александр Добрынин и, протянув руку, произнес:

— Я прошу вас, Глеб Станиславич, извинить меня за недостойное офицера поведение на вокзале. Право, я в тот момент подумал, что вы штабной офицер... И мне так стыдно перед вами.

— Полно, Александр Павлович, я так и понял.

— Вы принимаете мои извинения, Глеб Станиславич?

— Вам незачем извиняться. Я искренне рад видеть вас и Сергея Павловича. Сергей Павлович, ну что, надумали?

— Так точно, господин капитан. Я только жду вашего решения. И готов хоть сейчас приступить к службе. Приказывайте.

— Тогда знайте: я разговаривал по поводу вас с командиром полка Павлом Эдуардовичем Телло и он дал согласие принять вас в полк в мой батальон младшим офицером роты.

— Bravo! — воскликнул Александр Добрынин. — Как я рад за тебя, Сергей. Прапорщик — и сразу младший офицер роты гвардейского полка. Огромное спасибо, Глеб Станиславич.

— Так ведь не только солдат, но и офицеров в полку не хватает.

— Да-а, везет же вам, господин прапорщик, — грустно произнес Пороховщиков.

Сергей Добрынин ничего не мог произнести, он стоял красный, его лицо светилось от счастья, и радостные глаза предательски блестели от подступивших слез. Собравшись, он с хрипотцой в голосе, вытянувшись перед Смирнитским, произнес:

— Приказывайте, господин капитан.

— А помощь мне ваша, Сергей Павлович, очень даже нужна. Я отобрал за пять дней всего двадцать солдат. Боже, что происходит?! Этих солдат по моей просьбе поселили в отдельной казарме, и я приказываю вам, господин прапорщик, взять их под свою команду. С этой минуты вы их командир. Я не предлагаю вам обучать их военному делу — из них многие прошли фронт, награждены; назначьте себе помощника — присмотритесь к Степану Щетинину; главная ваша задача — не дать возможности появиться в казарме, среди ваших солдат, разного рода агитаторам, призывающим к поражению России в войне и отказу солдат идти на фронт. Поверьте, их здесь неожиданно много. Если бы не Аркадий Васильевич, я бы ничего не смог сделать с этими пораженцами.

— Глеб Станиславич, я, пожалуй, пойду. Встретимся завтра утром, — сказал Пороховщиков.

— Спасибо, Аркадий Васильевич. До завтра.

Пороховщиков попрощался с Добрыниными и ушел.

— Мы, Глеб Станиславич, пришли пригласить вас к нам в гости. Пойдемте, — сказал Александр Добрынин.

— Спасибо, я с удовольствием, — как-то просто ответил Смирнитский.

Семья Добрыниных занимала просторную пятикомнатную квартиру в доме на Обводном канале. Отец семейства, Павел Александрович, был одним из главных инженеров на Путиловском заводе и мог позволить семье жить в такой квартире. Глеба приняли столь радушно, что

ему вдруг вспомнилась первая встреча в семье Тухачевских в далеком четырнадцатом году. Сидели тихо, спокойно, пили вино и чай и уплетали прекрасно приготовленные пироги и ватрушки хозяйки дома Анны Николаевны. Та не скрывала, что сама из крестьянской семьи и готовить ее учила еще бабка. Павел Александрович рассказал о событиях на заводе, о том, что среди рабочих ходят листовки, читают какую-то газету «Правда» и все больше выступающих против войны; хотя зарплата у рабочих достойная, в магазинах при заводе все есть. Потом рассказал о новых видах оружия, о броневиках, об орудиях, о пулеметах и минометах. И резко высказался против того, что государство закупает винтовки и снаряды в Англии. Смирнитский его поддержал, сказав, что во время атак артиллерия часто не может помочь пехоте — присланные снаряды не подходят по размеру к стволам русских орудий. Дружно радовались успехам русской армии в Галиции, и Добрынины благодарили Смирнитского за высокую честь, оказанную младшему, Сергею, служить в столь прославленном полку. Вечером Глеб Смирнитский с Сергеем Добрыниным ушли в казармы Семеновского полка.

Ночью был захвачен солдат-агитатор. Будущие гвардейцы его избили и пригрозили: «Еще хоть одна сука к нам придет — пристрелим. Нам такое право капитан дал. Понятно?» — и пинком вышибли из казармы. Весть об избииении агитатора-большевика молниеносно разнеслась по запасному полку. Утром перед дверью в гимнастический зал стояла очередь из солдат, желающих попасть в гвардию. Солдаты-агитаторы злобно ругались, но подойти боялись, понимали — побьют.

При отборе присутствовал и Сергей Добрынин, будущим гвардейцам Смирнитский представлял его как их командира. За два дня отобрали еще сорок человек, и довольный Глеб Смирнитский скомандовал:

— Все, господа, команда отобрана. Всем спасибо. Особенно вам, Аркадий Васильевич. Я со списками к командиру полка и в железнодорожное ведомство за вагоном для солдат. Вы, Сергей Павлович, остаетесь за меня. Прошу

проследить, чтобы солдаты были накормлены, никто не отлучался, никаких встреч с солдатами запасного полка. Они уже наши — гвардейцы и подчиняются только мне и вам. Предупредите: тот, кто нарушит ваш приказ, тут же будет сразу отчислен из команды. Аркадий Васильевич, позвольте пригласить вас вечером в то уютное кафе.

— Не возражаю, Глеб Станиславич.

В этот момент открылась дверь, в зал ввалился великан Иван и, обращаясь не по уставу, начал с порога громким жалобным голосом:

— Ваше благородие, да как же так — меня в скоморохи записали? Наташили подков и говорят: рви — разорвал; тащат пруты железные и требуют узлы вязать — вяжу. Я же солдат! Возьмите к себе за Христа ради. Вон со всех сторон шепчут: «Не иди, Иван, на войну, убьют», а я вот все думаю: «А может, не убьют, а, наоборот, прославлюсь!» Возьмите, ваше благородие, — в глазах великана стояли слезы.

— Эх, Иван, даже не знаешь, что обращаться ко мне надо «ваше высокоблагородие»...

— Так научусь, ваше высокоблагородие, — перебил Смирнитского Иван. — Мне же главное — на фронт попасть, а там-то я уж покажу, на что способен.

— Честно, Иван, ты мне очень понравился еще в первый раз. Ну что, Сергей Павлович, возьмете к себе в роту?

— Если не возражаете, господин капитан, я бы взял. Я лично его быстро всему научу.

— Только денщиком его не делай. Я знал одного — тот на поле боя пальцы убитым отрезал, чтобы кольца снять, а уж часов, портсигаров наворовал... хотели расстрелять суку, да куда-то скрылся. Так что, Иван, считай, что принят в гвардейцы. Прошу, Сергей Павлович, найдите ему самую большую форму и шинель; приедем в полк, сошьем по размеру — у нас отличный полковой портной. Иди, Иван, к своим товарищам.

— Спасибо, ваше высокоблагородие. Не пожалеете, что приняли в гвардейцы, — голос великана дрожал, а слезы лились из глаз.

Иван под смех офицеров выбежал из зала, и было слышно, как за дверью разнесся одобрителный гул голосов.

— Вот, побольше бы таких солдат, — грустно сказал Пороховщиков. — Как же я вам завидую, господа офицеры...

Через день родители Добрыниных провожали сыновей на фронт: мать, Анна Николаевна, не скрывала слез, Павел Александрович отворачивал лицо в сторону, чтобы не видно было предательского блеска глаз, и шмыгал носом. Смирнитский делал вид, что очень внимательно выслушивает жалобные просьбы матери, которая просила его не направлять «младшенького» сына в бой; чтобы, если возможно, придержал его при себе, в штабе, и не договорив, она вновь принималась рыдать на плече мужа, а Глеб говорил себе: «Поехали, поехали. Черт, что ж так долго?»

— Вы, Глеб Станиславич, не слушайте маму; в бой его, он уже взрослый и пусть становится настоящим офицером. И еще раз спасибо вам за брата, — пожимал руку Глебу Александр Добрынин. — Даст бог, встретимся, — он, так и не попросившись в гвардию, уезжал на Юго-Западный фронт, где решалась судьба войны.

А Сергей Добрынин, наскоро обняв мать и отца, в возбуждении убежал командовать посадкой солдат в выделенный для них железнодорожным ведомством вагон — с полками для сна, уборной и титаном для чая; солдаты радовались этому незнакомому для многих из них комфорту. «Так-то служить...» — говорили они и пили крепкий чай с забытой радостью — сахаром. Самую большую кружку имел Иван — ему ее подарили оставшиеся в Петрограде солдаты запасного полка.

XXXIII

По всей огромной Российской империи, от края и до края, кроме западных территорий, где уже хозяйничали немцы, неслись здравицы в честь генерала Алексея Брусилова, — его прорыв австрийского фронта под Луцком, стали называть Брусиловским прорывом. В результате этой величайшей битвы Австро-Венгрия потеряла миллион сол-

дат и, агонизируя, уже готова была выйти из войны; испугавшаяся этого Германия обратилась к странам Антанты с предложением начать переговоры о мире. Англичане и французы, вдруг став в позу гордых римлян, с презрением отвергли это предложение, даже не спросив у русских: может, они и не возражают начать такие переговоры, потому что понимали — именно Россия, потеряв сотни тысяч солдат в битве под Луцком, единственная имела полное право начать такие переговоры с Германией и Австрией уже как победительница в этой войне.

В русской Ставке шел странный разговор.

— Ваше величество, — говорил начальник Генерального штаба Михаил Алексеев, — почему допускается так исказить роль Ставки и вашу роль в битве под Луцком? Вы посмотрите — битву называют «Брусиловский прорыв»! Везде! Неслыханно! И ни одного слова о роли вашего величества, как Верховного главнокомандующего и роли Генерального штаба в этой победе. Это недопустимо!

— Что вы предлагаете, Михаил Васильевич? — в голосе государя слышались нескрываемые обида и раздражение. Император непрерывно курил — он это делал всегда, когда сильно из-за чего-нибудь переживал. «Хвост накрутила» ему два дня назад государыня. Но она говорила совсем другое:

— Ники, я вижу, что про тебя незаслуженно забыли в этой битве, но прошу, не обижайся. Ты царь, и этим все сказано. Брусилов молодец, и не более. Начинают и заканчивают войну императоры! Плохо другое, что французы и англичане за твоей спиной хотят вести переговоры с немцами о мире. Англичане не потеряли ни вершка своей земли, а с французской немцы выйдут и всей мощью ударят по нашей России. Потом, правда, раздавят и Францию.

— Алиса, скажу тебе по секрету: вчера немцы обратились к нам с предложением о переговорах.

— Тоже мне секрет! Что ты им ответил?

— Я отказал, указав, что такие вопросы страны Антанты решают совместно.

— По-моему, ты слупил!

— Алиса, прекрати! Эта война должна закончиться победой русского оружия, и начало этой победы — битва под Луцком и выход из войны Австро-Венгрии. Брусилов сделал то, чего не было все годы войны — он победил.

— Ты хотел сказать: «Я победил!»

— Да, я победил!

— Так и считай, что ты победил. История все расставит на свои места.

— Я знаю, но это в будущем, а я хочу, чтобы все сейчас считали, что именно я выиграл эту битву, и мне нужна еще одна, только одна, но громкая победа, и на этот раз над немцами. И в этом Алексеев прав.

— Я всегда была против того, чтобы ты возглавил армию. Я боюсь всего, что происходит вокруг тебя, и боюсь твоих генералов и твоего Алексева — если станет плохо, они тебя предадут.

— Вот в этом-то, ты, Алиса, абсолютно неправа. Эти генералы никогда меня не предадут! Ложись спать — мне утром на фронт. Я схожу к Алексею. Ему опять плохо?

— Да, и даже старец не может помочь.

— Старец, старец, старец! — зло крикнул император. — Этот старец, которого уже называют провидцем, погубит всех нас! В армии — представляешь, в армии! — открыто смеются над нами, над тобой, Алиса! Говорят, что ты спишь с ним!

— О боже! Как ты можешь такое говорить?

— Не я — армия говорит! Надо заканчивать с этим мужиком.

— Нет! Нет, нет и нет! — закричала Александра Федоровна. — Он единственный, кто может помочь Алексею. Без его помощи и помощи Господа мы уже потеряли бы нашего сына. Не смей его трогать! Мне наплевать на всех твоих генералов — они не лечат Алексея!

— Хорошо, Алиса, только успокойся — пусть приходит, раз ты этого хочешь. Только пусть прекратит влезать в государственные дела. Виданное ли дело — звонит по ночам, пьяный, министрам и требует приехать к нему, да еще и с женами! Я скоро приду.

Император вышел, а государыня стала усиленно молиться святым, скорбно глядящим на нее с многочисленных икон...

И вот сейчас в Ставке император выслушивал генералов и наливался гневом: «Почему, почему, почему Брусилов?» — и генералы говорили: «Почему Брусилов?» Поэтому император и спросил у Алексеева:

— Что вы предлагаете, Михаил Васильевич?

— Мы предлагаем ударить по немцам здесь, на Западном фронте, неожиданно, без подготовки, в районе Барановичей. Удар наносит четвертая армия под командованием генерала Рагозы.

— Опять Рагоза? Что-то мне не нравится ваше предложение, Михаил Васильевич. Без подготовки — и на пулеметы? Да вы что?!

— Если мы будем готовиться, а это потеря времени, немецкое командование будет знать план операции и пропадет эффект неожиданности. Победа нужна прежде всего вам, ваше величество. И эта победа будет названа вашим именем, и я не удивлюсь, что после нее война подойдет к своему завершению. Своей победой вы, ваше величество, поставите точку в этой войне. Войну начинают и заканчивают императоры!

«Где-то я уже это слышал», — подумал государь. Решение было принято.

— Кстати, — сказал, немного успокоившись, император, — я привез шапку победителей, сшитую по эскизу художника Васнецова, — император выложил на стол остроконечную войлочную шапку, похожую на древний шлем русских витязей, с пришитым металлическим двуглавым орлом. — В этих шлемах русские войска пройдут в Москве по Красной площади, вдоль стен древнего Кремля, в день нашей победы в войне. Я уже подписал указ об их выпуске на заводах в Иванове.

Генералы встали и с восхищением стали рассматривать необычный головной убор...

Погубив более семидесяти тысяч солдат в мартовском наступлении у озера Нарочь, Ставка решила в июне про-

рвать фронт под Барановичами. И главным наступающим опять стал командующий Рагоза! И все повторилось: Гинденбург знал о наступлении русских и готовился, русские не знали, что Гинденбург знал об их наступлении, и без подготовки пошли в атаку. Наступление длилось два дня! Немцы, почти не применяя артиллерии, одним винтовочным и пулеметным огнем убили десятки тысяч русских солдат! А сами потеряли всего несколько тысяч! Армия горько плакала от такого командования. Да еще Распутин, да царица немка — все смешалось в ненависти к самодержавию, революция стояла на пороге. И ее уже желали почти все!

В бою отличился прапорщик Добрынин: он с командой только-только прибывших из запасного полка солдат сразу попал в бой, и когда при атаке новоиспеченные гвардейцы залегли под огнем противника, он поднялся и с криком: «Вперед, гвардия! За царя, за отечество!» — повел гвардейцев в атаку. За ним поднялись Степан Щетинин и Иван Торопов. Немцы стреляли в бегущего на них великана, а он все бежал, и винтовка в его руках казалась детской палочкой; немцы были поражены, а когда эта громада, похожая на только появившиеся на фронте страшные железные уродины — танки, стала все более и более приближаться к окопам, а за ним бежали такие же рослые гвардейцы, немцы не выдержали непонятной, дикой, давящей на психику атаки русских и, быстренько выпрыгнув из окопов, побежали к следующей линии своих траншей. Пуля сбила фуражку на голове Добрынина, чиркнула по черепу, и лицо залилось алой кровью. Прапорщику перевязали голову со словами: «До свадьбы заживет, ваше благородие». Добрынин остался с гвардейцами в захваченной траншее, чем сразу же вызвал уважение у солдат — в гвардии смелых любят. Многие солдаты были ранены; легко, в руку, ранен был и Степан Щетинин, а у Ивана вся шинель, считая наскоро из двух гвардейских шинелей, была в дырках от пуль, но ни одной царапины не было на теле гиганта.

Немцы выбили гвардейцев из траншеи через час, обстреляв позиции из нового оружия — минометов. Гвардейцы отошли на свои позиции и больше атак не возобновляли.

Подвиг молодого офицера был отмечен командованием: командир батальона Смирнитский направил рапорт о геройском поступке Добрынина; прапорщику присвоили звание подпоручика и наградили «Анной третьей», и он с гордостью повесил на портупею шашку с орденом и красным темляком. Смирнитский после награждения обнял Добрынина и сказал:

— Я горд за вас, Сергей Павлович. Чует мое сердце, вы меня догоните! И это очень хорошо, и я этого очень хочу. Принимайте, подпоручик, полуроту!

— Благодарю, господин капитан. Буду стараться вас догнать.

Это желание Глеба Смирнитского сделать из молоденького прапорщика нового офицера — смелого, умного, строгого, но умеющего защитить своих солдат от напрасной гибели, отодвинуло на время боль от разлуки с Ниной и вновь напомнило о пропавшем друге Михаиле Тухачевском. Он, сам того не понимая, хотел создать из этого юного офицера нового Михаила Тухачевского.

Гвардейцев Щетинина и Торопова за храбрость наградили солдатскими Георгиевскими крестами и денежными премиями. Степан все деньги отправил к родным в деревню, на Вологодчину. А Ивану, которого сразу все в полку полюбили и в шутку прозвали, по названию самой высокой колокольни Кремля, «Иван Великий», портной полка сшил красивую форму и шинель — офицеры собрали «по кругу» со своего жалованья. И гвардейцы — сами немаленького роста, становились рядом с Иваном и просили их сфотографировать. Полученные деньги Иван пропил с новыми своими боевыми товарищами — тайно, чтобы начальство не узнало, накупил вина и ночью напоил гвардейцев — всех, кто хотел. Офицеры об этом знали, но махнули рукой: первый бой да первая награда — понятно.

Главкомандующий германскими вооруженными силами генерал-фельдмаршал Пауль фон Гинденбург, разбив русские войска на Восточном фронте, перебросил немецкие части в Галицию и стал ликвидировать Брусилловский прорыв — последнюю и самую великую победу русского

оружия в великой войне. Никто Брусилову не помогал. 850 тысяч русских солдат легли в землю!..

XXXIV

Штабс-капитан Александр Переверзев в новенькой форме, скрипя ремнями портупеи, прибыл в запасной учебный батальон для исполнения своих обязанностей. Он никуда не ехал на поезде, не скакал на лошади — он сел на трамвай и через час переливистого звона и скрипа вагонов прибыл в батальон.

Приказом он был назначен помощником командира учебного батальона штабс-капитана Николая Лашкевича. Батальон состоял из 400 солдат, которых готовили к отправке на фронт фельдфебели и унтер-офицеры, служившие в этом батальоне с начала войны и за все эти годы сами не побывавшие ни одного дня на фронте. Переверзева сразу покорило то, что он должен был подчиняться равному по званию офицеру, который и на фронте не бывал, а имел такую же награду, как Переверзев, — орден Святого Станислава. Переверзев об этом узнал, еще не доехав до батальона: когда ему в штабе полка вручили приказ о назначении и со смехом рассказали, в какую боевую часть он едет: «Там и командир такой же, штабс-капитан Лашкевич — не воевал, а орден имеет. Везет же... сукам». Поэтому, прибыв в батальон, он нескрывая презрительно посмотрел на своего начальника, отдал документы, но не протянул руки. И эта возникшая сразу обоюдная холодность и неприязнь сделала службу какой-то нелепой: они командовали одними и теми же солдатами и старались не замечать друг друга. Более того, Переверзев открыто старался не выполнять указания своего командира, и солдаты это видели и... приветствовали. Лашкевич терпел, но однажды отозвал Переверзева в сторонку и в ультимативной форме пообещал Переверзева из армии выгнать, сказав, что он знает, почему тот был отправлен в отставку, и не так уж и трудно поднять все медицинские справки. Переверзев налился гневом, постучал по кобуре и, взяв штабс-капита-

на за шинель, так что затрещали пуговицы, вплотную придвинувшись, зло прошептал в лицо Лашкевичу:

— Попробуй! Я боевой офицер и этой игрушкой очень хорошо умею пользоваться. Лучше ты меня не трогай — пока ты на фронте не побываешь, ты для меня не начальник. Понятно? — и развернувшись, пошел прочь. Однако про себя понял, что, если Лашкевич начнет писать кляузы, его могут из армии и выгнать, и необходимо искать какую-то защиту. Возникла даже мысль пристрелить Лашкевича, от которой он шарахался в ужасе — офицер офицера?

Дальше служба пошла своим чередом: Лашкевич молчал, руки не подавал, приказы отдавал сквозь зубы — старался не замечать своего помощника. Переверзев исправно, без опозданий, рано утром приезжал на службу, иногда ночью дежурил в казарме, внимательно наблюдал, как готовят воевать солдат, тихонько удивлялся тому, как их готовят — никак, начинал требовать с фельдфебелей и унтер-офицеров исправного исполнения обязанностей и даже грозил отправить на фронт; несколько дней создавалась активная видимость учебы: солдаты день и ночь шагали строем по плацу, учились заряжать винтовку, не стреляли — в тир никто их не водил, а потом все опять стихало, и всех это устраивало. Вина не пил, понимал: первая пьянка — и его карьера вновь и окончательно закончена, да и с кем пить... с Лашкевичем? А пили в столице все: и солдаты, и офицеры, и прибывшие с фронта, и убывающие на фронт, и ни дня не воевавшие офицеры и солдаты учебных батальонов; пили страшно — запоем. И это при действующем на всей территории России сухом законе, введенном царем еще в июле 1914 года!

Учебный батальон, в котором нес службу Переверзев, всё обещали отправить на фронт, но то ли руки не доходили, то ли не до батальона было — целые запасные полки идти воевать отказывались, а тут какой-то батальон... Переверзев рапорты на имя военного руководства с просьбой направить его на фронт первое время отправлял, а потом перестал — пока он скатывался в алкогольную яму, произошли страшные изменения в стране, которые он сейчас

видел каждый день и от которых он содрогался. Если тогда, в ресторане, пьяный, он крикнул против войны, а потом сам устыдился своих слов, то теперь эти слова он слышал каждый день: и на улице, и в магазинах, и в трамвае, и на службе... открыто говорили и кричали! И Переверзев все более и более понимал, что эти люди правы, что надо что-то менять и чем быстрее произойдет эта перемена, тем лучше для государства, для народа, для армии.

Произошедшие события сделали его выбор окончательным. Убийство Распутина и всеобщее ликование во всех слоях общества. Бегство одного из убийц — князя и офицера Юсупова не считалось позором, его все восхваляли, и Александр Переверзев восхвалял и думал, что он бы поступил на его месте точно так же — всади́л бы в этого ненавистного мужика, поправшего всякие основы государственного строя и морали, всю обойму револьвера.

Но с Распутиным была связана императорская семья, и ее открытый траур по гибели Распутина вызывал еще большую ненависть к самодержцу. Николай II был обречен.

С четырнадцатого года, без отдыха, воевал прославленный лейб-гвардии Волынский полк и, как и Семеновский полк, был наполовину выбит в этой войне. И тут государю напомнили, что у этого знаменитого полка есть свой день рождения: 12 декабря и он согласился отозвать полк на праздник в столицу. Полк прибыл в Петербург, и для его обслуживания отправили учебный батальон — хоть какая-то от него польза; коли воевать не хотят, пусть моют, стирают, убирают и готовят для награжденных Георгиевскими крестами прославленных гвардейцев. И двух офицеров с батальоном направили в Волынский полк: штабс-капитанов Лашкевича и Переверзева. Лашкевичу было наплевать, куда его направят — лишь бы не на фронт, а Переверзев большего позора еще не испытывал. Он внутренне оскорбился и содрогнулся, как от пощечины, — на него с первого дня прибытия в казармы Волынского полка с нескрываемым презрением смотрели молоденькие поручики-гвардейцы с орденами на груди. И это презрение «сопляков» перевернуло все внутри Переверзева — он воз-

ненавидел и царя, и его гвардию, и всю императорскую армию. Он ощутил себя каким-то золотарем в уборных Волынского полка и был готов сорваться и удариться в запой, а проще — пустить себе пулю в лоб. И пустил бы, но...

К Переверзеву подошел старший фельдфебель учебно-го батальона Тимофей Кирпичников и как-то тихо, не по уставу сказал:

— Мне надо с вами поговорить, господин штабс-капитан.

— Вы что это себе позволяете, фельдфебель? Обратитесь, как положено!

— Я могу к вам и не обращаться совсем, этот разговор нужен вам, а не мне. Лашкевич-то вам мешает? Или я неправ, ваше благородие?

— Так-то лучше, господин фельдфебель. Я вас слушаю.

— Признаюсь, нас больше устраивает Лашкевич — он, как и мы, не воевал и не хочет воевать. Вы же, как известно, были ранены в четырнадцатом году, уволены с инвалидностью и все эти годы находились в отставке, — при этих словах лицо Переверзева окаменело. — Но нас интересует, что вы думаете о событиях в стране.

— Кого это «нас»?

— Это не так важно, но все-таки скажу: унтер-офицерский состав учебного батальона.

— Целого батальона? — скривился в улыбке Переверзев. — Не многовато?

— А мало?

— Маловато, но поясните: о каких событиях вы говорите?

— Об отречении царя.

— А если я прикажу вас сейчас арестовать и передать в военно-полевой суд?

— Вы, господин штабс-капитан, человек в батальоне новенький и многого не знаете. Об отречении говорю не я — говорят генералы.

— Хорошо. Что вы хотите от меня услышать?

— Что вам нужна наша поддержка против Лашкевича.

— А взамен?

— Ничего. Абсолютно ничего.

— Я, конечно, не верю вам, но скажу: мне Лашкевич не нравится, как офицер не нравится.

— Тогда всего одна к вам просьба, ваше благородие: не вмешивайтесь в будущие события.

— Как это?

— Не доносите до командования Волынского полка о происходящем в нашем батальоне.

— А если я не соглашусь?

— Тогда для нас вы станете вторым Лашкевичем. А он может случайно умереть... И вы от этого только выиграете. Да и думаю, вам не только Лашкевич не нравится, но и другие офицеры... Это же видно, больно уж нагло ведут себя волынцы... Всего хорошего, ваше благородие, — и, не отдавая честь, фельдфебель Кирпичников пошел, навистывая, в казарму, а Александр Переверзев стоял, и ни одной мысли не было в его голове, одно презрение к себе. Ему страшно захотелось выпить, и он, сославшись на плохое самочувствие, пошел в офицерскую казарму. Он не шел — брел по улице; шашка мешала идти — он ее не придерживал рукой и этого не замечал. Встречные люди, и гражданские, и военные, увидев лицо Переверзева, сторонились — плохо человеку, может, горе какое — убили кого? Около хлебных лавок стояли молчаливые очереди, и Переверзев увидел эти уставшие, худые женские лица. «Что это? — подумал он. — Почему они стоят? Разве нет хлеба? И куда делся хлеб? У нас же в полку его полно. С сахаром туговато, но хлеба у солдат достаточно... Куда смотрит власть?» — и от этого слова «власть» у него будто пелена с глаз спала: «А ведь царь — это и есть власть! Не об этом ли говорил этот фельдфебель? Но я же дворянин... Он что-то говорил о генералах... Что существует заговор генералов против царя? Заговор дворян? Тогда я с ними! Я против царя, я за этих женщин, которые страдают, так как и я долго страдал. А эти офицеры-волынцы? Понавесили медалек — герои! Ничего, и их очередь придет».

Водку он доставать у спекулянтов не стал, а придя домой, увидел сына Никиту.

— Что происходит, папа? — с порога заговорил сын. — Мы отступаем на всех фронтах. Где победа Брусилова? Где помощь Антанты? Им же легче — американцы высаживаются во Франции. Говорят, их сотни тысяч. Еще немного — и Германия падет, а такое чувство, что быстрее рухнем мы. Люди стоят в огромных очередях за хлебом, а склады, говорят, ломятся от еды. Солдаты, как бандиты, ходят по улицам: нападают на людей, грабят магазины. Где полиция?

— Я ничего не могу тебе ответить, Никита. Ничего. Я сам не понимаю, что происходит. Сегодня мне, офицеру, какой-то фельдфебель, который ни одного дня не был на фронте, сказал, чтобы я не вмешивался в будущие события. Знаешь, какие события? Отречение царя! И за отречение генералы! А если я им буду мешать, то меня просто убьют!

— И ты выступишь против государя?

— Я не выступлю, я не буду мешать.

— Папа, но это же поражение. Ты же государю клятву давал!

— Да, давал, а этот государь меня из армии выкинул на ничтожную пенсию, а я бы мог служить, и теперь уже подполковником, а может, полковником был бы. А мне какой-то сраный фельдфебель тычет...

— Папа, я приехал с тобой попрощаться: нас ускоренно выпускают прапорщиками и отправляют на фронт.

— Нет, ты не пойдешь на фронт! Я этого не хочу! Ты у меня единственный. Только ты держишь меня на этом свете. Не ходи! Я тебя в нашем полку спрячу. Мы запасники, и нас уже не трогают.

— Как ты можешь, папа? Я же, как и ты, офицер и клятву государю дал. Не уговаривай меня, я еду на войну.

— Где она, война? Она уже здесь, в наших городах и деревнях, в наших домах. Только слепой этого не видит. Правы те, кто говорит, что беда наша в этом царе, в Николашке. Надо его заменить, и я помогу это сделать.

— Если ты будешь это делать, мы с тобой станем врагами, отец!

— Не смей так говорить со мной! Я требую — не смей!

— Смею! Я уже взрослый. Мне семнадцать лет. Я отвечаю за свои поступки, и я — Переверзев, внук и сын русских офицеров. Вспомни это Я ухажу, отец, но я еще вернусь. На фронт я уеду через неделю.

— Если уедешь на фронт, я тебя прокляну...

— Ты сошел с ума! Ты давно сошел с ума!

XXXV

Глеба Смирнитского, как единственного в русской армии капитана, награжденного двумя орденами Святого Георгия, направили в созданный при Ставке батальон Георгиевских кавалеров — командиром роты. Станный это был батальон: одни увешанные крестами через всю грудь старослужащие солдаты. В бой не ходили, хорошо питались, маршировали, чистили оружие, четко стояли в необыкновенно красивой форме на небольших царских парадах, когда государь в Ставке прилюдно награждал и целовал со слезой всех награжденных, — и солдаты, получая награды, плакали и крестились: «Сам царь наградил! Живой!»

Глеб чувствовал, что без войны, без боя, без плеча своих товарищей он засыхает, тупеет от нынешней своей службы. Он невыносимо страдал, когда узнавал о потерях в армии и своем гвардейском полку, радовался успехам своего «молодого друга», как он называл Сергея Добрынина, который опять отличился в бою и был вновь награжден и получил погоны поручика. Рапорт за рапортом Глеб Смирнитский направлял на имя начальника Генерального штаба Михаила Алексева, чтобы его вернули обратно в полк. Но тому было не до рапортов какого-то капитана, пусть даже гвардейского и Георгиевского кавалера. Страна катилась в пропасть. Генералы искали выход.

Николай Александрович Романов, царь всея Руси, ходил, как затравленный зверь, по своему вагону в Ставке под Могилевом.

Ежечасно поступали все более угрожающие сведения, и не с фронта — из тыла, из Петрограда. Ситуация в столи-

це становилась все более и более угрожающей: запасные полки выходили из казарм на улицы, полиция разбегалась, казаки перестали разгонять рабочих, продовольственные магазины и лавки закрывались, хотя продовольствия на складах было достаточно, — боялись мародеров и вооруженных солдат, не желавших воевать, но желавших есть и грабить.

Император страдал от постоянного нытья со стороны председателя Государственной думы Родзянко и начальника Генерального штаба Алексеева. Да еще «великокняжеская фронда» требовала того же, что и все, — назначить какое-то «ответственное министерство». Какое? За что ответственное — император не понимал. А назначить — значит, поделиться властью. Ну и какой же он после этого царь?

Но еще больше император страдал от неизвестности за семью. Он только знал, что дети больны корью и часть Александровского дворца в Царском Селе превратилась в маленький семейный госпиталь. В большей части дворца и так был развернут госпиталь, в котором сестрами милосердия — а государыня, сдав экзамены, операционной сестрой — служила вся царская семья. Особенно он страдал по наследнику, больному гемофилией, Алексею. Вот судьба — жена Александра Федоровна привнесла в их, романовский царский род вместе с имевшейся в ней маленькой частицей английской крови и эту болезнь, которую носят в себе женщины, а болеют только мальчики. Судьба!..

А за спиной царя генерал-адъютант, начальник Генерального штаба, член тайной организации «военная масонская ложа» Михаил Васильевич Алексеев и вновь главнокомандующий, уже Северным фронтом, Николай Владимирович Рузский, дворяне, присягу государю дававшие, собирали телеграммами с командующих фронтами, армиями и флотами согласие на отречение императора. И все соглашались, кроме командующего Кавказской армией да адмирала Колчака.

Неужели столь ненавистна была власть этого слабого императора? Неужели не понимали, что свержение само-

державия приведет Россию не к превращению в буржуазную республику, а к гражданской войне? Если раньше император мог не обращать внимания на всех этих Родзянок, Гучковых, какого-то Керенского, то от своих, от великих князей, от элиты армии он никак такого не ожидал. Со всех сторон веяло одним — предательством.

Император сделал то, чего эти предатели от него и хотели, — он решил покинуть Ставку и ехать в Петроград, не зная, что уже был согласован план остановки поезда и его ареста с требованием отречения от престола в пользу сына Алексея. Всюду была измена!

Государь вызвал в свой вагон генерала Иванова — одного из немногих, кому он еще доверял.

— Николай Иудович, — сказал тихо император, — вы единственный, на кого я могу положиться в этот скорбный час. Я назначаю вас командующим Петроградским военным округом. Вам надлежит незамедлительно выехать в столицу и помочь навести там порядок. Я уже отдал распоряжение генералу Рузскому передать под ваше командование два пехотных и два кавалерийских полка. Я передаю вам батальон Георгиевских кавалеров. Кроме того, я вас прошу: помогите моей семье выбраться из города. Я за них боюсь; я решил направить мой поезд в Петроград, но достиг ли он?

— Ваше величество, позвольте вам дать совет: оставайтесь здесь, в Могилеве, в Ставке. Пока вы здесь — вы в безопасности. Как только вы оторветесь от еще преданных вам частей, вас арестуют.

— Вы так думаете, Николай Иудович? Неужели все так печально?

— Боюсь, что да!

— И все-таки я поеду, — тихо произнес император. — Я умру от переживаний за свою семью. Поезжайте, Николай Иудович, и да хранит вас Господь.

Царь перекрестил в спину выходящего генерала...

Служба в батальоне Георгиевских кавалеров тяготила Смирнитского. Ни повышенное жалованье, которое он

почти все переводил семье Тухачевских, иначе они бы голодали, ни зависть окружающих, ни особая, изумительно красивая форма не прельщали боевого офицера Смирнитского. Он подавал и подавал рапорты о переводе обратно в Семеновский полк. Он уже с радостью представлял, как вернется в родной полк и свой батальон. Правда, от полка четырнадцатого года не осталось и половины — все полегло в боях. Со славой погибли, ни разу не отступив и не показав спину врагу. Роты уже не восстанавливали — нечем было.

Глеб за эти два с половиной года войны сильно изменился: стал худее и поэтому казался еще более высоким, редко смеялся и улыбался, но никогда не кричал на солдат, хотя и был строг. В атаки ходил впереди всех, получал ранения, контузии и награды. И был уважаем и среди солдат, и среди офицеров. Казалось, он заменил своей храбростью пропавшего в феврале пятнадцатого года Михаила Тухачевского, о необыкновенной смелости которого еще весь пятнадцатый год в полку ходили легенды, которые все же потом забылись. Глеб в отличие от своего друга был рассудительным храбрецом — солдат берег. Этого в Тухачевском не было с первого дня войны — он солдата не понимал, да и не хотел понимать, для него главным было выполнить приказ, свой приказ. Бой был стихией Тухачевского.

Генерал Иванов вызвал к себе офицеров батальона и, как положено перед Георгиевскими кавалерами, стоя объявил приказ:

— Идем на Петроград! По дороге к нам присоединятся полки с Северного фронта. Пора наводить порядок в столице.

Офицеры вытянулись, выслушивая необычный приказ; им еще не приходилось воевать против своих, пусть даже восставших против царя солдат. Хотя назвать солдатами этих необученных и не нюхавших фронта солдат запасных полков, наводнивших Петроград и не желавших воевать, как-то язык не поворачивался. Но все равно — свои, русские, православные люди. Четыреста солдат батальона, повесив Георгиевские кресты поверх шинелей, с оружием,

погрузились в вагоны, и паровоз, свистнув, побежал к полыхающему красными знаменами Петрограду. Среди этих четырехсот были и сто солдат роты капитана Глеба Смирнитского.

Генерал Иванов беспрепятственно доехал до Царского Села, еще не зная, что начальник Генерального штаба Алексеев после отбытия Иванова из Ставки позвонил на Северный фронт Рузскому и они договорились приказ императора не исполнять и полков Иванову не выделять. «Карательная экспедиция» заранее была обречена на провал.

Николай Иудович был принят императрицей Александрой Федоровной. Но до того как Иванов побывал у государыни, к нему прибыл из столицы полковник Домашевский и они долго о чем-то шептались. Полковник рассказал о реальных событиях в Петрограде, и Иванов испугался. Императрице он сказал, что послан императором с сообщением, что его величество едет в Царское Село. Раскланялся и вышел. И даже не узнав, придут или нет полки от Рузского, приказал повернуть батальон на Псков, а сам уехал впереди всех на автомобиле. Иванов узнал больше, чем остальные.

XXXV

События в Петрограде развивались стремительно: все партии, высший свет, военные помогали, не желая того, друг другу в свержении монархии. Забастовка рабочих охватила весь город. Магазины, полные хлеба, закрылись, — боялись грабежей. Командующий Петроградским военным округом генерал Хабалов приказал казакам и полиции разогнать вышедших на улицы рабочих и жителей, требующих хлеба. Было приказано поднять верные присяге воинские части города, и тут произошло неслыханное. Штабс-капитан Николай Лашкевич был в этот день в батальоне и пьян. Получив по телефону приказ, он срочно построил учебный батальон на плацу. Переверзев был в этот день дежурным по батальону и тоже вышел на плац.

— Солдаты! — икнув, заорал Лашкевич. — Отечество в опасности! Рабочая мразь, напившись, вышла на улицы и стала громить магазины с продовольствием. Их лозунг «Долой царя!». Несознательное гражданское население, эти глупые бабы с детьми, помогают им грабить лавки и склады. Командующий Петроградским округом генерал-лейтенант Хабалов приказывает нам вместе с полицией и казаками остановить эту вакханалию. Нам разрешено стрелять по мародерам. Приказываю батальону разобрать оружие и выступить на помощь верным государю частям. Вперед, солдаты, не посрамите высокое звание солдат Российской империи! — Лашкевич вновь икнул и покачнулся. — Штабс-капитан Переверзев, приказываю вам раздать солдатам оружие и выступить в сторону Лиговского проспекта. Исполнять!

— Ты, ваше благородие, хочешь, чтобы мы в безоружных людей стреляли? — раздалось из строя.

— Кто это сказал? Два шага вперед. Штабс-капитан Переверзев, отберите команду из пяти человек и расстреляйте подлеца перед строем. Я вам приказываю.

— Я не буду исполнять такой приказ, — глухо ответил Переверзев.

— Да я тебя! — кобура у Лашкевича была расстегнута, он быстро выхватил наган, и в этот момент прозвучал выстрел — Лашкевич схватился за грудь, захрипел и упал на плац. Винтовка дымилась в руках фельдфебеля Кирпичникова.

— Братцы! Хватит над нами измываться! Навоевались! Долой царя! Кто со мной? Поднимай солдат других полков — все на улицу!

— Тимоха, а что с волынцами-то делать? Они же нам в спину стрелять начнут!

— Эй, штабс-капитан, - крикнул Кирпичников, - ты вроде как теперь мне должник. Бери роту и прикрой нас от фронтовичков. Если что, стреляй. Мы разрешаем. Пошли, ребята, Николашку скидывать!

И солдаты батальона, сбив замки со склада с оружием, побежали за фельдфебелем Тимофеем Кирпичниковым

«скидывать царя», не понимая, что уничтожали великую русскую империю. Маленький отряд солдат, возглавляемый фельдфебелем, как запал, взорвал бочку с порохом — произошел февральский переворот; монархия легко, как картонный домик, рухнула.

Штабс-капитан Переверзев в сопровождении пяти солдат прошел в казарму лейб-гвардии Волынского полка, где за три месяца без войны солдаты разленились до того, что перестали вставать с незаправленных постелей при появлении офицеров, и сказал:

— Солдаты! Товарищи по оружию! Я знаю, что такое фронт, я знаю, что такое смерть в бою, я, как и вы, умирал от ранений. Нам приказали стрелять в безоружных людей, в женщин с детьми, стоящих в огромных очередях за хлебом. Мы отказались. Сейчас мы поднимаем другие полки и идем свергать эту ненавистную всем монархию. Если вы за царя, если вы за Распутина, если вы за немку-государыню, берите винтовки и стреляйте в нас. Если нет, идите с нами или не идите, но не стреляйте нам в спину.

— Да чего там — мы понимаем. Не беспокойтесь, ваше благородие, стрелять не будем и своим офицерам не позволим, — крикнул солдат с широкими усами и двумя «Георгиями» на груди. — Нам самим царь надоел. И война надоела. Может, и правда мир наступит? Правильно я говорю?

— Правильно, — раздался хором голоса...

К власти пришло Временное правительство. Думали, что как всегда в России — временное, это когда навсегда.

Председатель Временного правительства князь Георгий Львов приказал арестовать генерала Хабалова и назначил командующим Петроградским округом генерала Лавра Корнилова.

— Лавр Георгиевич, Временное правительство возлагает на вас особую миссию: арестовать семью бывшего императора, — голос Львова дрожал, а красный бант на мундире, увешанном орденами за безупречную гражданскую службу, выглядел нелепо.

— Как арестовать?

— Нет-нет, никаких кандалов или препровождения в Петропавловскую крепость. Просто они не должны выехать из Александровского дворца в Царском Селе.

— А император?

— Бывший император, Лавр Георгиевич, — поправил Корнилова князь. — Гражданину Романову разрешено присоединиться к своей семье.

— И что с ними будет?

— Мы, правительство, хотели бы отправить семью через Мурманск в Англию. Запросили английское правительство — ждем ответ. Если не получится, отправим их подальше из столицы, скажем, в Сибирь, иначе, вы сами понимаете, никто не может им гарантировать жизнь. Их разорвет толпа!

— Я понял.

Но перед тем как отъехать в Царское Село, Корнилов по просьбе Временного правительства торжественно вручил фельдфебелю Тимофею Ивановичу Кирпичникову погоны прапорщика и приколот самый боевой и почетный военный офицерский орден — Святого Георгия со словами: «В вашем лице, прапорщик, революция чувствует первого своего солдата, поднявшего оружие против монархического строя!»

А еще говорят, что судьбы нет!

И штабс-капитана Александра Переверзева наградили: присвоили звание капитана и назначили представителем Временного правительства в Волынском гвардейском полку. «Лейб-гвардия» была отменена — осталась гвардия. Наверное, правильно: лейб-гвардия давно лежала мертвой на полях сражений.

XXXVI

В покои к государыне всероссийской Александре Федоровне Романовой вошел камердинер и доложил, что капитан батальона Георгиевских кавалеров Глеб Смирнитский просит принять его. Императрица удивилась, но согласилась принять капитана. Все-таки Георгиевский кавалер.

Смирнитский никогда не был в Царском Селе. За два с половиной года войны он ни разу даже не видел торжественного выхода царской семьи. Пару раз был в Петербурге по делам полка, останавливался в казарме семеновцев, и все — обратно на фронт. И когда вошел к царице, то от стеснения не смог совладать с чувствами и покраснел. Перед ним стояла высокая, красивая женщина, но лицо ее казалось высокомерным.

— Я вас слушаю, господин капитан, — сказала красивым грудным голосом царица.

— Капитан батальона Георгиевских кавалеров Глеб Смирнитский. Ваше императорское величество, я нарушаю приказы, но разрешите мне обратиться к вам с просьбой?

— Ну-ну, смелее господин капитан. Что-то вы слишком стеснительны для Георгиевского кавалера. А судя по наградам — храбрец!

— Вам, ваше величество, и вашей семье надо отсюда уезжать — вас предали!

— О чем вы, господин капитан, о каком предательстве вы говорите? Да, я знаю, что в Петрограде неспокойно, но есть же армия, полиция — они наведут порядок.

— Они уже ничего не наведут. В Петрограде вооруженное восстание. Об этом нам сообщили офицеры, прибывшие сюда из столицы.

— И вы им верите?

— Я человек военный, верю только в то, что вижу, но, к сожалению, ваше императорское величество, в данный момент мне приходится им верить. То, что произошло с армией, я знаю — на фронте с первого дня. Поверьте: они вас арестуют!

— Не может быть, чтобы верноподданные подняли руку на своего государя и его семью!

— Поднимут, ради захвата власти поднимут.

В глазах императрицы появились слезы. «Боже мой!» — прошептала она и спросила:

— Что вы предлагаете, господин капитан?

— Со мной сто Георгиевских кавалеров. Они все готовы умереть за вас и вашу семью. Мы перекроем дворец, у нас

есть пулеметы, и если понадобится, мы примем бой. В это время вы, ваше императорское величество, с детьми под охраной двадцати-тридцати солдат поедете на автомобилях в сторону Вырицы и дальше в Псков в штаб Северного фронта.

— Но император? Он же едет сюда.

— Я думаю, его сюда не допустят.

— Мне надо подумать, господин капитан. Есть еще одна причина оставаться здесь — все дети больны корью. Особенно плохо переносит болезнь наследник.

— Разрешите, пока вы принимаете решение, окружить дворец и установить пулеметы?

— Хорошо... Вы смелый человек, капитан Смирнитский. Все бегут, а вы, наоборот, остаетесь. Вон генерал Иванов убежал. Как будто я не понял, что он испугался.

— Я, ваше императорское величество, присягу государю давал... Когда я могу ожидать ваш ответ?

— Все давали присягу... Сейчас вечер. Я дам ответ к утру.

— Я боюсь, что к утру будет поздно. Лучше хотя бы в ночь уехать.

— Я вам сообщу, капитан Смирнитский. Но каков бы ни был мой ответ — благодарю вас.

Глеб Смирнитский вышел из дворца и начал отдавать приказы. Та часть Александровского дворца, где не было военного госпиталя и жила царская семья, была окружена его солдатами. Были проверены машины в гараже, баки заполнены горючим, моторы прогревались. Двадцать человек на конях были готовы сопровождать автомобили и защищать, если понадобится, ценой своей жизни семью императора. Смирнитский понимал, что стрелять в Романовых вряд ли кто-нибудь решится, но...

Ближе к ночи прибыл штабс-капитан с приказом генерала Иванова, который требовал, чтобы рота незамедлительно вернулась в расположение батальона и пошла в Вырицу. Штабс-капитан передал приказ и... остался! Ночь прошла в напряжении. Никто не спал. Свет в окнах дворца не гас.

Рано утром императрица пригласила к себе Смирнитского и сообщила, что она и дети остаются во дворце.

— Вы оказались правы, господин капитан. Мне сообщили, что его величество находится на станции Дно. Поезд был остановлен на станции Малая Вишера. Император на автомобиле едет сюда.

Ни императрица, ни Смирнитский еще не знали, что какой-то неизвестный фельдфебель Кирпичников, всю войну просидевший в учебном батальоне, ни одного дня не провоевав, вывел из казарм три сотни таких же, как он, не желающих ехать на фронт солдат и начал вооруженный мятеж в Петрограде, что к власти пришло Временное правительство, которое в угоду толпе издало первый приказ — арестовать царскую семью.

В то время, когда Смирнитский выходил от государыни, к Александровскому дворцу уже подходили солдаты нового, назначенного Временным правительством, командующего Петроградским военным округом генерала Лавра Корнилова.

Увидев солдат и пулеметы, Лавр Георгиевич удивился и, считая себя человеком бесстрашным, а больше не поверив в то, что видит — говорили же, что при «семье» не осталось даже охраны, — пошел к дворцу.

Навстречу Корнилову вышел Смирнитский и доложил:

— Капитан Смирнитский. Рота Георгиевских кавалеров охраняет семью императора.

— Никакого императора больше нет, капитан. Он отрекся от престола, а я выполняю приказ Временного правительства об аресте семьи бывшего императора Николая Романова. Конечно, ни о каком переводе семьи в тюрьму не идет речи — она будет находиться здесь, под домашним арестом. Бывший император направляется сюда... А откуда вы-то здесь, капитан? Насколько известно, ваш батальон в Вырице. Вы не исполняете приказа генерал-адъютанта Иванова?

— Я исполняю долг офицера императорской армии, ваше превосходительство.

— Вы смелый человек, капитан, только никакой императорской армии больше нет. Я вам приказываю отбыть в Вырицу.

— Вы не можете мне приказывать, ваше превосходительство. Такой приказ мне может отдать только государыня. Как она скажет, так и будет. А насчет императорской армии — что же вы в погонах этой армии?

— Я прикажу вас расстрелять! — посерел лицом Корнилов.

— Попробуйте! Георгиевский кавалер приказывает расстрелять Георгиевского кавалера? Побойтесь Бога — вы же не социалист, ваше превосходительство или как вас сейчас величать — может, «товарищ»? Посмотрите на ордена на вашей груди — их вам вручил император. Да и расстрелять роту Георгиевских кавалеров... Бросьте, генерал, мы в момент разгоним всех вами приведенных солдат. Хотите проверить — попробуйте! Запомните: что мне прикажет государыня, то я и буду исполнять.

Желтоватое азиатское лицо Корнилова еще больше потемнело — как от оплеухи.

— Хорошо. Идите, капитан, к Александре Федоровне Романовой. Я подожду, — сказал он глухо и зло.

Корнилову никак не хотелось начинать бой с Георгиевскими кавалерами. Он понимал, что для него, для героя великой войны, это был бы последний и самый бесславный бой. Да и что могли сделать его двести солдат против фронтовиков с Георгиевскими крестами за храбрость. Понимал и боялся.

Глеб Смирнитский после разрешения войти вновь появился перед государыней.

Александра Федоровна была в глухом темном платье. Под глазами лежали тени усталости и муки.

Смирнитский доложил о прибытии генерала Корнилова. Но умолчал, с какой целью прибыл генерал.

— Я знаю, капитан Смирнитский. Мне уже сообщили. Он приехал, чтобы арестовать нашу семью. И это герой, любимец Николая Александровича! Господи, что происходит?

— Ваше императорское величество, если вы прикажете, мы не пустим Корнилова во дворец. Мы умрем, но не пустим. У него не так уж и много солдат — две роты, не больше, и мы еще можем прорваться!

— Куда, господин капитан? Вы боитесь сказать мне то, что я и так уже знаю: император Николай Александрович Романов отрекся от престола в пользу своего брата Михаила, а тот престол не принял. Империи больше нет... — тихо сказала Александра Федоровна. — Николай Александрович едет сюда... как гражданин Романов... Я не могу бросить своего мужа в эту тяжелую для него минуту. Я и дети будем рядом с отцом! Я благодарю вас, капитан, за службу нашей семье и своему отечеству... Подождите минуту, господин капитан.

Императрица вышла из кабинета и через несколько минут вернулась; за ней шли четыре дочери и матрос с цесаревичем Алексеем на руках. Государыня подошла к Глебу Смирнитскому и протянула маленькую иконку с Богоматерью, выполненной на эмали, в тончайшем золотом окладе и на золотой цепочке.

— Это вам, капитан Смирнитский, от нашей семьи. Наклонитесь.

Смирнитский, слишком высокий, стал на колени перед царицей. Александра Федоровна надела образок на его шею и поцеловала в лоб.

— Спасибо вам, капитан Смирнитский, от всей нашей семьи за сохраненную нашу и свою честь!

Глеб Смирнитский, весь в слезах, встал с колен.

— Дети, — сказала Александра Федоровна, — прошу вас, поблагодарите господина капитана. Перед вами лучший из русских офицеров! Последний рыцарь бывшей империи.

Дочери Ольга, Татьяна, Мария и Анастасия поочередно подходили к Смирнитскому и говорили: «Благодарю вас, господин капитан». Цесаревич спустился с рук дядьки-матроса и, подволакивая ногу, подошел к Смирнитскому.

— Благодарю вас, господин капитан, — сказал тихо Алексей и протянул руку. — Мы всегда будем вас помнить.

— Спасибо, ваше императорское высочество!

— Идите, господин Георгиевский кавалер. Да хранит вас Господь! Мы всегда будем вспоминать вас с благодарностью. Прощайте, — сказала государыня. Слезы бежали из ее глаз.

Глеб Смирнитский щелкнул каблуками, развернулся и вышел.

— Ну что, капитан, получили приказ? — спросил вышедшего из дворца Смирнитского в нетерпении поджидавший его Корнилов.

— Вам повезло, генерал, если бы государыня хотя бы намеком приказала вас разогнать, вы бы здесь уже не стояли!

— Да как вы смеете со мной так разговаривать? Да я вас... — захлебнулся в злобе Корнилов.

— Что «вас», генерал? Может, вызовете меня на дуэль? С удовольствием. Нет? Вот и вся разница между нами, генерал Корнилов. Честь не отдаю — не заслуживаете!

Смирнитский повернулся спиной к открывшему рот от такого неуважения к себе Лавру Корнилову и крикнул:

— Рота, слушай мою команду: построиться «на караул».

Две ровные линии солдат выстроились перед дворцом; из окон которого глядели государыня, дочери и сидящий на руках у матроса мальчик.

— Смирно! На караул! — громко скомандовал Глеб.

Солдаты вытянулись под взглядами семьи Романовых, взяв винтовки «на караул». Смирнитский вытащил шашку со свисающим с эфеса красным «аннинским» темляком и отдал «салют» императрице и ее детям.

— Направо! — скомандовал Глеб. — Шагом марш!

Сотня солдат, блестя Георгиевскими крестами, шла под окнами дворца, в которых виднелись плачущие лица русской царицы и ее детей.

Корнилов стоял в сторонке, пораженный храбростью этих солдат. Ему почему-то вспомнилась история гибели гвардии Наполеона при Ватерлоо. Такая же честь и такое же презрение к смерти. А у него было чувство, что ему только что надавали пощечин — лицо горело от злости и стыда.

Роту никто не задерживал. Побоялись!

В Вырице Смирнитского вызвал к себе генерал-адъютант Иванов и вручил подписанный начальником Генерального штаба Алексеевым приказ о переводе Смирнитского обратно, в лейб-гвардии Семеновский полк. На приказе стояла вчерашняя дата.

— Вообще-то, господин капитан, вас хотели арестовать за невыполнение приказа и предать военно-полевому суду, но вы Георгиевский кавалер! И скажу вам честно, я вам завидую. Если верить тому, что вы хотели сделать, то вас следует наградить. К сожалению, больше нет той России, которая бы вас наградила. Я уговорил Алексеева подписать ваш рапорт о переводе обратно, в Семеновский полк, уже не лейб-гвардейский. Советую вам, капитан, постараться никогда и нигде не рассказывать о вашей попытке спасти семью императора. Лишитесь головы. А ваша голова, я думаю, вам еще пригодится. Идите и служите, господин капитан. Правда, я не знаю, кому мы сейчас служим... Бедная Россия!..

— Спасибо, ваше высокопревосходительство, что позволили вернуться в свой полк, но и я не знаю, кому я сейчас буду служить. Знаю только одно — мне с такими генералами, как Корнилов, не по пути. И я всю жизнь буду жалеть, что послушался государыни и не вывез семью сюда, на фронт. Попробовали бы их здесь тронуть, среди офицеров лейб-гвардии...

— Вы, господин капитан, счастливый человек — вы ничего не знаете.

Глеб переоделся в свою привычную полевую форму капитана лейб-гвардии Семеновского полка. А необыкновенно красивую с оранжевыми опушками и обшлагами форму приказали сдать. Он не возражал, но оранжево-черные погоны капитана батальона Георгиевских кавалеров Ставки Верховного главнокомандующего взял себе на память.

Вот судьба — фельдфебелю Кирпичникову Временное правительство за геройство присвоило звание прапорщи-

ка и наградило самым почетным «военным» орденом — Святого Георгия, а арестовавший царскую семью генерал Лавр Корнилов возглавит Белое движение, и к нему победит во время гражданской войны «первый солдат революции» Кирпичников, но нарвется на одного из последних защитников монархии, командира лейб-гвардии Преображенского полка полковника Александра Кутепова, и тот, узнав, кто перед ним, сорвет с него Георгиевский крест и прикажет его расстрелять... Судьба!

XXXVII

— У нас, ваше величество, появился уникальный шанс выиграть войну! — обратился к кайзеру Германии Вильгельму II канцлер Теобальт фон Бетман-Гольвега. — В России революция, русский царь Николай отрекся от престола. Армия полностью деморализована. Большевики, с четырнадцатого года выступающие за поражение России в войне, кажется, на третьем году войны наконец-то имеют большие успехи в разложении армии.

— Вы предлагаете начать наступление? Слышите, Гинденбург, он предлагает начать наступление. Интересно — чем? И чего вы радуетесь отречению русского императора? Не забываете — он мой брат!

— Давайте дослушаем его, ваше величество, мне кажется, господин канцлер что-то другое хочет нам предложить, — Гиндебург канцлера Гольвегу открыто недолюбливал, за то что тот, по его мнению, «сует нос не в свои дела» — смеет во время войны говорить с военными на равных.

— Да, ваше величество, я хочу предложить совсем другой способ победы над русскими, — сказал канцлер и посмотрел на Гинденбурга. Благодарности во взгляде не было.

— Интересно, — император Вильгельм по привычке сунул палец в рот. — Мы тебя слушаем, Теобальт.

— Я вчера имел разговор с неким Александром Парусом. Он один из главарей социалистов в Германии, а до этого занимался террористической деятельностью в России.

— Канцлер Бетман-Голвега, да вы в своем уме? Вести какие-то переговоры с нашими врагами? Да этого еврея надо расстрелять. Как, кстати, его настоящее имя?

— Израиль Лазаревич Гельфанд.

— О, мой Бог, да вы точно сошли с ума, канцлер! — закричал император Германии.

— Ничуть, ваше величество. Он провокатор до мозга костей и уже много лет работает на нашу разведку.

— Хм... Все, давайте выкладывайте, что там у вас?

— Мы все хотим, чтобы Россия вышла из войны, и Парус предлагает способ это сделать.

— Ну давайте, канцлер, не томите.

— Необходимо разрешить провести через нашу территорию поезд из Швейцарии с русским революционным отрядом, скрывающимся от русской полиции в эмиграции, и в первую очередь Лениным.

— Это еще кто? — спросил начальник Генерального штаба германской армии Людендорф.

— Это последователь нашего Маркса — русский революционер, один из создателей их коммунистической партии.

— И вы решили, что этот Ленин будет нам помогать?

— Не нам — себе! Да-да, себе! Для него это — единственный шанс прыгнуть на последний поезд, уходящий в русскую революцию. Болтовня болтовней, но революции и государственные перевороты делаются штыками. А большевики могут повернуть солдатские штыки с нашего фронта против захватившего власть в России Временного правительства, которое ратует за продолжение войны.

— Но даже если мы его провезем через Германию, то при переходе линии фронта его русские же и расстреляют.

— А мы его не в Россию передадим, мы вывезем его на корабле в нейтральную Швецию, а оттуда он с легкостью доберется до России.

— Поезд, корабль — не слишком ли дорого для нашей нищей казны? И все-таки, канцлер, почему он нам будет помогать?

— Мы его завербуем — раз, и дадим денег — два.

— А как вы его хотите завербовать? Да еще и денег дать! Это уж слишком!

— А он вроде как двоеженец: у него есть законная жена — Надежда, она с ним в Швейцарии, и подружка жены некая Инесса Арманд — давно нами завербованная дама. Ленин от нее без ума. От нее почему-то многие без ума. Она в молодости уехала из Франции в Россию учительницей к фабриканту Арманду. Но быстренько залезла в койку к его старшему сыну. Тот женился, она родила ему четырех детей, перелезла в койку к его младшему брату и родила еще одного ребенка. Потом всех бросила и стала заниматься революцией в России. Ее арестовали, сослали куда-то на север России. Она сбежала и появилась в Швейцарии у Ленина, и теперь тот никак не может решить — кто его жена, а кто любовница? Вот Арманд нам и поможет в вербовке этого Ленина и переброске его в Россию. Она нами завербована с первого дня, как прибыла в Швейцарию... через Германию. А иначе бы мы ее расстреляли.

— А без этого Ленина никак нельзя?

— Можно, но тогда в России возможен чистый еврейский захват власти во главе с Янкелем Свердловым и Лейбой Бронштейном-Троцким, который, кстати, уже завербован английской разведкой. Ленин тоже не русский, но все-таки не Янкель — Владимир. Русские не меньше нас не переносят евреев. Они могут за янкелями и не пойти. Нам выгоднее поставить на Ленина. Если он захватит власть, он выполнит все наши условия и Россия капитулирует.

— Господи! Неужели это возможно? — закричал германский император. — Гинденбург, Людендорф, делайте все возможное и невозможное, чтобы этот Ленин со своей еврейской девкой как можно быстрее попал в Россию!..

XXXVIII

В тихой, ласковой Швейцарии, в маленьком горном шале, тайно от жены Надежды Крупской Владимир Улья-

нов (Ленин) встретился со своей любовницей и подругой жены Инессой Арманд. Инесса прижалась к любимому и горячо зашептала:

— Володя, у нас есть возможность попасть в Россию!

— Как ты это себе представляешь, Инесс? Перелетим по небу?

— Володя, надо подписать вот эту бумажку, и все.

— О чем ты, Инесса, какая бумажка?

— Вот, почитай, — Арманд протянула лист бумаги с печатями.

Ленин подслеповато прочитал напечатанный текст.

— Ну, в общем-то, ничего особенного и не просят: выйти из войны, так мы против нее выступаем с первого дня этой войны, которую они называют мировой, а мы империалистической... Почему здесь и сидим — в России нас бы давно прикончили... Оплачивают переезд до Петрограда через Стокгольм нам и еще двумстам лицам, которые мы сами назовем. Прекрасно. Откуда у тебя такая бумага?

— Володя, у каждой женщины есть свои тайны. Друзья передали.

— Хм-м, что-то ты темнишь, любимая... Но в любом случае — молодец. Так, надо срочно составлять списки отъезжающих. Инесса, переговори с Надей, кого включить, и быстро составьте списки. Не забудьте все еврейские организации — они наши главные сторонники. Утрем нос Лейбе Давидовичу, а то он возомнил себя руководителем революционного движения в России... Этаким революционным вождем. Дудки! Дают деньги... А почему не взять? Я что — девочка-курсистка, «дам — не дам». Деньги нам очень нужны. Но главное — власть. И надо успеть ее перехватить, пока она валяется! И передай своим друзьям, что никакие бумажки я подписывать не буду.

— Но, Володя, милый, надо... Иначе революция в России произойдет без тебя! — Инесса подвинулась плотно к Ульянову. Владимир Ильич почувствовал прилив крови...

— Я и без бумажек все сделаю, как хотят... твои друзья.

Вечером, узнав об отъезде в Россию, Надежда Крупская спросила:

— Володя, мы столько лет не были в России — нас там узнают? А если арестуют? А откуда деньги и что это за поезд через воюющую с Россией Германию? Нас не расстреляют уже на границе с Финляндией? Может, лучше, как Плеханов, заниматься здесь, в Швейцарии, теорией революции?

— Ты, Надя, — дура! Можно исписать сто книг, а в жизни все будет наоборот. Думаешь, я так и буду здесь сидеть и статейки пописывать? Да меня в России через месяц забудут. Неужели ты не понимаешь — в России революция! И происходит она без нас, без наших бумажек. И вот появился единственный шанс приехать и ввязаться в драку, а там видно будет, куда кривая вывезет... Так нет же, ты еще на мою голову, «товарищ жена». Собирайся и иди к Инессе составлять списки отъезжающих или останешься здесь.

— Опять Инесса! Она что — тоже едет с нами?

— Она мой секретарь, товарищ Надежда Константиновна, и ничего более.

— Тогда я не поеду.

— Ну и хрен с тобой. Баба с возу — кобыле легче!

— Как тебе не стыдно, Владимир? Я всю жизнь посвятила тебе, нашей борьбе, я потеряла здоровье, и вот теперь ты меня укоряешь.

— Успокойся, Надя. Иди и помоги Инессе. Надо уезжать, пока немцы не передумали. Не забудьте включить в списки всех желающих поехать евреев — они нам в России очень пригодятся, чтобы Троцкого отстранить от революции. И запомни: я тебя уговаривать не буду и потерянным здоровьем ты меня не разжалобишь. Это твоя личная проблема...

Надежда Крупская, опустив голову, пошла помогать Инессе Арманд. Она уже понимала, что без Володи она никто. Ее молодость и красота прошли — раньше надо было думать.

В конце марта 1917 года, под возмущенные крики оставшихся в Швейцарии русских эмигрантов, из Базеля вышел поезд и направился через всю территорию Германии — страны, с которой Россия находилась в состоянии

войны, — в порт на Балтийском море, где двести пассажиров были погружены на корабль и доставлены в нейтральную Швецию. Из Швеции Ленин и сопровождающие его лица за немецкие же денежки поехали поездом в Петроград; никаких пломб на дверях не было, только попросили не подходить к окнам — камнем можно в лицо получить. Приехав, Ильич закричал с броневика на Финляндском вокзале согнанным для встречи неизвестного им вождем солдатам и матросам: «Долой Временное правительство! Вся власть Советам! Да здравствует социалистическая революция! Долой антинародную, империалистическую войну!..» С Владимиром Ильичом в Россию прибыли жена Надя Крупская, секретарь Инесса Арманд, члены партии большевиков (почти все евреи), члены Всеобщего еврейского союза, члены Еврейской социал-демократической партии, члены Сионистско-социалистической рабочей партии. Участь русской Февральской революции была решена — наступало время Великой еврейской революции.

И на пароходе, и в поезде соратники трусливо спрашивали Ленина:

— Владимир Ильич, а не пристрелят ли нас в России за такой подвиг — с помощью врагов прибыть на родину?

Ленин нервно и боязливо отшучивался:

— Мы едем в Россию устанавливать мир, и мы первым делом откажемся от войны с Германией! И нас не арестуют — Временным правительством руководит мой однокашник по Симбирской гимназии Сашка Керенский. Кстати, его папаша нашу гимназию возглавлял и мне четверку в аттестат поставил. И мой отец, руководивший всеми гимназиями губернии, не смог помочь — Сашкин отец уперся — козел! Ничего, эта четверочка в аттестате дорого Сашке обойдется!..

Инесса и в поезде, и на пароходе открыто льнула к Ильичу. А он и не возражал. Крупская понуро, зло и безмолвно, как старушка, сидела в углу вагона. Она не плакала; в ее когда-то очень симпатичной головке металась мысль: «Ничего, Инессочка, мы ведь в Россию едем, а там в ядах разбираются лучше, чем в Индии. “Историю государства Россий-

ского” Карамзина надо читать, когда в нашу страну едешь, а не по чужим постелям бегать. Да что там яды — Россия не Швейцария, в ней есть самое простое и самое надежное средство от таких сучек, как ты, — холера Вот холера тебе и будет!»

Надя как в воду глядела!

С Финляндского вокзала Ленин поехал в особняк Матильды Кшесинской, самый дорогой и современный дом в Петрограде! Какая хорошая жизнь наступала у большевиков, борющихся за людей без имущества — пролетариев. И каково было спать в кровати самой знаменитой любовницы империи! Постель особенно нравилась Инессе:

— Представляешь, Володя, в этой постели занимались любовью с Матильдой будущий император Николай, великие князья Сергей Михайлович и Андрей Владимирович! Да я по сравнению с ней девственница!

— Ты, Инесса, пошла бы и занялась делом. Что подумают обо мне мои товарищи по партии, если увидят нас с тобой в этой постели?

— Позавидуют!

— Инесса, здесь не Швейцария, здесь Россия.

— Володя, я знаю Россию не хуже тебя. А не хочешь со мной ласкаться — и не надо, другого найду. У меня опыт громадный, не хуже, чем у этой балеринки.

— Попробуй только! Ноги-то свои кривые пожалей — выдернут.

— Сволочь ты, Володя.

— А ты как думала? Швейцария, дорогая Инесса, закончилась. Нас ждет мировая революция!

XXXIX

— Что же происходит, Митрофан Осипович? — Глеб Смирнитский с помощью веревки, привязанной к спинке кровати, приподнялся и спустил на пол ноги. — Я даже не уверен, что эта пуля немецкая. И не удивлюсь, если в меня ее послал свой, русский солдат — нет, не тот, с которым я ходил в атаки в четырнадцатом и пятнадцатом годах, а

новенький, только что пришедший в эту разложившуюся армию и сам уже там, в запасных частях, разложившийся. Лучше бы их в боевую армию не присылали. Они, как черви, съели армию изнутри!

Глеб лежал в московском госпитале с очередным, он уже и не помнил, каким по счету, ранением. Повезло — пуля попала в мякоть бедра и, не задев ни кость, ни кровеносные сосуды, пролетела насквозь. «Где и мясо-то нашла?» — смеялся поджарый Глеб на перевязке. Соседом по койке оказался Генерального штаба капитан Митрофан Осипович Неженцев, тридцатилетний, симпатичный, умный, спокойный офицер. Тому тоже повезло — пуля пробила навывлет плечо. И он тоже не был уверен, что ее в него не послали свои же солдаты. Боевые офицеры сразу потянулись друг к другу. Митрофан, правда, открыто, по-доброму завидовал Глебу — того приходила навестить симпатичная девушка с толстой русой косой и с необыкновенно красивыми, большими печальными зелеными глазами.

— Ваша девушка? — спросил Митрофан Глеба, когда она пришла в первый раз.

— Нет, — грустно ответил Глеб, — это Нина, невеста моего друга Михаила Тухачевского. Миша, по-видимому, попал в плен к немцам в феврале пятнадцатого. Во всяком случае, я его убитым не нашел. Вот и ждет, когда вернется.

— А мне показалось, что она вас ждет. Значит, ошибся. Счастливым этот ваш Миша, коли так ждут. В основном такие девушки уже не ждут — бомбы в губернаторов и министров бросают!..

— Я, Митрофан Осипович, с первого дня на фронте. Я вижу, как изменился солдат, а точнее, как его не стало — воевать никто не хочет. Что говорить, я в гвардии, но и у нас выступают против войны. Из тех, кто начинал войну в четырнадцатом, меньше половины осталось, а трети рот нет вообще. А что творится в армии... — Глеб махнул рукой. — Пропала армия. Обращения отменены, погоны отменены, лейб-гвардия отменена — осталась только гвардия...

— У нас, в Генеральном штабе, такая же чехарда. После отречения царя Верховного главнокомандующего нет,

командует всеми Михаил Васильевич Алексеев. Сейчас военный министр в правительстве Керенского Гучков требует поставить командующим Северным фронтом после отставки Рузского Лавра Георгиевича Корнилова, этого героя, командира «стальной» дивизии и командующего Петроградским военным округом. Алексеев выступил против, пообещал в случае назначения Корнилова командующим фронтом уйти в отставку. Гучков испугался, и Корнилову отказали. Говорят, будет командующим 8-й армией.

— Я Корнилова не уважаю.

— За что?

— За царскую семью.

— В этом, к сожалению, вы, Глеб Станиславич, не одиноки; многие высказываются, что он зря взял на себя эту неблагодарную миссию — арестовать царскую семью. Правда, он говорил, что хотел спасти семью царя от растерзания. А сейчас Временное правительство бывшего царя с семьей упекло подальше — в Сибирь, в Тобольск.

— Корнилов лжет, и я тому свидетель! А насчет его героического поведения, когда погибала его «стальная дивизия», что якобы Корнилов дрался в окружении до последнего патрона, прежде чем попал в плен, — так я от полковника Войцеховского слышал совсем другую историю. Корнилов с офицерами штаба убежал в Карпатские горы, пока его дивизия умирала, а потом спустился и сдался в плен.

— Я слышал и эту историю, но не верю, и все не верят. Лавр Георгиевич сегодня единственный, кто может остановить хаос в армии.

— Согласен в одном — в армию должен прийти железный человек. Кто — не знаю. Иначе стране конец!

— Вы, Глеб Станиславич, присягу Временному правительству давали?

— Я — русский офицер и присягу давал один раз — государю императору.

— А нас, штабных, всех толпой прогнали, как раньше провинившихся солдат — сквозь строй, чтобы подписали, — грустно сказал Неженцев и тихо прошептал: — И я дал. А кому — и сам не знаю и не понимаю. Стыдно-то

как — я же Генерального штаба капитан! Смелый вы, Глеб Станиславич. Завидую вам. Такие, как вы, офицеры уйдут — и все, нет армии. А не будет армии, не будет и России... Я вот что думаю: надо собрать людей, желающих сражаться с врагом, в отдельный отряд и показать всем остальным, что мы еще умеем воевать. Хотя бы полк собрать. Пример нужен.

— Насчет примера вы, Митрофан Осипович, правы...

В палату заглянул такой же раненый, лучший русский летчик штабс-капитан Александр Казаков. Во время перевязки посмотреть на него сбегались сестрички со всего госпиталя — летчик! Ас! Казаков находился на излечении, после того как вторым после Петра Нестерова совершил таран, но сумел посадить самолет — только ногу сломал.

— А, все воюете, господа, все думаете, как бы немца разбить? — заковылял на костылях к стулу Казаков.

— Так вам-то, Александр Александрович, хорошо: вы, как в средние века, один на один с врагом, лицом к лицу, — сказал с восхищением Неженцев. Он нескрывая радвался, что находится в одной компании с такими известными боевыми офицерами.

— Ага, особенно когда враг на скорости в сто пятьдесят километров несется на тебя, стреляет, а у тебя пулемет заклинило...

— Все равно не штык — пуля! — сказал Смирнитский.

— Не надо, не надо, Глеб Станиславич, про ваши подвиги мы на фронте все слышаны... Скажите-ка лучше, когда воевать начнем, или все — сдались немцу?

— Вот по этому вопросу и спорим. Присоединяйтесь, штабс-капитан.

— Сейчас за коньяком в палату сбегая, и начнем, — засмеялся Казаков и заковылял к себе в палату. Вернулся быстро, с бутылкой. — У спекулянтов не покупал — нам выдают. Пока. Ну рассказывайте, как немца изничтожить? Только вы меня подождите, когда нога заживет.

— Обязательно подождем. Куда нам, пешим, без вас, без асов, — сказал, посмеиваясь Глеб.

— Правильно — никуда.

Когда через десять дней излечившийся, как считал он сам, а не врачи, Глеб Смирнитский в форме и погонах капитана, при орденах, вошел в палату попрощаться с новым своим боевым товарищем Митрофаном Неженцевым, тот от восхищения привстал с постели и непроизвольно протянул руку к орденам.

— Глеб Станиславич, вы же моложе меня... А награды у вас — как у генерала. Иконостас! Я и не знал.

— У моего друга Михаила Тухачевского за полгода боев было шесть орденов.

— Тогда можно понять его невесту. Но я к вам с предложением.

— Я вас, Митрофан Осипович, внимательно слушаю. Лежите, лежите, — Глеб присел на табурет около кровати своего нового друга.

— Да я уже тоже готовлюсь на выписку. Точнее — сбегу. Без вас, Глеб Станиславич, тут завять можно. А Сашка Казаков сбежал прямо в гипсе. Опять в небо улетел, счастливчик, но страшно — жуть. Какая смелость!

— Согласен. Это необыкновенные люди. Я бы не смог!

— Так вот, мое предложение, Глеб Станиславич. Корнилова назначили командующим 8-й армией. Армия — одно название. Разложение полное. Он был сегодня здесь и выслушал мое предложение о создании добровольческого отряда из тех офицеров и солдат армии, которые готовы пойти в бой. Помните, мы с вами говорили о примере? Он предложил мне создать и возглавить этот отряд. И я предлагаю вам, Глеб Станиславич, стать моим заместителем...

— Но я же состою в гвардии, и наш полк приписан к другой армии.

— Если вы согласитесь, то этот вопрос будет решен незамедлительно.

— Я согласен, Митрофан Осипович. Чем смотреть на все эти рожи, для которых уже не осталось ни чести, ни отечества, давайте повоюем. Но не за Корнилова, за Россию.

— Смотрю на вас, Глеб Станиславич, на эти боевые ордена и понимаю — не мне, вам бы возглавить этот отряд.

— С Корниловым — никогда!

— Спасибо, что вы согласились, Глеб Станиславич, а насчет Корнилова, я надеюсь, вы со временем измените свое мнение.

— Вряд ли... И я бы хотел взять в этот отряд одного подпоручика и двух гвардейцев.

— Особые?

— Увидите, особенно Ивана Великого.

— Где-то я уже слышал о нем...

— Он из моего батальона. Мы его вместо танка применяем.

— Я так рад, что вы согласились...

Удивительно, но в добровольческий отряд записались почти две тысячи солдат и офицеров — полк! И Александр Казаков, летчик-ас, вступил добровольцем, с ногой в гипсе.

На подготовку к операции у Неженцева и Смирнитского было всего две недели. Сидели в штабе созданного отряда дни и ночи, смотрели карты и сверяли со снимками, которые делал Казаков; тот летал, пока было светло — почти весь день. Почернел весь, высох от напряжения, а французская «этажерка» ничего — выдержала, пару раз сломалась, но Казаков на то и ас: планируя, добирался до родного поля. Только в последний день собрали офицеров добровольческого отряда и перед каждым поставили подробную, до мелочей выверенную задачу. Понимали — главное, чтобы сведения не успели дойти до австрийцев!

6 июня 1917 года созданный добровольческий отряд прорвал австрийский фронт под Ямшыцами и разбил армию (!) австрийского генерала Кирбаха, а вместе с ней и подоспевшую на помощь немецкую дивизию. Припадающий на большую ногу Глеб Смирнитский шел в атаку в первых рядах и получил пулю в грудь, навывлет, — вынесли с поля боя уже мертвого, чтобы врагам не отдавать, а он запузырил кровью — живой! Насчет Ивана Великого Глеб оказался прав: когда Иван вслед за поручиком Сергеем Добрыниным поднялся в атаку, сотни русских солдат, увидев его, без приказа, как замороженные, пошли на австрийские траншеи. Степана Щетинина ранило. А на Иване ни одной царапины. Офицеры смеялись:

— Тебе бы, Иван, лет на семьсот раньше родиться, меч двуручный в руки и с Александром Невским на Ледовое побоище. Вот бы ты там наделал делов. А здесь что — точно вместо танка!

Армия, фронт, Россия замерли в удивлении и восхищении!

Все стали славить Лавра Корнилова; называя его спасителем России, носили с ревом на руках по улицам Петрограда.

XXXX

Пауль фон Гинденбург рвал и метал в германском Генеральном штабе.

— Объясни мне, Эрих, — уставился он на Людендорфа, — откуда у русских такая прыть? Откуда у них силы? Откуда у них боеспособные части?

— Я не знаю. Честно, Пауль, не знаю!

— А знать бы надо, Эрих. На то ты и начальник Генерального штаба.

— Пауль, о чем ты говоришь? Какая-то горстка русских солдат, наверняка пьяных, прорвала австрийский фронт и разбила армию. Ну и что? Правда, под горячую руку попала и наша германская дивизия. Но это уже ничего не решает.

— Эрих, ты засиделся в штабах, ты перестал понимать войну. У нас нет больше сил воевать. Американцы высадили во Франции миллион своих солдат! Русские братаются с немцами. Фронт трещит по швам. Где этот их паршивый Ленин? Мы для чего его в Россию перебросили? То, что произошло, — это не просто какое-то поражение австрийской армии. Если сейчас, в зародыше, это наступление не остановить, завтра русские осознают, что они еще могут воевать, и тогда нам, Германии, конец! Ты понимаешь это, Эрих? Тогда не они, а мы проиграем войну! Надо разбить русских! Надо раздавить их, чтобы они знали только одно — что они проиграли! Надо, чтобы русские сами захотели поражения; пусть разведка напомним Ленину о данных им обязательствах. Где эта еврейка, его любовни-

ца — нажмите на нее! Русской армии не должно быть! Кто там у нас рядом с этой 8-й русской армией? — Гинденбург горой навис над столом с картами. Ткнул пальцем: — Вот, русская 11-я армия. Эрих, тебе два дня на расчеты, и чтобы этой армии не было. Зачем нам терять наших солдат против дерущихся с нами русских? Будем бить лежачих!

А в застывшей в изумлении России вдруг такая радость — австрийцев с немцами бьем! Провокаторов-большевиков в 8-й армии к стенке стали ставить. И в других армиях зашевелились. Выступление большевиков в Петрограде разогнали. Ленин подался в бега! Спрятался в каком-то полном блох шалаше. Русские дороги наводнили тысячи пленных австрияков и немцев, и захваченные орудия, орудия, орудия... винтовки не считали. Победа! Александр Федорович Керенский, гражданский, в английском военном френче плясал в Зимнем дворце. Гучков, военный министр Временного правительства, бывший прапорщик, авантюрист по натуре, бретер, любитель сильных ощущений, радостно кричал хвалу Лавру Корнилову... Петроград, пьяный, ходил по набережным и проспектам. Победа!.. Герою Лавру Георгиевичу Корнилову слава! На руках носили! Произвели в генералы от инфантерии и назначили командующим Юго-Западным фронтом.

Дошла очередь и до награждения других героев. Добровольческий отряд переименовали в «Корниловский ударный полк»; Митрофана Осиповича Неженцева наградили «Георгием» четвертой степени, назначили командиром этого полка и присвоили звание подполковника!

Александра Казакова наградить забыли — погиб великий русский летчик в неравном воздушном бою, «завалив» двух австрийских асов.

Сергей Добрынин получил «Святого Георгия», а Степана Щетинина с Иваном Великим наградили Георгиевскими крестами и премией. Все получилось как всегда: Степан отправил деньги на родину — купить корову, а Иван пропил деньги с солдатами. Пили уже открыто.

Когда дошла очередь до Глеба Смирнитского, споткнулись.

— Это какой Смирнитский? Тот, что отказался присягать нашему правительству? — спросил Гучков.

— Так точно! — ответили. — В Москве, в госпитале сейчас. Тяжело ранен во время атаки. Выживет ли, неизвестно. Герой!

Гучков поехал к Корнилову.

— Что вы, Лавр Георгиевич, думаете об этом капитане Смирнитском?

А сам знал, что у Корнилова какое-то нехорошее отношение к этому капитану — столкнулись они в марте в Царском Селе. Известная история. Помалкивал только — уж больно был вспыльчив, да и нужен был пока «временщикам» Корнилов.

А Лавр Георгиевич никогда не забывал тот день и свое унижение в Царском Селе. Его желтоватое азиатское лицо еще тогда, когда Неженцев предложил в свои заместители Глеба Смирнитского, перекошилось от злобы. Только понимал: негде таких боевых офицеров взять — полегли почти все на полях сражений. Сам же помнил, как дивизию свою бросил. Спасибо императору — не поверил и наградил. Ему и так большинство офицеров не могли простить арест царской семьи, а тут живой свидетель! Лицо от вопроса покраснело, как от оплеухи.

— А что я должен думать? Он не мой офицер. Так, прибил к нам. Вот пусть и отправляется обратно к себе в полк. Если надумаете награждать, то и награждайте от имени правительства, а я не буду, — зло ответил Корнилов.

— Ладно. Этот капитан Смирнитский слишком известный офицер в армии, а с этой победой особенно... Поступим так: если выживет и присягнет нашему правительству, тогда наградим, если откажется, то после лечения пусть отправляется обратно в свой славный гвардейский полк, — негромко засмеялся Гучков, — а потом тихо, без шума отправим в отставку. Тем более, как известно, у него достаточно много царских наград, включая «Святого Георгия» третьей степени, — Гучков посмотрел на Корнилова. — И это у капитана! Стране не обязательно иметь много героев. Достаточно одного — вас, Лавр Георгиевич!

Лавр Георгиевич Корнилов, генерал, произвольно потрогал на шее «Георгия третьей», полученного от государя за гибель «стальной» дивизии, бегство с поля боя и плен.

Глеб Смирнитский присягу Временному правительству давать отказался и получил приказ после излечения вернуться в свой полк — без наград. Так не за награды дрался — за Россию!

Прощаться в палату к Глебу пришел Митрофан Неженцев. Глеб, бледный от потери крови, лежал на больших подушках и хрипло дышал.

— Глеб Станиславич, я так расстроен. Я готов отдать вам и погоны, и орден, но вы ведь гордый, вы не возьмете.

— Бросьте, Митрофан Осипович, — просипел, задыхаясь, Смирнитский, — я, как и вы, воевал не за ордена, а за славу русского оружия. А погоны у меня есть, капитана лейб-гвардии — их никто не отнимет. Награды тоже. Мы еще увидимся. Прощайте, мой боевой друг...

Неженцев наклонился к Глебу, аккуратно обнял и поцеловал в лоб.

— Спасибо, тебе, Глеб. Выздоровлявай.

Прощались... Навсегда!

Глеб выжил. Опять ухаживала Нина. Учила дышать, кормила с ложечки, учила ходить. Потом гуляли по Москве, и когда девушка потянулась, вся трепеща от счастья, к Глебу, он ее обнял, страстно поцеловал и вдруг отпрянул и стал бессвязно говорить:

— Нет, Нина... Я тебя... Нет, не могу... Миша мой боевой товарищ, друг... Он живой, я знаю... Скоро закончится война. Американцы высадили во Франции почти миллион солдат. Осталось совсем немного, Германия капитулирует, и все вернутся из плена, и Миша вернется... Как тогда? Прости, Нина... Прощай... — Глеб развернулся и хотел уйти, но Нина схватила его за рукав, повернула и стала целовать, а потом тихо сказала:

— Я понимаю тебя, Глеб. Для тебя дружба сильнее, чем любовь. Но ведь ты меня любишь, и я тебя люблю. Ну не хочешь быть со мной всегда, не знаешь, как себя вести,

если Миша вернется? Ну и ладно. Пойдем со мной, Глеб. Пойдем ко мне. Отец с матерью уехали на несколько дней в Ярославль, в имение.

— Но, Нина... Как? Как я буду смотреть ему в глаза?

— Ничего не говори. Пойдем... Ты же видишь — я тебя люблю с первого дня, как мы с тобой встретились, тогда, осенью четырнадцатого... А если Миша вернется, я сама все решу... Пойдем, любовь моя...

Домой к Тухачевским Глеб в этот раз не поехал.

Пока Россия, захлебываясь от восторга, таскала на руках худого, жилистого, маленького и злого героя, немцы подтянули на фронт несколько своих, еще не разложившихся от пропаганды полков, и ударили по 11-й русской армии, да так, что весь успех «Корниловского полка» улетучился. Армия, превосходившая наступавших немцев по численности в три раза, бежала! Но Корнилову уже было не до армии. Его Сашка Керенский, сняв генерала и героя шестнадцатого года Алексея Брусилова с должности Верховного главнокомандующего, назначил новым Верховным. За поражение армии ответил Брусилов. Слишком много героев...

Вскоре тот же Сашка Керенский объявит врагом уже Корнилова и в страхе объединится с большевиками под призывом «Отечество в опасности!»

Большевики помогут, а потом и Сашкин конец, вместе с его правительством, наступит.

Но это будет потом, а пока Лавр упивался лаврами!

Бедная Россия!..

XXXXX

За несколько месяцев отсутствия Глеба в полку произошли ужасные, непонятные для него события. Он не понимал и считал, что император своим отречением его — офицера императорской армии — предал, предал армию и свой народ. Глеб не понимал, кто такие Временное правительство? Те же князья, те же капиталисты, только без

царя? И какая разница? Но он видел, что это правительство делает все, чтобы армия погибала: за лозунгами воевать до победного конца шла отмена погон, обращений, знамен, появились какие-то солдатские комитеты, в войсках появились представители Временного правительства из людей, ничего не понимающих в войне и требовавших от всех принять присягу на верность Временному правительству. Некоторые офицеры смеялись: «Присяга-то тоже временная?» Говорящих так первыми уволили из армии.

И полк, и батальон были уже другими: были другие лица, другие отношения, другой взгляд на службу; гвардии не было — была толпа людей в шинелях. И все эти солдаты разделились на какие-то группы по интересам, по, как они выражались, «политическим взглядам»: они целыми днями ходили с одного митинга на другой, где одни ораторы от одной из партий призывали их воевать, а другие — «воткнуть штык в землю». И главным вопросом для солдат был вопрос о земле.

— Вот у нас помещик как поступил: землю, мол, даю вам — сейте, пашите, но она моя. А за то, что я вам на ней разрешил сеять, — десятину урожая мне. И вроде как и ничего, но земля-то не моя!

— А я о чем вам талдычу? Мы, эсеры, предлагаем всю землю отдать крестьянам. Бесплатно! Пусть крестьянин трудится на своей земле.

— Вот, правильно Васька говорит. Так надо сделать — раздать! Мне бы землю дали, уж я бы на ней развернулся: и посеял, и собрал, — сказал солдат с большими, как лопата, руками. — Ух, я бы ее, родимую, холил и лелеял больше, чем жену. Стал бы за плуг и пахал бы, пахал, пахал, — солдат сжал в кулаки большие руки и закрыл глаза.

— Это что, так пашут? — кто-то засмеялся. — Так вроде на молодой надо пахать!

— Убью! — закричал солдат.

— Да ладно, не кипятись. Я же городской, и твоя земля мне не нужна. Мы заводы себе возьмем.

— А всем землю дадут? — спросил другой солдат.

— Всем, Иван, всем, — ответил солдат-эсер.

— Здорово. Тогда я ее продам и поеду в город жить.

— Как это продашь? — спросил солдат с большими руками.

— Так она же моя!

— Это что же получается: я буду горбатиться на земле, а он свою продаст и в город укатит? Так и я продам.

— А тогда и мне земли дайте! Чем это мы, рабочие, хуже вас?

— Мы на ваши заводы не заримся, и вы на нашу землю рот-то не открывайте.

— Да куда вы без города?

— А вы куда без нас, без крестьян?

— Во, понеслась губерния... — засмеялись солдаты.

— Зря, товарищи, вы ругаетесь меж собой! Пока золотопогонники над нами будут измываться, ни ты, рабочий, ни ты, крестьянин, ничего не получите. Надо брать власть в свои руки и всех офицериков, буржуев, благородиев к стенке ставить! Это мы, большевики, вам говорим.

— Не слушайте вы их! Только мы, анархисты, за равенство и братство всех людей. Всю власть к ногтю! А эти большевики и эсеры вам врут — ничего они вам не дадут. Туда же к яме поставят.

— А вы не поставите?

— Поставим. А ты как думал? Вы нас — мы вас!..

Глеб все отчетливее понимал, что он не может больше служить в такой армии. Он вернулся в другую армию, в другой полк.

— Что там за шум? — спросил пробежавшего солдата бывший «ваше высокоблагородие», а теперь просто господин капитан Глеб Смирнитский.

— Так, ваше благородие, дезертиров поймали и повели стрелять. Там, кстати, один кричит, что семеновец. Да мы семеновцев всех знаем, с шестнадцатого года на фронте.

Глеба как по голове ударили.

— Стой! — заорал он и, оттолкнув солдата, побежал.

— Стой! Сто-о-й! — кричал он и скользил по осенней грязи. Врезался в толпу солдат и стал их расталкивать,

прорываясь вперед, туда, где к кирпичной стене какого-то склада поставили для расстрела дезертиров. Солдат-дезертиров было в армии много, и стреляли так, в охотку — лишь бы пострелять!

— Осторожнее, ваш-благородь, не старорежимные времена — можно и штыком в брюхо получить, — зло выкрикнул маленький, в длинной кавалерийской шинели солдат-первогодок. Глеб, не обращая внимания на угрозы, только кричал: «Стой! Стой!» — поскользнулся и упал в холодную сентябрьскую грязь. А со стороны неслось:

— Что, благородь, не нравится тебе наша русская земля? В ножки сейчас солдатам кланяешься, а как, сука, в зубы бил, забыл?

— Ты чего, сосунок, мелешь, когда это его высокоблагородие господин капитан на солдата руку подымал? Я в полку с первого дня войны, и такого за ним никогда не водилось...

— Эх, как бы дал прикладом, чтобы больше не вставал! Ничего, когда мы, большевики, власть возьмем, все в ножки к нам упадут. Под корень всех золотопогонников изведем. Наша власть будет строгой и справедливой. Так говорит товарищ Троцкий!

— Опять большевик свое запел. Да кто вас к власти-то допустит?

— А мы ее силой возьмем!

— Вот народец: как на фронт, в бой — так в кусты; как власть — первые с ложкой. Отойди отсюда, пока в зубы не двинул. Большевичок...

— Так его, Макар, так. Достали, суки, своими речами, с четырнадцатого за нашими спинами отсиживаются...

— Не прав ты. Большевики правильно говорят: «Долой войну!»

— Ах ты, гад, да я три года на войне, и что — я за войну?

Глеб поднялся и все-таки прорвался через строй радующихся предстоящей расправе солдат. Около кирпичной красной стенки стояли три человека в старых шинелях без погон, в стоптанных, дырявых солдатских ботинках и грязных обмотках на ногах; лица, заросшие густой щетиной, с усталыми взглядами много и тяжело страдавших людей.

— Стой! — еще раз крикнул Смирнитский.

Солдаты, изготовившиеся стрелять, удивленно обернулись на крик и опустили винтовки.

Глеб подбежал к крайнему из троих расстреливаемых и сказал тихо:

— Миша? — а потом радостно: — Михаил! Тухачевский! На Глеба взглянули большие голубые глаза.

— Глеб?

Смирнитский обнял худого, заросшего щетиной, в старой шинели Тухачевского и стал его целовать, как женщины целуют своих любимых при встрече, и приговаривать:

— Миша. Живой. Мишка, какое счастье.

Солдаты, недовольные, что кто-то вмешивается в предстоящую расправу, закричали:

— Смотри-ка ты, благородь-то, как баба, разобнимался. Дружок, наверное, его? Отойди, благородие, сейчас мы их в распыл пускать будем.

— Тогда и меня расстреливайте вместе с ними! — сказал Смирнитский и стал рядом с Тухачевским.

— А может, шлепнем? — крикнул все тот же маленький солдат. — Меньше на одного золотопогонника будет.

— Я тебе шлепну! Я тебя самого шлепну! Капитан у нас с первого дня войны, а ты, сопля зеленая, и месяца не прослужил, а туда же — шлепну. Ваше высокоблагородие, никак дружка встретили?

— Так это же поручик Тухачевский — самый бесстрашный, самый известный офицер на германском фронте в четырнадцатом году. Все думали, он погиб в феврале пятнадцатого, правда, тела не нашли, а он вот живой! И друг он мой, и боевой товарищ. Хотите стрелять — вместе и стреляйте.

— Да что мы — изверги какие, забирайте его, раз вы за него поручаетесь. А с остальными что будем делать?

— В расход их! — закричал маленький солдат.

— Они, как и я, из немецкого плена бежали. Мы три месяца к своим шли! Если их расстреливать, то и меня заодно. Я боевых товарищей никогда не предавал! — крикнул Тухачевский.

— Тогда и меня, — сказал Смирнитский.

— Тьфу ты! Идите с богом! Пусть в штабе с вами разбираются, — сказал один из солдат расстрельной команды.

— Эй, товарищи! Все на митинг! Долой войну! Долой Временное правительство! — закричал маленький солдат.

И все повернулись от людей, которых они минуту назад готовы были лишить жизни, как будто ничего этого не было и этих людей не было, и, равнодушно отвернувшись, радостно пошли митинговать.

— Здравствуй, Михаил! — сказал Глеб.

— Здравствуй, Глеб! — сказал Тухачевский и добавил: — И это армия?

— Армия, Миша, армия. Пойдем...

— А мои боевые товарищи?

— Пойдемте, господа офицеры...

Смирнитский привел Тухачевского и его товарищей в небольшой домик, занимаемый им и еще несколькими офицерами полка.

— Скажи, Глеб, а что с нашим полком, что с гвардией? Я что-то гвардейцев-то и не видел.

— А ее нет! Она первая и погибла за царя и отечество. Да что там гвардия — армии не стало к середине шестнадцатого. Все полегли, а те, кто пришел, — это уже не армия. Это шайка горлопанов и мародеров... Веселаго погиб в том бою, где ты попал в плен, Данин погиб тогда же. Хлопов командовал после Данина батальоном и погиб через год, в шестнадцатом — застрелился на поле боя, когда ногу оторвало. С четырнадцатого практически никого и не осталось: ни офицеров, ни солдат... Пейте чай, господа. Никак не могу привыкнуть к «товарищам». Не беспокойтесь, я сейчас схожу к командиру полка и все улажу. Он тоже с первого дня войны на фронте. Ты, Михаил, должен его помнить — полковник Телло Павел Эдуардович.

— Смутно.

Смирнитский вышел из комнаты, и Тухачевский догнал его.

— Что-нибудь тебе, Глеб, известно о моих? Я письма писал, а доходили они или нет, я не знаю.

— Живы твои. Я их видел два месяца назад, когда в госпитале после ранения лежал. Отдыхай, Михаил, я скоро приду.

— А как Нина? Не знаешь?

— Нина тебя ждет.

— Как я тебе завидую, Глеб.

— Чему завидуешь, Михаил?

— Твоим наградам. У тебя два «Георгия»!

— Так у тебя чуть поменьше, и это за полгода. И Владимира тебе дали. Посмертно.

— Посмертно? Сколько же я потерял! Как же я все это наверстаю?

— Миша, о чем ты? Радоваться надо только одному — что живы! А награды... Сколько же солдатской крови за них пришлось пролить.

— Нет, я все равно еще повоюю. А солдатская кровь... на то они и солдаты.

Глеб удивленно посмотрел на своего друга и сказал:

— Я помню первый день войны, когда ты сказал, что станешь генералом.

— И стану!

— Станешь Миша. Иди, отдыхай, я скоро вернусь...

— Мне хотя бы такую шашку вернуть, — показал Тухачевский на наградную «аннинскую» шашку Глеба.

— А чего ее возвращать — твоя у тебя дома. Я ее тогда нашел и родителям твоим передал.

— Спасибо, Глеб.

Целый день, до следующего утра, друзья провели вместе. Глеб рассказал, как армия воевала все эти месяцы и годы, а Михаил рассказал о плене, о бесчисленных побегах, о французском офицере Шарле де Голле, вместе с которым был в плену...

На следующий день Глеб Смирнитский доставил бежавших из плена офицеров в штаб армии и лично поручился за Михаила Тухачевского. И если Тухачевского не помнили, то в словах такого офицера, как Смирнитский, даже не подумали сомневаться.

Михаил Тухачевский после оформления документов был отпущен; обнявшись с Глебом, взял с него слово, что

тот при первой же возможности приедет к нему в Москву, и уехал домой...

Через месяц капитан бывшего лейб-гвардии Семеновского полка Глеб Смирнитский, жалованный русским императором за проявленную исключительную личную храбрость в защите отечества множеством орденов и русским дворянством, был уволен из армии. Без пенсии. И все его пожитки уместились в чемодан и кожаный саквояж: синекрасная, расшитая золотым галуном, с золотыми пуговицами парадная форма капитана лейб-гвардии Семеновского полка, пара офицерских сапог, две пары белья. Все, что накопил за три года войны. Да еще множество ранений и множество орденов. До октябрьского переворота оставался месяц.

А Михаила Тухачевского, присягнувшего на верность Временному правительству, в армии восстановили — капитаном!

В 11 часов дня 11-го числа 11-го месяца 1918 года в Компьенском лесу грянул 101 залп артиллерийского салюта. Мировая война закончилась! России на этом празднике не было. Спасибо большевикам! Россия уже корчилась в агонии гражданской войны. И за это тоже спасибо большевикам! Низкий вам поклон, Владимир Ильич, от всего русского народа!

Россия с населением в 175 миллионов человек мобилизовала на мировую войну 15 миллионов своих здоровых, сильных мужчин, потеряв из них убитыми 1 миллион 700 тысяч и почти 3 миллиона ранеными. 3,3 миллиона солдат попали в плен! А еще погибло более миллиона гражданских лиц. И Россия проиграла войну.

Эти потери большевики во главе с Лениным не учитывали. Для них главным было — Власть! А люди — щепки, пыль!

Немцы потеряли убитыми 2 миллиона солдат, а гражданских людей всего несколько тысяч. И тоже проиграли войну!

Но был один немец, который выиграл от войны, — Пауль фон Гинденбург. Ну кто же мог предположить, что пенсионер, отставной генерал выиграет столько битв и за свои заслуги перед Германией станет не просто национальным героем, а рейхспрезидентом страны и усатенький ефрейтор, которому он на смертном одре передаст власть, построит огромный мемориал в его честь на поле славы германского оружия и позора русской армии — в Танненберге. Давайте признаемся честно — Пауль фон Гинденбург был великим полководцем! Вот вам и судьба!..

Часть вторая

Великая Гражданская

Есть картина, написанная по холсту маслом, которая висела почти в каждом большом и малом коммунистическом партийном доме; на ней вождь мирового пролетариата товарищ Ленин протягивает вперед ладошку и провозглашает: «Есть такая партия!» Только того, что сказано это было в ответ на слова меньшевика и председателя Петроградского совета рабочих депутатов товарища Чхеидзе: «Нет такой партии, которая бы, взяв власть, не развязала гражданскую войну!» — никто под этими картинками не написал... А жаль!

I

Владимиру Ильичу Ульянову (Ленину) было очень плохо: в животе что-то урчало, хотелось в уборную, а еще больше хотелось все бросить и бежать, бежать куда глаза глядят! Опять вспомнилась тихая, здоровая жизнь в Швейцарии, прогулки в горы, катание на велосипеде, здоровая крестьянская еда и приезды Инессы. А в животе урчание и желание туда, книзу... и в голове тук-тук: «Ах, Инесса, где ты? С кем ты? Надька-то так опостылела, разжирела вся. Врачи говорят, что во всем виновата базедка! Ну а я-то при чем? Болеешь — помирай и не мешай делать революцию! Вот бы все вернуть обратно. Ах, если бы не эти деньги, если бы не это мое призрачное, неумное желание власти. Ну остался бы теоретиком партии, как Плеханов, и жил бы безбедно в Швейцарии. И Надю побочу — Инесса! Ну зачем я приехал в Россию, в Петроград? Чтобы за мной началась охота, как за предателем и немецким шпионом, чтобы потом скрываться в каком-то шалаше? Зачем добирался в Смольный тогда, в октябре, когда уже и переворот-то свер-

шился? Зачем мне все это? Чтобы сейчас вот так трястись от страха, что товарищи по ЦК откажутся голосовать за мир с Германией на условиях Германии? Они же ничего не знают. Они же не знают, что немцы еще потребуют контрибуцию в шесть миллионов рейхсмарок золотом! И придется отдавать золотой запас царской России, а иначе петля тебе, товарищ Ленин!»

Все же шло по плану: сразу после октябрьского переворота, той же ночью, Вторым съездом Советов приняли обращение к воюющим странам о заключении мира без аннексий и контрибуций. (Как будто и не было разрушенной России, Франции, Бельгии, и миллионов жертв не было, и стоящая на коленях Германия, на которую не упал ни один снаряд, оставалась в тех же довоенных границах и никому ничего не была должна). И опять в голове зло: «Об этом же мы тогда, в Швейцарии, договорились. Об этом же немцы просили! А теперь от них никакого ответа! Странно... И Духонин, гад, золотопогонник, приказ о заключении перемирия с немцами не выполнил. Ну сместили, а потом отдали на растерзание толпе пьяных матросов — и что? Надо всю эту золотопогонную, с крестами на груди офицерскую мразь быстро ставить к стенке в подвалах, иначе лозунг «Революция в смертельной опасности!» останется лозунгом — последним лозунгом нашей большевистской власти. Да, конечно, нужны военспецы, но не идут офицеры, только уровень бывших прапорщиков бывшей армии! Прапорщик Крыленко — командующий фронтом! Правда, какой фронт? Красноармейцы бегут не к себе домой, а сдаются в плен к немцам! Вот, говорят, новенький военспец появился — Тухачевский, кажется. Надо познакомиться: дворянин, поручик — и с нами?! Некоторые товарищи по партии, правда, недовольны, особенно кто с каторги, — так они же ружья в руках держать не будут; их задача — вбивать, каленым железом внедрять в солдатские массы наши, большевистские идеи. Эти массы думают, что мы им отдадим земли и фабрики, а нам под этими лозунгами надо удержать власть, а там и с крестьянами, с этими собственниками-кулаками, и с рабочими разберемся. Но как

удержать власть, если свои товарищи по партии выступают против тебя?..»

Ленину было так плохо и так хотелось в уборную... «Ах, Инесса, где ты?..»

II

Немцы раздумывали и выжидали. Раз большевики молят о мире, значит, можно подождать, а потом требовать большего!

В германском Генеральном штабе главнокомандующий всеми вооруженными силами Пауль фон Гинденбург спрашивал у своего заместителя, начальника Генерального штаба Эриха Людендорфа:

— Эрих, что ты думаешь о предложении этого нового правительства русских? Стоит ли начинать с ними переговоры и на каких условиях? Ленин-то вроде как согласен на любые наши условия. Поговори с Гофманом. Сам понимаешь, мне некогда — участь Германии решается уже не на востоке — на западе! Того, что мы с тобой знаем о Ленине, Гофману не стоит говорить. Надеюсь, ты меня понял, Эрих?

— Пауль, все будет сделано. Как всегда!

Людендорф вызвал к себе командующего Восточным фронтом генерала Макса Гофмана и спросил:

— Макс, мы с тобой знакомы много лет, еще с работы в довоенном Генеральном штабе, а потом и в 8-й армии. И Гинденбург, и я очень ценим твою необычно думающую голову. Скажи, что ты думаешь о предложении русского большевистского правительства о заключении мира? Стоит ли начать с ними переговоры, и если стоит, то на каких условиях? Их Ленин вроде как согласен на любые наши условия...

Людендорф не мог говорить каждому, пусть даже командующему фронтом, о всей роли Ленина в этой истории.

— Эрих, это что-то ужасное! Мы скоро задохнемся от военнопленных! Мы не можем их кормить — они умирают от голода тысячами каждый день. Мы не успеваем их хоронить — просто роем ямы, сбрасываем штабелями и

засыпаем хлоркой. Что будет, когда хлорка кончится? Скоро начнется эпидемия... Нам ничего не стоит прорвать их фронт и дойти хоть до Петербурга, но, если я правильно понимаю, вопрос войны решается уже не на востоке. На востоке, не потеряв ни клочка своей земли, мы войну с помощью новой русской власти выиграли. И нам надо помочь удержаться в России этой власти, пока мы свернем шею французам. Я правильно тебя понял?

— Спасибо, Макс! Ты правильно меня понял. Мы им поможем удержаться у власти! Мы согласимся на переговоры, но если они начнут рыпаться на переговорах, то ты, генерал, и твои солдаты будут тем тузом, который мы вытащим из рукава в нужный момент. Не расслабляйтесь, генерал!

— Можно одну просьбу, Эрих?

— Давай, Макс.

— Можно мне на переговорах положить свои ноги на стол?

— И-и?! Все не можешь забыть Гумбиннен?

— И Гумбиннен тоже.

— Хорошо. Но только на стол. Пока. Когда потребуется, мы разрешим тебе вытереть свои ноги о царские ковры в Кремле.

— Это моя несбыточная мечта.

— Все рано или поздно сбывается. Иди, Макс.

Следующим Людендорф пригласил к себе министра иностранных дел фон Кульмана.

— Рихард, — сказал министру Людендорф, — начинайте переговоры с новым правительством России. Наши условия к переговорам — сдача Россией Польши, Финляндии, Прибалтики, Молдавии, Восточной Галиции, Армении и... Украины.

— Но это больше похоже на ультиматум о капитуляции...

— Не похоже, а и есть капитуляция!

— Но они на это не согласятся.

— Пусть попробуют. Скажите им, что если они не согласятся, мы начнем военные действия. И не давайте им вздохнуть. И так понятно, что у этой власти от страха перед

своим народом и неуправляемой армией глаза из орбит вылезли. Непостижимо, как они смогли захватить власть в такой стране, как Россия.

— Лозунгами. Но здесь есть одно «но», Эрих: помогая этой власти, мы можем получить такую же революцию у себя в Германии.

— Германия не Россия! И немцы не русские. Вы, друг мой, сами представьте тот эффект, который возымеет среди немцев поражение русских, да еще с отторжением таких богатых территорий, как Украина. Немцы наконец-то смогут намазать настоящее украинское масло на настоящий белый украинский хлеб. Они давно забыли, как это выглядит! Идите, Рихард, на вас смотрят голодные немцы! Никогда еще история не была так благожелательна к нашему отечеству! Спасибо новой русской власти с их Лениным! И, Рихард, позволь Максу Гофману положить свои ноги в грязных генеральских сапогах на стол переговоров — он этого хочет с четырнадцатого года, со своего поражения под Гумбинненом.

— Это что, печать на бумаге с ультиматумом?

— Это всего лишь просьба...

Ленин получил официальное согласие немцев на мирные переговоры в Брест-Литовске.

То, что увидели приехавшие на переговоры немецкие генералы и министры иностранных дел Германии, Австро-Венгрии и Турции, вызвало у них шок, а потом гомерический хохот.

Возглавлял большевистскую делегацию профессиональный революционер товарищ Иоффе. Это было такое непонятное человеческое создание, что с ним рядом никто не хотел садиться, а уж пожимать руку... Иоффе имел неприятное лицо, длинные грязные волосы, нечесаную бороду, мятые костюм и шляпу, и от него воняло невымытым телом!

У германского министра Кульмана сразу возникла мысль шепнуть генералу Гофману, что он уже может положить свои ноги на стол. Они воняли меньше!

В советской делегации был какой-то полусонный человек армянского типа Карахан, который время от времени вскакивал и, закатив глаза, кричал какие-то непонятные лозунги. А единственная женщина, которую все называли «товарищ Биценко», была одета в красный платок, кожаную куртку и солдатские сапоги... на голые ноги. О ней было известно только то, что она в 1905 году убила военного министра генерала Сахарова и отбывала за это пожизненный срок на каторге. Но самым непонятным членом делегации был «представитель угнетенного российского крестьянства» — мужик в тулупе! Оказалось, что еще в Петрограде, при подъезде к Варшавскому вокзалу, профессиональные революционеры Иоффе и Биценко вдруг вспомнили, что в делегации нет представителя угнетенного деревенского пролетариата, и за деньги уговорили мужика в зипуне, который на своей лошадке их вез к вокзалу, представлять это самое крестьянство.

Иоффе предложил в основу переговоров положить большевистский декрет о мире и прервать переговоры на десять дней, до приезда на переговоры... представителей Антанты. Таковы были инструкции, полученные им в Петрограде при отъезде делегации.

— Что, меня опять через десять дней потащите сюда? Или мы здесь будем сидеть? — запричитал крестьянин.

— Дурак, да за это время в Германии и других странах произойдут революции и пролетарии возьмут власть в свои руки! — сказал Иоффе.

— А-а! — сказал крестьянин. Он ничего не понял о будущих революциях, но был рад, что, возможно, поедет обратно домой. И живой. «Уж больше-то я на вашу удочку не попадусь. Где-то моя бедная лошадка?» — подумал он и заплакал.

Но немцы — профессиональные дипломаты — на такую уловку большевиков не согласились.

— Эти переговоры являются сепаратными, — сказал министр Кульман, — а не всеобщими. Германия и ее союзники не связаны ни с кем никакими обязательствами. Или мы начинаем переговоры, или наша делегация уезжает и мы начинаем военные действия.

Генерал Гофман радостно стал вытаскивать из-под стола ноги в грязных сапогах.

То, что произошло дальше, совсем ошарашило немцем.

— Хорошо. Мы предлагаем заключить перемирие на шесть месяцев, при этом на всех фронтах. Вы, немцы, должны освободить Ригу и Моонзундский пролив и не перебрасывать свои войска на свой Западный фронт, — заявил Иоффе. У него были инструкции от Ленина: «Соглашаться и затягивать! Вас поддержит немецкий пролетариат!» — он и затягивал.

Если бы эти слова слышали Франция с Англией!

Получалось, что Россия, проигравшая сторона, диктовала условия Германии. Немцам было не до смеха — у них в Германии наступал голод и революция стучалась в Бранденбургские ворота! Договорились о перемирии на 28 дней и разъехались. Генерал Гофман был расстроен больше всех. Кульман ему сказал:

— Генерал! Еще не время!

А Людендорф позвонил Гофману:

— Держите порох сухим, генерал! Скоро потребуются ваши пушки!

Крестьянин, не доезжая до Петрограда, сбежал. Терпел — все хотел еще денег попросить, но не выдержал и сбежал. А как не сбежать, если профессиональные революционеры Иоффе и Биценко всю дорогу пили водку и, не обращая внимания на других членов делегации, занимались похабной любовью, отчего в вагоне, и так вонючем от их тел, стоял стойкий запах уборной! Наверное, многолетняя каторга и воздержание потребовали выхода...

Ленин все обращался к народам с призывами о мире и борьбе с империалистами. Более того, он предложил брататься с противником и избирать уполномоченных в воинских частях по переговорам. Чем подорвал остатки дисциплины в армии. Армия перестала существовать!

А вот немцы были практичнее: снимали воинские части с Восточного фронта и перебрасывали на Западный. Кайзер Вильгельм провел совещание, пригласив командующего вооруженными силами Гинденбурга и начальника

Генерального штаба Людендорфа. Обсуждался всего один вопрос: какие земли забрать себе в результате подписания мира с большевистской Россией.

Великую Россию раздирали с двух сторон — большевики и немцы!

Дальше переговоры перешли в какую-то непонятную возню! Ленин в надежде на мировую революцию приказал затягивать переговоры, но при этом подписать любой немецкий ультиматум. Немцы поддерживали такой мир, но заявили, что Германия не может освободить Польшу, Литву и Курляндию и вообще Советы должны подтвердить ими же данное право на самоопределение Польши, Прибалтики, Финляндии.

Иоффе стало плохо. Он еще больше завонял!

Вот тут-то и Ленину стало плохо. Против такого мира стали выступать свои товарищи по ЦК партии большевиков!

— Какие могут быть мирные переговоры накануне мировой революции? Вот-вот мировой пролетариат возьмет в свои мозолистые руки власть во всех странах! — закричал вечно пьяный Коля Бухарин.

— Никакого мира и никакой войны! И войска демобилизовать! — крикнул, размахивая руками, Лев Троцкий. — Пошлите меня. Я там быстро договорюсь!

И товарищ Ленин отправил товарища Троцкого на переговоры, где тот эту галиматью и выдал. И уехал. Немцы посчитали переговоры сорванными и тоже уехали из Брест-Литовска. Напоследок генерал Гофман ноги в сапогах на стол все-таки положил! Немцы не просто уехали, а начали военные действия. Лева Троцкий-Бронштейн исполнил указания Англии. Так он за это от них деньги получал.

III

В истории Советского Союза есть дата — 23 февраля. День рождения Красной Армии. Но в 1918 году в феврале происходили совсем другие события.

Людендорф послал шифрованную радиограмму командующему Восточным фронтом генералу Гофману с одним

словом: «Вперед!». И Гофман осторожно пошел вперед, боясь, что придется бежать назад, а потом, смеясь, сообщил Людендорфу, что «он ведет самую комичную войну, какую можно себе представить». Немцы садились на автомобили, въезжали в русские города и поселки, арестовывали большевиков и провозглашали свою власть! И брали Минск, Псков, Ревель, Киев. За пять дней немцы прошли по территории России 300 километров, не потеряв ни одного солдата! Какой день рождения армии?! Не было его! Было разрушение большевиками основы российского государства — армии! 23 февраля надо называть Днем гибели Великой русской армии. Армии, созданной еще Петром Великим.

И Ленин согласился уже на новые условия мира. Это была капитуляция! Гофман был расстроен — Кремль оставляли большевикам.

Ленину было плохо, потому что против подписания такого мира выступили ближайшие соратники. И понимал Ильич, что это его последний шанс удержаться у власти!

— Если вы не поддержите мои предложения, я уйду из правительства! — заявил он. И сам испугался своих слов. Ну куда ему идти? Может, снова в Швейцарию мотануть? С Инессой. Так не доедет — пристрелят! Свои же, однопартийцы.

Но однопартийцы испугались. Поняли — Ильич за собой всех утащит на дно. Кое-кто из них и «Историю государства Российского» почитывал в ссылках. Вспомнился Иван Васильевич по прозвищу «Грозный». Тот тоже чуть что: «Ухожу!» — и все падали ниц: «Только не уходи!»

А как бы могла измениться история!..

Проголосовали: за предложение Ленина 7 голосов, против — 4, воздержалось — 4.

И 3 марта 1918 года подписали с немцами «исторический» договор, по которому Россия потеряла Украину, Польшу, Прибалтику, часть Белоруссии, всего около 1 миллиона квадратных километров с населением в 50 миллионов человек! В допетровские времена откатилась Россия! Триста лет романовского правления большевики одним

росчерком пера превратили в пыль! Насчет «рухнувшей трехсотлетней романовской кареты» Ленин в точку попал. Спасибо, Ильич!

Но и это было еще не все. 27 августа 1918 года, когда Германия фактически проиграла войну, Ленин подписал дополнительный договор, по которому большевики обязались уплатить Германии контрибуцию в 6 миллионов золотых рейхсмарок! А как же мир без аннексий и контрибуций?! И стали платить, и все бы выплатили, если бы в 11 часов дня 11-го числа 11-го месяца 1918 года в Компьенском лесу не грянул 101 залп артиллерийского салюта. Мировая война закончилась! Германия проиграла войну. Россию на этом праздник не пригласили! Не было России. И за все это спасибо большевикам! Честное слово, лучше бы Ильич сидел в Швейцарии и статейки пописывал. И с Инессой миловался.

Где же ты был в это время, Господь?

Вот вам и клич: «Есть такая партия!».

Точно — есть такая партия!

IV

Петроград был страшен. Грязный, неубранный, с огромными унавоженными кучами снега, без света и тепла в домах. По городу, как банды разбойников, шлялись серошинельные солдатские толпы выигравших эту революцию солдат — тех, не захотевших идти на войну; с молчаливого согласия других, уставших воевать на фронте. Нападали на всех: и гражданских, и военных, особенно на офицеров. В офицерских шинелях, особенно в погонах, не стоило выходить на неосвещенные, темные улицы — в лучшем случае разденут и изобьют, а захотят — пристрелят. Армия была деморализована и демобилизована. Ленин свое обещание немцам выполнил.

С поздней осени 1917 года демобилизованный бывший капитан лейб-гвардии Семеновского полка Глеб Смирнитский жил в Петрограде, в офицерской казарме своего, те-

перь уже бывшего полка. На птичьих правах. Да кому в это время было дело, кто и где живет? С ним в казарме жили такие же бесправные, потерянные, выкинутые из армии и из жизни фронтовые офицеры.

Глеб в эти дни и недели не понимал, что происходит. С детства обучаясь военному искусству, проведя три года на жесточайшей в истории человечества войне, израненный, выкинутый из армии, он чувствовал полную пустоту в себе, в своей душе, в своем сердце. Он не знал, как дальше жить! К нему неоднократно приходила мысль о смерти, о самоубийстве; в казарме, где он обитал, это происходило каждый день с такими же, как и он, не находившими себе места в этом новом мире офицерами. Временному правительству, а потом и новой, большевистской власти до бывших «золотопогонников» — классовых врагов дела не было. Стреляетесь — ну и ладно. Хорошо, что приезжали санитарные машины — все-таки боялись чумы, холеры и тифа — и увозили в морги бедолаг с разможенными висками или окровавленной грудью — кто куда стрелял, а русские наганы и трофейные пистолеты переходили к их боевым товарищам и становились валютой, которую можно было обменять на хлеб, сало и... самогон. Пили все! Ходили из комнаты в комнату и пили, а потом стрелялись. Приходили другие бездомные офицеры, и все повторялось. И Глеб пил! Он не знал, для чего он живет. Имевшиеся у него деньги он пропил с другими, уже пропившими свои, офицерами. Занимать он не умел и не хотел. Он достал из чемодана сапоги, продал и пил. Потом продал свою офицерскую шинель. Сукно было великолепным, и за него спекулянт, который приходил в казарму и скупал у офицеров то, что они предлагали на продажу, взамен давая еду и водку — и ходить никуда не надо было, — предложил старую солдатскую шинель и неплохие деньги, которые тотчас ушли на самогон.

Некоторые офицеры, попив так неделю-другую и продав все, до последней нательной рубахи, лежали на грязных и обос... матрасах, прикрывшись какой-нибудь тряпкой, в ожидании спасительного стакана с самогомом от

сердобольных боевых товарищей и, не дождавшись, либо умирали, либо, шатаясь, уходили в общую уборную и там стрелялись, а если пропивали и оружие — вешались, что было трудно сделать: руки не слушались.

О Тухачевском, как и о своем «юном друге» Сергее Добрынине, Глеб старался не вспоминать — знал, что они в армии и присягнули Временному правительству. О Нине вспоминал с дикой тоской и внутренне обзывал себя трусом, за то что тогда, в сентябре, не сказал о своей любви к ней Михаилу — боялся расстроить друга, только-только вернувшегося из плена в Россию; и ненавидел себя за то, что не поехал потом в Москву, к ней, а уехал сюда, в Петроград, сам не понимая зачем. А может, не хотел, чтобы она видела его слабым, ненужным никому человеком? Он даже знал, что она вышла замуж за Михаила — ему еще тогда, в армии, пришла открытка — приглашение на свадьбу, но он не поехал: видеть никого не хотел, а тем более Нину... замужем.

На мятеж Корнилова только криво ухмыльнулся: «Крысы в банке! То ли еще будет?!»

Октябрьский переворот как-то в пылу пьяного угара пропустил: приходившие офицеры рассказывали, что в городе стреляли и что большевики скинули Временное правительство и захватили власть. А он не удивился, потому что не понял, как и большинство других людей, что произошло и надолго ли большевики захватили власть. Одни собутельники кричали, что через неделю, ну месяц этих мужиков не будет; другие кричали, что надо всю эту банду разогнать силой. А Глеб помнил слова, сказанные год назад здесь, в этих казармах, тем солдатом-большевиком, с Георгиевским крестом, что когда они — большевики возьмут власть, то разрушат все и напишут на развалинах «Здесь танцуют!» Он сейчас верил, что там, за окнами, так и есть и только спросил:

— Зимний дворец сломали?

— Почему вы, господин капитан, решили, что его должны сломать? Растащили, говорят, из дворца многое, но не сломали.

— Значит, измельчали за год большевики и уже не танцуют.

— Выпейте, Глеб Станиславич, и не заморачивайте себе голову какими-то танцами. Не до танцев всем сейчас будет.

Пришли какие-то агитаторы и сообщили, что на Петроград идет генерал Петр Краснов. Послушав их, некоторые офицеры уходили куда-то, где тайно собирались на подмогу наступающему на город генералу. Потом оказалось, что это была хитроумная ловушка новой власти; всех их, пришедших, арестовали и расстреляли как контрреволюционеров. Смирнитский и Краснова не заметил — пил. На улицу выходить стало совсем опасно — в людей в офицерских шинелях патрули из солдат и рабочих стреляли не раздумывая. Потом те, кто еще не спился и мог соображать, стали уходить на Дон, к восставшему против «мужицкой власти» генералу Корнилову. Кроме Смирнитского — тот помнил свою мартовскую встречу в Царском Селе и летнее наступление руководимого им добровольческого отряда, и благодарность Корнилова помнил. Глеб пил. На какое-то время вырученных за сапоги и шинель денег хватило, но остановиться от пьянки Глеб уже не мог, да и не хотел, а на водку нужны были деньги. Он поменял свою офицерскую форму на солдатскую гимнастерку — деньги пропил. Пропил офицерский чемодан — а что в нем хранить? Ему уже было все равно. В конце концов остались ордена, погоны, парадная форма капитана лейб-гвардии, пара белья и... шашка. Браунинг с полной обоймой он оставил напоследок, сказав себе: «Хватит, чтобы черепушку разнести вдребезги». Револьвер давно был продан. Тупо в голове взвешивал: «Что продать? Шашку или форму? Когда застрелюсь, в форме хоть похоронят. Или снимут? Но мне это будет уже все равно. А так как-то нехорошо: боевой офицер при шашке — и голый! Шашку точно заберут и спасибо не скажут — пропьют. И пистолет заберут. А форма в крови будет, может, и оставят. Решено — шашку».

В уборной на подоконник он положил перед спекулянтом шашку и хрипло спросил:

— Сколько дашь?

У этого верткого, скользко-улыбчивого парня он обменял свою офицерскую шинель на поношенную, прожженную, в заплатках солдатскую. Разницу пропил. И вот наградная шашка. Спекулянт потянулся к оружию.

— Не трогай! — крикнул Глеб. — Деньги давай, а когда уйду, забирай и уходи и больше мне на глаза не попадайся — убью! — Глеб шатался, из глаз бежали слезы.

— Ну ладно, господин офицер, не обижу...

— Деньги давай!

Парень отвернулся и, достав из-за пазухи толстую пачку мятых купюр, начал слюнявить палец и отсчитывать грязные бумажки. Дверь в уборную, где проходила продажа, открылась, и вошел... Александр Добрынин.

— Наконец-то я вас, Глеб Станиславич, нашел...

— А зачем? — непонимающе спросил Глеб. — Неужели водки принес?

— Нет, Глеб Станиславич. Я пришел за вами.

— За мной не надо приходиться. За мной только тетка с косою придет, раз на войне не могла к себе забрать, — и заорал на спекулянта: — Ты, бл...дь, чего стал? Деньги давай и иди.

Спекулянт протянул деньги Смирнитскому и схватил шашку.

— А ну стой, сука. Куда оружие, да еще наградное, понес? — крикнул Добрынин.

— Я эту саблю купил. Все по-честному, — испуганно взвизгнул спекулянт.

— Правильно. Все по-честному. Пошел вон. А ты не мешай! А то пристрелю! — Глеб похлопал по карману старой солдатской шинели.

— Сколько ты, сука тыловая, заплатил господину капитану?

Спекулянт дрожащим голосом назвал цену. Добрынин полез во внутренний карман шинели, достал деньги, отсчитал и бросил спекулянту в лицо.

— Забирай и шашку положи, иначе вместо денег получишь пулю в лоб.

Спекулянт осторожно положил шашку на подоконник. Ползая на коленях по сырому от мочи полу, собрал деньги и быстро выбежал из уборной.

— Зачем ты это сделал? — спросил Глеб. — Эта шашка теперь твоя. Чего тебе еще нужно?

— Вы мне нужны, Глеб Станиславич.

— Зачем? Я никому не нужен, я себе не нужен.

— Сергея убили!

— Какого Сергея? — отрешенно спросил Смирнитский и вдруг, напрягшись, сказал: — Сергея? Добрынина? Как? Кто?

— Иван.

— Какой Иван?

— Иван Великий.

— Не может быть! — прошептал Смирнитский. — Где он? Где Сережа?

— Дома, с родителями. Они вас ждут.

— А ты кто?

— Я Александр, старший брат Сергея.

И вдруг со Смирнитским произошла какая-то разительная перемена: он весь напрягся, глаза закрылись, лицо стало сине-белым, как у покойника. Он стоял так несколько минут и, казалось, не дышал, потом какие-то волны побежали по его телу и лицу, он вдруг громко выдохнул и открыл глаза, и до этого мутные, с красными прожилками глаза стали вновь серо-голубыми, чистыми, и взгляд стал ясным. Ровным голосом Смирнитский произнес:

— Пошли.

V

Из когда-то большой квартиры Добрыниным оставили две комнаты, а столовую, превращенную в общую кухню, уборную и ванную пришлось делить с новыми жильцами — большими, многодетными, вечно пьяными и шумными семьями рабочих.

Сергей Добрынин лежал в гробу какой-то взрослый, неузнаваемый, в форме, с орденами и при шашке.

Глеб подошел, поцеловал покойного в лоб и тихо сказал:
— Прощай, мой юный друг. Это моя вина, что я тебя не уберег, — потом отстегнул ордена и шашку и протянул родителям.

— Ему там оружие не нужно, там мир. Эти награды ваши — как память о сыне, а шашку, Александр, возьмите себе — она вам, я уверен, еще пригодится. На войне.

Рядом с гробом сидел Степан Щетинин. Не скрываясь, плакал.

— Расскажи, как это произошло? — спросил Александра Добрынина Смирнитский.

— Вы лучше у Степана спросите. Он Сергея привез. А как привез, я и сам не знаю.

— Чего рассказывать-то, ваше высокоблагородие? — начал Степан. — Мы же тогда, после боя у Ямшиц, так в отряде и остались. Вас-то ранило...

— Помню. Вынес ты тогда меня, Степан. Спасибо тебе. Спас.

— Да чего там... Нас тогда всех наградили. Я вот «Георгия» получил. Последнего. И Иван тоже. Отряд-то потом полком Корниловским назвали. Честно, жили лучше, чем в гвардии. Чуть что, всякого начальника к нам везут — показывать. Ели, пили от пуза. Особенно к нам любил приезжать этот комиссар из правительства... Савинков. Говорили, что он убийца из убийц, а посмотри-ка — в правительстве! Он как Ваньку увидел, так аж задрожал от радости «К себе, — кричит, — денщиком заберу!» — да не успел. Тут повели нас на Петроград, порядок наводить. До Пскова дошли, и все — порядок наступил. К нам большевики пришли и всех отговорили идти дальше. Вот же суки, не помню, чтобы хоть один в бою отличился, а как пропаганда, так елей, прости Господи, изо рта льется. В общем, остановились мы, а Корнилова, говорят, арестовали. И тут у нас в полку такая пьянка началась. Я-то из староверов, не пью и табаком не балуюсь, а Ванька сломался. Его так захвалили да так ему наливали, что он трезвый-то и дня не был. — («И я тоже», — подумал Глеб.) — У нас этих агитаторов больше нас самих, кто чего говорит — голова кругом

идет. Мне, конечно, нравились эсеры — они землю всем обещали. А Ивана анархисты окружили. Стал он чисто их: никакой власти, никаких командиров, все сами по себе. А потом нас опять бросили на Петроград, когда большевики власть захватили. Нас всего-то семь рот осталось от полка. До Гатчины дошли, потом до этого... города, где цари...

— Царское Село.

— Во, правильно, Царское Село. И все — стоп! Ни туда и ни сюда. К нам агитаторы прибежали из города. Опять большевики. И давай уговаривать. Пообещали: кто против ихней власти не пойдет, отпустят домой. Ну мы все и обрадовались: наконец-то домой. Я даже своим письмо отписал, что ждите, скоро приеду. В общем, генерал наш с большевиками мир заключил, а они пришли, нас окружили и потребовали сдаться. Ну чего делать-то — сдались. Винтовки забрали. Домой нас не отпустили. Жили в палатках. Холодно — зима. Голодать стали. И стали нас агитировать перейти воевать за большевиков. Горы золотые обещали, и землю, и заводы. Я-то уже сыт по горло войной. Всё, домой. А так — хоть стреляйте. Митинг на митинге! Кричат: «Против кого идете? Вы же не офицерье. Вы же такие же крестьяне и рабочие, как мы. Не стреляйте в своих товарищей». Наши им: «Мы же вас, если захотим, размажем заразу». А они: «Зря вы так, товарищи солдаты. Не пойдете — пеняйте на себя, всех в расход пустим. К нам помощь пришла — Волынский полк. Так что лучше к нам, чем в яму». Ну с целым полком, конечно, шутки плохи. Да и наши уже закричали: «Братцы! Против кого идем? В кого стрелять будем? В наших боевых товарищей, с которыми мы вместе воевали на германской. Это же волынцы. Гвардия!» А другие им: «Какие они фронтовики? Перед царями ножками шаркали». Тут уже Иван: «Ты гвардию не тронь — размажу! Волынцы, я сам гвардеец. Семеновец! Я с вами». Волынский командир сразу к Ивану, обнял и кричит: «Берите пример со своего товарища. Молодец, солдат!» Ваньке наши кричат: «Ваня, ты опять пьяный! Иди проспись». А тот: «А ну, кто это сказал? Выходи — я тебя сожму, и одно говно от тебя останется». Тут его благородие господин по-

ручик и пришел. Лучше бы не приходил. «Разойдись! — говорит. — А ты, Иван, опять пьяный? Ты же герой, Иван Торопов. Северный человек. На тебя солдаты равняются, а ты большевикам помогаешь. Ничего эта власть вам не даст: ни заводов, ни земли. А кто против нее пойдет, тех к яме поставит». И где он так говорить научился, — раньше за ним такое не водилось. Первым в атаку — и все! Ну народ и возмутился — поручика-то уважали. Ванька ему: «Шли бы вы отсюда, ваше благородие, пока мы еще добрые». А поручик как крикнет: «А ну встать! Смирно!» — все и присмирели. Ванька-то отшатнулся, и ему кто-то из волынцев, вроде их командир, штык из-за спины и сунул в руку; Ванька, пьяный, Сергея Павловича насквозь! Сразу шум, драка, командир волынцев Ваньку утащил и вроде как арестовал. Правда, через пару часов Ваньку выпустили. Никто больше не возмущался — поняли: если что, все под штыками лягут. Я выпросился тело господина поручика похоронить. За лагерем. Наверное, чтобы больше не бунтовали, разрешили. Я его за лагерь вынес и спрятал. Потом его шинель продал, ну и сапоги снял и продал, — в офицерских-то первый же патруль остановил бы; в солдатскую шинель завернул, лошадь с телегой нанял и повез сюда.

— Откуда ты знаешь адрес?

— Так и меня, и Ивана господин поручик сюда пару раз приводил, когда в город ездил по делам.

— Да-да, они приходили. Я их чаем всё поила... — заплакала Анна Николаевна.

— Вез, проверяли и удивлялись: «Солдата домой хоронить везут? Что творится!» — так и довел.

— А Иван?

— Я его застрелил.

— Как?

— Так я же пластун. А против нас кто стоял? Волынцы. Их всего-то, оказывается, две роты было, но, правда, с пулеметами. Захотели бы мы — раскидали. А так без оружия, да и уже все боялись. Винтовку утащил. Прилег в кусты около уборной, и когда Ванька в нее вошел, я через стенку двумя пулями и уложил.

— Может, не убил? — спросил Александр Добрынин.

— Убил. Дождался, когда мертвого вынесли, и ушел. На меня-то вряд ли подумали: я на митингах не выступал, да и вроде как ушел поручика хоронить. А то, что дезертир, так все бегут, никого уже не считают. Армию-то разогнали... Вот и все.

— Да, все, — грустно сказал Смирнитский.

VI

Сергея отпели в церкви Успения Пресвятой Богородицы и похоронили на ближайшем к дому Волковском кладбище. Простой, грубо сколоченный, некрашенный гроб везли по улице на телеге, которая подпрыгивала на брусчатке и многочисленных выбоинах. Провожали родители, старший брат Александр, Глеб Смирнитский и Степан Щетинин. Офицеры и гвардеец сняли шинели и положили их на телегу, и за гробом уже шла необычная процессия из людей в военной форме: Глеб был в парадной офицерской форме лейб-гвардии Семеновского полка при всех своих орденах и шашке; столь же торжественно смотрелся Степан в форме лейб-гвардии и при четырех Георгиевских крестах и Георгиевской медали через всю грудь; Александр Добрынин нацепил шашку покойного брата, и они медленно шли по улице за телегой, и эта забытая красота военной формы, строгость их шага, суровость их лиц выглядели столь торжественно и вызывающе жестко, что прохожие, в этой грязи домов и улиц отвыкшие от красоты военных людей, останавливались и кто удивленно, кто с восхищением, а кто и с нескрываемой ненавистью смотрели на них; женщины крестились. Никто их не остановил.

Уходя с кладбища, офицеры сняли шашки, завернули в мешковину и плотно надели шинели.

— Ты, Степан, «Георгиями»-то не свети — шинель застегни, нынешняя власть столь почетные солдатские награды не жалует, может и к стенке поставить, — сказал Глеб.

— Я, ваше высокоблагородие, их в бою заслужил. Пусть попробуют снять.

— Зря, Степан. Ныне правят те, кто в этих боях не участвовал. Сними от греха подальше.

— Хорошо. Потом.

— Куда ты сейчас, Степан?

— Домой в деревню поеду, у меня там и коровы, и лошади — займусь хозяйством, да и невеста есть — пишет, что ждет.

— Боюсь, Степан, не придется тебе хозяйством заниматься. Ты со своими коровами для большевиков как кость в горле; ты для них классовый враг — кулак, — тихо произнес слышавший разговор Добрынин-отец. — На заводе каждый день митинги и только и кричат о классовой борьбе, контрреволюции и кулаках в деревне.

— А куда же мне? Там у меня родители, семья. Приеду, женюсь и буду растить детей.

— Ну и дай-то Бог! — сказал Глеб. — Когда едешь?

— Так сегодня вечером и поеду.

Поминали тихо — за стеной орали пьяные мужики и бабы. К вечеру ушел Степан. Впервые Смирнитский пожал руку нижнему чину и сказал:

— Наверное, Степан, больше не увидимся. Спасибо тебе. Прощай и будь счастлив.

— Прощайте, ваше высокоблагородие. Спасибо вам, что тогда в лейб-гвардию взяли.

— О чем ты, Степан? Без таких, как ты, русских солдат и лейб-гвардии бы не было.

Родители Степана расцеловали и благодарили за сына. А Александр пожал руку и сказал тихо, чтобы услышал только Степан:

— Ваньку ты все-таки зря убил. Мне надо было оставить. Прощай, Степан!

Степан ушел, и никто уже не узнал, что он не доехал до своей деревни и невеста его не дождалась: в поезде, заметив под распахнувшейся шинелью многочисленные Георгиевские кресты, пьющие самогон солдаты с красными лентами на шапках, когда Степан вышел в тамбур покурить, с криками: «Сука! Царский холуй! Цацек навесил!» — обрывком трубы и ножами забили его насмерть и

выкинули из вагона, предварительно сняв окровавленную шинель — все прибиток.

Если кто и видел — промолчали. Солдаты... Новая власть... Страшная сила! Война... Гражданская война...

— А что вы будете делать дальше, Глеб? — спросил Добрынин-отец.

— Я присягу давал государю, а государь своим отречением с меня ее снял. Я свободен! К Корнилову я не пойду. Если бы он тогда, в марте, не арестовал семью императора, неизвестно куда бы все сейчас пошли: к Корнилову или к Романовым? Корнилов чего хочет — восстановить монархию или сам хочет стать военным диктатором? Да, нужна железная рука, чтобы восстановить порядок, но для меня этой рукой не может быть Корнилов. Что до большевиков, то они подписали мир с немцами и предали Россию. Только Германии это уже не поможет — войну она проиграла. Путь на юг и на запад для меня закрыт. Воевать я больше не хочу. Я от войны устал. Я хочу домой. Я поеду в Польшу через Францию. А во Францию через Владивосток. Длинный путь всегда короче. Тем более известно, что сейчас на Владивосток идут поезда с освобожденными чехами. Сяду к ним в поезд и поеду, их же повезут морем в Европу. Так что мне с ними по пути.

— Глеб Станиславич, вы не возражаете, если я поеду с вами? Я не говорю, что я поеду в Польшу. Я поеду в Сибирь. Мне офицеры по полку говорили, что там какая-то армия создается. Я не хочу оставаться здесь, один в этом городе, — сказал Александр Добрынин.

— Почему один? А ваши родители?

— Они завтра уезжают на юг, в Крым.

— Да-да, Глеб, за нас ты не беспокойся. Мы тоже не хотим оставаться в этом городе и при этой власти. Поедем, а там уж как получится. Александр нас завтра проводит. Мы вверяем тебе и второго нашего сына. Хотя вы и ровесники, но просим тебя, Глеб, будь для него старшим братом.

— Хорошо, обещаю. А с вами, господин штабс-капитан, поедемте вместе. Я этому только рад. Я схожу в казарму,

попрощаюсь с офицерами и заберу свои вещи. Встретимся на вокзале... Да, и прошу вас, Александр, поменяйте свою офицерскую шинель на солдатскую.

— Слушаюсь, господин капитан, — с явным удовольствием произнес Добрынин. — У нас тут около Обводного рынок есть, там и поменяю и родителям денег дам.

Смирнитский обнял родителей Александра и, попрощавшись, ушел в казарму.

В казарме было полно новых офицеров — она была единственным в городе пристанищем для бездомных военных. Спорили об одном: идти воевать с новой властью или идти воевать за новую власть?

— Рассудите нас, Глеб Станиславич. Вы-то что думаете делать?

— Новую власть я защищать не буду — я ее ненавижу. Я только что похоронил убитого большевиками своего боевого друга. А было ему всего девятнадцать лет, и он уже имел три ордена, в том числе «Георгия». Его родители уезжают в Крым. А брат, тоже офицер, хочет уйти воевать. И я бы пошел, но не могу. У меня личные мотивы. Я пришел с вами попрощаться. Я уезжаю сегодня на восток.

— Так там, я слышал, тоже против большевиков восстали. Какой-то наш русский адмирал приехал из Америки и создает Сибирскую республику.

— Я знаю, что это за адмирал — Александр Васильевич Колчак. Он тогда, в феврале семнадцатого, единственный командующий флотом не согласился с отречением императора, отказался присягать Временному правительству и уехал из России в Америку. А сейчас вот вернулся, — сказал сидевший среди пехотных офицеров флотский — капитан первого ранга. — Я завтра схожу к одному знакомому офицеру и узнаю все о Колчаке. Если это так, то я точно поеду в Сибирь.

— Выпейте с нами, Глеб Станиславич.

— Спасибо, друзья, но я свое выпил. Больше не хочу. Устал. Прощайте, мои боевые товарищи. Я всегда буду счастлив встретиться с вами, — Глеб всем пожал руки; кого лучше знал, обнял и ушел.

Когда Глеб вышел, один из офицеров грустно сказал:

— Плохо, когда такие офицеры, как Смирнитский, не идут с нами на войну. Я бы хотел иметь над собой такого командира.

— Неужели такой славный офицер? — спросили.

— Если верить всему, что о нем говорили, — это один из лучших офицеров бывшей армии. Не зря же этот капитан имеет «третьего Георгия».

— Да вы что?

— А я слышал, что он готов был спасти царскую семью, да Корнилов ему помешал, потому он и не едет на Дон.

— А мы-то едем?

— Едем, едем... давайте выпьем за предстоящую дорогу...

— Капитан-то с нами на дорожку не выпил. Брезгует?

— Бросьте! Он тут каждый день пил. Все пропил, кроме орденов, погон и шашки. И всех перепил и пережил. Кто с ним-то начинал, давно на том свете. Так что он молодец, что вот так смог — взял и остановился. Далекое не каждому дано такое. Впрочем, это же Смирнитский! Так что вы зря так говорите.

— Да я так, к слову. Давайте выпьем — завтра на фронт!

Ночью в казарму ворвались солдаты и всех офицеров убили. Новая власть начала с уничтожения самых опасных классовых врагов — офицеров императорской армии. Руководил солдатами бывший штабс-капитан, а ныне командир единственного перешедшего на сторону большевиков батальона Волынского полка Александр Переверзев. Его назначили командиром батальона за активное участие в ликвидации наступления генерала Краснова на Петроград.

Кто не с нами, тот против нас!.. Так, кровью, власть проверяла — а с ней ли бывший офицер, а сейчас военспец Переверзев? С ней. Молодец!..

VII

Глеб шел на вокзал пешком — деньги берег. В саквояже, засунутом в солдатский вещевого мешок, были парадная форма, смена белья и завернутые в кусок белой ткани

ордена и погоны. Под старой солдатской шинелью, подпоясанной брезентовым ремнем, сзади, за простой гимнастеркой, холодом по спине прижималась шашка, а карман приятной, привычной тяжестью оттягивал браунинг — подарок боевого друга Михаила Тухачевского.

По улице вразнобой, не в ногу шла толпа солдат без оружия. Сбоку шел без знаков различия командир. Что-то страшно знакомое было в этой спине, в росте, в развороте плеч этого человека.

— Тухачевский? Михаил?

Командир отряда повернулся:

— Глеб!

Солдатики засвистели:

— Что, офицерье, встретились?.. Ничего, винтовки получим и прикончим всех вас, золотопогонников... А эти-то, защитнички царя, смотри-ка, как друг дружке-то радуются, обнимаются!..

Друзья расцеловались. Они не виделись с сентября семнадцатого года, с того дня, когда Тухачевский вернулся из плена и Глеб Смирнитский спас его от разъяренной солдатской толпы.

— Что ты здесь делаешь? — спросил Глеб. — Почему не в Москве?

— Я военспец вновь создаваемой армии.

— Какой армии?

— Новой армии. Новой, советской власти.

— Ты — с большевиками? Ты — дворянин, поручик лейб-гвардии Семеновского полка, с этими?.. — воскликнул, отстранившись от Тухачевского, Смирнитский. — Ты с теми, кто продал страну, предал армию? Не может быть! Не верю!

— Глеб, зачем так громко о лейб-гвардии, — зашептал Тухачевский. — А что ты прикажешь мне делать, если я ничего не умею и не хочу, кроме как воевать?

— С кем воевать-то будешь? С немцами? Или с нами, офицерами старой армии? И кто воевать будет? Эти, которые на фронт не пошли? — Смирнитский с презрением кивнул на солдат.

— Приходи к нам, и вместе будем создавать новую армию. А этих мы не просто научим, мы их заставим воевать!

— Миша, ты что, не понимаешь — это война! Гражданская война! Этого хочет ваш Ленин? Он же восстановил против себя и своей власти всю бывшую армию! Все мои товарищи-фронтовики ушли на Дон, к Корнилову. Они вас раздавят. И побежит ваш Ленин обратно к своим друзьям — немцам.

— А ты что же не убегаешь туда же, на Дон? — зло спросил Тухачевский.

— Я бы уехал, да мне некуда — Польша моя под немцем. А с Корниловым мне не по пути — он тогда, в марте, и царя, и свою честь как офицер предал. Я уезжаю во Владивосток, а там как получится.

— Значит, не пойдешь к нам в новую армию?

— Я, товарищ Тухачевский, вот здесь, — Смирнитский показал на грудь, — у сердца, свои ордена, в боях полученные, да погоны капитана лейб-гвардии берегу. Дай Бог, наступит время — и надену. Я присягу офицера один раз давал — государю императору и России и другой давать не собираюсь. Прощай! Честь не отдаю — не заслуживаешь!

И Смирнитский, не прощаясь, развернулся и пошел прочь.

— Че, начальник, уел тебя офицерик? Давай его шлепнем, пока он на Дон не перебежал? — кричали солдаты.

— Молчать! Стройся! Шагом марш! — скомандовал зло Тухачевский.

— А ты, ваша благородь, голос-то на нас не повышай! Не ровен час — надорвешься. Враз в расход пустим.

— Разговорчики прекратить! Подтянись. Шагом марш! — крикнул Тухачевский.

И солдаты, недовольно и злобно поругиваясь, нестройной толпой пошли по грязной улице...

VIII

— Все, ваши благородия, господа товарищи, приехали — паровоз дальше не пойдет. Закончилась дорога, та-

кую мать! — ругался начальник станции. — Говорят, дальше аж до Владивостока одни чехи. Сидят и не двигаются.

Смирнитский вышел на деревянный настил платформы. Станция была забита вагонами, и все вокруг этих вагонов двигалось, кружилось, поднимался дым костров, звучал русский мат и иностранная речь. Весь этот хаос был похож на огромный цыганский табор, только вместо цыган были бывшие солдаты бывшей Австро-Венгерской империи, а ныне нового государства — Чехословакии, попавшие в Россию в результате Брусиловского прорыва.

Глеб уже три недели ехал по направлению к Владивостоку. У него была одна цель: через Владивосток доплыть до Европы, а дальше — Польша, дом. Многие встречавшиеся по пути офицеры ехали на Дон, к Корнилову. Смирнитский Лавра Георгиевича после столкновения в марте семнадцатого в Царском Селе презирал. Глеб не понимал, за какие идеалы он должен драться в наступившее время. Он устал от войны и не хотел больше воевать — он хотел домой. Пересаживаясь из поезда в поезд, сутками просиживая на забитых поездами станциях, в этом начинающемся круговороте гражданской войны Смирнитский все-таки добрался до Волги и уже радовался, что дальше, «прицепившись к чехам» легко достигнет Владивостока. Но большевики вдруг запретили чехам уезжать из страны с оружием — боялись, что эта огромная вооруженная армия, подчинявшаяся Антанте, может смести их власть на Урале и в Сибири; чехи возмутились, и в этом противостоянии огромный поток поездов встал чудовищной, растянувшейся на сотни километров пробкой.

В переполненном, грязном, душном вагоне отставные офицеры со споротыми погонами на шинелях быстро соединились в небольшой круг. Кто-то из офицеров выходил, и уже навсегда, другие садились и, оглядевшись, сразу шли в их угол. И сейчас, на этой станции за Волгой поезд остановился, и по хаосу и нагромождению людей, вагонов, солдат, животных было понятно, что надолго, может быть, навсегда. Они сидели втроем: капитан Глеб Смирнитский,

штабс-капитан Александр Добрынин, решивший ехать с ним в Сибирь, до Омска, где, по слухам, создавалась новая российская власть и новая армия под руководством адмирала Колчака, и молоденький, не воевавший ни одного дня прапорщик Никита Переверзев. Никита думал, что он такой бесстрашный, когда вошел в вагон в офицерских погонах. Через две станции какие-то красноармейцы вывели мальчишку и повели расстреливать в небольшой лесочек. Так бы и лег этот юный безусый прапорщик в русскую землю, если бы не Смирнитский с Добрыниным. У обоих было припрятано оружие. Вместо Никиты Переверзева на землю от пуль из браунинга и нагана легли два большевистских солдата и их командир в кожаной кепке со звездочкой. Молоденький прапорщик ничего и понять не успел.

— Вы бы, прапорщик, погоны-то сняли от греха подальше, — сказал запыхавшийся Добрынин, когда тройца еле-еле успела заскочить в отходивший от станции поезд. А прапорщик то ли от страха, то ли по наивности не понимал, что с ним могло произойти, и задавал глупые вопросы:

— А они что, хотели меня расстрелять? А они могли бы меня убить?

— Вас, господин прапорщик, не «могли», а собирались расстрелять, — посмеиваясь, ответил Александр Добрынин.

— Никуда больше от нас не отходите, тогда, вполне возможно, останетесь живы. Позвольте вас, молодой человек спросить, куда вы едете, в погонах-то, и как вас зовут? — спросил Смирнитский.

— Разрешите представиться: выпускник Московского кадетского корпуса прапорщик Никита Переверзев. А ехал на Дон, к Корнилову.

— Так вы, прапорщик, поездом ошиблись или географию плохо изучали — этот поезд в Сибирь идет. Если дойдет, конечно, — засмеялся Добрынин. — А река за окном — Волга!

— Да-а?! — удивился юноша. — А я думал...

— Скажите еще раз вашу фамилию, — попросил Смирнитский.

— Переверзев Никита.

— А по бабушке?

— Александрович.

— А родители что же тебя одного отпустили?

— Да родитель-то один — отец. Он штабс-капитан в отставке. Контузило в августе четырнадцатого под Гумбиненом, его и выкинули из армии на инвалидность. Орден Станислава третьей степени дали, и все.

— Ты, сосунок, орденами-то не раскидывайся, они все кровью политы, — зыкнул Добрынин.

— А мать где?

— Да как отца ранило, так и сбежала. Да и черт с ней. Отец бы не пил — все бы у нас нормально было. А так напьется и буйнит и всех по матери. Потом все-таки попал в запасный полк, а в феврале участвовал в свержении царя. Мы с ним поругались, что я на фронт пошел, да где он, фронт? Пока шел, царя не стало. Я давать присягу временщикам отказался — меня из армии и выкинули. Вот я сюда и поехал. Правда, хотел на Дон, а занесло вот сюда, на Волгу. Хочу воевать, как дед.

— А дед тоже военный? — заинтересованно спросил Смирнитский.

— Полковник, Глеб Александрович Переверзев. Геройски погиб в Порт-Артуре, — высоким голосом сказал юноша. По лицу Смирнитского пробежала судорога, оно закаменело и стало бледным.

— Что с вами, Глеб Станиславич? Лица на вас нет, — увидев резкую бледность на его лице, спросил Добрынин. — Неужели удивила родословная молодого человека?

— Таких много в России, — глухо произнес Смирнитский. — Держись меня, Никита Александрович. Я твоим ангелом-хранителем с сегодняшнего дня буду.

— Да-а?! — обрадованно воскликнул юноша. — Как это хорошо.

— Стоит ли возиться с ним, капитан? Нахлебаются горя.

— Стоит!

— Смотрю я на этого мальчишку и не могу понять — чем он так похож на вас, Глеб Станиславич. Глазами, что ли?

— Именем-отчеством. Сколько же тебе, Никита, лет?

— Семнадцать.

— Второй Сергей Павлович, — грустно сказал Добрынин.

«Брат! — подумал Смирнитский. — Судьба!»

IX

Когда они вскочили в вагон, их угол оказался занят какими-то мешочниками, которые разливали по кружкам самогон. Офицеры недобро взглянули на их упитанные рожи, а Добрынин как бы невзначай показал из кармана ручку нагана, те быстро освободили лавки и, выгнав с полка каких-то бабок с узлами, устроились в другом конце вагона, зло поглядывая в сторону людей в шинелях. Стоило злиться: Добрынин забрал и самогон, и закуску. А как не отдашь человеку с ружьем!

— Ну-с, молодой человек, давайте обмоем ваше новое рождение, — сказал Добрынин. — А погоны спрячьте, спрячьте подальше, под рубашку.

Никита Переверзев выпил и сразу опьянел.

— Счастливый, что не воевал, — сказал Никите Смирнитский. — Ты, юноша, просто не знаешь, что такое война, — а когда тот, опьянев, вдруг наконец-то понял, что живой, и, скрывая слезы, опустил голову и заплакал, Смирнитский как-то по родному положил ему руку на голову и стал гладить приговаривая: — Поплачь. Солдаты тоже плачут. И сильно не пей — сопьешься. Правда, на фронте эта дурь выветривается моментально под разрывы снарядов.

— Да-да, — сквозь слезы пролепетал Никита и вновь протянул кружку. Ему немного налили, и он храбро выпил и, открыв рот, с бегущими из глаз слезами, застыл.

— Не воевал и пить не умеет, — засмеялся Добрынин.

— И хорошо, — сказал Смирнитский и с болью в глазах, с нескрываемым теплом посмотрел на Никиту Переверзева.

Еще раз налили и выпили и закусили, голодные, хорошим салом с хлебом. Какое счастье так ехать! Так и познакомились.

— А у вас, господин капитан, много наград? — спросил пьяный Никита Переверзев. — Я вот ни одной не получил.

Смирнитский посмотрел очень внимательно на молодого человека.

— Мне, Никита, не так уж и много лет: всего-то двадцать три. И я... — Смирнитский развязал вещмешок, который он не выпустил из рук, даже когда они с Добрыниным побежали выручать Никиту, вытащил из него кожаный саквояж и, раскрыв, достал белый сверток. Развернул. На ткани заблестели многочисленные ордена и две пары разных капитанских погон.

— Это что? И что обозначают эти буквы «Ст. В. Г.»? — икнул Никита.

— Это погоны капитана батальона Георгиевских кавалеров Ставки Верховного главнокомандующего, а это погоны капитана лейб-гвардии Семеновского полка.

— Вот это да! — вытаращив глаза, сказал сразу протрезвевший Никита Переверзев.

А выпивший Добрынин встал, вытянулся, щелкнул каблуками грязных сапог и отдал честь.

— Прекратите, штабс-капитан, — строго сказал Смирнитский.

— А это что за крест? — тихо спросил Никита, показывая на знак Семеновского полка.

— Это, господин прапорщик, знак лейб-гвардии Семеновского полка, в котором я провоевал всю германскую войну от подпоручика до капитана.

— Я два года на фронте пробыл, а такого количества наград ни у одного боевого офицера не видел, — прошептал Добрынин. — Но чтобы «Георгий» третьей степени у капитана? Мне Сергей говорил за что, но, конечно, хотелось бы услышать от вас.

— А правда, что же за подвиг вы совершили, Глеб Станиславич? — спросил Никита Переверзев.

— Никакого. Можете не верить — Верховного главнокомандующего, их высочество Николая Николаевича Романова случайно от смерти спас. Во всяком случае, он так считал. Но я надеюсь, это останется между нами, — сказал,

бережно завертывая в ткань свои ордена и погоны, Смирнитский и добавил: — Так что, Никита, штабс-капитан Добрынин прав: спрячьте ваши погоны, наш юный друг, подальше. Пока. Может быть, они вам еще пригодятся.

Х

В том, что Глеб Смирнитский так и не добрался до Владивостока, Александр Добрынин до Омска, а Никита Переверзев неизвестно куда, не было их вины. Они просидели неделю на станции, забитой чехами, потом перебрались в другой поезд, первый на выходе от станции, и вовремя — он, единственный, дернулся ночью и тихонечко поехал, и они обрадовались, но через день их пришли арестовывать. Поезд остановился на рассвете на полустанке без платформы, в вагон вошли трое солдат с красными лентами на шапках и человек в черной кожаной куртке, и сразу двинулись в сторону офицеров — заранее знали, кого и где искать.

— Вот они! — крикнул идущий впереди солдат командир.

Что разбудило дремлющего Глеба — наверное, многолетняя война, но он успел выхватить пистолет и выстрелить. Смерть начальника привела в замешательство красноармейцев. Они и винтовки с плеч не успели снять, да и неудобно было в переполненном вагоне. Добрынин, как человек тоже прошедший войну, проснулся моментально и моментально же вытащил наган. Никита Переверзев открыл свои серые глаза и сонно и удивленно смотрел на происходящее.

— И лучше будет, если вы винтовки аккуратно снимете и положите на пол, иначе пристрелим, — сказал необычайно спокойным голосом Смирнитский застывшим в ужасе солдатам.

Солдаты повиновались.

— Никита, заberi винтовки у солдат и наган у командира, — приказал Смирнитский. — А вы не дергайтесь — мы не шутим. Все, уходим. Штабс-капитан, держите их на прицеле. Если что, стреляйте. Никита, открывайте двери.

Они прыгнули на пыльную землю и, оглядевшись, побежали от вагона в сторону небольшой рощицы, видневшейся в поле. Бежать было тяжело — мешали шинели, винтовки и вещмешки. Когда до рощицы осталось метров пятьдесят, сзади загрели выстрелы.

— Бегите, я прикрою! — крикнул Смирнитский и, упав на землю, прижал к плечу приклад винтовки. Около тридцати солдат, явно не обученных бою, бежали толпой, стреляя из винтовок. Смирнитский почти не целился — бежавший впереди всех красноармеец вскрикнул и, упав, заорал матом, пуля пробила ему бедро. На это и рассчитывал Глеб. Крики раненого остановили солдат. Они трусливо пригнулись, ожидая следующего выстрела, некоторые упали на землю, в пыль. Смирнитский ранил еще двоих, по полю понесся вой, и красноармейцы уже не порывались бежать вперед, а упали на землю. Пули засвистели в небо — солдаты явно не умели стрелять. Глеб стал тихонько отползать, стрелял и обязательно попадал, но понимал, что им не уйти, и поэтому ждал, когда же поднимется командир красноармейцев, который не вставал, а все кричал с земли: «Вперед! Трусы, суки... я вас всех пристрелю на месте...» — и стрелял вверх из нагана. Глеб оглянулся и увидел, что Добрынин с Никитой добежали до деревьев. Он еще раз выстрелил, еще... патроны кончились; вскочив, насколько мог, он побежал к рощице. Пули летели мимо и Глеб подумал: «Как же вы воевать-то будете, если стрелять не умеете?» — и, услышав крик Добрынина: «Ложись капитан. Мешаешь!» — упал на землю и пополз. Теперь пули летели сзади из рощицы. Глеб дополз до своих товарищей, где счастливый Никита орал: «Здорово-то как!» — и дергал за затвор, а Добрынин рассмеялся:

— Что, живой, капитан? А я уж думал, все тебе... Чувствуется, что фронтовик и пехота: ползаешь — словно стелешься, ни бугорка.

— Да я бы еще пострелял, да патроны кончились, — разился веселостью от Добрынина Глеб. — Да и скучно там одному, вот к вам и приполз. А что до бугорков, так поползай с мое... мы же не на лошадях, мы по земле — ножками

воевали... — Обернулся к Никите: — Прапорщик, берегите патроны.

Никита в упоении еще раз выстрелил, передернул затвор и грустно произнес:

— Все! Нет патронов, — и отбросил в сторону винтовку.

— Вот винтовку вы, юноша, рано бросили, у нее еще штык имеется! — сказал Глеб и стал оглядываться. Вся рощица состояла из трех десятков небольших берез. А за ней простиралось ровное поле.

— Попались мы, Глеб Станиславич, — зашептал Добрынин.

— Ну что ж, штабс-капитан, повоюем. Ты, Никита, бегом отсюда, мы долго не продержимся.

— Не пойду, господин капитан! — тоненьким, дрожащим голосом крикнул Переверзев. — Не забывайте, я офицер. Вы в моем возрасте, наверное, уже ордена имели.

— Ах, прапорщик, прапорщик, в этом вы правы — вы офицер... — посмотрел вперед. — Все, опять пошли. Берегите патроны.

— Сейчас бы пулемет, всех бы одной очередью! — мечтательно и со смешком сказал Добрынин.

Солдаты, не слыша больше выстрелов из рощицы, стали подниматься и перебежками, припадая на колени, но подгоняемые криками своего командира, приближались.

— Хоть один патрон сохранился? — спросил Смирнитский.

— У меня один точно есть, — Добрынин полез в карман шинели и вытащил винтовочный патрон. — Привычка фронтовая один сохранять... понятно для чего. Бери Глеб. Известно же, как гвардия стреляет.

Смирнитский быстро вставил патрон, щелкнул затвором, прицелился и выстрелил. Под рукой хрустнула ветка... С командира красноармейцев слетела фуражка, и он упал, и все солдаты как по команде упали на землю.

— Черт! — выругался Глеб. — Промахнулся! — Вытащил браунинг: — Ну что ж, постреляем. Только стреляйте точно в цель. Это к тебе, Никита, относится.

Добрынин вытащил свой револьвер, посмотрел в барабан, сказал:

— Осталось пять.

Переверзев тоже посмотрел в барабан нагана, взятого у убитого в поезде командира красноармейцев. Почему-то шептал губами, считая:

— Четыре.

— Было бы больше, я бы у вас, прапорщик, наган забрал, — сказал Добрынин. — А у вас, Глеб Станиславич, хорошенький пистолетик. Браунинг?

— Да. Подарок друга.

— Хороший у вас друг.

— Наверное. Был... Ладно, давайте воевать!

Солдаты шли, падали, ползли, стреляли, но неминуемо приближались. Не все... Первым отстрелялся Никита Переверзев. Следующим Добрынин. Смирнитский выпустил последний патрон из своего браунинга и взялся за винтовку.

— Кажется, напоследок штыками повоюем. Люблю я наш русский штык! — крикнул Добрынин.

— Ну вот и смерть пришла. Всю войну прошел, а умирать приходится от своих, русских. Никита, беги — может, еще успеешь уйти в степь! Там спрячешься.

— Как вы можете, господин капитан? Я — русский офицер!

— Молодец! Как же вас, таких, не хватало в шестнадцатом. Пошли, господа! — Смирнитский, а за ним Добрынин и Никита Переверзев встали с винтовками наперевес. Солнце заиграло на остриях штыков. Красноармейцы стреляли плохо: с двадцати метров не могли попасть.

— Вот эти стрелки тыловые и переворот в октябре совершили, — весело сказал Добрынин.

— Не стреляйте! У них патронов нет, — закричал солдатам их командир, вскочил и, взяв винтовку у убитого, уже спокойно пошел вперед. — Живьем возьмем золотопогонников!

— Попробуй возьми! — крикнул Никита Переверзев.

И вдруг что-то изменилось. Солдаты побежали обратно. Некоторые, чтобы было легче бежать, бросали винтов-

ки. Их командир, вытащив револьвер, стал стрелять в воздух и кричать: «Стоять! Именем революции я приказываю: стоять!»

Солдаты бежали не оглядываясь. Командир выстрелил из револьвера в стоявших с винтовками офицеров. Пуля пробила рукав шинели Никиты Переверзева. Никита ойкнул, схватился за руку и упал. А мимо из-за их спин с гиканьем пронеслись всадники. Один из них ударил шашкой командира красноармейцев по голове. Удар был настолько силен, что фуражка развалилась на две части вместе с головой. Всадник развернулся и подскакал, сдерживая лошадь, к офицерам.

— Ну что, господа, повезло вам. А этого что, убило?

На всаднике были погоны казачьего хорунжего.

— Ранило. Спасибо, господин хорунжий. Скажите, кто вы? — спросил Смирнитский.

— Мы из добровольческого отряда подполковника Каппеля, — хорунжий повернулся к одному из всадников и приказал: — Посадите господ офицеров на лошадей... если они, конечно, не возражают, — и задорно засмеялся, показывая хорошие белые зубы.

— Не возражаем, господин хорунжий, — ответил за всех Смирнитский...

XI

— Здравствуйте, господа офицеры, — из-за стола в просторной крестьянской избе, куда вошли Смирнитский с товарищами, встал небольшого роста, коротко стриженный, рыжеватый, с рыжеватой аккуратной бородой, офицер в форме без погон и представился: — Генерального штаба подполковник Владимир Оскарович Каппель. Прошу представиться.

— Капитан лейб-гвардии Семеновского полка Глеб Смирнитский.

— Штабс-капитан Александр Добрынин.

— Прапорщик Никита Переверзев, — сказал слабым голосом Никита.

Рука висела на ремне. Повезло — пуля пробилла плечо насквозь.

— Вы, господин прапорщик, идите к нашему медику. У нас фельдшер есть... Эй, проводите господина прапорщика к доктору! — крикнул куда-то за дверь избу подполковник. — А с вами, господа, если не возражаете, я бы хотел побеседовать. Присаживайтесь...

— Мы бы хотели выразить вам, господин подполковник, нашу благодарность за свое спасение, — сказал, присев на лавку, Смирнитский.

— Полно, полно, мы же с вами русские офицеры. А вы, как я понимаю, боевые офицеры. На каком фронте воевали?

— На германском.

— На австрийском.

— А в какой армии на австрийском?

— В 11-й генерала Сахарова и в 8-й у генерала Каледина, — ответил Добрынин.

— Знаю таких генералов. Великолепные офицеры. Особенно Алексей Михайлович.

— Спасибо, господин подполковник.

— И куда путь держите, господа офицеры?

— Я во Владивосток, а оттуда на родину, в Польшу.

— А у меня было желание к Корнилову на Дон, да поехал с господином капитаном, но до Омска, где, говорят, создается новая русская армия. Уж больно он хороший попутчик, — и Добрынин с уважением посмотрел на Смирнитского.

— Да, к Лавру Георгиевичу все бегут. Там и Деникин. Там армия. А вы что же, господин капитан, не у Корнилова?

— А я их превосходительство не уважаю.

— Первый офицер, кто открыто говорит о том, что не уважает Лавра Георгиевича. Что же такое, позвольте вас спросить, вам так не нравится в легендарном генерале?

— Предательство по отношению к императору и его семье.

— Сильно сказано! И какие у вас для этого есть основания?

— Личные.

— Пойдите, пойдите... А-а... я вспомнил вашу фамилию — Смирнитский. Это про вас рассказывали, что вы готовы были со своими солдатами тогда, в марте, в Царском Селе отбить у Корнилова императорскую семью? Но тогда это собирались сделать Георгиевские кавалеры. Это были вы, капитан? Вы из этого знаменитого батальона?..

— Он, он, господин подполковник. Вы на его погоны и ордена посмотрите, — влез в разговор Добрынин.

— Покажете?

— Как вам будет угодно, — Глеб достал из своего вещмешка сверток и развернул — на столе засияли ордена и погоны.

— «Георгий» третьей! — непроизвольно и уважительно произнес Каппель. — А у меня, господа, и четвертого нет. Я про вас, господин капитан, еще слышал, что вы спасли от смерти Верховного главнокомандующего Николая Николаевича Романова. Я не ошибаюсь?

Глеб помолчал, потом улыбнулся и просто ответил:

— Не ошибаетесь, — и сам спросил: — Господин подполковник, объясните, что это за добровольческий отряд, которым вы командуете?

— Вы же видите: Дон восстал, чехи восстали, в Омске создается новое правительство, здесь тоже большевики начали офицеров стрелять и у крестьян забирать хлеб, вот и организовалась такая воинская единица — добровольческий отряд. В основном офицеры. И я хочу предложить вам вступить в мой отряд.

— Я готов! — сказал Добрынин. — Я еще не навоевался, да и до Омска я вряд ли из-за чехов доберусь. Если только на лошади, а лучше пешком — я пехотный офицер. Хотя я на лошади сiju не хуже казака — приходилось на фронте.

— Быстрее вы, господин штабс-капитан, доберетесь до Омска с нами. Я сообщу вам то, чего, видимо, вы еще не знаете: чехи подняли восстание и захватили власть в Новониколаевске. Ну а вы, господин капитан?

— Если честно, господин подполковник, я уже не хотел воевать, но у меня такое ощущение, что война все время

преследует и не отпускает меня. Я понимаю, что не попаду во Владивосток, пока не наступит чья-нибудь победа в этой начавшейся гражданской войне.

— Я думаю, что если в ней победят большевики, вы, господин капитан, никогда не доберетесь до Владивостока, а уж в Польшу...

— Что вы от меня хотите, господин подполковник?

— Я бы дал вам полк, но у меня его нет. Я бы дал вам батальон, но и батальона у меня нет. Я бы дал вам роту, но ротами у меня командуют полковники. Я предлагаю вам возглавить взвод. Возьмите туда своих товарищей. Вы же понимаете, что взводом, состоящим из одних боевых офицеров, тыловой офицер командовать не сможет. Да что я говорю — вы же помните, что произошло в семнадцатом, когда на фронт стали приходить солдаты из запасных полков, которые не хотели воевать. И только вы, — Каппель показал на грудь Смирнитского, — если наденете ордена, сможете стать для них командиром.

— Соглашайтесь, Глеб Станиславич, — с мольбой в голосе сказал Добрынин.

— Можно мне, господин подполковник, высказать одно свое предложение?

— Я вас слушаю.

— Отряд у вас, как я понял, добровольческий. Я прошу дать мне свободу действий, и если я захочу от вас уйти, то вы не будете этому препятствовать.

— Даю вам слово офицера.

— Тогда расскажите, если это возможно, о ваших ближайших планах, господин подполковник.

— Я хочу напасть на большевиков в Сызрани.

— И много их там?

— Около двух тысяч.

— А у вас?

— Триста пятьдесят штыков, сотня сабель и две пушки.

— Смело! — воскликнул поручик Добрынин. — Вот это будет драка, вот это по мне!

— Безусловно, смело, — сказал Глеб, — но тут нужен расчет.

— Так присоединяйтесь, Глеб Станиславич, вместе и посчитаем, как нам Тухачевского разбить.

— Это какого Тухачевского?

— Говорят из дворян, бывший подпоручик.

— А-аа... Тогда я согласен! — сказал Глеб. — Говорите, Владимир Оскарович, что у вас триста пятьдесят штыков, а у красных две тысячи... тогда, позвольте, — Смирнитский подошел к столу и склонился над лежащей картой, — нам надо придумать что-то неожиданное — скажем, выход в тыл красным... Если они так же воюют, как те, от которых мы отстреливались, то это точно не армия.

Двое склонились над картой.

— Я, с вашего позволения, господин подполковник, пойду навещу Никиту, — сказал Добрынин.

— Да-да, конечно, господин штабс-капитан, идите и скажите моему адъютанту, чтобы вас покормили, — не поднимая головы, сказал Каппель и продолжил водить по карте карандашом:

— А если вот так, Глеб Станиславич?

— Здесь хорошо — лес.

— Только надо разведку послать.

— Я не знаю ваших людей, Владимир Оскарович, но одного могу порекомендовать — штабс-капитана Александра Добрынина: прирожденный разведчик.

— Хорошо, не возражаю... Надо вот этот мост сразу захватить.

— Согласен, но сможем ли мы такими малыми силами его удержать? Надо его захватить при подходе наших частей... прошу прощения, отряда. Иначе их всех перебьют.

— У меня есть прекрасный боевой офицер, спокойный... этот захватит в самую последнюю минуту и удержит. Капитан Пороховщиков.

— Уж не Аркадий ли Васильевич?

— Да. Вы его знаете?

— Если это он, то встречались в шестнадцатом. До чего же мир тесен.

Офицеры продолжали, споря, рассчитывать удар по войскам Тухачевского.

— Ох, Глеб Станиславич, придется вам задержаться у меня в штабе. Уж больно вы хорошо воюете с Тухачевским. Как будто знаете, что он будет делать.

— Может быть, Владимир Оскарович...

Части Красной армии под командованием Михаила Тухачевского были разбиты. Тухачевский еще не успел заставить солдат новой советской власти воевать.

А Каппель был стремителен: он со своим добровольческим отрядом совершил 150-километровый марш-бросок и захватил Симбирск, разбив многотысячную Красную армию. Потом была Самара... Приходили все новые и новые офицеры — добровольческий отряд быстро увеличивался и превратился в Народную армию. Слава о Каппеле бежала впереди его войск.

Каппель применял против красных войск столь талантливую, столь необычную тактику — скорость и неожиданность, — что его боялись. Большевики назвали его «маленьким Наполеоном» и назначили за его голову награду — 50 тысяч рублей. А солдаты Красной армии уважали — он не расстреливал пленных!

XII

Александр Глебович Переверзев за помощь в свержении монархии был назначен представителем Временного правительства в Волынском гвардейском полку. Разленившиеся за месяцы безделья, отвыкшие от войны офицеры и солдаты полка не обратили внимания, что из-за таких, как они, рухнуло самодержавие. Командир полка генерал-майор Алексей Ефимович Кушекевич одним из первых присягнул Временному правительству, за что получил звание генерал-лейтенанта и перешел командовать Туркестанской дивизией.

Переверзев, получивший звание капитана, как представитель Временного правительства надеялся, что он может стать заместителем командира полка. Но он не состоял ни в одной из партий, свергнувших монархию, и его забыли. Получил капитана — и радуйся. Кирпичников, уже прапор-

щик с офицерским Георгиевским крестом на груди, ходил героем и честь капитану не отдавал, а когда тот сделал ему замечание, спокойно и пренебрежительно ответил: «Не я бы, ты сейчас не капитаном был, а вместе с Лашкевичем червей кормил». Как оплеуху дал! «Ну, сука крестьянская, подожди!» — подумал Переверзев. Началось массовое бегство из полка офицеров и солдат. На Корниловский мятеж Переверзев не попал. Он заболел. Вновь начали мучить страшные головные боли. Аптекарь-еврей за громадные деньги дал какие-то порошки и микстуры, причитая: «Все нормальные фармацевты давно убежали в Крым, в Одессу; один я, как дурак, застрял в этом проклятом городе в это проклятое время... Эти порошки потому столько стоят, что они доставлены сюда контрабандным путем из Одессы, а туда, как известно, из Парижа».

Ухаживал за Переверзевым сын Никита, который до фронта не дошел — полк, в который его назначили, разбежался. Никита хотел уйти к Корнилову, но остался, видя состояние отца.

— Выздоровеешь, и я уйду, — сказал он.

— Не делай этого, прошу, — слабым голосом просил отец.

— Не держи меня. Я офицер. Я должен защищать отечество.

— Какое отечество? Где ты его видишь? Я помогал отречению царя, получил капитана, а мне скоро будет нечем командовать. Армия развалилась. Да что я тебе об этом говорю, ты же сам это узнал.

— Уйду к Корнилову.

— Я Корнилову помогал арестовать семью царя, и что — он вспомнил об этом? Помог мне? Он меня тут же забыл. А сейчас он хочет, чтобы такие, как я и ты, ему помогали. Вот ему! — Переверзев показал дулю и для еще большей убедительности потряс ею в воздухе. — Не будет ему от меня помощи! И ты не ходи.

— Лежи отец. Выздоровливай.

— Зачем тебе, Никита, Корнилов? Иди в наш полк.

— Где он, твой полк? Нет, я воевать хочу.

Как только отцу полегчало, Никита, не прощаясь, ушел. А Волынского полка действительно не было. Пока Переверзев болел, одни убежали домой, другие к Корнилову.

Корнилова Временное правительство и большевики совместно остановили, а генерала арестовали. От полка осталось три сотни солдат, которым некуда было идти — их дома были либо под немцами, либо далеко за Уралом. И когда в помощь Временному правительству в борьбе с большевиками пошел на Петроград отряд генерала Краснова, в казарму пришел мужчина в кожаной куртке и такой же кожаной фуражке и, не протягивая руку и не отдавая честь, сказал:

— Представитель партии большевиков по борьбе с контрреволюцией Мирон Ерофеев. Вам, товарищ командир, необходимо вместе с солдатами пойти со мной на борьбу с генералом Красновым.

Впервые Переверзева назвали товарищем, и он не удивился и не оскорбился и сам не понял почему.

— Так у генерала хоть и не армия, но и не батальон. С чем это я пойду — с тремя сотнями солдат, которые не хотят воевать и при первых же выстрелах разбегутся?

— Вы, капитан, кто: меньшевик, эсер, октябрист?

— Я офицер.

— Тоже не лучше. У нас одна задача — остановить генерала Краснова. Он уже в Царском Селе.

— Недалеко идти.

— Кому? Ему или нам?

— Конечно, нам, товарищ Ерофеев.

— Я прошу вас, капитан, пока не вмешивайтесь в события. Я знаю, что три сотни солдат Краснова не остановят.

— А кто остановит?

— Слово!

— Слово?

— Честное, большевистское слово, обращенное к солдатам.

— Лучшее слово на войне — это пуля!

— На гражданской войне — да. А она еще не наступила.

— А наступит?

— Скоро. Быстрее, чем вы или я думаем.

— Я пока не думаю.

— А думать надо — на чьей стороне вы, капитан, тогда будете? Пока еще у вас есть время. Иначе будет поздно.

— Поздно?

— Да, капитан. Кто не с нами, тот против нас. И будет уничтожен.

— О господи!

— Итак, прошу, не вмешивайтесь в события. Будьте готовы со своими солдатами окружить отряд Краснова, когда я вам об этом скажу.

— И вы что, один пойдете к солдатам со своей пропагандой? Я, конечно, видел таких, но против генерала? Вы хоть знаете, что такое боевые солдаты?

— Знаю. Я на фронте «Георгия» получил. И почему один? Со мной отряд из рабочих Путиловского завода — десять человек.

— Сколько? — засмеялся Переверзев.

— Десять рабочих. Десять большевиков. Вы еще не понимаете, что такое большевик. Увидите. Выводите солдат из казармы.

Из трехсот сотня солдат идти отказалась.

— Нам и здесь хорошо. С чего это мы должны на пули лезть? Хватит, навоевались... — кричали они.

— Когда мы вернемся, то вы пожалеете, что не пошли с нами, — крикнул им Мирон Ерофеев.

— Ты еще вернись! — смеялись в ответ.

До Царского Села добрались без происшествий. Привезли на телегах по осенней хляби три пулемета. Дальше произошло то, что и говорил Ерофеев. Десять рабочих без оружия остановили тысячный отряд генерала, а Ерофеев, встретившись с Красновым, заключил с ним мир. Бумаг не подписывали, но слово... Ерофеев вышел из Александровского дворца, где в комнатах арестованного и сосланного в Сибирь императора расположился генерал, и шепнул одному из рабочих: «Теперь дело за капитаном. Только бы не подвел, сука офицерская». Переверзев не подвел — как и договаривались, его две сотни быстро окружили митинго-

вавших на площади солдат отряда Краснова, вскинули винтовки, а с трех сторон «максимы» уставились квадратными зрочками стволов и щелкнули запроваженными лентами.

— Сдать оружие! — приказал Переверзев. — Я не шучу. Мы вас всех перестреляем.

Солдаты отряда Краснова стали вскидывать винтовки:

— Да мы вас, сук, сейчас всех перестреляем!..

— Нас — может быть. Но против пулеметов... И как вы сами видите, это только часть солдат. По периметру дворца остальные части полка. Вам ничего не будет. Все вы будете отпущены домой.

— Домой?! — заколыхалась солдатская масса. — Домой — это ладно, это хорошо.

— А вы кто такие? — крикнули.

— Гвардейский Волынский полк.

— А, «паркетники». Да мы вас враз раскидаем.

— Не трожь гвардейцев! — закричал громадный солдат. — Я сам гвардеец. Семеновец. Кто их тронет, будет иметь дело со мной.

— Иван, ты же опять пьяный, иди проспись, — засмеялись солдаты. — Ты когда остановишься?

А Переверзев, глядя на гигантского солдата, удивленно подумал: «Вот это солдат! Откуда ж такие берутся? Ах да — семеновец».

Иван первый положил винтовку, за ним последовали другие, говоря: «Куда? Против силы не попрешь... Да и домой наконец-то пойдём...» В это время в комнату к Краснову вошел Ерофеев с двумя рабочими и сказал:

— Генерал Краснов, вы арестованы. Сдать оружие.

— Но, — затянул Краснов, — мы же договорились, товарищ Ерофеев.

— Большевики никогда не будут договариваться с классовыми врагами. Они их уничтожают. А то, что было, — военная хитрость, генерал. Мы тоже воевать умеем. Впрочем, вас расстреливать не будут. К сожалению и надеюсь, пока. У меня нет таких указаний. Есть другое: если вы согласны больше не воевать против большевиков, то вас приказано отпустить.

— Одного?
— Да.
— А солдат? Вы же им сказали, что они свободны и могут уходить домой.
— А кто же будет защищать нашу власть?
— Но у вас нет власти.
— Пока мы здесь рассуждаем, в Петрограде мои товарищи берут власть в свои руки.
— О боже!
— Так что, генерал, согласны?
— Я согласен.
— Вы свободны.
— Могу ли я взять с собой офицеров? Трех.
— Можете.
— Скажите: а что будет с моими солдатами?
— Они уже не ваши, генерал. Они свободные люди свободной страны, — с этими словами Ерофеев вышел.
— Пригласите ко мне поручика Добрынина, — попросил адъютанта Краснов.
— Его больше нет. Его убили.
— Кто убил? Большевики?
— Нет. Иван Великий.
— Расстрелять! — расшвырянул Краснов.
— Не можем — его забрали к себе пришедшие с этим Ерофеевым солдаты.
— Прощай, поручик, — сказал сквозь слезы Краснов. — Нам здесь делать больше нечего. Подавайте лошадей.
Краснов с двумя офицерами, опустив голову, отъехал от дворца. Никаких воинских частей на улицах города не было.
— Как они нас легко обманули, — грустно произнес Краснов. — Надолго ли? На Дон, господа офицеры, на Дон...

ХІІІ

К Переверзеву подошел Ерофеев. Внимательно посмотрел и сказал:

— Как вы лихо расправились с поручиком. Ивана берегите. Я его знаю с шестнадцатого года. Я с товарищами

уезжаю в Петроград. Сейчас мы там нужнее. Сегодня-завтра Временное правительство падет. Власть будет у нас, у большевиков, и мы ее уже никому не отдадим. Решайтесь, капитан, с кем вы? Нам такие военные специалисты будут нужны.

— Для чего? Вы же будете уничтожать офицеров. Золотопогонников.

— Мы создадим новую армию — рабоче-крестьянскую. И погон у нас не будет. Вот так-то, товарищ Переверзев. А за бескровный разгром Краснова большое вам спасибо.

— И что мне сейчас делать, товарищ Ерофеев? — Переверзев и сам не ожидал, с какой легкостью он перешел на это обращение.

— Ждите наших указаний. И Ивана привезите.

— А что делать с другими арестованными солдатами? И заберите Ивана с собой.

— Ивана я не могу взять. У нас с шестнадцатого непростые личные отношения. Узнает меня — может и заартачиться. А остальных солдат постарайтесь перетащить на нашу сторону. Я слышал, что вы неплохой оратор. Некий прапорщик Кирпичников рассказывал, как вы призывали солдат Волынского полка к свержению царя и поддержке Временного правительства.

— Сука этот прапорщик! Никого я не поддерживал.

— И я так думаю. Ну а тех, кто не пойдет к нам, отпустите. Без оружия. Я с вами не прощаюсь, товарищ Переверзев. — Ерофеев протянул руку. Александр Переверзев, капитан, дворянин, ее крепко пожал и про себя подумал: «А он прав. Эти власть не отдадут». Поручика он разрешил похоронить на кладбище Царского Села. Вызвался хоронить солдат, увешанный Георгиевскими крестами. Переверзев даже залюбовался, глядя на него.

В Петрограде совершился переворот. Власть валялась в осенней грязи — небрезгливые большевики ее подняли! По дороге к Зимнему дворцу задавили четырех человек! Зеваки! Сидеть надо дома во время восстаний!

Согласились остаться в армии сто солдат. Остальных отпустили домой. Сто вооруженных солдат вернулись в ка-

зармы, и первое, что сделал Переверзев, — арестовал тех сто, что не пошли на Краснова.

В октябрьском перевороте Переверзев с солдатами не участвовали, но по приказу Ерофеева охраняли улицы от мародеров. Двадцать солдат из арестованной сотни расстреляли во дворе казармы. Другим в назидание! В батальоне наступил армейский порядок. В один из вечеров прибыл Ерофеев.

— Я назначен к вам, товарищ Переверзев, представителем партии большевиков. Комиссаром.

— Это что за должность?

— Политическое руководство в войсках. Я же вам говорил, что мы создаем новую армию из рабочих и крестьян.

— Так я-то не крестьянин...

— Вы военспец, если согласны. Если нет — скатертью дорога. Можете идти на Дон. Там все ваши. Офицеры.

— Я думаю, что после Краснова я уже не их.

— Правильно думаете, товарищ Переверзев. Скажу вам больше: сегодня ночью по всему городу будут ликвидированы все офицеры, проживающие в офицерских казармах.

— Как?

— Мы не можем, товарищ Переверзев, оставлять у себя за спиной врага, готового воткнуть нам штык в спину. Это контрреволюционеры. Они взорвут нашу власть в городе. Никакой Корнилов с ними не сравнится. И если вы с нами, то слушайте мой приказ. Необходимо сегодня ночью уничтожить всех офицеров в казармах Семеновского полка.

— А если я откажусь?

— Я вас расстреляю раньше их!

— Вы не оставляете мне выбора.

— Как это не оставляю? С нами — жизнь. Против — смерть! Третьего не дано. Я жду...

— Хорошо.

— Тогда слушайте приказ...

XIV

Четыре офицера второй месяц двигался по Сибири впереди восставшего против большевиков чехословацкого

корпуса и армии Верховного правителя России адмирала Колчака. И все время не успевал — как будто какой-то рок висел над ним. А может, предательство?

Все четверо воевали с первого дня, в созданном Каппелем небольшом отряде в три сотни бывших царских офицеров, которые под Сызранью разбили несколько тысяч красноармейцев. В отряд после этих побед шли и шли новые офицеры. Это была уже армия. Уже полковнику Каппелю доверяли больше, чем генералу Корнилову. Каппель Временному правительству не присягал и царскую семью не арестовывал, а значит, в понимании офицеров, был человеком чести. Правда, разбитые Каппелем красноармейские части были больше похожи на банды, и воевали они точно так же: нападали, грабили, убивали и убегали.

Смирнитский, капитан, командовал у Каппеля взводом.

Его уважали за боевые награды, за спокойный характер, за отсутствие офицерской спеси и за личную храбрость. Даже солдаты, согнанные одинаково жестокой силой, воевать на эту войну под страхом расстрела их семей в Белую или Красную армии, признавали за Смирнитским право над ними командовать.

Два месяца назад Смирнитский с тремя офицерами обратились к Каппелю с просьбой отпустить их из Народной армии для освобождения царской семьи, находившейся в ссылке в Тобольске. Стало известно, что большевики решили перевезти семью царя из Тобольска в Москву.

Каппель удивленно спросил:

— Господа офицеры, зачем вам это? Когда арестовали царскую семью, Временное правительство хотело отправить ее в Мурманск, а там пароходом в Англию. Господа, английский двор отказался принять своих прямых родственников! Вот вам отношения между царствующими семействами Европы. Романовы ненавидимы народом. Спросите — не у большевиков, у наших солдат, согласны ли они воевать за Романовых. Уверяю вас, все одинаково ответят: «Нет!» Уж большего монархиста, чем я, вы вряд ли найдете, но и я не понимаю, зачем вам это надо. Не зря же

лозунг нашей армии — восстановление в России Конституционного собрания. Поменяйте этот лозунг на восстановление монархии — и завтра армии не будет!

— Господин полковник, а как вы относитесь к тому, что Романовых большевики могут казнить? — спросил Смирнитский.

— Николая Александровича, конечно, могут, и то вряд ли — он уже не император, а всего лишь «гражданин Романов». Но чтобы семью — не поверю!

— А вот мы считаем, что могут. Чехи уже в Челябинске, и, значит, большевики боятся, что царя могут освободить.

— Но большевикам проще вывезти его с семьей в Москву и судить, чем здесь, в Сибири, убивать.

— Извините, но мы не согласны с вами, господин полковник.

— Вы, капитан Смирнитский, говорите от своего имени или от имени присутствующих здесь офицеров?

— Это наше общее мнение.

— Вы же, господа, не монархисты? Еще раз спрашиваю: зачем вам все это? Вы же должны понимать, что Романовых охраняют не десяток-другой солдат, а сотня-две, не меньше, а вас четверо!

— Мы, господин полковник, давали присягу на верность государю и других присяг не давали.

— Я тоже других присяг не давал, — сказал гордо Каппель и уже грустно добавил: — Мне очень не хочется вас отпускать, у меня каждый офицер на счету. Вы же видите — мы армия офицеров. Давайте сделаем так: я вас командирую в Новониколаевск, а вы уже сами решите, как добратся до Тобольска. Думаю, что вы согласитесь со мной, что в вашем случае необходима строжайшая конспирация. Кого вы еще возьмете с собой?

— Никого, — ответил Смирнитский.

— И все-таки — как вы сможете их освободить?

— Честно говоря, мы и сами не знаем. Мы просто попытаемся исполнить свой долг русских офицеров.

— Ах, Смирнитский, Смирнитский, я наслышан про вашу храбрость во время мартовских событий, когда вы

хотели спасти государыню с детьми и вам помешал Лавр Георгиевич Корнилов.

— Корнилов не смог бы мне помешать. Если бы государыня согласилась на мой план, то к тому времени, когда Корнилов прибыл в Царское Село, мы бы были уже в Пскове. И если бы даже Корнилов прибыл, мы бы его солдат разогнали! Государыня не разрешила.

— Ну, значит, Лавр Георгиевич приврал. Жаль, что нет с нами Лавра Георгиевича. Какая нелепая смерть: один снаряд влетел в комнату, где был Корнилов со штабом, и погиб только один он! Мистика? Судьба? Хорошо, что на Дону есть Деникин. Господа, я желаю вам успеха. Все свободны. Вас, Глеб Станиславич, прошу задержаться.

В течение двух часов Каппель и Смирнитский обсуждали маршрут движения офицеров до Тобольска. Генерал отдал свои личные топографические карты Западной Сибири, а также назвал несколько вариантов связи с ним и командующим чехословацким легионом полковником Войцеховским.

— Я с Сергеем Николаевичем знаком по германскому фронту, — сказал Смирнитский.

— Вот и очень хорошо. Я, если честно, не верю в положительный исход задуманной вами операции, но желаю вам удачи, капитан. И возвращайтесь живым, Глеб Станиславич, вы еще очень нужны своей отчизне.

— Спасибо, Владимир Оскарович.

Группа офицеров собиралась тайно и ушла тихо.

Сведения о Смирнитском и его отряде были получены большевиками через день. Сообщил попавший в плен к красным офицер армии Каппеля. С радостью сообщил — не просили. На допросе даже удивились:

— Что, жизнь свою сохранить хочешь, офицерик? Не выйдет.

— Нет. Царя ненавижу. За отречение...

XV

Председатель Уралсовета Шайя Головощекин, называвший себя почему-то русским именем Филипп, для решения

судьбы семьи Романовых поехал в Москву, к Якову Михайловичу Свердлову, который по рождению был Янкелем Мирановичем, но перед этим заехал в Петроград к Григорию Евсеевичу Зиновьеву, который по папе с мамой был Гершем Ароновичем Радомильским. Большевики Шайя, Янкель и Герш быстро договорились между собой, и Свердлов ввел Шайю в Кремль, за стены которого только-только, в марте, спряталось большевистское правительство.

Евреи, руководители советской власти в России, страшно боялись называть свои настоящие имена, отчества и фамилии. Все почему-то хотели выглядеть русскими. Хотя на любого посмотреть...

Состоялся секретный разговор вождя большевиков Ленина, Свердлова и Филиппки Головощекина о судьбе семьи бывшего царя.

Владимир Ильич вначале предложил убить только императора и императрицу.

— Давайте действовать, как французская революция, — детей не трогаем! — предложил он.

— Владимир Ильич, Россия — не Франция! Нас народ не поймет. Если мы оставим живыми наследника и дочерей, которых монархисты всех мастей хотят освободить, это никак не будет способствовать укреплению нашей власти. Надо уничтожить всех! — сказал маленький, картавый и вечно злой Янкель Свердлов.

— Я тоже, товарищ Ленин, считаю, что надо уничтожить всех Романовых, — поддержал Свердлова Шайя Головощекин.

— А что скажет о нас история? — с пафосом спросил сам себя Ленин и по привычке забегал по кабинету.

— История скажет нам спасибо, Владимир Ильич. Нас заставили, и мы защищали первое в мире государство рабочих и крестьян, — ответил на слова Ленина Свердлов.

— И как вы, Яков Михайлович, предлагаете это сделать? — продолжая бегать, спросил Ленин у Свердлова.

— Я предлагаю, провести совещание Центрального исполкома, на котором принять решение о переводе семьи Романовых в Москву для проведения народного суда. Это

будет официальной версией. Но привозить в Москву мы их не будем, а в связи с возможностью освобождения царя и его семьи восставшими чехами и сибирской Белой армией они будут приговорены к смерти, но не нами, а как бы Уралсоветом, который примет такое решение. Товарищ Головощекин и примет. И еще одно, товарищ Филипп: у нас есть сведения, что группа царских офицеров хочет освободить бывшего императора и его семью. Сведения достоверные, получены из армии Каппеля...

— Ох уж этот Каппель! Наверное, мнит себя спасителем России. Этот монархист, этот маленький Наполеон... И ведь всех бьет. Надо что-то против него предпринять. Надо менять командование. Где у нас мой любимчик Тухачевский? — вмешался в разговор бегающий по кабинету Ленин.

— Подождите, Владимир Ильич, с Тухачевским. Вы же знаете, что он под Самарой, воюет именно с Каппелем, и, кстати, плохо воюет! Бьют его! Давайте вернемся к нашему вопросу, — перебил Ленина Свердлов и обратился к Головощекину: — Нами в Тобольск направляются товарищ Яковлев и двести красноармейцев; они должны доставить семью Романовых к вам в Екатеринбург. Подготовьте надежный дом для содержания и охраны Романовых. Романовы по прибытии в Екатеринбург должны быть арестованы ЧК. Вы, Филипп, если обстановка изменится к худшему, пошлете нам телеграмму, лучше через Зиновьева, через Петроград, и мы сообщим, опять же через Зиновьева, согласованную закодированную фразу, которая и будет обозначать одно — расстрел! Но для западного мира объявим, что вся семья гражданина Романова, кроме бывшего императора, переведена в надежное место и все члены семьи живы и здоровы. Необходимо, товарищ Головощекин, уничтожить и всех сопровождающих семью бывшего императора: доктора, поваров, фрейлин — никаких свидетелей не должно остаться... — Свердлов повернулся к Ленину: — Также, Владимир Ильич, мы предлагаем уничтожить и содержащихся в Алапаевске членов императорского дома — всех находящихся там князей и княжон. С российс-

ким домом Романовых надо покончить раз и навсегда. Владимир Ильич, вы поддерживаете наше предложение?

— Романовы — это флаг контрреволюции! — крикнул Ленин и, трусливо опустив голову, тихо добавил: — Я, как того требуют товарищи и сложившаяся историческая ситуация, согласен с расстрелом. Насчет доктора... Там, кажется, Евгений Боткин — сын знаменитого Сергея Сергеевича Боткина? Жалко. Попробуйте его оставить в живых.

— Попробуем, Владимир Ильич, — сказал недовольно Свердлов и продолжил: — И еще, товарищ Головощекин. У вас, там, в Уралсовете, работает наш товарищ Петр Лазаревич Войков, привлечите его — он настоящий борец с царизмом.

— Да-да, он особенно отличился в реквизиции хлеба у крестьян.

— Не у крестьян, товарищ Головощекин, а у мироедов-кулаков. Крестьянин — он за нашу власть и хлеб сам везет на сборные пункты. Или у вас не так? — поправил Ленин.

— Так-так! — испуганно ответил Головощекин.

— Вы о ком спросили, Яков Михайлович, я прослушал?

— О Войкове. Да вы его должны помнить, Владимир Ильич, по Швейцарии, курчавый такой, да он же с вами вместе через Швецию возвращался в одном вагоне.

— А-а! Помню, помню. Только никакой он не Войков, а Пинхус Вайнер. Уж меня-то вы, товарищ Свердлов, с именами не проведете, — Ленин залиvisto засмеялся. — Надо же — Петр Войков! Я помню его клички: «Петрусь», «Интеллигент», «Белокурый». А насчет курчавости — вы на себя-то посмотрите, Яков Михайлович, или на Троцкого. — Ленин опять засмеялся. — Вот, вот где, — он постучал по своему лысому черепу, — единственная среди вас русская голова!.. Впрочем, если по батюшке, то не очень-то и русская. У большевиков нет национальности и отечества! Всемирное государство рабочих и крестьян...

Ленин завелся и говорил, и говорил... Свердлов с Головощекиным с восхищением слушали. А Ленину главное — чтобы слушатель был. В таланте говорить, спорить, бросать лозунги ему не было равных.

Шайя Исаевич Головощекин с устными наставлениями Янкеля Мирамовича Свердловца отбыл в Екатеринбург. Участь Романовых была решена...

Уралсовет, возглавляемый Головощекиным, назначил комендантом дома купца Ипатьева в Екатеринбурге, где содержалась доставленная из Тобольска царская семья, Янкеля Хаймовича Юровского, почему-то тоже изменившего имя-отчество на Якова Михайловича.

Большевики, возглавляемые ненавидящим русских «человеком без отчизны» Ульяновым (Лениным) и Лейбой Давидовичем Бронштейном-Троцким, не только совершили октябрьский переворот в России, но и казнили последнего российского императора и его семью.

XVI

Все почему-то не заладилось сразу. В Тобольске, в пустом доме, где содержался бывший император с семьей, оказалась засада. Семьи Романовых уже не было — она за два дня до прибытия отряда в этот тихий, провинциальный сибирский город была отправлена в Тюмень на пароходе «Русь». Охрана составляла из двухсот солдат Красной армии.

В перестрелке в Тобольске погиб капитан Пороховщиков. Три офицера пустились в погоню. В Тюмени Николая Романова с женой и тремя дочерьми сразу же пересадили в поезд и отправили в Екатеринбург. Наследник и младшая дочь Анастасия заболели и были оставлены в городе под усиленной охраной. Но Уральский совет потребовал немедленно отправить оставшихся детей, и их, больных, на носилках, отправили поездом, состоящим из паровоза и двух вагонов с солдатами, в Екатеринбург. Рок сопровождал офицеров. Они опоздали на один день.

И вот сейчас они были в Екатеринбурге и уже знали, что семья императора содержится в доме купца Ипатьева и очень строго охраняется. Двухэтажный дом из-за высокого забора был почти не виден.

— Что будем делать господа? Нас трое, а охрана — человек тридцать, — спросил Смирнитский.

— А нам ничего не остается, как принять бой и попробовать освободить царскую семью, — сказал прапорщик Никита Переверзев.

— Они нас не подпустят к ним. Я думаю, что у них есть план на случай нападения — сразу убить всех членов семьи, — сказал Глеб Смирнитский.

— Вот если бы предупредить царя, что мы здесь... Но как? — сказал Переверзев.

— Там мальчишку одного выпускают за ворота, — подсказал штабс-капитан Добрынин. — Может, через него можно? Запиской.

— А если испугается или обыскивают с ног до головы? — спросил Никита Переверзев.

— Как предупредить, я знаю, — Глеб Смирнитский снял с шеи золотую иконку. — Мне государыня подарила в марте семнадцатого. Ах, если бы она тогда согласилась бежать — мы бы успели. Корнилов арестовывать ее и детей приехал лишь через десять часов.

— Так давайте через мальчишку и передадим, — обрадовался Никита.

На следующий день, когда маленький мальчик вышел за ворота, Смирнитский и Добрынин, оставив следить за домом Никиту Переверзева, пошли следом за мальчиком и дошли до небольшого домика на окраине города.

Смирнитский через соседей выяснил, что мальчика зовут Ленька Седнев и живет он здесь вместе с матерью-одиночкой, правда, к ним недавно приезжал какой-то дядька, говорят, очень важный человек — повар у царя. Только что здесь делать царскому-то повару? Врут!

Добрынин спрятался в кусты, а Глеб вошел в дом. Мать мальчика, красивая молодая женщина, испугавшись, уронила тарелку на пол.

— На счастье. Не бойтесь, меня зовут Глеб Смирнитский, и ничего плохого я вам не сделаю. Мне бы хотелось задать несколько вопросов вашему сыну, и все.

— Вы из охраны того дома? Вы по поводу моего дяди? Так я ничего не знаю. Его как тогда забрали, так я о нем ничего больше не слышала.

— Нет, я не знаю, что с вашим дядей. Меня интересует дом, где подрабатывает ваш сын.

Женщина заплакала и рассказала, что она знает, что в доме Ипатьева содержится царская семья. Ее дядя, Иван Дмитриевич Седнев, лакей у великих княжон, прибыл вместе с ними из Тобольска. Он и привлек ее сына к работе поваренком в доме. Но вот дядя пропал. И она боится, что его уже нет в живых.

Мальчик, ее сын, оказался веселым, подвижным ребенком. Он рассказал, что помогает на кухне, но больше играет с таким же, как он, мальчиком, только немного постарше, которого зовут Алексей. Леша больной и почти не ходит, и он его катает на коляске, но Леша хороший мальчик — очень добрый, все время дарит ему конфеты, а он их не ест и приносит маме. И родители и сестры у Леша очень хорошие, а солдаты злые — их очень много, они даже сопровождают сестер, когда те идут в уборную, и съедают всю их еду. И они все время нехорошо ругаются и говорят, что Лешу и родителей надо убить, а то скоро придет кто-то и может их освободить. Леша и его сестры от этих слов плачут и убегают в свои комнаты на втором этаже. А солдаты смеются. Его, Леньку, не обыскивают. Смирнитский дал денег и уговорил мать мальчика, чтобы тот передал Алеше, с которым он играет, маленькую иконку, которую Глеб и повесил ему на шею.

XVII

— Мама, посмотри, что мне Леня передал, — тихо сказал Алексей и разжал ладонь.

— Боже, моя иконка. Дай, я покажу отцу.

Поздно вечером, когда охрана перестала топтать ногами, Александра Федоровна показала иконку Николаю Александровичу.

— Помнишь, я тебе рассказывала об этом смелом капитане, который хотел спасти меня и детей в Царском Селе. Ах, зачем я тогда не согласилась?

— Да, Алиса, надо было соглашаться. Откуда она у тебя?

— Ее передал Алексею Ленька-поваренок.

— Ты хочешь сказать, что этот капитан уже здесь, в Екатеринбурге, и он опять хочет нас спасти?

— Да, Ники! Я так счастлива. Свобода рядом.

— Господи, как я хочу этого. Ладно я — но чтобы свободны были вы. И я не пойму, зачем они держат детей — мы уже не императорская семья. Мы простые граждане.

— Не знаю, Ники. Наверное, чтобы мы не сбежали. Куда мы убежим с детьми? Мне страшно, Ники. Мне очень страшно за наших детей. Ты посмотри, как эти солдаты ведут себя по отношению к ним, ты слышишь, что они говорят? Девочки по ночам плачут от страха и унижений.

— Знаешь, Алиса, сегодня произошел странный случай: один из солдат уронил керамическую бутылку, которую привез этот курчавый еврей, как его... Войков, кажется. И этот солдат сжег себе ногу — в бутылке оказалась кислота! Зачем им кислота?

— Не знаю, Ники, но я боюсь... Такое страшное чувство, что вот-вот ударит молния... Ах, Ники, Ники, что же я наделала тогда, в марте? Хорошо, что этот офицер где-то рядом. Он нас спасет, обязательно спасет! Знаешь, Ники я уже не государыня и все больше и больше превращаюсь в простую русскую бабу, занятую домом и семьей, и мне это все больше и больше нравится. Если мы спасемся и уедем из этой страны, то поселимся где-нибудь в маленьком домике с садиком и будем нянчить внуков. Не в Европе, где-нибудь в Южной Америке.

— Как бы это было хорошо, — грустно согласился Николай Александрович Романов.

Александра Федоровна стала шептать молитву и целовать иконку. «Господи! Спаси и сохрани...» — шептала она.

Без стука в спальню вошел Юровский и громко сказал:

— Граждане Романовы, вам необходимо спуститься в подвал, где вас будут фотографировать.

— Что, ночью? — спросил Николай Александрович.

— Это для вас ночь, гражданин Романов, а для нас заря революции! Одевайтесь и идите. Будет сделан общий снимок, а то мировая буржуазия уже все уши прожужжала, что

наша власть вас расстреляла. Наша власть вместе с пролетариями всех стран скоро всех буржуев точно поставит к стенке, вот они и боятся. Хотя, по мне, так вас давно надо было казнить...

Все спустились в подвал. Даже в подвале было слышно, как во дворе на полную мощь ревел автомобиль. Ночью? По пути в подвал Юровский остановил доктора Боткина и отвел его в сторону.

— Евгений Сергеевич, вам не обязательно фотографироваться.

— Вы, товарищ Юровский, уже предлагали мне покинуть семью Романовых. Я ведь понимаю почему. И скажу вам повторно: я врач и своих пациентов не бросаю.

И Боткин, отстранившись от Юровского, пошел к лестнице, ведущей в подвал. Туда же спускались камердинер Алексей Егорович Трупп и комнатная девушка Анна Степановна Демидова. Она почему-то шла с маленькой подушкой. В подвале было тесно от людей. Вся семья Романовых, полураздетая, сонная стояла напряженно, и в глазах их были страх и удивление. Принесли два стула, на которые сели император с женой. Дети, как положено для семейной фотографии, встали рядом. Фотографического аппарата не было. Юровский стоял с двумя солдатами напротив сидящей семьи Романовых и, достав из кармана лист бумаги, зачитал:

— Революция в опасности. Наши враги хотят освободить вас, поэтому вы приговорены к расстрелу...

— Что, что? — спросил, вставая в удивлении со стула, Николай Романов.

Это были его последние слова — открылись двери, и в подвал вбежали красноармейцы с винтовками и револьверами и стали стрелять.

Не погибших сразу от пуль великих княжон, наследника Алексея, комнатную девушку императрицы Анну Демидову добивали штыками, да с такой силой, что штыки пробивали тела и вонзались в пол. А наследник, весь в крови, хватался, разрезая руки, за штык, все не умирал и кричал жалобно:

— Ай, больно! За что, дяденьки? Не убивайте! Спасите!.. А-а-а!..

— Дай сюда! — Юровский выхватил у неумелого солдата винтовку и с силой вонзил штык в грудь Алексея. — Вот так надо расправляться с врагами революции. Стреляйте всем им в головы. Потом разденьте и в машину. Все найденные ценности передать мне, и не вздумайте что-нибудь украсть — лично расстреляю!

Солдат, не сумевший убить цесаревича, заметил свисающую из сжатого кулака мертвой царицы золотую цепочку. Попробовал разжать кулак — не получилось. Тогда он отстегнул плоский немецкий штык-нож от винтовки и с трудом из-за тупости ножа кромсая, отрезал большой палец и разжал ладонь. На ладони, в темной крови, лежала небольшая золотая иконка. Солдат оглянулся — никто не видит — и сунул иконку себе в карман. Новая большевистская власть быстро учила народ «грабить награбленное».

Приказ о расстреле царской семьи отдал Филиппка Головощекин, который за день до убийства отправил в Петроград Зиновьеву телеграмму с закодированными словами: «Филиппов суд не терпит отлагательств». Зиновьев связался по телефону с Кремлем, с Лениным и Свердловым и получил кодовое слово — добро на расстрел, которое и отправил Филиппке в Уралсовет. Все было так законспирировано...

XVIII

В эту ночь Смирнитский с Добрыниным были в городе, где у них была назначена встреча с представителями антибольшевистского Центра Екатеринбурга.

Никита Переверзев был оставлен наблюдать за домом, где содержалась царская семья.

— Прошу тебя, Никита, что бы ни случилось, что бы ты ни увидел, ни во что не вмешивайся. Твоя задача следить. Мы либо с подмогой, либо одни вернемся утром, — сказал, прощаясь Смирнитский.

Смирнитский просил на встрече с Центром помощи в освобождении царской семьи и не нашел согласия. За бывшего царя умирать никто не хотел!

— Да, мы знаем, что в доме купца Ипатьева содержится семья бывшего царя — вон какой забор вокруг дома возвели. Ну и что может случиться с бывшим царем, а ныне гражданином Романовым? — говорил руководитель Центра. — Если уж и расстреляют, то одного Николая Романова, но никак не семью. Зачем такая слава большевикам? А бывшего царя мы защищать не будем. Нам царь не нужен — не для того в феврале революцию делали. Сами освобождайте, если сможете. Там, говорят, солдат, человек сто. И что, на пули лезть? Нет, увольте! Тем более на подходе к городу чехи. Через неделю они будут здесь — вот вам и подмога!

— А вы думаете, что большевики не знают, что чехи вот-вот возьмут город? Они не допустят, чтобы Романовы остались живы, — доказывал Смирнитский.

— Нет, нет и нет... — слышалось в ответ.

Уговоры оказались бесполезными.

— Мне бы очень хотелось, чтобы вы оказались правы в отношении судьбы царской семьи, но я в это не верю. Они убьют всю семью. И в том, что мы не сможем их спасти, будет и ваша вина. Сегодня большевики безнаказанно убьют царскую семью, завтра — вас и ваших детей. Вы это вспомните, да поздно будет. Честь не отдаю — не заслуживаете! — сказал на прощание Смирнитский.

— Мы подождем, когда придет армия — целее будем, — ответил руководитель Центра. — А честь ваша, офицерская, нам не нужна, у нас своя есть — купеческая...

Не получив согласия на помощь, Смирнитский понял, что не только зря терял время, но и самое плохое — позволил себя обнаружить и открыть свои планы.

— Что будем делать, Александр? — спросил Добрынина Глеб. — Я боюсь, что о нашем появлении будет уже сегодня известно большевикам.

— Надо либо уходить из города, либо брать штурмом дом. Государь же знает, что мы здесь.

— Уже рассвет, пойдем, надо начинать, пока день не наступил и пока эти «с купеческим словом» все не рассказали большевикам.

— Ты думаешь?

— Я уверен, что среди них есть агенты большевиков. Пойдем скорей, что-то беспокоит у меня на душе.

Двое в утренней дымке неслышно пошли по городу, даже собаки не залаяли...

Никита Переверзев, услышав ночью, как за забором заработал двигатель автомобиля, подумал: «Чего это они, ночью?» И вдруг послышались щелчки, глухие, непонятные, но Никита уже воевал и легко понял, что это звуки пистолетных выстрелов. «Боже! Как много! Они там стреляют! Они их расстреливают?! Убивают! О Господи, где же Смирнитский с Добрыниным?» Автомобиль работал непрерывно больше часа, потом все стихло, еще через час вновь заурчал двигатель и открылись ворота. В серость раннего утра выехала с освещенными фарами крытая машина. Никита Переверзев, забыв все, что ему говорил Глеб, не выдержал, выскочил на дорогу с револьвером и стал стрелять в стекло кабины.

Сидевший рядом с водителем Юровский в этот момент зло думал о Войкове: «Трус! Привез кислоту и в кусты! Стрелять испугался — уехал! Все приходится делать самому. А потом, бл...ь, будет всем рассказывать, что это он царя прикончил. Знаем мы таких — жидов пархатых!» — и, заметив в свете фар Переверзева раньше, чем тот выстрелил, Юровский схватил за армейскую гимнастерку шофера и, резко подтянув на себя, спрятался за него.

Никита выпустил все патроны из нагана в разлетевшееся от выстрелов стекло и все продолжал нажимать на спусковой крючок, не замечая, что барабан щелкает вхолостую. Юровский, услышав щелчки, оттолкнул убитого водителя и через разбитое стекло выстрелил в Переверзева. Пуля попала в грудь, и Никита, захрипев кровью, упал. Юровский выскочил из машины и, подбежав к умирающему, в исступлении, с криком: «Получай! Получай!..» — выпустил в тело юноши все патроны из своего нагана. От открытых ворот бежали солдаты.

— Чего рты раззявили! Струсили, стрелять разучились, сволочи? Все за вас я делать должен, — заорал Юровский, подошел к машине и вытащил убитого водителя. — Времени нет. Трупы затащите во двор, ворота закройте и ждите нас. Да водку, суки, не пейте. Расстреляю!

Юровский сел за руль, и машина двинулась за город по тихим, настороженно-сонным улицам в сторону леса...

XIX

В кустах Никиты не было. Со стороны дома стояла зловещая тишина. Ворота были почему-то приоткрыты. Охраны не было видно. Смирнитский тихо прошел по дороге и обнаружил большое количество стреляных гильз, осколки стекла, песок, пропитанный кровью, и следы от машины.

Вдруг из-за забора, от дома, донеслась пьяная песня и ругательства.

— Пошли, — тихо сказал Глеб и достал браунинг.

Двое прошли в приоткрытую щель ворот.

Никита Переверзев лежал на траве и смотрел мертвыми глазами на утреннее июльское небо. Рядом лежали мертвый солдат с обезображенным выстрелами лицом и две лопаты. Смирнитский понял все, и слезы выступили на его глазах...

— Ах, Никита, Никита, — тихо сказал Глеб и быстро перебежал под дом, — Александр, все делаем тихо, желатель-но без стрельбы.

Четверо солдат в застиранных гимнастерках сидели в спальне на кровати бывшего императора и его жены. Они сидели на этой, еще теплой от тел уже умерших людей, расстеленной кровати в грязных сапогах, пили водку и перебирали фотографии с Романовыми. Они рассматривали эти фотографии и с хохотом и матом плевали на снимки.

— Ты, Никифор, чего-нибудь взял себе? — спросил один из солдат.

— Да я взял кольца с девок царских, но у меня отобрали. И зачем я пальцы отрезал, чтобы потом это кому-то другому досталось? — ответил другой и крикнул: — Ну хоть бы одна фотография с голой бабой! Тьфу — все цари.

— И у меня тоже Юровский, сука, все забрал, — сказал третий.

— А я ничего не взял — побоялся с мертвых брать. Да и стрелял я мимо, — сказал молоденький лопоухий солдатик. — И жалко мне мальчишку и девчонок.

— Ну и дурак! А пули-то от них как отскакивали! Особенно от подушки у этой дуры-девки. Подстилка царская, думала, спасется этой шкатулкой. Юровский-то, сука, сразу догадался, потому к бабе и бросился. Пристрелил в голову и подушку забрал.

— А у меня штык забрал и мальчишку добивал. Жутко тот кричал, как зайчонок.

Молоденькому солдатику, который не стрелял, стало плохо, и он побежал из комнаты вниз, в уборную.

— Молодой еще, не привык врагов уничтожать, — сказал пьяный Никифор и заерзал грязными сапогами по постели.

— А нас-то чего Юровский не взял с собой?

— Радуйся. Еще неизвестно, вернутся ли все живыми после такого дела.

— А какое дело — вывезли да закопали.

— Ты думаешь? Нет — тут следов оставлять нельзя. Я бы и этот дом спалил. Да и Ванька-то ногу сжег до костей из этой бутылки, что курчавый, как его... Во...во-о... бл...дь, язык сломаешь... Войков — вот, привез. Говорят: кислота. Польют на человека, и все — ничего не останется.

— Да ты че?!

— Вот тебе и че. Пусть уж лучше без нас. Не по-божески это, — солдатик криво перекрестился.

— А этого, который следил за домом, почему живьем-то не схватили?

— А я откуда знаю? Спроси у Юровского.

— И как Юровский-то живой остался, если рядом с шофером сидел?

— Неужели не догадался, дурья твоя голова? Да он шофером и прикрылся.

— Вот сука!

— А чего ты хочешь — жид! Эти все награбят в свой карман, а потом немцам продадутся. А мы, русские, как всегда, крайние... Наливай, Никифор.

Смирнитский с Добрыниным через заднюю дверь, ведущую в кухню, тихо проникли в дом. Было слышно, как в уборной кто-то блевал. Подошли и тихонько открыли дверь. Солдатик стоял, наклонившись, плевался и подвывал: «У-у-у! Хреново-то как. У-у...» Смирнитский ткнул пистолетом в спину и прошептал:

— Тихо!

Солдатик икнул и чуть не подавился. Закашлялся. Со второго этажа неся мат.

— Сколько всего солдат в доме?

— Да нас всего четверо осталось. Все остальные с Юровским уехали, царей хоронить.

— Куда уехали?

— Я не знаю. Дяденька, не убивайте. Я ничего не сделал, я даже в царей-то не стрелял. Побоялся. Дяденька, не стреляйте.

— А где расстреляли семью?

— Так в подвале. Юровский приказал всем спуститься, вроде как для фотографии, и все — расстреляли всех.

— А ты, значит, не стрелял? — сказал Добрынин и ударил ручкой нагана в затылок. Кость хрустнула — солдат упал головой в дырку в заблеванном полу.

— Пошли, — тихо сказал Глеб.

Когда в спальню вошли двое в мятых гражданских костюмах, один из солдатиков пьяно кричал:

— А я вот все-таки кое-что прихватил, — и солдат показал золотую иконку на цепочке. — Сучка царицка в руке держала, пришлось палец отрезать, чтобы вытащить. Красивая вещица. Хочу своей крале подарить... — и забулькал кровью — пуля вошла ему в рот.

— Отвечать быстро — куда увезли расстрелянных?

— Мы не знаем. Мы только охраняли.

— Почему так спешно расстреляли — ночью?

— Мы не знаем. Приехал в ночь этот... Войков, что-то рассказал Юровскому и уехал. А нас Яков Михалыч собрал

и сказал, что царя хотят освободить и поэтому приказано их расстрелять. Всех в подвал согнали, мы стулья принесли, и их, как будто для фотографии, усадили. Он приказ им в подвале и зачитал. Не слышно было — стрелять сразу стали. Всех и расстреляли: и царя, и царицу, и детей, и доктора с девкой, что подушкой прикрывалась. Все цацки, что при них были, забрал Юровский. У всех же даже карманы вывернули. Как Семен иконку-то утаил, мы не знаем. У нас ничего нет. Не стреляйте, мы же люди подневольные.

— А где прислуга по дому?

— Так всех домой еще к ночи отправили. Никого не было, кроме нас. Отправили, наверное, чтобы никто не знал.

— Ты, подневольный, в кого стрелял — в царя или царицу?

— Нет, я стрелял в одну из дочек. Я в царя не стрелял.

— И я в царя не стрелял. Я в доктора, а потом уж в дочек. Это Юровский приказал. Он виноват!

Два выстрела прекратили жизнь убийц.

Смирнитский разжал пальцы у мертвого Семена и вытащил в засохшей крови золотую иконку.

— Простите, ваше величество, — прошептал он, и слезы выступили в его глазах. — Не успел.

Собрав разбросанные снимки императорской семьи, два человека вышли из дома и, прихватив во дворе лопату, понесли на плечах тело своего убитого товарища. Похоронив в ближайшем лесочке Никиту Переверзева, они покинули ставший для них ненавистным город. Над могилой Смирнитский тихо сказал:

— Прости меня, Никита, что не уберег тебя, — и, повернувшись к Добрынину, произнес: — Он ведь даже не знал, что я его брат. Двоюродный.

— Не может быть! И ты молчал?

— Пойми, Александр, он же для нас с тобой был продолжением Сергея. Как я мог сказать? Да и не думал, что вот так глупо погибнет... Из-за меня.

— Не из-за вас, Глеб Станиславич. Из-за бывшего императора.

— Ты так думаешь?

— Знаю...

Через неделю они сидели в кабинете полковника, командира чехословацких легионов Сергея Николаевича Войцеховского.

Глеб Смирнитский пил водку, не закусывал и плакал:

— Почему, почему, Сергей Николаевич, я в марте семнадцатого не настоял, силой не увез царицу с семьей... ну хотя бы детей? Почему государыня не согласилась?

— Этого, Глеб Станиславич, мы не узнаем уже никогда.

XX

Почти триста километров по тылам Красной армии третью неделю шел небольшой, в три сотни сабель, отряд под командованием капитана Смирнитского. Это было его предложение командующему армией Каппелю: пройти по тылам красных войск, нападая на небольшие воинские части, захватывая штабные документы и наводя страх и панику на красноармейцев.

— Разведка вернулась, господин капитан, — лошадь под казацким сотником пританцовывала. — В деревне какая-то воинская часть красных. Охраны почти нет, — не боятся, фронт-то вон где. Языка взяли.

— Давайте его сюда.

К Смирнитскому подвели небольшого худенького мужика в поношенной гимнастерке, со связанными сзади руками.

— Развяжите, — приказал Смирнитский.

Пленному развязали руки, и он стал растирать затекшие кисти, и было видно, что они у него крепкие, жилистые, какие бывают у много и тяжело работающих людей.

— Крестьянин? Местный? — спросил Смирнитский.

— Да, ваше благородие, из Симков мы — отсюда верст пятьдесят к Оренбургу-городу.

— Воевал на германской?

— Нет, у меня детей пять душ. А вот красные пришли и пригрозили: если не пойду, расстреляют всю семью... и пошел.

— Да врет он все, господин капитан, — вмешался стоявший рядом со Смирнитским казацкий сотник.

— А если и врет, то что? Не мешайте, сотник... Как тебя зовут?

— Ефим, ваше благородие.

— Скажи, Ефим, что за военные в селе? Кстати, как называется село?

— Так это Лабищенское. У меня здесь свояк живет. С германской без ноги вернулся, — повезло, больше никто не забирает в солдаты: ни красные, ни ваши. А военные — так это штаб товарища Чапая.

— Какого еще Чапая? — опять вмешался сотник.

— Я вас, сотник, просил не мешать, — зло сказал Смирнитский. — Помолчите, прошу вас. И да будет вам известно, сотник, Чапаев — это начальник, как выражаются, отменив воинские звания, большевики, 25-й дивизии, армии товарища Тухачевского... Много солдат в деревне, Ефим?

— Не. Сотни две, не больше.

— А сам штаб где?

— Так рядом с церковью, в помещицьем доме, под железной крышей. Хорошая крыша, у нас в деревне таких нет. Так бы и забрал.

— Так мы сейчас красных разобьем и забирай.

— Неужели не расстреляете?

— Зачем. Иди — паши землю, корми своих детей. Только пока посиди здесь, подожди и не кричи.

— Да что я, непонятливый, что ли? Спасибо, ваше благородие.

— И что? Правда отпустите, господин капитан? — спросил удивленно сотник — Он же красный!

— Он, сотник, просто крестьянин, которому главное — землю пахать... Так, слушайте приказ, сотник. Тихо-тихо подойти к селу — и в шашки. Чапаева и штаб желательно захватить живьем. Не дайте им уйти.

— Куда он уйдет, господин капитан? Мы их к реке прижмем, и все. Не полезут же они в такую-то воду.

От темноты леса в утреннем, сыром, низко стелющемся над травой тумане отделились точки и стали быстро-быст-

ро двигаться по лугу, по росе, к селу. Кони заржали — сонные сторожевые закричали, передернули затворы и стали стрелять в несущихся на них всадников. Поздно — казаки ворвались на улицы и начали рубить красноармейцев. Чапаев, в одних кальсонах и рубахе, бегал с наганом и старался созвать бойцов. В панике всякая армия превращается в толпу!..

Чапаев дрался храбро и зло — не зря три солдатских «Геоργия» за германскую имел. Раненный в живот, с горсткой солдат, пробился к реке и уплыл. Яик, переименованный в Урал по указу Екатерины Великой в страхе перед народной памятью о «ее муже» Емельке Пугачеве, — река стремительная и холодная.

— Ну и где Чапаев? — спросил Смирнитский сотника.

— Так уплыл, сволочь. В такую-то воду залез и уплыл. Наши стреляли... Не, по такой воде не доплывет...

— Ну-ну, вот вам, сотник, и не поплывет.

Штабные документы были захвачены. Пленных Смирнитский приказал отпустить. Ну какие пленные в глубоком тылу Красной армии — обуза. Красноармейцы крестились и плача падали на колени. Казаки скрипя зубами, вращали над головами пленных шашками, но послушаться боялись — капитан-то не простой, вон, весь в крестах — расстреляет и не поморщится, насмотрелись на таких на фронте.

В лесу остывал зарубленный труп солдата-крестьянина. Сотник постарался...

Ни комиссара Фурманова, ни порученца Петьки Исаева среди пленных и убитых не было. Может, вместе с Чапаевым уплыли?

XXI

Командующий 5-й армией Восточного фронта Михаил Николаевич Тухачевский мог не спать сутками, разрабатывая планы наступлений на противника. С восемнадцатого года, когда подполковник Каппель разбил Тухачевского под Сызранью, Самарой и Симбирском прошло больше года. Куда поручику до офицера Генерального штаба! Но Туха-

чевский быстро учился воевать и самое главное — перестал подчиненным ему командирам доверять. Понял, что все разработанные им планы наступлений сразу становились известны противнику. Он стал разрабатывать операции один и детально, и эти детали даже для его штаба были разрозненными осколками. Он отдавал приказы отдельным командирам, и они не знали, что делает в это время другой командир. Тухачевский понимал: главное — тайна и скорость. И эта тактика сразу дала свои плоды — белые терпели одно поражение за другим. Вот и сейчас был захвачен Омск, в котором без боя сдались тридцать тысяч солдат противника, а Тухачевский уже готовился к следующему наступлению — на Красноярск. Он уже понимал, что после Красноярска белым будет не за что зацепиться и они побегут к Иркутску, к Байкалу. Война была почти выиграна.

Когда он работал, никто не мог ему мешать — он не переносил шума...

— Ферাপонтов, что там происходит? Мешают работать.

Ординарец командующего армией, двадцатилетнего Михаила Тухачевского, Архип Ферাপонтов, состоявший у него в денщиках еще в четырнадцатом, на германском фронте, выскочил из поезда и побежал к толпе красноармейцев. Вернулся быстро.

— Там, товарищ командующий, белых поймали и на расстрел повели. Один-то весь в наградах, с семеновским крестом, подполковник. Вот, оружие у него отобрали, — и Ферапонтов положил на стол браунинг и шашку с Аннинским орденом и «клюквой». — Мне даже показалось, что я его во время империалистической видел в нашем полку, только он с другой роты был.

Тухачевский посмотрел на пистолет и шашку. Потом рывком вскочил и стремительно побежал мимо успевшего отскочить в сторону Ферапонтова к выходу из вагона, крича стоящим на морозе солдатам: «Стой! Приказываю — стой! — на ходу вытащил из кобуры пистолет и стал стрелять в воздух. — Стой!»

Солдаты обернулись и удивленно стали расступаться перед командующим. В центре круга стояли пять человек,

четверо — офицеры и один в гражданской одежде: в шубе и меховой шапке. Смирнитского Тухачевский узнал сразу: с аккуратной бородой, подтянутый и, несмотря на мороз, без шинели — в одном кителе с многочисленными орденами и погонах подполковника.

— Этого я забираю с собой! — сказал тоном, не терпящим возражений, Тухачевский и показал на Смирнитского.

— А что с другими-то делать, товарищ командующий?

— Делайте то, что положено делать по революционному суду.

— Я... — начал Смирнитский.

— Помолчите, подполковник. Ведите его ко мне в вагон, — сказал Тухачевский и, развернувшись, пошел к вагону, из которого уже выбежал Архип Феропонтов, неся в руках красивый мягкий полушубок.

В огромном купе было уютно — это был один из царских вагонов, в котором император ездил на фронт. Удобная мебель, большой стол, хороший свет и, главное, было очень тепло. На столе стояли чайник, стаканы в серебряных подстаканниках, хлеб, масло, сушки, сахар и большой кусок жареного мяса. Тухачевский прошелся по огромному салону, поправил гимнастерку. На широкой груди блестел, обрамленный красной материей, орден Боевого Красного Знамени.

— Садись Глеб. Давай я тебе чаю налью.

— Перед смертью напоить хочешь?

— Прекрати, Глеб. Война.

— Какая война — брат на брата?

— Да. Только с вашей стороны еще и вся буржуазия.

— А с вашей?

— Народ с нашей стороны. Понимаешь, Глеб, народ!

— Там, — Смирнитский показал рукой на окно, — остались те, с кем я против вас воевал. Они тоже народ.

— Теперь уже их нет — чего вспоминать.

— Я, конечно, знал, что ты командуешь этой армией. Вы, Михаил Николаевич, бесспорно талантливый человек, но, по-видимому, у вашего Ленина служить-то никто не хочет, раз такой карьерный рост.

— Так и ты, Глеб, тоже не капитан. И царских офицеров, да и генералов у нас в Красной армии достаточно. Мы вас разобьем, Глеб. Переходи на нашу сторону.

— Я, товарищ Тухачевский, присягу один раз давал — государю. А насчет роста — так капитан лейб-гвардии равняется подполковнику пехоты, если вы, конечно, не забыли. Так что роста особого нет. Я вас, Михаил Николаевич, не осуждаю. Два года в плену, вернулся в другую страну, где царя уже не было; а я все те годы на германском фронте. Если уж честно — устал я воевать.

— А я не могу без войны.

— А ты и тогда, в германскую, был человеком войны. Не плен бы — точно до царского генерала, как хотел, дослужился бы. Правда, сейчас генерал, раз командуешь армией. Да у вас, как мне известно, рабоче-крестьянская армия, и дворянам в ней делать нечего. Так что вы, Михаил Николаевич, крестьянами командуете, вроде Пугачева. А я, была бы тогда возможность, в Польшу бы ушел. Пусть даже немецкую. Теперь-то она свободна. Немцев и без нас разбили, а ваш Ленин еще и половину России им отдал.

— Насчет крестьян, ты, Глеб, прав — крестьянская у нас армия. Так и та, царская, из крестьян состояла. А ты не задумывался, почему они за Ленина и его власть воюют? А потому, что эта власть отдает крестьянам землю, а фабрики рабочим. И вам ее не победить!

— Все это лозунги. Но ты-то кто в этом государстве: не крестьянин, не рабочий и даже не инженер. Кто?

— Я военный. А без военных нет государства. Любого.

— Станный ты и тебе подобные военные — воюете против тех, с кем вместе воевали. Да что там говорить: у вас же офицеров нет, у вас даже командиров нет — начальники. Ладно, поговорили и хватит, скажи своим красноармейцам — пусть ведут куда следует.

— Ты, Глеб, меня за кого принимаешь? Ты же мне друг, боевой товарищ. Я тебе своей жизнью обязан, и не один раз, и ты тогда, во время войны, моим в Москве не дал голодной смертью умереть. Я же все знаю. Не отдам я тебя,

Глеб, на расстрел. Я бы мог тебя отправить в тыл, но думаю, по дороге тебя прикончат...

— Да уж о твоих зверствах к нашим, да и к своим солдатам все наслышаны...

— Брось — война. Ваш Колчак вообще зверь.

— Колчак не мой. Я в армии Каппеля и зверств этих колчаковских не понимаю. Я офицер, а не каратель. На мне крови мирных людей нет.

— Знаю, рассказывали бойцы дивизии товарища Чапаева.

— Неужели выплыл?

— Нет, к сожалению... Скажи, Глеб, если я тебя отпущу, ты сможешь где-нибудь скрыться?

— Неужели отпустишь? Командующий красной армией отпускает на свободу колчаковца, подполковника? Тебя самого-то за это к стенке не поставят?

— А кто узнает, что я тебя отпустил? Если только ты сам скажешь, — глаза у Смирнитского стали темными. Тухачевский заметил. — Я не в обиду, Глеб. Когда ты к своим придешь, должен же какую-нибудь легенду, почему спасся, рассказать.

— Что, правда отпускаешь?

— Послушай меня, Глеб. Я не могу, как ты в семнадцатом, выйти к солдатам, встать рядом и чтобы отпустили. Обоих тут же и положат. Это другая армия. Классовая армия и классовая война. Здесь, в армии, главные — комиссары и ВЧК!

— Ленин с Дзержинским...

— Да Ленин с Дзержинским.

— И ты — смоленский, русский дворянин, им служишь?

— Прекрати, Глеб. Я служу своей стране и своему народу. А больше всего я служу моему богу — Марсу. Не могу я без войны! Послушай, что я предлагаю. Уже ночь, темно. С этой стороны вагона у меня охраны нет. Надевай мой полушубок, вот эту шапку со звездой, кстати, с царских складов, для русской армии как победительницы над немцами шилась, по подобию шлемов сказочных витязей, только звезду пришили; в ней ты за красноармейского командира

сойдешь, и через окно уходи. Если остановят, пароль-отзыв: «Байкал». Да, вот тебе твой пистолет. Сохранил мой подарок, спасибо. Шашку отдать не могу — сразу заметят, что царская. Дай бог, свидимся — верну. И прошу тебя, Глеб, уходи ты от войны. Если сможешь — в Польшу. Правда, я думаю, и Польшу мы обратно отвоюем. Дай только время. И Германия и Франция будут нашими. Мы завоюем весь мир!

— Господи, Михаил, да в своем ли ты уме? Вы стоите на грани гибели, со всех сторон восставший народ, Антанта против вас, мир против вас, а вы все о мировой революции. Ей-богу, ваш Ленин сумасшедший.

— Мы вас победим, и ты это знаешь. Постарайся, Глеб, остаться живым, и сам это увидишь.

За дверью купе раздался шум.

— Что, Ферাপонтов, у тебя опять за шум? — крикнул Тухачевский.

— Да дрова принесли, товарищ командующий, — слышалось в ответ.

— Это что за Ферাপонтов? Денщик, что ли, твой на германской? — спросил Глеб.

— Он самый. Нашел умирающим от голода в восемнадцатом, вот взял ординарцем.

— Туда бы ему и дорога. Он, когда тебя не стало, быстро на склад перебрался. Воровал страшно — хотели расстрелять, да февральский переворот все списал, отпустили, только из армии выгнали.

— Не знал. Жаль. Завтра же попрощаюсь.

Тухачевский осторожно выглянул за дверь — в коридоре никого не было. Прошел по тамбуру. За дверью, на входе в вагон стояли часовые.

Тухачевский вернулся и проговорил:

— Уходить тебе надо, пока Архип отлучился, — и с трудом, хотя и был невероятно силен, опустил засохшее окно.

— Прощай, Глеб. Спасибо тебе.

— Прощай, Михаил.

Тухачевский протянул руку, после секундного раздумья Глеб пожал протянутую ладонь.

Смирнитский выпрыгнул в темноту на снег. Около вагона лежал заметаемый поземкой солдат. «Ничего себе охраняемый вагон командующего», — удивился Глеб и исчез в ночи...

На следующий день Архип Ферапонтов сидел в губернском ЧК и писал донос. Он был завербованным осведомителем — вначале у Временного правительства, а пришли к власти большевики — у большевиков. И это они его к Тухачевскому приставили, разыграв сценку с голодной смертью.

Через неделю на столе Феликса Дзержинского лежала секретная докладная с Восточного фронта, в которой говорилось, что командующий армией М. Н. Тухачевский спас от расстрела белогвардейского подполковника Глеба Смирнитского, с которым служил в империалистическую войну в одном батальоне лейб-гвардии Семеновского полка. Тухачевский напоил врага чаем, переодел и помог ночью убежать. Найти на следующее утро Смирнитского не удалось.

Дзержинский записку внимательно прочитал. Обратил внимание на фамилию офицера. «Поляк? — подумал. — Ну отпустил и отпустил. Тем более вместе воевали. Хорошее качество для военного. Потом разберемся. Сейчас нам Тухачевский очень нужен. Ленин его прямо боготворит. Считает его спасителем республики. Некоторые на Ленина за это обижаются...» — и приказал подшить записку в дела ВЧК. Таких записок там было тысячи. Большевики быстро приучили русский народ писать доносы. Такое время наступало: если не ты, то — тебя!

Через две недели Тухачевского назначили командовать Кавказским фронтом — продолжать спасать советскую власть. Там что-то очень плохо это получалось у товарищей Сталина с Ворошиловым. Тухачевский Ферапонтова с собой не взял — отказал.

Архип не пропал: устроился ординарцем к командиру полка, а через полгода его, с учетом заслуг, вызвали в Москву и назначили в тюремный отдел ВЧК. В ВЧК еще не призывали бросаться ценными кадрами.

Пока Тухачевский разговаривал в своем вагоне с Глебом Смирнитским, происходили и другие события...

— Ты куда прешь? Это вагон командующего армией. Товарищ Тухачевский занят, — остановил в тамбуре солдата-шифровальщика ординарец командующего Архип Ферাপонтов.

— Так я с шифрограммой из Москвы.

— А-а! А что за шифрограмма?

— Не положено говорить, но она вообще-то адресована члену реввоенсовета армии товарищу Смирнову.

— Так и неси товарищу Смирнову. Она от кого?

— От заместителя Троцкого товарища Склянского.

— А-а! И чего Склянскому от нашего Смирнова нужно?

— Так там о Колчаке.

— Ну и чего ты несешь Тухачевскому? Неси Смирнову.

— Так командующий армией приказал все шифровки из Москвы вначале показывать ему.

— Иди отсюда, товарищ Тухачевский допрашивает беляка-офицера. Что-то, правда, долго допрашивает...

— Я подожду. У меня приказ.

«Стой! А ведь этот беляк, кажись, дружок Тухачевского? — вспомнил Архип. — Черт! Я его вспомнил, они же вместе на германском воевали. Как его... Смирнитский, кажется... Сейчас Тухачевскому телеграмму отдадут про Колчака, ваши благородия-то между собой и договорятся».

— Телеграмма срочная — пропусти меня, — вновь заладил шифровальщик.

— Иди.

Когда шифровальщик повернулся к Ферাপонтову спиной, тот обхватил его рукой за лицо и ударил ножом в спину, под лопатку. Шифровальщик дернулся, захрипел и сполз на пол вагона.

— Что, Ферাপонтов, у тебя опять за шум? — раздался из-за двери голос Тухачевского.

— Да дрова принесли, товарищ командующий.

Ферапонтов открыл ключом дверь в тамбуре с противоположной от входа стороны и вытолкнул труп шифровальщика, предварительно забрав телеграмму. В расшифрованной телеграмме значилось, что товарищ Ленин разрешает местным властям под угрозой возможного освобождения белогвардейцами казнить Колчака. И приписка в конце: «Беретесь ли сделать? Архиважно. Ленин».

Ферапонтов бегом побежал к вагону, где жил член реввоенсовета 5-й армии Смирнов.

Ординарец Смирнова преградил путь.

— Не положено. Товарищ Смирнов занят.

— Я тебе сейчас, контра, пулю в лоб вкачу, и уже не будешь знать, что положено, а что нет.

И оттолкнув ординарца, Архип вошел в купе Смирнова.

Смирнов валялся на диване. На столе громоздились бутылки и закуски. Окурки валялись по всему полу. Стояла вонь, как будто это было не купе, а уборная...

— Ты что это себе позволяешь? Ты ординарец, а не командующий армией.

— А жаль. Иван Никитич, вот телеграмма от Ленина, читайте.

— От Ленина! — Смирнов подскочил, как ужаленный. Схватил телеграмму, прочитал. — А почему ты, Ферапонтов, принес?

— Потому что согласно приказу шифровальщик принес ее Тухачевскому.

— Как Тухачевскому? Не может быть! Какому приказу?

— А вот так — может. Читайте, что все шифрограммы, приходящие на ваше имя, вначале читает Тухачевский.

— Но я же представитель Реввоенсовета.

— А ему наплевать на нашу большевистскую власть. Он же белая кость, дворянин, царский офицер, да еще какой — семеновец. Он же, получив эту телеграмму, смог бы сразу предупредить белых о Колчаке.

— Ты в своем уме? Он же их разбил. Он на нашей стороне.

— Вы так думаете? Он сейчас разговаривает с колчаковским подполковником Смирнитским, которого должны были расстрелять, а он не дал.

— Ну допросит, потом и расстреляют.

— Не думаю, они со Смирнитским друзья еще с империалистической. Он может его и отпустить.

— Как друзья? Как отпустить? А ты чего здесь делаешь?

— Так ведь телеграмма от товарища Ленина того стоит. Да и шифровальщика мне пришлось убрать, чтобы он ее Тухачевскому не передал.

— Ну с шифровальщиком мы разберемся. Спасибо вам, товарищ Ферапонтов, за проявленную революционную бдительность. Идите.

Смирнов был трус и не такой честный большевик, как Архип Ферапонтов — он выпил стакан водки и лег спать...

Когда Ферапонтов вернулся в вагон, в купе Тухачевского стояла тишина. Архип осторожно постучал.

— Кто там еще?

— Товарищ Тухачевский, может, чего надо?

— Нет, я отдыхаю.

Ферапонтов не выдержал и приоткрыл дверь.

— А этот пленный офицер-то куда делся?

— Я его отправил в штаб фронта.

— Когда?

— А когда тебя не было. Кстати, почему ты отсутствовал?

— Так земляк приходил. Отошли поговорить.

— Чтобы больше таких отлучек не было. Иначе в боевые роты пойдешь.

— Есть, товарищ командующий армией.

Ферапонтов закрыл дверь и понял, что Тухачевский офицера отпустил. «Но как? Как он ушел? Такой вопрос Тухачевскому не задашь... Утром все проверю».

Но ни завтра, ни через неделю выяснить ничего не удалось. Тухачевский с ним почти не разговаривал. Архип испугался, что командующий отправит его в боевые роты, и никакие оторванные пальцы не помогут — в России в армию, в красную или в белую, без разницы, забирали всех подряд. А не пойдешь — к стенке! Тут еще приказ из Кремля пришел, и Тухачевский стал собираться на Кавказский фронт.

— Тебя, Ферапонтов, я с собой не беру, — сказал, как отрезал, Тухачевский.

— И куда же я сейчас?

— Сам знаешь куда. Я ведь догадался, что мертвый шифровальщик твоих рук дело. Не жалко?

— Нет. И не вам, товарищ Тухачевский, о жалости-то говорить. Ну, всего хорошего. Не пожалейте, а то вдруг когда-нибудь дорожки пересекутся.

— Надеюсь, нет. Вообще-то я должен тебя предать военно-полевому суду. И ты знаешь, чем для тебя это должно закончиться.

— Спасибо, ваше благородие, только перед нашим рабоче-крестьянским судом должен предстать за предательство не я, а вы. Смирнитский-то где — отпустили? Ничего, вы еще за все ответите. Все вы, белая кость, ответите!

— Пошел вон!..

Ферапонтов, боясь Тухачевского и безволия Смирнова, вновь побежал в губернское ЧК писать донос в Москву, на Лубянку, грозному Дзержинскому. Написал, вышел из здания и плюнул под ноги; понимал: если Феликс Эдмундович лично не прикажет — ничего не будет. Военспец Тухачевский уже становился командующим фронтом Тухачевским! За полтора года!

— Ты, Архип, смотри, куда плюешь! Не ровен час, в человека попадешь.

— В какого еще человека? — зашипел от злости Ферапонтов. — Где ты его видишь? — Низкое зимнее солнце светило в глаза. Присмотрелся: — А, это вы товарищ Перверзев? Извините, не признал, — а сам подумал: «Бл...ь, еще одна белая кость!»

— Смотреть, конечно, надо — но, правда, чего ты, Архип, расстроен? Не хочешь на Кавказ уезжать? Там, Ферапонтов, вечное лето. Фрукты, девушки, абреки по горам скачут — все по Лермонтову. Хорошо-то как. Ты знаешь, кто такой Лермонтов? Да откуда тебе знать, сирота казанская...

— Вы не очень-то, товарищ начальник полка.

— Да я так, без злобы. Уезжаешь?

— Нет.

- Почему?
— Не берет с собой.
— Как так? Ты же ординарец!
— Значит, не ко двору пришелся. Загордился товарищ Тухачевский... А может, еще что...
— И куда сейчас?
— Не знаю.
— А мне кажется, ты ординарец неплохой. Иди ко мне, моего-то при взятии Омска убило. Сволочь, по домам пошел грабить — ну и нарвался на пулю. Так пойдешь?
— Пойду.
— Только Тухачевскому об этом не говори.
— Хорошо. Как уедет, так и приду.

XXIII

Бронислав Зеневич, поляк по рождению, боевой генерал, участвовавший в русско-японской и мировой войнах, храбрец, кавалер двух Георгиевских орденов, с июня 1918 года воевавший в Белой армии, и неплохо воевавший — командовал корпусом, отдыхал в Красноярске, куда его корпус был отведен после тяжелых и кровопролитных боев с Красной армией...

Армия генерал-лейтенанта Каппеля с боями отступала; потрепанная, уставшая, израненная, измученная, она ползла по морозу к Красноярску. Омск был сдан без боя, и тридцать тысяч солдат попали в плен. Тухачевский, вечный враг Каппеля, с каждым днем, с каждым боем становился все умнее, напористее, беспощаднее и искуснее. И самое плохое, что агентура Каппеля, сидевшая в штабе Тухачевского, не могла ничего передать о планируемых действиях и решениях командующего. В Омске солдаты Белой армии не отстреливались — они безропотно сдались, когда агенты Тухачевского в одежде рабочих и крестьян проникли в ряды голодных солдат армии Каппеля и предложили: «Сдавайтесь! Никого наказывать не будем. Всех, кто не захочет служить в Красной армии, отпустим домой». Десятки тысяч сдались, были разоружены и начались расстрелы. Офице-

ров расстреляли всех. Первых солдат, не захотевших идти добровольно в Красную армию, расстреляли. Остальные поняли: такой жестокой силе лучше не сопротивляться...

Из Омска вырвались несколько офицеров, в том числе подполковник Глеб Смирнитский.

Смирнитский, весь помороженный, предстал перед Каппелем в красивом полушубке и красноармейской остроконечной шапке со звездой. Его чуть не расстреляли посты Белой армии. И расстреляли бы, если бы он не распахнул этот красивый полушубок и солдаты не увидели офицерские погоны и блеск орденов на груди.

— Как же случилось, ваше превосходительство, — обратился Смирнитский к генерал-лейтенанту Каппелю, — что Омск был сдан без боя? Там же было тридцать тысяч наших штыков.

— Каких штыков, подполковник? Там полностью деморализованные полки. Вы не хуже меня знаете, Глеб Станиславич, что если бы мы не отвели от Омска армию, нас бы взяли в клещи и армии бы не стало. Тухачевский нас обыграл. Приходится признать, что этот подпоручик стал хорошо воевать. А как вам удалось вырваться и что это за одежда — особенно эта необычная красноезвездная шапка?

— А это подарок Михаила Тухачевского! Кстати, он поручик, и смею вас уверить, если бы он не попал в плен в пятнадцатом году, то был бы генералом. Он — человек войны!

— А вы, Глеб Станиславич, откуда его знаете?

— А мы с ним друзья еще с четырнадцатого. Служили в одном батальоне лейб-гвардии Семеновского полка. И кстати, за полгода войны он был награжден шестью орденами. И из плена он бежал пять раз.

— Не знал, что вы друзья и что Тухачевский такой храбрец. Уважаю. Вы его видели?

— Он мне спас жизнь. Меня вели на расстрел, а он меня забрал в свой штабной вагон и отпустил, одев в этот полушубок и шапку.

— Спасибо за такое доверие, господин подполковник. Я понимаю, что дай сейчас ход вашей информации — Тухачевского расстреляют.

— Тогда, ваше превосходительство, я вас вызову на дуэль.

— Полноте, Глеб Станиславич, чтобы генерал Каппель, русский офицер, опустился до этого! Вы же знаете, что у меня нет карательных отрядов и я даже не расстреливаю дезертиров и пленных, не говоря о гражданских лицах, что, к сожалению, процветает в армии Верховного правителя. И думаю, такие жестокие меры ни к чему хорошему, кроме злобы со стороны населения, не приведут. Вот и Омск показал. На войне нужна правда, какой бы тяжелой она ни была, а не лесть и не жестокость. Тухачевский, бесспорно, талантливый человек, он далеко пойдет, но для большевиков он все равно чужой, и когда он им будет не нужен, они от него избавятся.

— Я сказал ему примерно то же самое. Но мне кажется, он об этом не думает. Война — вот его стихия. И его бог не Христос, а Марс! Он наворачстывает то, что мы с вами получили на германской, а он нет. И очень жаль, что он не на нашей стороне. Хотя он пожалел, что я не на его.

— Мы с вами, Глеб Станиславич, слава богу, на германской не получили деревянных крестов. Надеюсь, он не это имел в виду? Идите, отдыхайте, Глеб Станиславич, впереди у нас Красноярск. Я надеюсь, генерал Зеневич нас встретит хорошим обедом и баней с вениками.

— Не дай-то бог, березовой кашей.

— Сплюньте, подполковник!

— Вот выйду от вас и плюну. Кто-нибудь еще из моих из Омска вырвался?

— Штабс-капитан Добрынин.

— Слава богу, хоть он остался живой. Я за него в ответе перед его родителями.

— Хотите новость?

— Если хорошая, то да.

— Тухачевского отправляют на Кавказ.

— Это что — ссылка? В России всегда так было.

— Нет. Повышение. Он в любимчиках у Ленина, и его направляют спасать кавказское направление. Кавказ — это нефть!

— Ох, боюсь, дело здесь совсем в другом. Не кажется ли вам, ваше превосходительство, что на нас после Омска уже поставили крест?

— Как это? Мою армию ни во что не ставить? Может, и Верховного уже ни во что не ставят? О чем таком вы, подполковник, говорите? Тухачевский вам голову вскружил?

— Прошу вас, ваше превосходительство, со мной в таком тоне не говорить? Я имел в виду то, что у красных, по видимому, есть какой-то план, о котором нам ничего не известно, но этот план настолько серьезен, что они могут спокойно поменять их лучшего командующего на Восточном фронте. Ей богу, здесь что-то не то! Если честно — я боюсь за Красноярск!

— Бросьте, бросьте, Глеб Станиславич. Красноярск наш. Там генерал Зеневич. Он ждет нас. Придем, отдохнем, отогреемся, в баню сходим, вшей перебьем, водки выпьем. Немного осталось; я понимаю, все смертельно устали, но еще чуть-чуть. Идите, отдыхайте, Глеб Станиславич.

XXIV

Генерал Бронислав Зеневич отдыхал. Отдыхал от души, с водкой, с девушками, в бане под Красноярском. Парился до истомы, до головокружения, потом пил квас и водку, обнимался с дородными и сильными сибирскими женщинами, что хлестали вениками большое, холеное тело генерала, веселился и радовался жизни. Устал от прошлой жизни боевой генерал, вот и радовался новой! И черная душа пела от радости. Он только что предал свою армию, этих голодных, замерзших, смертельно уставших людей — он сдал Красноярск эсерам, поддерживающим Политцентр в Иркутске. И многотысячный гарнизон в Красноярске, и Сибирский корпус по приказу генерала были разоружены. А Каппелю генерал Зеневич предложил сдаться!

ВЧК Феликса Дзержинского хорошо работало. Еще шли бои под Омском, а в Красноярск к эсерам, властвующим в городе, пришел представитель большевиков и, не скрываясь, представился:

— Мирон Ерофеев, большевик. Прислан к вам по согласованию с вашим Политцентром в Иркутске, — и протянул бумагу.

В бумаге с печатями и подписями черным по белому говорилось о необходимости противодействия вхождению в город армии генерала Каппеля. Ни о какой передаче власти большевикам не говорилось — просто поддержать.

— Но у нас же войска генерала Зеневича. Они нас сметут.

— Не сметут, товарищи или, если хотите, господа.

— Сметут, еще как сметут. И расстреляют. Реальная-то власть у него.

— И не расстреляют. Как это сказано в писании: «Вначале было слово!» Войска Зеневича мы берем на себя. Вы создаете военно-революционный комитет, а мы сделаем все, чтобы он передал власть в городе вам.

— Хорошо бы, — обрадовались эсеры. — А Каппель?

— После Омска Каппеля нет.

— А что случилось в Омске? Как известно, там десятки тысяч солдат армии Каппеля.

— Омск будет наш.

— Ну, когда будет ваш, тогда и разговаривать будем.

— Тогда мы с вами разговаривать уже не будем. Узнайте, что происходит в Омске, а я подожду.

Через час криков: «Алло, алло, Омск... ответьте Красноярску... Алло...» — эсеры Красноярска спросили у Ерофеева:

— Чем вам помочь?

— Вы будете разговаривать с Зеневичем. Нам-то он вряд ли поверит.

— Если честно, то лично я вам и сейчас не верю, — сказал руководитель эсеров.

— Немного осталось — поверите! — ответил Ерофеев. В голосе слышалась угроза.

Через день в Красноярске остановились заводы, рабочие вышли на забастовку. Не стало хлеба. Хлеба не стало и у солдат Зеневича. К солдатам пришли рабочие заводов и сказали:

— Вы с кем воюете? С рабочими и крестьянами! Вы кого защищаете? Буржуев и кулаков-мироедов. Прекратите защищать эту власть! Никто вас не тронет. Пойдете домой! — «Домой» было магическим словом. Солдатам и так надоело воевать, а тут обещают отпустить домой. Обрадовались. А агитаторы продолжали: — Но, товарищи солдаты, чтобы вы могли пойти домой, к своим семьям, необходимо остановить войска Каппеля, идущие к городу. Если они войдут в город — вы домой уже не попадете. Он вас поведет на новую бойню с рабочими и крестьянами. Поведет умирать! Неужели вы этого хотите?

Ну кто же хочет умирать, когда можно пойти домой!

С Зеневичем разговаривали о другом и другие — эсеры из созданного комитета:

— Вам, генерал, ничего не грозит. Вы остаетесь командующим своими войсками и гарнизоном Красноярска. Никуда на мороз уходить не надо. Солдаты будут накормлены. Правда, только те, кто будет воевать против Каппеля. Все это наш комитет вам гарантирует. Одна просьба: необходимо разоружить тех солдат, кто не хочет воевать с Каппелем, а лично вы должны обратиться к Каппелю с предложением сдаться.

— Но если сюда не придет Каппель, придут большевики.

— А это уже не ваша забота, генерал. С большевиками у нас договоренность — они в Красноярск не войдут.

— Слабо в это верится, господа.

— Придется поверить, генерал. Это подтверждено нашим Политцентром в Иркутске. А в Иркутске, как известно, Верховный правитель Колчак... Ну и в качестве подарка мы вам дарим дом под Красноярском с банькой и... прислугой. Ах, какая там прислуга, генерал! Какая прислуга! Ну и деньги получите. Мы люди не бедные. Соглашайтесь, генерал. Неужели не надоело воевать? Ей-богу, мы с вами так хорошо заживем — всем на зависть!

Генерал Зеневич долго не думал — согласился. Надоело генералу воевать!

Сил не было у Каппеля взять Красноярск, хотя и попробовал. Потеряв в снегах, на морозе тысячи солдат, он,

обогнув с двух сторон город, пошел по Енисею дальше, на Канск.

А генерал-предатель получил свободу, деньги и отдых. Правда, попросили Красноярск не покидать — мало ли что, вокруг враги! Все-таки боялись — а вдруг большевики нарушат договоренности?

Чем дальше отходила от Красноярска армия Каппеля, тем ближе подходила к городу армия большевиков и вошла... и быстро навела порядок. Зеневич об этом не узнал.

XXV

Генерал очередной раз радостно визжал от ударов венником и хватал за тела рослых девиц, когда дверь в парную открылась и появившийся в проеме человек сказал:

— Хватит париться, Бронислав Михайлович, мы вас ждем.

— Что за чушь! — закричал пьяный Зеневич. — Девки, подождите, сейчас я вернусь, — и в чем мать родила вышел из парной.

В предбаннике находились три человека — все в полушубках. Одно лицо показалось Зеневичу до боли знакомым.

— Я вас, кажется, знаю, — и уже потухшим голосом: — Вы Смирнитский, подполковник у Владимира Оскаровича Каппеля. Что, пришли убивать?

— Абсолютно точно, товарищ Зеневич. Мы потеряли двенадцать тысяч под Красноярском, а скольких еще солдат и офицеров потеряем из-за твоего предательства, одному Богу известно.

— Позвольте мне одеться. Не голым же будете расстреливать?

— А зачем вам одежда? Вы пойдете в ад — там одежда не нужна. Сейчас тысячи преданных вами солдат замерзают здесь под Красноярском. Идите!

— Не забывайте, я кавалер орденов Святого Георгия третьей и четвертой степени.

— Я тоже! Да и какой вы кавалер, вы — предатель. Но для меня самое поганое в том, что вы — поляк. Выходи... Дамы, побудьте здесь, это недолго, угореть не успеете.

Три офицера армии Каппеля расстреляли из револьверов голого генерала-предателя около жаркой бани.

Напоследок Смирнитский еще раз зашел в баню и, усмехнувшись, сказал сжавшимся в страхе на полке голым девушкам:

— Продолжайте париться, дамы, мы вам больше не будем мешать.

Всадники скрылись в темноте...

— Глеб Станиславич, я хочу вам присвоить звание полковника и наградить георгиевским оружием, — сказал, подавая руку Смирнитскому, главнокомандующий армиями Восточного фронта Владимир Оскарович Каппель. — Вы, подполковник, совершили очередной подвиг во славу России.

— Ваше превосходительство, я отказываюсь от наград.

— Объяснитесь, Глеб Станиславич — почему? Вы прекрасно выполнили поставленную задачу — предатель получил по заслугам.

— Этот предатель, к сожалению, был поляк. И потому я не могу принять награду. Но мои товарищи подпоручик Самойлов и штабс-капитан Добрынин заслуживают самых высоких наград. Разрешите идти?

— Мне очень жаль, Глеб Станиславич, очень жаль. Хотя, мне кажется, я вас понимаю... Идите, отдохните. У нас впереди самые тяжелые дни. И больше всего я боюсь красноярского повторения в Иркутске.

— Что вы имеете в виду, ваше превосходительство?

— В Красноярске власть предатель Зеневич передал некоему военно-революционному комитету, который поддерживает Политцентр в Иркутске. А Верховный в Иркутске, и боюсь, может повториться красноярская история.

— Но там же чехи!

— А что чехи? Они подчиняются Антанте, и если им прикажут из Парижа, они предадут любого.

— Так пусть Верховный покинет Иркутск.

— Вы же знаете, почему он там. Не мое это дело, но я никогда не понимал и не признавал присутствия баб на фронте в качестве жен или любовниц и даже солдат. Тем

более если любовница — жена подчиненного когда-то тебе офицера. Это до добра не доведет.

— Вы имеете в виду Анну Тимареву?

— Ее, любимую. Уж кто-кто, а морской адмирал должен бы знать, к чему может привести нахождение женщины на боевом корабле. Да и чехи — они адмирала не выпустят. Это их козырная карта к дороге домой. Идите, отдохайте, Глеб Станиславич. Дай бог, чтобы я ошибался...

Через неделю генерал Каппель провалился под лед и отморозил ноги. Из-за гангрены ему без обезболивания ножом ампутировали ступни.

21 января 1919 года в Иркутске Политцентр передал власть большевикам, а те потребовали от чехов выдать адмирала Колчака — и чехи выдали!

Умиравший генерал-лейтенант Владимир Оскарович Каппель хрипел, отдавая последние приказания:

— Приказываю армию принять генералу Войцеховскому. Прошу вас, Сергей Николаевич, спасите армию. Возьмите Иркутск и освободите Верховного. Хотя, боюсь, большевики живого его не отдадут. И еще — не отдавайте меня на поругание большевикам, чтобы не было как с Лавром Георгиевичем Корниловым. Сожгите, пепел развейте. Где подполковник Смирнитский? — Каппель водил по сторонам уже мутным, невидящим, предсмертным взглядом.

— Я здесь, ваше превосходительство.

— Прошу вас, Глеб Станиславич, — просипел Каппель, — попробуйте спасти Верховного. Я знаю, что вы его недолюбливаете, но не откажите умирающему в его просьбе...

— Я все сделаю, Владимир Оскарович.

Каппель задыхался, но говорил:

— Прощайте, господа... Да пребудет с вами Бог и любовь великой России... И пусть войска знают, что я им был предан ... что я любил их и своею смертью среди них доказал это...

Армия в своей любви к боевому генералу, которого боялись и уважали даже враги, положила Каппеля при всех орденах и шашке в гроб и повезла с собой за тысячи кило-

метров, по снегу и льду, по ужасным сибирским морозам, за границу огромной страны, которую он так беззаветно любил и которую всю жизнь защищал.

Время Каппелей в России прошло. Навсегда!

XXVI

Ленин не мог скрыть радости от только что полученных сведений — готов был, как ребенок, на одной ножке прыгать. Бегал по кабинету счастливый.

— Вызовите ко мне Троцкого, срочно! — приказал он своему секретарю.

Троцкий пришел так быстро, как будто за дверью стоял.

— Товарищ Троцкий, читайте, читайте, — Ленин протянул телеграмму. — Белому движению в Сибири конец. Красноярск наш, Иркутск наш, а сейчас по нашему требованию чехи выдали Колчака. Все, этот зуб вырван, знамя белого движения рухнуло. Какой молодец Тухачевский! Это его разгром Каппеля позволил выиграть войну в Сибири. Лев Давидович, какая радость, плясать хочется.

— Да, это прекрасно, Владимир Ильич. Но почему вы всегда говорите о Тухачевском как победителе над Колчаком, когда Восточным фронтом руководил Михаил Фрунзе, а сейчас Сергей Сергеевич Каменев? Конечно, Каменев полковник царской армии, но Тухачевский еще и белая кость, дворянин.

— Я тоже из дворян.

— Я знаю, Владимир Ильич. Я хотел сказать, что пришло сообщение — Каппель умер от гангрены ног.

— Ура! — закричал Ильич. — Спасибо, Лев Давидович, большое коммунистическое спасибо. Надо их добить. Впрочем, их сейчас добьет сибирский мороз. Говорят, там за пятьдесят морозики-то стоят. Помню, помню по Шушенскому.

— Но есть и неприятная новость, Владимир Ильич: по полученным сведениям, создана группа офицеров для освобождения Колчака. Они уже на пути к Иркутску, и к Иркутску же движется армия Каппеля под командовани-

ем генерала Войцеховского. Возглавляет группу офицеров подполковник Смирнитский.

— Где-то я уже слышал эту фамилию. Смирнитский, Смирнитский... напомните Лев Давидович.

— Это тот, который в марте семнадцатого чуть не спас семью императора, это тот, кто хотел спасти императора и его семью в Екатеринбурге, это тот, кто расстрелял генерала Зеневица, сдавшего нам Красноярск.

— Ну Зеневица жалеть не будем — он в любом случае предатель, и мы бы его сами расстреляли. Да, серьезный враг этот Смирнитский. Он что, боевой офицер? Фамилия не русская.

— Да, прошел всю империалистическую. Имеет множество наград. Поляк. И кстати, по неподтвержденным данным, боевой товарищ Тухачевского по лейб-гвардии Семеновскому полку.

— Не может быть! Впрочем, все может быть — империалистическая война всех одним узлом связала. А про товарища Тухачевского плохо говорить не надо. Я ведь понимаю, к чему вы это говорите, Лев Давидович. Не любите вы его... Что вы предлагаете, товарищ Троцкий, по Колчаку?

— Необходимо срочно телеграфировать в Иркутск, чтобы уничтожили Колчака. Немедленно! Этот злодей не должен остаться живым. У него руки по локоть в крови наших товарищей.

— Хорошо, срочно телеграфируйте в Иркутск. Пишите: «Разрешаю, под влиянием угрозы Каппеля и белогвардейских заговорщиков в Иркутске, расстрелять Колчака. Берегитесь ли сделать это архиважное задание?» Подпись моя — «Ленин».

— Записал. Разрешите идти, Владимир Ильич?

— Лев Давидович, прошу, сделайте срочно! Пусть исполнит кто-нибудь из самых надежных и преданных товарищей. Подключите ЧК. Там люди особой закалки.

— Хорошо, Владимир Ильич.

— И разберитесь с этим Смирнитским. Он начинает мне надоедать. Сильный и смелый враг. Требуется уважения и... ненависти!

В камере было сыро и холодно, адмирал Колчак кашлял. Он понимал, что большевики его казнят. Но будет ли суд? Вряд ли. Большевики, придя к власти, все законы и суды отменили.

Дверь камеры открылась, и вошел человек в кожаной куртке и такой же, несмотря на зиму, кожаной кепке с красной звездочкой.

— Гражданин Колчак, вы приговорены к расстрелу. Я, комиссар Ерофеев, назначен исполнить революционный приговор.

Колчак встал, его худое, жесткое лицо побледнело. Он застегнул на кителе воротник и потянулся за шинелью.

— Она вам не понадобится, — сказал комиссар. — Это недалеко, не замерзнешь.

— Попрощаться разрешите?

— С кем, с Анной Тимаревой? Она вам не жена — любовница. Нет. Выходи.

В коридор из соседней камеры выводили одетого в пальто с бобровым воротником Пепеляева.

— Вот вам, Верховный правитель, ваш председатель правительства компанию и составит, — с усмешкой сказал Ерофеев и пошел вперед.

Охранявший камеру старый солдат тихо прошептал проходившему Колчаку: «Вас спасут». Лицо Колчака напряглось, но он прошел мимо, даже не взглянув на солдата.

Во дворе тюрьмы Колчаку и Пепеляеву связали за спиной руки и положили лицом вниз в сани, на жесткое, чуть-чуть пахнущее полом и летом сено. Было очень холодно. Комиссар и четверо солдат с винтовками за спиной, на лошадях, окружили сани, и маленький отряд тронулся в только-только заметный утренний рассвет.

Отряд выехал за город и уже повернул на дорогу к берегу Ангары, когда их догнал всадник. «Стой!» — крикнул всадник и, подъехав к комиссару, стал что-то тихо говорить Ерофееву.

— Зачем? — удивленно спросил Ерофеев.

Всадник опять склонился к нему и что-то сказал.

— Понятно, — зло ответил комиссар и, когда всадник повернул лошадь и отъехал, приказал:

— Поворачиваем на Ушаковку.

— Это ж какой крюк, верст пять, — удивился солдат в санях.

— Не рассуждать. Приказано — на Ушаковку.

Маленький отряд отвернул от Ангары и поехал дальше...

Приток Ангары, Ушаковка, был столь стремительным, что даже в сильные сибирские морозы на середине речки всегда была незамерзающая полынья. Сани и коней оставили на берегу, а Колчака и Пепеляева повели к полынье. Развязали руки.

— Раздевайтесь! — сказал Ерофеев.

Пепеляев стал снимать шубу и одежду.

— А ты, гражданин Колчак? Нам ждать некогда.

— Я адмирал, адмиралом и умру. Так стреляйте.

Колчак посмотрел в небо и стал напевать: «Гори, гори, моя звезда. Гори, звезда приветная»

— Ишь ты, адмирал-то поет. Сильный мужик. Ему смерть в лицо смотрит, а он поет... — тихо сказал один из солдат.

Пепеляев остался в нижней рубаше, белых кальсонах и босиком.

— Становись к проруби! — сказал Ерофеев. — Товарищи солдаты, вам доверено казнить извергов и врагов нашей рабоче-крестьянской революции!

— Господи! — зашептал все тот же солдат. — Я же никогда людей не казнил. Как же я в человека-то раздетого стрелять буду?

— Заткнись, дурак! — зашептал ему другой красноармеец. — Хочешь, чтобы тебя рядом поставили?

Колчак и Пепеляев встали около полыньи. Пепеляев что-то зашептал посиневшими губами и все двигал по снегу синими замерзшими ступнями. И вдруг низ кальсон окрасился желтым и от них повалил пар.

— Смотри-ка, барин-то обос...! — весело крикнул один из солдат.

— А ты встань рядом с ним — не обос... — обоср...! — ответили зло. — О Господи!

Цепочка солдат выстроилась.

— Целься! — сказал Ерофеев. Солдаты подняли винтовки.

И вдруг комиссар каким-то звериным чутьем почувствовал, что за его спиной что-то происходит, и обернулся. От берега по льду, скользя подковами, скакали всадники. Он понял, что это и есть те белые офицеры, которые должны были освободить Колчака там, на Ангаре, и из-за которых расстрел приказали провести на Ушаковке. Ерофеев выхватил револьвер и, обернувшись к Колчаку и Пепеляеву, крикнул:

— По врагам революции, пли!

Солдаты, опустив винтовки, повернувшись, замороженно смотрели на приближающихся всадников.

— Стреляйте, сволочи!.. Предатели! — закричал Ерофеев и выстрелил в одного из солдат. Солдат упал, а Ерофеев, не целясь, стал стрелять в Колчака и Пепеляева. Белая рубашка Пепеляева окрасилась кровью, и он упал в полынью и сразу ушел под воду. Ерофеев стрелял и стрелял в Колчака, а тот, улыбаясь, шептал что-то одними губами и смотрел туда, за спину комиссара. Потом упал в воду, и стремительное течение затянуло его под лед.

И могучая сибирская река понесла тело адмирала туда, за тысячи верст, к Ледовитому океану, где он, морской офицер, зимовал вместе с бароном Толлем, открывая новые земли для Великой державы — России, и где его имя, тогда еще молоденького лейтенанта, увековечили, дав название острову.

Все возвращается на круги своя! Судьба!..

Ерофеев повернулся к всадникам и все кричал солдатам:

— Сволочи, стреляйте! Это белые! — и нажимал, и нажимал на крючок револьвера, который щелкал пустым барабаном. Всадники подскакали к стрелявшим.

— Опоздали! — вскрикнул один из всадников и, склонившись к Ерофееву, прохрипел, задыхаясь: — Успел, сволочь! Что, комиссар, сделал свое черное дело? Ну сейчас сам становись.

— Господин подполковник, а что с солдатами делать? — спросил один из подскакавших.

— А что с ними делать, штабс-капитан? Пусть винтовки бросают в воду и уходят.

— Господин подполковник, они же расстреляли Верховного правителя и председателя правительства. Их надо расстрелять.

— Они не стреляли. Они отказались стрелять, они предатели! — крикнул Ерофеев.

— Вот видите, штабс-капитан, даже комиссар об этом говорит, да и вы сами слышали только револьверные выстрелы. Лучше бы, комиссар, они тебя пристрелили! Эй, бросайте винтовки в прорубь и идите отсюда. Сани с лошадью мы вам оставляем, а то замерзнете по дороге.

На льду стонал раненный Ерофеевым солдат.

— Они же нас выдадут, господин подполковник. Нельзя их отпускать!

— Я приказываю, штабс-капитан! Эй, бросайте винтовки и идите. Раненого с собой возьмите. А насчет «выдадут — не выдадут» — какая сейчас разница, штабс-капитан. Александра Васильевича больше нет.

Солдаты побросали винтовки в полынью и, подняв раненого, быстро пошли к берегу. Проходя мимо подполковника, один из солдат сказал:

— Спасибо, ваше благородие. Только боимся мы, что нас за то, что остались живыми, самих к стенке комиссары поставят.

— Тогда идите домой.

— Как это — домой? За дезертирство-то точно расстрел!

— Ты хочешь, чтобы я приказал вас расстрелять?

— Нет, нет, ваше благородие. Мы пошли. Всю жизнь за вас молиться будем!

И солдат бросился догонять своих товарищей.

И уже от берега, из отъехавших саней, раздалось:

— Мы еще с вами поквитаемся, ваше благородие! Мы-то вас уж жалеть не будем! Зря отпустили!.. У-у-у...

Штабс-капитан выстрелил в сторону берега.

— Ну, комиссар, становись. Раздеваться не надо. Нам твоя черная одежда, как и черная душа, не нужна. Если верующий, читай молитву, — сказал тот, кого называли подполковником. — Или, может быть, перед смертью скажешь, почему расстрел сюда перенесли?

— Ничего я тебе не скажу, золотопогонная сволочь! Ни в бога, ни в душу, ни в вашу загробную жизнь я не верю. Все равно мы вас всех прикончим. И смерти я не боюсь. Я большевик, вот и расстреливайте как большевика.

Комиссар встал у края полыньи.

— Смелый. Уважаю.

— Мне твое уважение, капитан Смирнитский, не нужно.

— Ты меня знаешь? — удивился подполковник.

— Встречались в Петрограде... ты всех к себе в гвардию агитировал, да никто не хотел. Вспомнил?

— ...Мирон... Мирон Ерофеев? «Здесь танцуют!» Ну что же ты Зимний-то не взорвал?

— Моя бы воля, я бы весь ваш мир взорвал!

— «И на обломках самовластья напишут ваши имена!» Это не про тебя, Мирон. Это про офицеров-дворян. Как это у вас? «Весь мир насилья мы разрушим до основания, а затем...»

— «Мы наш, мы новый мир построим. Кто был никем, тот станет всем!» Вот так, капитан.

— Уходить надо. Дозвольте мне, господин подполковник.

— Действуйте, штабс-капитан. Прощай, Мирон.

Комиссара убили одним выстрелом из винтовки. Он упал, тело его покружилось, покружилось в полынье, намокая, и ушло под лед...

— Опять не успел! Ну почему, почему не хватает какой-то минуты, часа, дня, чтобы спасти? Это какой-то рок! — крикнул подполковник.

— В этом нет вашей вины, господин подполковник. Это воля божья!

— Воля? Кара? Если бы ты знал, штабс-капитан Добрынин, если бы ты только знал, как я устал воевать...

— Поедьте, Глеб Станиславич, нам надо уходить... И что это за танцы? Вы знали этого комиссара?

— Знал... Потому он капитаном меня и назвал. Этот комиссар — солдат, Георгиевский кавалер.

— Вы еще скажите, подполковник, что вам его жаль.

— Да, жаль.

— Он же враг.

— Он солдат. Смелый и сильный солдат. Поехали.

В ночь на 7 февраля 1920 года, с расстрелом Верховного правителя России адмирала Александра Васильевича Колчака и председателя Совета Министров России Виктора Николаевича Пепеляева, закончилось белое движение в Сибири!

XXVIII

Служить ординарцем у Переверзева было проще и легче. Не Тухачевский: не орал, не командовал — просил. И Архип Феррапонтов почти сразу понял почему. У командира полка периодически наступали такие головные боли, что он выл и стучался головой о стенку. И никакие микстуры и порошки, которые он горстями сыпал себе в рот, не помогали. После приступа Переверзев лежал потный, жалкий, с мутными глазами и жалобно просил:

— Архипушка, ты только не говори никому, что со мной. Я к тебе буду добрый. Хочешь, как мой бывший ординарец, грабь, никто тебя не тронет, только не говори обо мне никому. Тебе без меня плохо будет.

— Да чего ж мы, не понимаем, что ли? — прикидывался Архип, а сам все думал: «Сдать — не сдать? — Решил: — Пока пригодится. Успею. И правда, куда я без него? Только помочь надо, а то загнется раньше времени». И достал Переверзеву порошки.

— Попробуйте, товарищ командир. Говорят, помогают.

Переверзев при очередном приступе попробовал — помогло, боль как рукой сняло. Ожил.

— Это что ж за чудные порошки такие, Архип? Где достал?

— Где достал, там уж нет, Александр Глебович. Но если понадобятся, сыщем.

— Сыщи. Я тебе денег дам.

— Да зачем мне ваши деньги? Вы ж мой командир. А командиру завсегда помогать надо, — и хотел уже сказать, но спохватился и только подумал: «Сука ты офицерская».

Когда полк почти без выстрелов вошел в Красноярск, то солдат, которые согласились идти в Красную армию, не тронули; кто не согласился — расстреляли. А офицеров всех пощелкали. Архип душу отвел — только обоймы менял.

— Ты что же, Архип, творишь-то? Зачем же всех подряд? — кричал Переверзев.

— Ты эти разговоры контрреволюционные брось, командир.

Переверзев схватился за голову — начинался приступ.

— На-ко лучше прими, успокойся, — и Архип достал порошки из кармана.

— Дай, дай! — запричитал Переверзев. — Коли-руби, Архипушка. Только не уходи. Дай порошок!

Порошков с каждым приступом требовалось больше. Иногда, приняв их, Переверзев не спал, а начинал дико хотеть и хвататься за кобуру. Орал:

— Всех вас, сук, перестреляю! Быдло! Кровью всю Россию залили! Суки! Где мое оружие?

Но ни револьвера, ни шашки не было — осторожный Архип Феропонтов заранее их уносил. Прятал подальше, к мешку с награбленными золотыми кольцами, сережками с камнями, браслетами, тяжелыми портсигарами... Как от Тухачевского ушел да к больному Переверзеву попал, так и вспомнил свои способности в прошедшей мировой войне. Тогда награбленное у него такие же вору-фронтовики забрали: зашли на склад, где он обитал, и нож к горлу приставили:

— Все про тебя, Архипушка, знаем. Отдай награбленное, иначе не двух пальцев у тебя не будет, а два останет-ся! По одному на ладошку! Чтобы ширинку расстегнуть, и то вряд ли — так в штаны и будешь с...! — и заржали! Отдал! Нищим из армии выкинули. Зато живой! Вот сейчас наверстывал. И пока что начальник ему был нужен, а то бы давно сдал куда надо — в ВЧК ходил Феропонтов, как к себе домой: писал, докладывал, доносил, помогал

арестовывать, а то и так... пострелять в приговоренных — душу отвести. В Красноярске столкнулся в ВЧК с жестким комиссаром Ерофеевым. И откуда тот на Архипа сведения накопал, неизвестно, но при встрече взял его за грудки, аж шинель затрещала, подтащил своей жесткой рукой к себе и зашептал:

— Ты, товарищ Ферапонтов, ведешь себя неправильно. Не докладываешь, что с командиром твоим неладно, порошками его какими-то потчуешь, что он, как безумный, на стенки бросается; поговаривают, грабежом занимаешься, даже у расстрелянных по карманам ползаешь. Сейчас некогда, а завтра займусь я тобой.

Ферапонтов понял: «Все! Пропал!» Бросился к Переверзеву — слава богу, тот в сознании был — и стал ему жаловаться на Ерофеева.

— Архип, — слабым голосом заговорил Переверзев, — ты о ком? О Ерофееве? Ты его не тронь, он мужик страшный. Я его знаю еще по генералу Краснову. Он меня слушать не будет — пошлет куда подальше.

— Так ты же командир полка.

— А он меня знает еще с времен, когда я капитаном был и двумя сотнями командовал. И что? — и совсем жалобно: — Архипушка, дай порошка. Ну дай, помру-у...

— Нету! — отрезал Архип и вышел из комнаты. А из-за двери донеслось жалобно: «Сука! Дай! Подохну, с кем останешься?»

«Черт, — подумал Ферапонтов, — не перегнул ли я с порошками-то этими? И правда еще хуже ему становится. Что же с комиссаром-то Ерофеевым делать? Чекисты, козлы, точно не помогут. Нет, надо что-то делать самому. Что?.. Нет у меня выбора. В расход его, либо он меня к стенке поставит. Честная, большевистская сволочь. И сегодня — завтра будет поздно. Начальнику надо порошок дать — пусть спит».

С вечера Архип занял позицию в темном переулке, из которого были видны двери здания ВЧК. Холодно — жуть. Хорошо, что полушубок, валенки и шапка. С убитого снял. За пазухой, в тепле, под здоровую левую руку — наган.

Ждал, ждал, ждал... Выходили и входили люди в шинелях, тулупах, пальто, кожанках; шли пешком, садились в розвальни, один раз отъехала машина, но Ерофеева не было. К ночи все стихло. «Ушел? Не вышел? Остался? Все! Завтра уже за мной... Надо хотя бы перепрятать золото. Может, не расстреляют? Давить буду на пролетарское происхождение, на сотрудничество с ЧК с семнадцатого. На Дзержинского... Этот не поверит, шлепнет. Эх, не успел ты, Архип, погулять! Вот сучья жизнь!» Ночь не спал, терзался, ждал. Переверзеву еще порошок дал, чтобы спал и не мешал ждать... Ни ночью, ни утром, ни целый следующий день никто не пришел. С темными кругами под глазами, с сухостью во рту пошел к знакомому чекисту из местных и выяснил, что вчера вечером Ерофеев срочно отбыл из Красноярска по железке в Иркутск.

— А ты чего такой? Пил, что ли, всю ночь? — спросил чекист.

— Ага. У тебя похмелиться нету?

— Есть. Вчера четверть забрал у одного мужика. Отдавать не хотел, пришлось его... того, в расход...

— Налей, будь другом, а то руки не слушаются... — Феррапонтов вытянул руки — пальцы ходуном ходили.

— Да-а, хорошо погулял. И капуста нужна. Как без нее — не приживется.

Хозяин вышел, а Архип, повернувшись к иконам, трясущейся рукой стал креститься и шептать:

— Господи, спасибо! Спасибо, Господи! Отвел беду! Век помнить буду! Замолю грехи!

На следующий день с особым удовольствием расстрелял двоих пойманных в городе офицеров. Радости-то было!..

XXVII

Сергей Николаевич Войцеховский, генерал-майор, исполнил обещание, данное умирающему Каппелю, — спасти армию. Более трех тысяч верст, погибая от морозов, армия шла и шла; узнав о смерти Верховного правителя России Александра Колчака, обогнула Иркутск и, перейдя

по льду Байкал, оказалась наконец вне досягаемости красных войск, в Забайкалье, у атамана Семенова. Здесь на поезде погрузились раненые и пришедшие с армией женщины и дети, а остальные пошли дальше еще шестьсот верст, в Манчжурию. И все эти тысячи километров армия на руках несла тело своего умершего командующего, только чтобы не оставить его на поругание большевикам. И вынесли, и похоронили с почестями...

Когда-нибудь Россия, очнувшись от большевистского кошмара, вспомнит, что у нее был необыкновенный офицер — Владимир Оскарович Каппель...

Не победы Красной армии и не пожар мировой революции, а русофильство Деникина и Колчака, выпячивание своего «я», своей исключительности, своего, непонятого для других, личного исторического значения, требование восстановления новой России в границах старой империи и, конечно и главное, — конец мировой войны, стремление разрушенной Европы и уставших европейцев к миру — любому миру явились основой поражения белого движения в России.

После Иркутска Глебу присвоили звание полковника, и он на этот раз не отказался, но как-то устал, сник, отступал вместе с остатками когда-то славной и известной польской «железной» бригады, входившей на германском фронте в Польские легионы. Шли, почти обнявшись на лютом морозе с командиром бригады майором Валерианом Чумой. Смирнитский и Чума после бесславного боя в шестнадцатом году встречались несколько раз, всегда радовались встрече, и каждый раз Валериан звал Глеба служить к землякам-полякам в Польский легион. В армии Колчака встретились: Смирнитский воевал в армии Каппеля, а Чума сформировал стрелковую бригаду, прозванную в армии Колчака «Польской».

И теперь два офицера, два поляка шли по бескрайней промерзшей русской земле и вспоминали свою родную Польшу. Оба хотели домой. Когда вышли через Байкал к атаману Семенову, распрощались: Валериан вместе с ге-

нералом Войцеховским поехал к Врангелю, а Глеб отказался — он не хотел больше воевать.

— Глеб, — уговаривал, обнимая Смирнитского, Чума, — оттуда, с юга, мы быстрее попадем домой, в Польшу. Поедем, Глеб!

— Прости, Валериан, но я не могу, я не хочу больше видеть смерть. Я устал. Я постараюсь морем добраться до Франции, а там и Польша рядом. Прости и прощай. Даст Бог, встретимся на родине.

Два молодых человека обнялись и растрескавшимися, помороженными губами поцеловали друг друга, как целуются при расставании русские — троекратно.

— Прощай, Глеб!

— Прощай, Валериан!

К Врангелю ушел и получивший звание капитана Добрынин. Прощались как-то скупно. Не обнялись, пожали друг другу руки и, отвернувшись, разошлись. Смирнитский только попросил на прощание:

— Передайте вашим родителям, капитан, от меня низкий поклон.

Слишком уж стал зверствовать на войне Александр Добрынин. Смирнитский стыдил, просил, но тот как с цепи сорвался, кричал:

— А за смерть моего брата кто ответит?

— Опомнитесь, Александр Павлович, а гражданские-то люди при чем? Вы же сиротами делаете безвинных людей. Они же всю жизнь всех нас будут ненавидеть.

— Тогда их всех под корень надо уничтожить.

— Кого? Русских людей? Да в своем ли вы уме, штабс-капитан? Уйдите с моих глаз — видеть вас не хочу.

— Конечно, куда вам, белоручке. И кровь моего брата на вас!

— Я, конечно, могу и на дуэль вас вызвать, штабс-капитан, да в память о вашем брате этого делать не буду. Он был моим боевым другом. И запомните навсегда: ордена за убийство невинных людей дают только большевики. Так что я лучше белоручкой побуду.

И все, и разошлись, и уже навсегда.

Харбин — грязная станция на Китайско-Восточной железной дороге. Тихий городок, вдруг в считанные дни и недели превратившийся в водоворот человеческих судеб, место разбитых надежд, нищеты, падения русских женщин в продажную любовь, радости от свободы, слез по бывшей родине, по распавшимся семьям, по смерти детей от голода, массовых самоубийств русских офицеров, безудержного веселья... Место, куда десятками тысяч, как ручейки, сбегаяющие в реку, стекались бежавшие из России ее уже бывшие граждане, хорошие и плохие, преступники и судьи, офицеры и чиновники — все, для кого там, за снегами и морозами, осталась единственная, объединяющая их всех, ненавистная и любимая отчизна.

У алтаря Иверской церкви выкопали яму и положили в нее гроб с прахом Владимира Каппеля. Вначале, когда до Читы дошли, там и похоронили, а потом вспомнили предсмертную просьбу генерала и, откопав, увезли в Харбин, куда, надеялись, большевики никогда не дойдут.

Глеб Смирнитский стоял в первом ряду офицеров, прощавшихся с генералом. Они, офицеры, только что получили из рук командующего уже несуществующей армии Сергея Николаевича Войцеховского особые ордена «За Великий Сибирский поход» и теперь прощались со своим бывшим командующим и прощались друг с другом: кто-то возвращался на войну, в Россию, к атаману Семенову, кто-то вместе с Войцеховским уходил на юг, к Врангелю, кто-то, как Смирнитский, снимал военную форму и старался перебраться через невидимую границу между прошлым и будущим, набиваясь в трюмы кораблей, уходящих в Америку и Европу, — были бы деньги. Денег не было ни у кого — это были русские офицеры, воевавшие за свою и своей бывшей отчизны честь. И все они, уходящие и остающиеся, думали, что все это временно, что наступит тот счастливый день, когда они опять смогут дышать свежим, чистым воздухом своей родины.

Форму полковника Глеб продал, спрятал парадную форму офицера лейб-гвардии, погоны и ордена, снял в длинном грязном бараке комнатку, столь маленькую, что, когда он ложился на жесткий пол, покрытый тоненьким ковриком, ему приходилось подтягивать к животу ноги, и пошел зарабатывать ту копейку и цент, из которых складываются рубли и доллары, надеясь, что мираж — призрак будущей морской дороги — станет явью. Глеб таскал кирпичи, месил глину, учил языкам китайских недорослей, выигрывал призы, стреляя в тире, продавал лепешки, ухаживал за больными и копил, копил, копил... Еще и помогал, пусть малостью, своим боевым товарищам, но не на водку — на хлеб. Накопив денег, поехал в Порт-Артур, где было легче устроиться на торговый корабль. Он хотел, прежде чем навсегда покинуть Россию, сходить на могилу к своему деду. Японцы, арендовавшие эту территорию у Китая, как ни удивительно, разрешили ухаживать за могилами, и построенная часовня действовала. На камне большой общей могилы, в которой покоилось 15 тысяч нижних чинов, было выбито посвящение: «Здесь покоятся бранные останки доблестных русских воинов, павших при защите крепости Порт-Артур». Глеб долго ходил по кладбищу и все-таки нашел то, что искал: крест из серого камня, на котором было выбито: «Переверзев Глеб Александрович, полковник, Георгиевский кавалер». Глеб прибрался вокруг, положил на могилу полевые цветы, постоял, молча помянул и деда, и свою мать, дал денег китайцам, чтобы присматривали за могилой, и ушел в порт на судно, идущее в Гонконг. Оставшихся денег на билет до Гонконга не хватило.

Глеб никогда не плавал на кораблях, но морской болезнью ему поболеть не удалось: в котельной стояла такая жара и духота, а двенадцатичасовая смена выматывала настолько, что, когда она заканчивалась, он падал бездыханный на грязный матрас, кишасший тараканами и клопами и его кулаками будили такие же кочегары через следующие двенадцать часов на новую вахту. В Гонконге он устроился на другой пароход, опять кочегаром — его взяли: у этого странного русского, отлично говорившего

на английском и понимавшего китайский, таскавшего за собой брезентовый мешок, в котором (подсмотрели) лежал кожаный саквояж, уже был опыт кочегара. Из Гонконга Глеб добрался до Индии, где две недели спал на улице вместе с нищими индусами, пока опять не устроился на корабль, идущий в Марсель. Ни изматывающая работа, ни шторм и течь в трюме, когда казалось, что их судно пойдет ко дну, Глеб был одним из немногих, кто, не потеряв самообладания, спасал корабль, командуя матросами, приносили ему только радость. Он плыл домой. Капитан после этого вытащил Глеба из душного, грязного, кишашего крысами трюма на палубу, протянул тяжелую швабру и сказал: «Заслужил!» Это был уже почти рай! А впереди был Марсель. Франция!

XXIX

По Парижу шел человек в старой, заношенной солдатской шинели. В руках у него был потертый кожаный саквояж. В его заросшем светлой щетиной худом лице, в его глазах, чувствовалась такая смертельная усталость, какая бывает у людей, делавших многодневную, тяжелую, невыносимо трудную работу. Человек был уставшим и очень голодным. У него не было денег. Последние деньги он потратил, чтобы добраться из Марселя в Париж. Все, что было у человека в старой шинели, — это спрятанные в бауле погоны капитана батальона Георгиевских кавалеров, парадная форма капитана лейб-гвардии Семеновского полка и многочисленные ордена, полученные за беспримерную храбрость во время мировой войны, больше года назад закончившейся в Европе. Правда, у него когда-то были еще и погоны полковника Белой армии, но он их выкинул еще тогда, при отступлении в Манчжурию, когда эта армия перестала существовать. Он с ужасом вспоминал этот поход, больше похожий на бегство, через Сибирь, Байкал, Дальний Восток, когда уже никто их не преследовал, а остатки армии с телом мертвого безногого Капшеля шли, не останавливаясь, по пятидесятиградусному морозу к Великому

океану. Полковник не остался ни в войске атамана Семёнова, ни в Маньчжурии. Он отказался ехать и с генералом Войцеховским к Врангелю. Получив из рук Войцеховского за беспримерную храбрость необычный, в виде проткнутого золотым мечом тернового серебряного венца орден «За Великий Сибирский поход», Глеб Смирнитский, сложив нехитрые пожитки, ушел из армии, работал и нищенствовал и, устраиваясь кочегаром на пароходы, приплыл через моря, голодая в портах, хватаясь за любую работу, в Европу, во Францию.

Он был худ и голоден, но годы войны, годы страданий и лишений научили его терпению. Он мог шагать и шагать по городу, лишь бы тяжелые, подбитые подковками ботинки кочегара выдержали эту ходьбу. Он шел на улицу Риволи, где в старом доме находился Союз русских офицеров. Задача Союза заключалась в помощи вырвавшимся из России офицерам в получении вида на жительство, нахождении какой-нибудь работы и денежной поддержке. С последним дела обстояли хуже всего, так как она осуществлялась только на средства благотворителей, которых с каждым днем становилось все меньше и меньше. Война для Франции закончилась победой, и французы были благодарны американцам, но никак не русским, которые, по их мнению, предали французов, подписав унижительный мир с немцами, и не расправились с властью Ленина. Поэтому основная масса офицеров искала работу, чтобы заработать денег на билет в Северную или Южную Америку, и навсегда покидала Европу. Поддержку имели те, кто вступал в Иностранный легион либо шел воевать против Советской России. Но их было немного. Прибывшие сюда, во Францию, русские офицеры хотели только покоя, работы и мира.

Идущий по Парижу человек тоже хотел покоя и мира. Но он не стремился в Америку, иначе бы он еще из Китая, через Японию, постарался бы туда попасть. Нет, он обогнул половину Земли для того, чтобы попасть туда же, откуда он пришел, — на территорию бывшей царской России: он стремился в Польшу. В отличие от всех других беженцев, он хотел попасть домой.

Глеб Смирнитский, а это был он, где подсаживаясь на подножки трамваев, а больше пешком, спрашивая дорогу у шарахающихся от него, радостно идущих и жующих на ходу свои любимые булки французов, все-таки добрался до нужного дома на улице Риволи. Дом был стар, как многие дома в Париже; парадная лестница была обшарпана, воняла кошками и плесенью. Союз офицеров занимал две полутемные маленькие комнатки на первом этаже. Его сотрудник — человек, одетый в форму офицера французской армии без знаков различия, сидел на расшатанном стуле за старым столом и что-то писал. Он, не поднимая головы, устало и заученно спросил у Глеба, как бы заранее зная ответы на все свои вопросы, его фамилию и имя, офицерское звание, причины обращения в Союз.

— Глеб Смирнитский, капитан лейб-гвардии Семеновского полка, воевал с первого до последнего дня на германском фронте, награжден восемью орденами Российской империи, полковник в армии Капеля.

— Чем я могу вам помочь, господин Смирнитский? — сидевший за столом поднял голову, и в его голосе зазвучали уважительные нотки. — Только не просите денег и работы — их просто нет. Заполните, пожалуйста, анкету, и если что-то появится, мы вам сообщим. Правда, когда вы где-нибудь устроитесь жить и сообщите нам ваш адрес. Либо вам придется сюда приходить раз в неделю — чаще не надо. Есть ли у вас знакомые в Париже?

— Нет. Но мне не нужна помощь во Франции, я хочу, чтобы вы помогли мне добраться до Польши.

— Куда? В Польшу? Через Германию? Или морем в Данциг? Сразу скажу — это невозможно! И зачем вам в Польшу?

— Я поляк, и Польша — единственная страна, где меня ждут. А почему я не могу попасть в Польшу? Разве в Европе не закончилась война и границы не открыты?

— Может быть, они и открыты, но не для нас с вами, господин Смирнитский.

— Для кого — для нас?

— Для нас, русских офицеров, которые тогда, во время войны, спасали Францию ценой своей жизни, а теперь

стали ненужными изгоями, — зло сказал человек в форме французской армии. — Скажу честно: для таких, как вы, героев войны, одна дорога — Иностраннный легион и война в Африке и Азии. Тут французы от радости будут вокруг вас плясать и обещать золотые горы. Если хотите, я сейчас же дам вам адрес Иностраннного легиона.

— Нет, спасибо. Я не для того проплыл полмира, чтобы вновь идти на войну.

— Тогда прошу меня извинить, но ничем вам пока помочь не смогу. Всего хорошего.

XXX

На выходе из Союза Смирнитский столкнулся с длинным, худым человеком во французской форме с небольшой колодкой орденов на груди. У офицера было подвижное лицо, живые карие глаза и непомерно длинный нос. Офицер презрительно посмотрел на Смирнитского с высоты своего роста и постарался отодвинуть Глеба рукой со своего пути. Смирнитский не сдвинулся и сказал:

— Господин офицер, позвольте, согласно известному всем образованным людям этикету, вначале мне выйти.

— Вы меня будете учить правилам этикета? — удивленно и недовольно сказал длинный француз.

— Ни в коей мере, — весело ответил Смирнитский. — Я всего лишь предлагаю их соблюдать.

Длинный еще раз смерил Глеба презрительным взглядом, но увидев насмешливый и в то же время жесткий взгляд серых глаз Смирнитского, все же отодвинулся в сторону и уже в спину проходящему Глебу сказал:

— И что француз делает в этой дыре? Здесь Союз русских офицеров, и вы ошиблись адресом.

— Я-то как раз по адресу. Я русский офицер, — ответил, не оборачиваясь, Глеб.

— Что-то вы своим одеянием не похожи на русского офицера. Больше вы похожи на нищего с Нового моста.

Смирнитский повернулся и с усмешкой спросил:

— Хотите меня обидеть? Или вызываете на дуэль?

— Ни то ни другое. Меня только удивляет ваш французский. Где так прекрасно учат французскому языку?

— В русской императорской армии.

— Вы, конечно, шутите? Я понимаю, что со времен великого Наполеона в России знают французский язык, но в армии... В каких войсках можно научиться так говорить?

— В императорской лейб-гвардии.

— Извините. Если можно, представьтесь, — удивленно сказал француз.

— Капитан лейб-гвардии Семеновского полка Глеб Смирнитский, — в голосе Смирнитского звучали нескрываемые нотки гордости.

— Если я вас чем-нибудь обидел, то извините меня, господин капитан. Но нет ли среди ваших знакомых такого же русского офицера, знающего французский и... польский языки?

— Перед вами урожденный поляк! — еще более гордо сказал Смирнитский.

— Bravo! Вы-то мне и нужны, капитан. Пойдемте обратно к господину Тартову. У меня к вам будет предложение... Пойдемте, пойдемте, капитан, это хорошее предложение.

— Иностраннный легион?

Француз рассмеялся:

— Нет. Польша, — и француз, отступив в сторону, жестом, галантно предложил пройти Глебу впереди него.

Когда они вернулись к сидевшему за столом человеку, француз с порога громко заговорил:

— Что же вы, господин Тартов, забыли о моей просьбе? Вот же человек, который мне нужен. Регистрируйте его в своем Союзе, и я забираю его с собой. А вы можете ставить себе галочку, что решили проблему одного из русских офицеров.

— О, господин де Голль, я совсем запамятовал. Простите меня, если можете. Конечно, я сейчас же зарегистрирую господина... См... Смирнитского, и вы можете его забирать.

— Позвольте! — заговорил Глеб. — Что все это значит? И что это вы решаете без моего согласия мою судьбу?

— Честно, господин Смирнитский, вам просто повезло. Необычайно повезло. Я вам говорил, что есть единственная работа — служба в Иностранном легионе, а господину де Голлю нужен русский офицер, воевавший, знающий французский и польский языки для работы в Польше. Не для войны, для мирной работы... Вот, заполните эту бумагу и распишитесь, а я вам выдам временное удостоверение личности. Господи! Как же вам повезло, господин капитан! Вам, господинде Голль, не нужны просто боевые русские офицеры?

— Мне, господин Тартов, нет, Франции — да. Вступайте в Иностраннный легион.

— Опять воевать и в Африке. Нет. Я тоже устал от войны. До свидания, господин де Голль. Желаю вам удачи, полковник, — сказал, вставая, служащий Союза и протянул Глебу руку. И с нескрываемой грустью и завистью произнес: — Как же я вам завидую.

С маленькой бумажкой, удостоверяющей, что Глеб Смирнитский зарегистрирован временно в Париже по адресу Союза офицеров, Глеб вышел с длинноносым французом на улицу. Солнце светило, и у Глеба стало необычайно тепло и радостно на душе.

— Не пойму, господин де Голль, в чем мне повезло?

— В том, господин капитан, что я приглашен правительством Польши помочь ей в обучении новой польской армии. Я еду преподавателем в бывшее императорское военное училище в Варшаве, — сказал француз.

— Я его окончил.

— Прекрасно, тогда пойдете со мной. Вам здесь делать больше нечего. Пойдете, господин капитан, перекусим. Я думаю, вы не откажетесь поесть?

— Не откажусь...

Если французского офицера, судя по наградам — боевого офицера, в кафе приняли с радушием, то на сопровождавшего его человека в старой солдатской шинели посмотрели с возмущением и не хотели пускать.

— Как вы можете — это мой боевой товарищ! Он только что вернулся из немецкого плена. Он бесстрашно защи-

щал нашу любимую Францию. Несите нам нормальную еду и хорошее вино, — громко и недовольно сказал де Голль.

— О-о! Да здравствует еще один герой, разбивший бошей и защитивший нашу любимую Францию! — закричали французы и быстро стали сервировать столик у окна и побежали на кухню.

— Вам, господин Смирнитский, главное постараться не говорить по-русски, — тихо прошептал длинный француз.

— Зачем по-русски? Я, как вы поняли, неплохо знаю французский. Ваш язык знают все русские офицеры, а тем более гвардейцы, — сказал Глеб.

— Я был в немецком плену с одним русским офицером, он тоже великолепно говорил по-французски — лучше, чем мы, французы. Давайте знакомиться — Шарль де Голль, майор французской армии, воевал на Восточном фронте против немцев, трижды ранен, награжден, и даже посмертно, за битву под Верденом, где попал в плен к немцам. Освободили после капитуляции Германии.

Смирнитский привстал.

— Глеб Смирнитский, поляк, капитан лейб-гвардии Семеновского полка, полковник в армии генерала Каппеля — любое звание на выбор, — грустно сказал Смирнитский.

— Что капитан — знаю, что полковник — услышал. Извините, Глеб, но чем вы сможете подтвердить ваши слова?

Глеб снял старую шинель, под которой оказалась выцветшая от времени солдатская рубаха, открыл саквояж, достал небольшой сверток, положил его на стол и бережно развернул. На белоснежной скатерти заблестели необыкновенно красивые, украшенные витыми шнурами, оранжево-черные погоны с вышивкой золотом «Ст. В. Г.», еще одни погоны со звездочками и витым шнуром и многочисленные ордена. Один из орденов был необычным: на Георгиевской ленте, как из снега, пушистое серебряное кольцо, проткнутое золотым мечом. Де Голль в каком-то порыве чувств, наверное, из уважения к сидевшему напротив него боевому офицеру, встал во весь свой большой рост и отдал честь этому усталому, заросшему щетиной, одетому в солдатскую гимнастерку человеку. Проходивший мимо с

подносом официант, увидев награды, открыл рот, потом воскликнул: «О, Бог мой!» — поскользнулся и с грохотом уронил поднос. Посетители кафе обернулись на шум и, увидев стоящего навытяжку, отдающего честь французского офицера и отливающие на солнце ордена и необычные погоны, оторопело смотрели, а потом разом стали хлопать в ладоши и хвалить армию... французскую.

— Давайте есть, господин капитан — тихо сказал де Голль, когда официанты с невероятной быстротой поставили закуски и вино.

— Давайте, — сказал Смирнитский. — Кстати, у меня есть парадная форма капитана лейб-гвардии Семеновского полка. Показать? Если я ее надену — сбежится полгорода, настолько она красива.

— Ради бога, не обижайтесь, Глеб. Я надеюсь, вы мне ее еще покажете. Лучше выпьем за наших боевых товарищей, что не вернулись с войны!

— Согласен, господин майор.

Выпили стоя. Глеб встряхнул и вставил белую салфетку за ворот линиялой солдатской гимнастерки, взял вилку и нож и стал очень медленно есть, растягивая движения, только чтобы не сорваться и не отбросить все эти ножи и вилки, послав к черту ненужные условности, не начать рвать руками это мясо и горстями запихивать еду себе в рот, теряя сознание от одного только запаха еды. Де Голль это видел и понимал, поэтому ни о чем не спрашивал, только старательно доливал Глебу вина в бокал.

Вдруг, как будто вспомнив что-то очень важное, Смирнитский отложил вилку и нож и произнес:

— Я вспомнил, откуда я знаю ваше имя, господин де Голль. Вы были в плену вместе с Михаилом Тухачевским?

— О! — закричал француз. — Мишель жив? Все-таки добрался до России? Я за всю войну не встречал таких смелых людей. Я с ним познакомился в лагере для неисправимых беглецов в Ингольштадте. Я к тому времени бежал из плена шесть раз, и все неудачно, а Мишель четыре раза, и его тоже, каждый раз ловили немцы. Но сравнивать его и мои побеги невозможно. Мне нужно было пройти каких-то

двести километров, и я уже был бы во Франции, а он рвался в Россию, за тысячу километров. Я, как попал в лагерь для «неисправимых», так решил больше не бежать — меня боши предупредили, что расстреляют, и Мишеля предупредили, а он все равно убежал и, как видно, добрался до России. Невероятно сильный человек. В нем была одна удивительная черта: он все время стремился даже не домой — он все время стремился на войну! Он как будто боялся на нее опоздать, не успеть! Извините, Глеб — можно я буду вас так называть? — но я не понимаю, как страна, имеющая таких блестящих офицеров, могла проиграть войну и подписать капитуляцию с немцами, когда те уже были разбиты.

— Не знаю, поймете ли вы меня, Шарль, но к концу шестнадцатого года боеспособной армии у нас уже не было, большевики ее разложили изнутри. Проиграли те, кто был на фронте и не хотел больше воевать; выиграли те, кто был в тылу и не хотел идти на фронт. Да еще Распутин, да император, посчитавший, что беды страны меньше бед его семьи. Вы представьте, Шарль: император, став Верховным главнокомандующим, каждую неделю ездил из Ставки, с фронта, в Петроград. И в марте семнадцатого года бросил армию и уехал домой по одному лишь телефонному звонку императрицы, а приехал к ней уже не императором, а гражданином Романовым.

— Какая сильная любовь! Вы осуждаете?

— Да.

— Извините, Глеб, но, значит, вы не любили...

— Возможно, — грустно ответил Глеб.

— А чем занимается Мишель?

— Он вернулся в Россию в сентябре семнадцатого, когда все уже рухнуло. Страна рухнула. Ни армии, ни власти — бери власть кто хочет. Его восстановили в армии капитаном. А потом октябрьский переворот — власть у большевиков. Я его встретил в восемнадцатом в Петрограде. Он поступил на службу к большевикам. Вновь встретились в девятнадцатом, в Омске, в Сибири, он уже командовал армией у большевиков, и это он разгромил армию Каппеля, в которой я служил, и когда я попал в плен и меня

вели на расстрел, он спас меня и помог убежать. Где он сейчас, я не знаю, но думаю, воюет — он человек войны.

— Это похоже на Мишеля! — сказал почему-то с гордостью де Голль. — Ну, значит, мы еще встретимся. Это же не последняя война.

— Можно задать вам вопрос, Шарль? Почему вы сказали, что это не последняя война?

— Не забывайте, Глеб, старикан Гинденбург — национальный герой Германии, и он когда-нибудь найдет себе достойную замену, пусть даже не генерала, а какого-нибудь ефрейтора. Я тут прочитал в газетах о выступлениях бывших военных-фронтовиков в Мюнхене. Там выступали генерал Людендорф, бывший начальник германского Генерального штаба, и какой-то Гитлер. Так этот Гитлер провозгласил двадцать пять пунктов по восстановлению Германии, и какие: Германия превыше всего, отмена Версальского договора, возврат потерянных земель, вооружение и перевооружение, антисемитизм, национал-социализм... А это значит, что как только к власти в Германии придут такие, как этот Гитлер, кстати, ефрейтор и награжден тремя Железными крестами за храбрость, то немецкие солдаты вновь зашагают по Европе.

— А что Европа?

— А Европа веселится и радуется миру, думая, что он навсегда. Только они забыли, что Франции отошел Рур, а вашей Польше все морское побережье — бывший немецкий коридор на Восточную Пруссию и порт Данциг. Немцы с этим никогда не согласятся!

— Я ничего этого не знал, Шарль. Я воевал, а потом скитался, — тихо сказал Глеб...

— Всегда так, Глеб: одни воюют и умирают, считая, что защищают свою страну, а другие, кто посылает этих людей умирать, преследуют совсем другие, личные цели и на людей, посланных ими умирать, им наплевать.

— И что же делать таким, как я? — спросил Глеб.

— Мы с вами офицеры, Глеб, и у нас есть одно право — умереть за свою страну. Как у вашего Толстого: «Вот прекрасная смерть!...» Я люблю Францию, вы — Польшу и Россию, но

той России, которую вы любили и защищали, больше нет! И в этом нет ни вашей, ни моей вины. Мы с вами честно выполнили свой долг. Давайте выпьем, капитан!..

Когда Глеб поел, де Голль предложил поехать к нему, в его небольшой дом в пригороде Парижа.

— Семья уехала на море, так что я один и вы меня стеснять не будете.

— Я поеду, только вы, господин де Голль, скажите честно, зачем вы едете в Польшу?

— Я так и думал, что вы мне не поверили. Ладно. Вы вообще знаете, что происходит в Польше?

— Кроме того, что она свободна, — ничего.

— На Польшу напали русские большевики, польские войска терпят одно поражение за другим. Вот-вот падет Варшава. Польша запросила помощи у Антанты, и в Польшу из Франции направлены восемьдесят тысяч французских поляков, желающих защищать свою новую республику. Вот их и надо учить воевать.

— Странно, а где же были эти поляки, когда немцы стояли под Парижем?

— А они, мой юный друг, наверное, внимательно наблюдали — кто кого!

— Можно, Шарль, одну просьбу? Не называйте меня больше «мой юный друг». Мне двадцать шесть лет. И у меня были два боевых товарища, которым было всего по восемнадцать лет, я их называл «юный друг», и оба они погибли в бою.

— Ах, извините, Глеб, это непроизвольно вырвалось. Кстати, мне тридцать. Так что мы почти ровесники, и у нас с вами еще вся жизнь впереди.

— Как бы этого хотелось, Шарль...

Молодые люди уехали в загородный дом де Голля, где радушный хозяин предоставил Глебу комнату, ванную, бритвенные принадлежности и послал своего слугу в магазин за рубашками, костюмом и обувью для Смирнитского.

Через неделю Шарль де Голль и Глеб Смирнитский из французского порта Гавр отплыли на корабле в бывший немецкий город Данциг, переименованный в польский город

Гданьск. У Смирнитского был документ, удостоверяющий, что он едет в Польшу в качестве помощника французского майора Шарля де Голля. Глеб ехал домой!

XXXI

Полк Александра Переверзева довольно долго стоял в Красноярске — большевики боялись восстания рабочих; в городе наступил голод — крестьяне не хотели продавать хлеб за новые, советские деньги — почтовые марки.

Активно помогал чекистам и продотрядам Архип Феропонтов. Он не рыскал по деревням — зачем? — он помогал расстреливать и пытаться. В нем не было жалости и не было классовой ненависти. В нем была просто ненависть! И еще он хотел выслужиться, хотел, чтобы его заметили в ЧК. Он писал доносы на командиров рот и батальонов, спаивал их и узнавал многое из того, что человек не расскажет даже под пыткой. Ему уже не хотелось дальше воевать — огромные безлюдные и холодные пространства Сибири его пугали. Его заметили и в донесениях в Москву в ВЧК отмечали его активную помощь.

Странно, но его постоянное отсутствие в полку положительно подействовало на Александра Переверзева. Он вначале, рыдал, выл и бился головой о стенку, но потом ему стало легче, его уже помутившийся ум как будто очистился, и он стал понимать, что с ним происходило что-то непонятное и дикое. Он набрался мужества и пошел к врачам, работающим в Красноярском госпитале. Старенький доктор-еврей, в пенсне, долго и очень внимательно слушал жалобы Переверзева, а тот рассказал откровенно о своих ранениях на фронте, о пьянстве, о головных болях и о необычных порошках, которые ему очень помогали, но без которых он не смог в дальнейшем жить. Доктор слушал, слушал, кивал головой, а потом тихо сказал:

— Да из вас, сударь, наркомана сделали.

— Поясните, доктор.

— Вам давали наркотики, и вы вначале чувствовали от их приема значительное улучшение, а затем они стали

привычны, и вам требовалась все большая доза, и вы стали зависимы от них. Вам будет очень трудно, необычайно трудно, я бы сказал невозможно, отвыкнуть от их приема, но если вы этого не сделаете, вас ждет неминуемая смерть от полной потери рассудка. Я не знаю, кто вам прописал такое лечение, но уверен, что не доктор. Гоните от себя этого человека — он вас хочет погубить!

Александр Переверзев вышел от доктора, шатаясь, как пьяный. «Он хочет меня погубить? Почему? А-а-а! Да он же меня ненавидит! Он всех ненавидит! Сейчас приду и разберусь с ним! Выгоню! Под суд отдам!» — командир полка бежал к себе в штаб и лицо его горело от желания уничтожить человека, который посягнул на его жизнь.

Ферапотов сидел за столом и что-то старательно выводил на листе бумаги — он был слабо грамотен, книг не читал — ему это не требовалось.

— Товарищ Ферапонтов, зайдите ко мне, — сказал на ходу, проходя в свой кабинет, Переверзев и, когда Ферапонтов вошел, крикнул. — Закрой дверь! Ответь мне, чем ты меня пичкал все эти месяцы? Какой дрянью? Доктор сказал, что это наркотики.

— А я-то откуда знаю, как называется это лекарство? От болей и от болей. Вы же сами просили.

— Ты не юли. Отвечай: зачем ты давал мне наркотики?

— Послушайте, товарищ начальник полка, вы в чем меня обвиняете? В том, что вы больной и что вас надо гнать из армии?

— Что?..

— То, что тебя надо было бы давно выгнать из нашей рабоче-крестьянской Красной армии. Тебя и такую же дворянскую кость Тухачевского.

— Да ты знаешь, что я с тобой сделаю? Расстреляю здесь...

— Попробуй. Я ведь сотрудник ВЧК и большевик. Это я могу тебя пристрелить, и мне ничего не будет. Понятно?

— И-и-и... — захлебнулся Переверзев и стал синеть и дергать ворот гимнастерки — пуговицы полетели. Пере-

верзев упал на стул и прошептал: — Вон. Я ведь знаю, чего ты боишься — что узнают о твоей второй натуре, о золоте... А... что побледнел? В самую точку я попал!

— Вот что я тебе скажу, господин Переверзев, ничего у тебя на меня нет и не может быть, но я тебя пожалею — служите, но без меня. Пока ты тут валялся и гадил под себя, я тебя прикрывал, а теперь увольте. Тем более полк отправляют на фронт, с поляками воевать. Там, кстати, и с дружкой своим, Тухачевским, встретитесь...

— Как это в Польшу? — удивился Переверзев.

— Так приказ-то у тебя на столе лежит. А я на фронт не хочу. Я уезжаю в Москву, в центральный аппарат ВЧК, и не дай бог вам и вашему Тухачевскому попасть в отдел, где я буду служить...

— Какая Москва? Какую службу? — непонимающе перебил Переверзев.

— В тюремный отдел, — глухо продолжил Ферапонтов, и по спине Переверзева от этого голоса пробежал мороз. — Прощайте, а может быть, до свидания. Если встретимся, то это свидание будет для тебя последним. Так что советую тебе и Тухачевскому пасть смертью храбрых за новую рабоче-крестьянскую родину, иначе эта родина вас уничтожит как классовых врагов. Черт, научился говорить! С кем поведешься... — Архип Ферапонтов повернулся и вышел из кабинета.

А командир полка Александр Переверзев долго сидел, склонив голову над столом, и невидящим взглядом смотрел на лист бумаги с приказом о переводе полка на Западный фронт. Потом тяжело поднялся и вызвал к себе начальника штаба и комиссара полка — надо было исполнять приказ. Страшно болела голова — хоть вой!

XXXII

На юге бывшей империи шла странная война: то Деникин бил красных, то красные били Деникина. А донские казаки все ждали, когда же произойдет замирение и они повесят свои шашки и возьмутся за плуг.

— У красных-то не одни рабочие воюют. И крестьяне. Небось тоже по земельке соскучились, — говорили казаки.

Кое-кто в качестве замирения предлагал казацкой земелькой поделиться: «Пущай. Только давайте войну кончать! Давайте, как с немцами, — побратаемся». Красные братались не соглашались, но особо в бой не рвались. Отчего началась перепалка между командующим Юго-Восточным фронтом Шориным и еще неизвестным, подчиняющимся ему, командующим Первой конной армией Семеном Буденным. Оба были с характерами, оба в мировую войну были награждены за храбрость Георгиевскими крестами, Но Буденный имел «полный георгиевский бант»: четыре Георгиевские медали и четыре Георгиевских креста! А Шорин всего три.

— Сука ты, Василий Иванович! Где твоя помощь была, когда меня этот врангелевский выкормыш генерал Павлов терзал в хвост и гриву на Маныче? Ты знаешь, сколько я потерял, чтобы оторваться от него? Три тысячи сабель и всю артиллерию! А ты, гад, даже не шелохнулся. Я тебя сейчас шашкой до ж... раскрою! — кричал в штабе фронта Буденный.

— Ну чего ты, Семен Михалыч? Чего ты? Не было у меня сил поддержать тебя — сам знаешь, воевать не хотят. Казак на казака. Виданное ли дело! Вот придут части из России, тогда да, тогда раздавим.

— Когда они, такую мать, придут? Только и разговоры.

— Ты, Семен, совсем не знаешь, что происходит? Прибили в Сибири Колчака, так что сейчас развернут их к нам — и конец белым.

— Ну и дай-то Бог! — Буденный перекрестился. Шорин засмеялся:

— Пойдем лучше, Семен, пропустим по чарочке.

— Ох, Василий Иванович, пойдем. А если уж честно — сняли бы, что ли, тебя.

— Неужели на мое место метишь?

— Не-е... мне не надо, да и не позволят. Умом не вышел. Ты вон из простых, а до штабс-капитана дослужился.

Тебе полковник Каменев поближе будет. А нам бы кого попроще — какого-нибудь поручика. С ним-то легче будет.

— Не скажи, Семен Михалыч. Вон Колчака-то разбил Михаил Тухачевский — поручик. А говорят, не дай Бог под его команду попасть — сожрет и не подавится. Так что давай выпьем, чтобы на нашем пути такие Тухачевские не попадались.

Выпили, крякнули, закусили, усы расправили. Налили по второй. За дверью зашумел ординарец командующего, потом послышался удар и падение тела.

— Это еще что там у вас? — крикнул Шорин. — Сейчас выйду и всех вас, бл...ей перестреляю. Нашли место, где драться — у командующего фронтом в штабе!

Дверь открылась, вошел красивый, высокий молодой человек в необычной остроконечной шапке со звездой и орденом Красного Знамени на шинели. Не здороваясь, произнес:

— Бывшего командующего. С сегодняшнего дня Юго-Восточный фронт преобразован в Кавказский и его командующим назначен я.

— А вы кто? — спросил Шорин. Капуста свисала из руки.

— Командующий Кавказским фронтом Тухачевский Михаил Николаевич.

— Э-э... товарищ Тухачевский, а что это у вас за шапка такая необычная? — глупо спросил Буденный.

— Я так понимаю, вы командующий Первой конной армией товарищ Буденный?

— Да-а...

— Для вашей Первой конной, товарищ Буденный, я эти, как вы говорите, «шапки» и привез. Всей вашей армии выдадим. Вроде отличительного знака. Известно же, что товарищ Шорин, калмыкам знак утвердил в виде свастики.

— Так это по-калмыцки знак ветра.

— А это будет «буденовка». Не возражаете, Семен Михалыч.

— Может... это... выпьем, по такому случаю? — спросил Буденный.

— Не пью и вам не советую. Приказываю вам, Василий Иванович, срочно пригласить всех командующих армиями и корпусами. Штаб пусть готовит документы по передаче дел. Вас отзывают в Москву.

— Ну и что я говорил, Семен? Сейчас наш фронт стал главным, — грустно произнес Шорин.

— Да, на сегодня Кавказский фронт главный, уничтожим эту казацкую вольницу — и на Польшу, — сказал Тухачевский.

— Куда? — глупо спросил Буденный.

— На Польшу. А дальше по всей Европе. Наша пролетарская революция широко и победоносно шагает! Весь мир будет наш!

Шорин оказался прав: Тухачевский весь свой опыт боев с Каппелем и Колчаком применил на Кавказском фронте. И Белая армия стала нести поражение за поражением, и казаки уже бежали из этой армии к Тухачевскому. Казаки стали воевать с казаками! И все закончилось взятием Ростова, Новочеркаска и знаменитого боя под Тихорецкой. «Спаситель!» — сказал восхищенно о Тухачевском Ленин. Многим это не понравилось. Владимир Ильич еще сообщал, хотя голова нестерпимо болела, его побаивались и уважали. Пока.

А в Красной армии появился новый головной убор — буденовка. Все завидовали. У русских внутри, в душе, столетиями в закоулках памяти оставалась красота дружины Александра Невского и витязей Димитрия Донского. А что это была царская шапка, так это все вранье!

Ладно, Шорин, пусть, но и Буденный обиделся, что не его называли спасителем.

Сидели втроем: Сталин, Буденный, Егоров. Не пили — боялись.

— Ну что, Семен, плюнули тебе в лицо? Ты Дон усмирил, а победителем кого называли — этого выскочку Тухачевского? — заговорил в прокуренные усы член Военного совета Иосиф Сталин.

— А чего я-то? Я фронтом не командовал.

— Так вот и непонятно, почему вместо Васьки Шорина не тебя назначили?

— Так рылом, наверное, не вышел...

— Сеня, ты о чем? На твои усы посмотришь, и все — вылитый генерал.

— Так я и так генерал, раз армией командую.

— А должен фронтом, как Сашка, — Сталин показал пальцем на Александра Ильича Егорова. — Сашка, а Мишка-то Тухачевский скоро тебя обскочет.

— Не обскочет. У меня фронт, а у него сейчас что? Ничего. Поспешил он казачков-то разбивать. Нечем ему теперь командовать.

— Ты, Сашка, что, ничего не знаешь?

— А что я должен знать?

— Мишку Западным фронтом командовать назначили, разбить Польшу. Сам Ленин приказал.

— Да ну?!

— Вот тебе и «да ну». И как он поляков разобьет, так прямой путь ему в Москву, заместо твоего дружка, Сережки Каменева.

— Ну это-то ты, Иосиф, хватил. Этого не может быть! Троцкий не позволит, — засмеялся Егоров.

— Твой Троцкий — проститутка. Его давно надо к ногтю, и Колю Бухарина-Бухалкина туда же, да Ильич не дает. А насчет Тухачевского, так это я вам говорю — Иосиф Сталин, член Реввоенсовета.

— И что делать?

— Как раз ничего не надо делать.

— Как это?

Сталин быстро прошел к двери, выглянул, опять сел за стол и тихо сказал:

— Слушайте, надо... — три головы склонились над столом.

А на Дону, от Воронежа до Новочеркасска — одна пыль над незасеянными полями и пустые дома с черными, пугающими глазницами разбитых окон. И везде радующееся смерти воронье, воронье, воронье! Не стало Великого Дона!..

Игнаций Коржик, начальник новой, свободной варшавской полиции, ненавидел русских. Игнаций, трижды сидевший в русских тюрьмах за мошенничество и воровство, перепутал царский режим, который поляки в большинстве своем ненавидели, с русскими как народом. В новой, объявившей себя независимой и свободной, но оккупированной немцами Польше Игнаций, как человек многократно пострадавший от царского режима, вдруг проявил недюжинные способности и бесстрашие: он, выпущенный немцами из тюрьмы на свободу, в этот период неразберихи, когда русские ушли, а немцы были столь слабы, что им было не до Польши и они терпели крах своей молодой империи, поворовал, пограбил, а потом, собрав вокруг себя таких же сидельцев бывших русских тюрем, под знаменами новой Польши захватил варшавскую тюрьму и освободил всех: и уголовников, и политических. Последних он освобождать не собирался — они сами ушли, когда охрана разбежалась. Такой смелый поступок был замечен, и новая польская власть после поражения немцев в войне назначила пана Коржика на самый подходящий для него участок работы, где он, как никто, мог бы проявить все свои таланты, — возглавить полицию Варшавы.

Первое, что сделал пан Игнаций, — выгнал с работы всех старых опытных сотрудников полиции и пригласил, повысив оклады, своих знакомых и друзей по недавнему лихому прошлому. В Варшаве начался разгул бандитизма и воровства. По вечерам добропорядочные жители чистенького, уютного города старались не выходить на улицы — боялись! Власть, увидев, что новая народная, польская полиция делает что-то не то, вызвала пана Коржика в мэрию, где потребовала объяснить, почему граждане жалуются на свою же народную полицию. Пан Коржик, не моргнув глазом, нашел, что сказать: он сообщил, что во всем виноваты оставленные царским правительством в Польше, глубоко законспирированные русские — военные и гражданские и что они готовят восстание против новой польской власти.

Любая власть, когда дело касается ее родной шкуры, поверит всякой небылице, в которой говорится о посягательстве на нее, на власть!

Варшавская не была исключением — поверила пану Коржику и попросила его быть еще непримиримее к врагам молодой Польской республики, но все же постараться предъявить ей, власти и гражданам, этих самых шпионов.

Пану Коржику работать бы с другим известным польским сидельцем и страдальцем русских тюрем — Феликсом Дзержинским. Игнацию бы в новую Россию — ему бы цены не было. Не зря же он, зная, что Феликс Эдмундович совершенно свободно приехал в Польшу повидаться с семьей, которую он почему-то никак не хотел перевозить в Россию, не предпринял никаких действий, чтобы задержать создателя самой страшной карательной организации — ВЧК, и Эдмундович, погуляв по улицам Варшавы, уехал в Советскую Россию — продолжать бороться и проводить свой «красный» террор против русского народа.

Слежка за гражданами у пана Коржика была налажена очень хорошо — имелся огромный практический опыт. Когда пану Коржику доложили, что из Франции в Варшаву, через Гданьск, прибыл советником и преподавателем в военном училище французский майор Шарль де Голль, ничего необычного в этом не было — Антанта помогала новой Польше. Но то, что вместе с французом прибыл некий господин Смирнитский, который на пограничном контроле предъявил документы сотрудника французской миссии в Польше, почему-то насторожило пана Коржика. Игнацию позарез был нужен враг, и он понял — вот тот предатель-поляк, который и сыграет роль большевистского лазутчика. Обрадованный, благо слежка еще в день приезда установила, что приехавший остановился в доме поляка Владислава Смирнитского, пан Коржик решил его арестовать. Правда, оказалось, что прибывший очень хорошо ориентируется на старых улицах Варшавы, и его чуть не упустили. «Заметают следы, — сразу подумал пан Коржик. — Надо его брать, пока он опять не ушел от моих филеров». Игнаций Коржик вызвал своего заместителя.

— Я тебе приказываю срочно поехать по этому адресу, — он вручил заместителю бумагу, — и арестовать прибывшего вчера в Варшаву некоего «товарища» Глеба Смирнитского. Он, безусловно, вооружен. Окружите дом и захватите. Главное — неожиданность! Ты его сильно не бей. Нам чего-нибудь оставь. Да и предъявлять его надо будет полякам как пойманного и изобличенного врага польского народа. Понял? Иди.

Когда де Голль и Смирнитский прибыли в Варшаву, Глеб предложил своему новому товарищу поехать к его родственникам. Правда, Глеб не знал, живы ли они, а если и живы, цел ли их дом. Де Голль поблагодарил и отказался — для него был забронирован номер в гостинице, и он уехал на службу. Договорились, что Смирнитский приедет в гостиницу через пару дней — все-таки человек приехал домой, пусть отдохнет. Де Голль сообщил адрес гостиницы, а Глеб продиктовал адрес дома дяди...

Сколько вздохов, слез, рыданий раздалось в доме пана Владислава Смирнитского, когда в калитку вошел взрослый, худой, бледный мужчина с удивительно уставшими глазами, в которых отражалась шестилетняя война! Мужчина снял шляпу и тихо сказал копавшему лопатой какую-то яму хозяину дома:

— Здравствуйте, дядя Владислав. Я вам обещал вернуться и вернулся.

Постаревший и поседевший пан Владислав, подслеповато взглянул на вошедшего человека и с криком: «Глеб!» — выронил лопату.

— Мария! — продолжил кричать старик. — Скорей беги сюда! Глеб вернулся! Наш сыночек вернулся!

— Святая Мария, Глебушка, сыночек! — кричала поседевшая за эти годы пани Мария, выбегая из дома. — Господи, живой!.. Ядвига, Златка, бегите сюда! Глеб вернулся!

Пани Мария подбежала к Глебу, обняла его и стала плакать и причитать:

— Господи, благодарю тебя, что вернул нам нашего сына! Господи!..

— Ну что вы, тетушка. Зачем вы так плачете? Я же вернулся.

— Потому и плачу, сынок, что ты вернулся и здоровый, — и пани Мария стала ощупывать худое тело своего племянника, будто хотела проверить, цел ли он.

Подбежали повзрослевшие, очень похожие друг на друга красивые девушки — Ядвига и Златка и тоже стали обнимать Глеба и плакать. Четыре человека обнимали Глеба и плакали. Уставший, шесть лет проведенный в боях и на войне, еще совсем молодой человек стоял, гладил тетушку и сестер по головам и тоже плакал... от счастья, что он наконец-то, через все страдания, ранения, гибель товарищей, скитания добрался до единственного места на Земле, где его так ждали и где его так любили!

С приезда, со вчерашнего дня, Глеб блаженствовал: отмылся, побрился, переоделся и ел. «Наконец-то, — думал он, — я дома, я в раю! Пойду работать, найду хорошую девушку, женюсь и буду добропорядочным паном! И больше никаких войн! Господи, какое это счастье — мирная жизнь!» — Глеб весело засмеялся от своих мыслей и замурлыкал какой-то военный марш. Гражданских песен он не знал, хотя в Маньчжурии один раз даже потратился, чтобы сходить в ресторан и послушать Вертинского. Но голос, песни Вертинского вызвали такую тоску, что он не смог сдерживать слез и решил больше, пока не достигнет Польши, не ходить в рестораны. Впрочем, для этого у него не было и денег.

Он сидел с дядей Владиславом на веранде, пил чай, который все подливала ему тетушка, мурлыкал эти марши, когда в дом ворвались вооруженные револьверами люди в непонятной для него форме. Один из них, наставив на Глеба револьвер, крикнул:

— Не шевелиться — застрелю! Вы Глеб Смирнитский?

— Да, я Глеб Смирнитский. А в чем, собственно, дело?

— Вы прибыли вчера в Варшаву из России через Гданьск? Вы нелегал и шпион.

— Какой я нелегал и шпион, если я прибыл не из России, а из Франции и состою на службе у французского правительства?

— Разберемся. Вы арестованы. Общайте дом.

— Чем все переворачивать, уж лучше скажите, что вы ищете.

— Тогда отдайте нелегальную литературу и шифры, которые вы привезли с собой.

— Нет ничего проще, вон саквояж, и в нем все, что у меня есть.

Мужчина спрятал свой пистолет в кобуру, взял сумку, открыл и высыпал содержимое на стол. Из сумки выпала военная форма, сверток и пистолет.

— Вот и доказательства! — радостно сказал полицейский.

— Какие? — спросил Смирнитский.

— Вашей шпионской деятельности. Что здесь? — полицейский показал на сверток. — Шифры?

— Ага, — засмеялся Глеб. — Можете посмотреть.

Полицейский развернул сверток и оторопел, и все присутствующие удивленно замолчали — заблестели бесчисленные ордена и две пары офицерских погон.

— Глеб, почему ты не сказал, что ты такой герой? — сказал Владислав Смирнитский, обнимая плачущую жену. Прибежавшие дочери смотрели на награды, приоткрыв от удивления рты.

— Дядя, это все, что я заслужил за шесть лет войны. Да еще дворянский титул уже несуществующей империи.

— Хватит разговаривать, товарищ Смирнитский, собирайтесь. Это, — полицейский показал на погоны и награды — я забираю с собой. А пистолет-то у вас для чего — убивать мирных граждан?

— Этот пистолет — память. В нем даже нет патронов.

— Разберемся, — еще раз сказал полицейский и обратился к своим подчиненным, восхищенно смотревшим на награды: — Очнитесь, бестолочи! Уведите арестованного!

Глеб снял с шеи маленькую, в золотом обрамлении иконку, протянул дяде.

— Дядя, сохрани и никому не отдавай. Она подарена мне самой русской царицей.

— Это мы тоже заберем, — протянул к иконке руку полицейский.

— Не советую! — вдруг тихо и зло сказал Глеб. — Не советую даже прикасаться — я сломаю вам руку.

И в этих словах было столько силы, что офицер отдернул, как ошпаренный, свою руку и вновь приказал сопровождавшим его полицейским:

— Уведите арестованного!

Через час Глеб Смирнитский сидел в кабинете пана Коржика, который кричал на своего заместителя:

— Ты почему не надел на эту большевистскую сволочь наручники? А если бы он убежал? Он же шпион! Болван!

— Да он вел себя спокойно, отдал вот эти вещи, — на столе пана Коржика лежали погоны, ордена и пистолет, — и когда мы ему сказали, что он арестован, никакого сопротивления не оказал.

— Тупица! Наручники надевают не для того, чтобы задержанные не могли убежать, а чтобы они боялись. Иди!

Когда заместитель вышел, пан Коржик, сделал угрожающее лицо и, глядя в упор на Глеба, заорал:

— Что, коммунистическая сволочь, большевистский шпион, не ожидал, что мы тебя так быстро поймаем? Да ты только ступил на нашу прекрасную польскую землю, а мы уже знали, кто ты. Понял, товарищ Смирнитский?

— Ничего не понял... извините, не знаю, как вас зовут и в каком вы звании, господин полицейский, — совершенно спокойно ответил Глеб.

— Пан Коржик, начальник варшавской полиции. И не господин, а пан... Но тебе это твое кажущееся спокойствие не поможет — ты изобличен как шпион и предстанешь перед судом. А ты знаешь, что бывает со шпионами?

— Догадываюсь, пан Коржик.

— Ну так вот, если не хочешь получить сразу пулю в лоб, выкладывай все... Кто такой? Откуда приехал? Зачем приехал? Явки? Пароли? Может быть, наш польский суд и смягчит твое наказание. Он у нас добрый, а жаль!

— Глеб Смирнитский, поляк, двадцать шесть лет, место рождения — Варшава, военный. Воевал в германскую войну в русской армии здесь, в Польше. Капитан лейб-гвардии Семеновского полка. В гражданскую войну в России воевал

против большевиков в армии генерала Каппеля. Вернулся через Китай во Францию, где было предложено поступить во французскую военную миссию, помогающую Польше. Прибыл вчера в Варшаву через Гданьск. Все.

— А это что? — Коржик показал на погоны, ордена и пистолет.

— Это ордена уже не существующей Российской империи и погоны капитана батальона Георгиевских кавалеров Ставки его императорского величества и капитана лейб-гвардии Семеновского полка Русской императорской армии. А пистолет у меня с первого дня войны. Подарок друга. Кстати, в нем нет патронов.

— Уж не хочешь ли ты нам сказать, товарищ Смирнитский, что ты этакий герой и борец с коммунистами?

— Нет. Я просто исполнял свой долг и данную императору клятву русского офицера.

— Вот именно — русского офицера. Ты воевал и защищал интересы чуждой Польше власти. Ты воевал на стороне страны, поработившей наше отечество.

— Да, я воевал на стороне России против Германии, которая тоже являлась врагом Польши и польского народа. А вы не воевали, пан Коржик?

— Нет. Я за свои убеждения сидел в царских тюрьмах.

— Так вы социалист, а может быть, коммунист, пан Коржик? Это они сидели за свои убеждения в царских тюрьмах, а на фронте делали все, чтобы мы проиграли войну немцам.

— Что? Я — коммунист?

— Так вы же сами сказали, что сидели в тюрьмах за свои убеждения, — все так же спокойно сказал Глеб.

— У тебя при задержании мой олух-заместитель не мог забрать какую-то золотую вещицу — что это? Я все равно ее возьму как вещественное доказательство.

— Вы, пан Коржик, верующий человек?

— Я — католик!

— И у вас есть крест?

— Вот! — Коржик непроизвольно положил руку на грудь.

— Так то, что я оставил в доме своего дяди, — иконка, подаренная мне русской царицей.

— Ничего, разберемся... Продолжим. Повторяю свой вопрос: твое имя?

— Глеб Смирнитский, поляк...

Бессмысленный допрос продолжался три часа.

— Я от тебя устал... Уведите его! — крикнул Коржик.

На Глеба Смирнитского надели наручники и, затолкав в автомобиль, перевезли в варшавскую тюрьму, где поместили в камеру на двоих. В общую камеру посадить побоялись — всегда найдутся сообщники.

Сокамерником Глеба оказался вертлявый, не умолкавший ни на минуту человек по имени Вацлав. Он рассказал Глебу все последние события, происходящие в Польше и Варшаве. Ругал всеми известными польскими ругательствами полицейского начальника пана Коржика.

— Ничего, — говорил он почему-то шепотом и оглядываясь, — вот придет к власти народ, пролетарии, а в этом нам помогут бойцы славной Красной армии, и наступит в Польше всеобщее благоденствие и свобода. И все награбленное поделим по-братски среди всех бедных людей.

— Вы уверены, что хватит на всех поляков?

— Почему на всех?

— Потому что, я думаю, после войны все стали бедными, а богатых и до войны было не так уж и много...

— Да? А я как-то не подумал.

— Так подумайте, — посмеиваясь, сказал Глеб.

— Коржик — это ерунда, это цветочки, вот если попасть на допрос в разведку, то тогда — да!.. — продолжил Вацлав.

— А что, там сильно бьют?

— И не говорите — там изверги. От них еще никто живой не вышел.

— А откуда тогда могут быть такие сведения, если нет живых, а значит, нет и свидетелей?

— Ну... так говорят.

— Вот именно — говорят. Давайте спать, пан Вацлав.

— Как спать — день же? Да и как можно спать на голых досках? У меня от сидения уже вся ж... болит, а вы — лежать.

— Когда, мой молодой друг, — Вацлаву было лет сорок, — вы проспите несколько лет на земле, то эти доски вам покажутся самой мягкой периной. Да еще когда не стреляют... Спите, пан Вацлав, спите...

Начальник полиции Коржик в течение недели каждый день допрашивал Глеба: кричал, тряс пистолетом, стучал кулаками, но не бил. Он понимал, что перед ним необычный человек. Ордена на столе говорили о многом.

— Я устал слушать ваши сказки, Смирнитский, — пан Коржик перешел на «вы» и убрал слово «товарищ». — Я передаю вас военной разведке. Пусть они с вами занимаются. Ну что, боитесь? Может, все расскажете здесь, сейчас, мне? Там же изверги, они вас поставят к стенке!

— Пан Коржик, почему вы требуете от меня рассказать то, что ко мне не имеет никакого отношения?

— Как знать, — вдруг задумчиво и мечтательно сказал Игнаций Коржик, — может быть, когда-нибудь наступит время — ничего и доказывать не придется: признался человек, вот и все доказательство, и сразу к стенке!..

Не так уж и глуп был пан Коржик!

Вышинский, кстати, тоже польская фамилия... Генпрокурор Советского Союза такую норму и ввел: «Признание есть доказательство!»

Пан Коржик сообщил о странном подследственном в военную разведку, и Глеба Смирнитского перевели в особый тюремный блок — «для шпионов».

Но рапорт в мэрию о раскрытии русского заговора Игнаций Коржик написал очень быстро и обстоятельно. В нем он приписал себе несуществующие подвиги по раскрытию особо опасного шпиона, его захвате с перестрелкой, в которой он, Коржик, был легко ранен. В какое место своего тела, пан Коржик не указал. Мэрия отреагировала незамедлительно: она поблагодарила пана Коржика за проявленный личный героизм и написала срочное письмо в правительство страны, чтобы наградили начальника варшавской полиции Игнация Коржика и усилили наблюдение за прибывающими в страну поляками, которые во время войны воевали на стороне России...

Начальник разведки 5-й польской армии полковник Войцех Кравчик выслушал сообщение о захваченном варшавской полицией русском шпионе. Офицер положил на стол рапорт от пана Коржика и сверток. Полковник быстро и профессионально прочитал рапорт и с интересом развернул сверток. Пан Кравчик в мировую войну воевал на стороне Австро-Венгрии, где награды раздавались направо и налево, но увиденное его потрясло. Он понял, что в сети разведки попала очень серьезная рыба! И в самое нужное время...

Польская армия терпела от войск советской России одно поражение за другим. Армии Западного фронта под командованием Михаила Тухачевского находились в пятидесяти километрах от Варшавы, а командующий польскими вооруженными силами Юзеф Пилсудский бредил какими-то эфемерными планами контрнаступления польских войск, когда уже все понимали — дни молодой Польской республики сочтены.

Ленин приступил к созданию Временного польского революционного комитета. Владимир Ильич не очень долго думал, кто должен возглавить этот комитет.

— А для чего мы с немцами договорились и освободили из их концлагеря любимца Розы Люксембург товарища Юлиана Мархлевского? Вот он пусть и возглавит Польский революционный комитет. Кстати, Феликс Эдмундович, пора бы и нам подумать о своих концентрационных лагерях, да и в тюрьмах надо ужесточить режим. Хватит с врагами революции либеральничать. Уж мы-то с вами, Феликс Эдмундович, знаем, как сиделось в царских тюрьмах, а в ссылках вообще рай был... Я в тюрьме из хлеба чернильницу соорудил, молока туда наливал и молоком писал, ха-ха-ха, чуть что — чернильницу в рот... Нашим врагам мы таких условий не создадим. Расстрелы и террор, расстрелы и террор! Тотальный, чтобы боялись и враги, и друзья!.. Так, на чем я остановился... что-то забываться стал... Пора, наверное, товарищи, вам замену Ильичу искать. Хи-хи-хи... — Ленин ударил себя по затылку и, скорчившись от боли, прогово-

рил: — Что-то голова у меня стала побаливать и не проходит. Чуть стукну себя по голове — такая боль. И рад бы не стучать, да привычка. Стукну, и мысль появляется, а так забываю... Так, на чем, товарищи, мы остановились?..

Юлиан Мархлевский, который во время войны три года сидел как политический враг у немцев в лагере, до того обрадовался предложению Ильича, что не удержался и сразу же заявил, что он на штыках Красной армии войдет в Варшаву, выкинет Пилсудского и установит советскую власть в Польше.

Полученные на Смирнитского данные как раз и говорили о возможности шпионской деятельности со стороны созданного большевиками польского правительства.

Полковника смущали лишь погоны капитана царской армии и многочисленные ордена. «Зачем они нужны шпиону? Может, этот Смирнитский просто вор? — думал Кравчик. — В австрийской армии ордена раздавались всем, только бы не бежали с фронта, а тут такая россыпь крестов». Он позвонил командующему армией Владиславу Сикорскому и договорился о встрече...

— Пан генерал, полицией Варшавы задержан некий Глеб Смирнитский, который прибыл в Польшу в составе французской миссии как помощник майора Шарля де Голя, якобы для обучения поляков. При аресте в доме его дяди, Смирнитского Владислава, сопротивления не оказал, тайных шифров, литературы при обыске найдено не было, но были обнаружены погоны капитана русской гвардии и многочисленные ордена, а также пистолет без патронов. Этот Смирнитский утверждает, что служил в русской царской армии, воевал против Германии; после капитуляции России воевал против большевиков в армии генерала Каппеля; после поражения через Китай добрался до Франции и уже из Франции в Польшу. Смирнитский переведен в специальную тюрьму, к нему был посажен «стукач», но ничего ценного получить не смог и считает, что Смирнитский его раскусил.

— Вы хотите сказать, пан полковник, что этот Смирнитский нам интересен?

— Более чем, пан генерал. Если он шпион, мы узнаем многое об имеющейся здесь, в Польше, шпионской сети, а если окажется правдой, что он боевой офицер, то, безусловно, нам может пригодиться его боевой опыт. Если верить — он поляк.

Владислав Сикорский не воевал во время мировой войны на стороне царской России, он воевал на своей родине в Галиции против русских и поэтому русских не любил и вообще считал, что Польша должна входить в состав Австро-Венгрии. Австро-Венгрии не стало, а вот Польская республика возникла.

— Пан полковник, мне не интересен этот русский поляк. Даже если вы, не задав ему ни одного вопроса, его расстреляете, я думаю, в Польше никто не проронит по этому поводу ни одной слезинки. Враг у ворот Варшавы — вот что должно волновать каждого поляка. Впрочем, допросите его, может быть, он и скажет что-нибудь ценное для нас. Хотя вряд ли. Всего хорошего, полковник. Если у вас появятся какие-нибудь сведения по движению войск большевиков, вы сразу приходите ко мне...

Уже вторую неделю Смирнитский сидел в тюрьме. Его сносно кормили, водили в маленький тюремный дворик на прогулку, но больше не вызывали на допрос. «А де Голльто где? — думал Глеб. — Может быть, он не тот, за кого себя выдавал? Да нет, видно же, что боевой офицер». Сокамерника убрали через три дня. «Слава богу, а то голова от его болтовни лопнет, — обрадовался Глеб. — Не дай-то бог такой на фронте — сам бы пристрелил!» Его перевели в другой блок. Как никогда, Глеб много и долго спал. Ему, прошедшему войну эти условия казались раем.

— Как арестованный себя ведет? — спросил у начальника тюрьмы полковник Кравчик.

— Глупо, но, кажется, что он радуется.

— В каком смысле?

— Так весь и светится от счастья. Все время что-то поет, правда, по-русски. Похоже на марши. И спит так, будто ему пуховую перину положили вместо тюфяка. Говорят, он офицер? Где же он так недоспал?

— В России. Завтра в два часа дня доставьте его ко мне .

— Слушаюсь, пан полковник...

Смирнитского ввели в кабинет начальника разведки.

— Снимите с него наручники, — сказал сидевший за столом подтянутый, с вислыми русыми усами офицер. — Оставьте нас... Садитесь, товарищ Смирнитский.

Смирнитский сел на стул в центре комнаты и стал разминать запястья.

— Давайте знакомиться, товарищ Смирнитский. Я полковник Войцех Кравчик. Теперь назовите свое настоящее имя.

— Глеб Смирнитский.

— Странное имя для поляка. Не находите?

— Имена детям дают родители. Мне дали в честь деда по матери, погибшего во время войны России с Японией, полковника царской армии, русского.

— То есть вы утверждаете, что вас зовут Глеб Смирнитский?

— Почему утверждаю? Меня так зовут. И я никак не товарищ. Если не пан, то хотя бы господин офицер.

«Сильный, — подумал Кравчик. — И всего-то, если верить, двадцать шесть лет. Слишком мало для такого количества наград».

Полковник развернул лежащий на столе сверток. Заблестели ордена и погоны.

— Потрудитесь объяснить, товарищ Смирнитский, откуда у вас такое боевое богатство?

— Так вы сами и ответили, господин полковник — в боях полученные.

— Чтобы в русской армии капитан, пусть даже гвардеец, мог заслужить «Святого Георгия» третьей степени, мало верится.

— Вы, господин полковник, хорошо знаете порядок награждения в царской армии. Вы где воевали во время войны? Я на германском фронте.

— А я на русском фронте, в Галиции.

— В Галиции я сражался два раза за всю войну, в четырнадцатом, под Таранавками, и в семнадцатом, под Ямши-

цами. В обоих боях мы разбили и вас, и немцев. А «География» третьей степени я получил за спасение Верховного главнокомандующего русскими войсками Николая Николаевича Романова

Полковник промолчал, потом ткнул пальцем в еще один орден.

— А этот, необычный?

— Это орден «За Великий Сибирский поход». Самая тяжелая, самая заслуженная награда для русского офицера.

— За что же такую награду дают?

— За отступление.

— За отступление? Интересно.

— Ничего интересного, господин полковник, когда вы отступаете три тысячи верст пешком при пятидесятиградусном морозе.

— Святая Мария, пятьдесят градусов!.. Но мы отвлеклись. Я читал ваши показания. Если им верить — вы герой. Если, конечно, верить... У нас даже есть письмо майора французской миссии Шарля де Голля, утверждающее, что вы прибыли с ним из Франции и у вас договор на работу в Варшавском военном училище. Но у шпиона и должна быть такая легенда. Не из России же он должен прибыть!

— И что же как шпион я должен делать в Польше?

— Собирать сведения и передавать их большевикам.

— А большевики где?

— Вы издеваетесь или прикидываетесь? Войска Тухачевского стоят около Варшавы.

— Кого? Тухачевского?

— Ну вот вы и выдали себя! Вам знаком Тухачевский?

— Конечно. Его армия разбила нас под Омском.

— А сейчас он бьет нас под Варшавой и может захватить ее.

— Надо было обогнуть половину мира, чтобы вновь встретиться с Тухачевским — прошептал Глеб.

— Вы что-то сказали?

— Да нет, я так, о своем, господин полковник.

— Ну ладно, поговорили, и хватит. Выкладывайте, товарищ Смирнитский или как вас там, все о вашем задании.

— Я все сказал, господин полковник.

— Если не сознаетесь, вас сгноят в тюрьме или, по законам военного времени расстреляют.

— Я сказал все, господин полковник. Разрешите только перед смертью проститься с родными.

— А если мы вам предложим воевать на стороне Польши?

— Я свое отвоевал. Шесть лет. Я больше не хочу воевать.

— Тогда вы — не поляк... Эй, уведите! — крикнул полковник. — Завтра вас расстреляют...

Вошли два солдата, на Смирнитского надели наручники и вывели из кабинета.

По коридору навстречу с бумагами шел какой-то офицер. Лицо его показалось Глебу знакомым, но он никак не мог его вспомнить. Офицер внимательно посмотрел на Глеба и вдруг заулыбался и воскликнул:

— Господин штабс-капитан! Глеб Станиславич, живы!

Глеб посмотрел на улыбающееся лицо офицера и вспомнил.

— Ян? Ян Ковалевский? Подпоручик!

— Я уже поручик, — почему-то грустно сказал Ковалевский. — А вы-то что здесь делаете, Глеб Станиславич? Да еще и в кандалах?

— Насколько я понял полковника Кравчика, меня обвиняют в шпионаже в пользу большевиков и завтра расстреляют.

— И вы, господин штабс-капитан, конечно, это отрицаете? Где вы были все это время, Глеб Станиславич?

— Воевал, Ян, воевал. Всю германскую, а потом в армии Каппеля на гражданской войне против большевиков.

— И вам не верят? Кое-что я о вас, конечно, слышал. Подождите здесь, — сказал конвоирующим Глеба солдатам Ковалевский. — Я сейчас схожу к пану полковнику...

Поручик Ковалевский постучался и вошел в кабинет к полковнику Кравчику.

— Разрешите обратиться, пан полковник?

— Только быстро. Что у вас, поручик?

— Я в коридоре встретил господина Смирнитского. Я его знаю.

— В каком смысле знаете?

— Я с ним воевал. Он командовал нами на варшавских фортах в пятнадцатом, при защите города от немцев. Это один из самых смелых и храбрых офицеров, которых я когда-нибудь встречал. Если бы не он, мы бы все тогда погибли, а он даже раненых не бросил, всех спас. О его храбрости в армии ходили легенды. Я потом слышал, что он спас главнокомандующего Николая Романова, а в марте семнадцатого чуть не спас царскую семью.

— Царскую семью? Вы уверены, поручик, что это он?

— Как в себе, пан полковник.

— Хорошо, идите... Да, скажите там, пусть вернут Смирнитского...

Смирнитский вновь сидел на стуле и растирал запястья.

— Хорошо, будем считать, что вы Смирнитский. Откуда вас знает поручик Ковалевский?

— Всего-то поручик. С Яном Ковалевским мы дрались с немцами в пятнадцатом, здесь, на варшавских фортах. Его раненого потом отправили в госпиталь. А кем он у вас служит, если это не секрет, господин полковник?

— Это не секрет. Об этом мы можем сказать даже шпионам — он писарь.

— Ян Ковалевский — писарь? Полковник, кто же тогда у вас занимается дешифровкой перехваченных шифровок противника, если Ковалевский простой писарь?

— Что вы имеете в виду?

— Ковалевский — талантливый математик, который решает любые головоломки в уме. Он природный дешифровальщик. Это его стихия. Он же вам любые шифры взломает. Он во время боев на варшавских фортах в уме рассчитал все углы для стрельбы.

— А вот это уже очень интересно. Кого из поляков вы еще знаете по России?

— В армии Колчака была бригада, которую все называли Польской, командовал которой майор Валериан Чума.

Он вместе с генералом Войцеховским, когда мы вышли в Забайкалье, уехал к Врангелю на юг России. Вообще-то я Валериана Чуму знал с шестнадцатого года, мы вместе воевали на германском фронте. Он был капитаном в Польском легионе. Где он сейчас, я не знаю. Где генерал Войцеховский, я тоже не знаю. Но если они живы, то скорее всего на родине.

— Вы знаете Валериана Чуму? Интересно... Вас, пан Смирнитский, сейчас отведут в тюрьму. Подумайте над тем, что я вам скажу. России, той, за которую вы воевали, больше нет, а вот Польша есть. Свободная и независимая. К вам будут допущены ваши родственники и майор Шарль де Голль. Прислушайтесь к ним. Чем бесславно умереть у расстрельной стенки, лучше послужите своей стране. Увидите. Наручники не надевать! Пригласите ко мне поручика Ковалевского...

Пришедшие на свидание пани Мария и пан Владислав плакали и умоляли Глеба согласиться служить в польской армии.

— Глеб, сыночек, пожалей нас, стариков, — плакала пани Мария, — мы тебя ждали все годы не для того, чтобы тебя расстреляли здесь, в Польше.

— Глеб, если придут большевики, они тебя точно расстреляют, — сквозь слезы стонал дядя Владислав.

Шарль де Голль высказался прямо и откровенно:

— Глеб, я, как и вы, прибыл сюда преподавать в военном училище, но обстановка сейчас такова, что каждый офицер, которому дорога свобода Польши, должен за честь для себя считать возможность защищать свою отчизну. Я, Глеб, буду защищать Польшу, как бы я защищал свою любимую Францию. Я понимаю тебя: шесть лет воевать, и где — в России, это невыносимо тяжело, это невозможно; я бы, наверное, не выдержал. Но, Глеб, страна, где ты родился, только-только обрела свободу, и ты поляк. Ты воевал против большевиков в России, повоеуй против них и в Польше. И обрати внимание, кто перед тобой — Тухачевский! Неужели ты не хочешь у него выиграть, отомстить за поражение в России? Пойдем со мной Глеб, пойдем вместе

со всеми поляками. Нет большей славы для честного офицера, чем защищать свою страну и свой народ...

— Мстить? Кому? Михаилу Тухачевскому? Никогда. Мы с ним боевые товарищи и друзья...

Последним пришел... Валериан Чума. Уже полковник.

— Глеб, мы с тобой шесть лет воевали вместе. Глеб, Польше, нужны такие люди, как ты. Мы должны защитить нашу любимую страну. Пойдем, Глеб, — если и умрем, то со славой и мужественно, как офицеры русской царской армии. Да мне ли тебе об этом говорить?

XXXV

Глупо, случайно, путем обмана, фальшивых лозунгов большевики захватили власть в России, обещаниями, террором, расстрелами удержали власть, ну и успокоились бы — народ же лозунгами не накормишь. Уже миллионы погибли в развязанной коммунистами гражданской войне. Но солдат-крестьянин хочет взяться за соху, солдат-рабочий — встать к станку, и все захотят мира, настоящего, а не какого-то выкрикнутого картавым вождем лозунга. Россия устала и не хотела воевать. А Ленин хотел. Красная армия, эти рабочие и крестьяне хотели домой. Они больше не хотели умирать — они хотели жить. А большевистские вожди хотели, чтобы они умирали — они были помешаны на мировой революции.

Ленин, оправившись от потрясений октябрьского переворота, страха разоблачений, победив неисчислимыми жертвами в гражданской войне, кричал на заседании Центрального комитета:

— Без гражданской войны советскую власть в Германии не получишь! И в международном отношении другой силы для Германии, кроме как Советская Россия, нет. А на пути к мировой революции стоит Польша. Эта буржуазная Польша. И если бы Польша стала советской, Версальский мир был бы разрушен и вся международная система, которая завоевана победами над Германией, рушилась бы.

Черт, до чего же умен был Ильич.

— Товарищ Ленин прав, надо довести дело мировой революции до конца и вступить в Варшаву, чтобы помочь польским рабочим массам опрокинуть правительство Пилсудского и захватить власть. Вперед, на Польшу! — поддержал Ленина Лев Троцкий. Он тоже немножко успокоился — ему больше никто не напоминал об английских деньгах. Более того, англичане вышли из Антанты и не стали помогать погибающей Польше, а тихонько узнавали через Леву Троцкого, как снова получать за бесценок из России лес, лен и икру...

— И на Германию! — опять крикнул Ленин. — И я считаю, что наш Западный фронт должен возглавить Михаил Тухачевский, а товарищам Егорову и Сталину, необходимо оказать всемерное содействие товарищу Тухачевскому и передать ему Первую конную и 12-ю армии. Для нас главное — Варшава, точнее, Берлин! Вы меня поняли, товарищ Каменев? Тухачевский — это победа!..

И если вначале войны поляки с легкостью били красных, особенно армии Юго-Западного фронта, где войсками руководили Егоров, Сталин и Ворошилов, и взяли Львов и Киев, то с приходом на Западный фронт Тухачевского события на варшавском направлении сразу изменились в пользу большевиков. Польская армия несла поражение за поражением, и войска Тухачевского, пройдя 600 километров, уже стояли в нескольких десятках километров от Варшавы. А Юзеф Пилсудский все говорил полякам, что он разрабатывает план контрнаступления. Чушь! Он не знал, как спасти Варшаву, а уж Польшу... Спасало только одно — у Тухачевского не было сил нанести этот последний удар. Его войска смертельно устали, а поляки с каждым днем все упорнее и яростнее сопротивлялись.

Тухачевский под магическим действием криков Ленина о всемирной революции и его, Тухачевского, исключительной роли в будущей победе над Польшей, Германией и... Францией, в чем он не сомневался, сделал то, что сделала царская армия в августе четырнадцатого: он разделил армии и направил одну на Пруссию, вторую, тоже в обход Варшавы, к границе с Германией. На Берлин! Он решил од-

ним ударом решить исход войны. Не в Польше — в Европе! И чтобы победителем был только он — Тухачевский!

— Товарищ Ленин хочет, чтобы в Германии победила советская власть! — говорил Тухачевский своим подчиненным в штабе фронта. — И мы, по призыву Владимира Ильича, поможем немецкому пролетариату. Но для этого надо раздавить панскую Польшу. И нам поможет в этом угнетаемый польский пролетариат! Вперед, товарищи, на Берлин!

Тухачевский стучался в ворота Варшавы, а хотел войти в Бранденбургские ворота! И еще он знал: его подслушивают комиссары, потому старался говорить правильно, чтобы все слышали, чтобы до Кремля долетало. В этой новой России, стране победивших комиссаров и ЧК, все уже старались говорить правильно. Понимали...

В это время и произошли события, которые изменили ход войны.

Из Франции в Польшу прибыла полностью вооруженная семидесятитысячная армия поляков — граждан Франции и США. Большевики знали, на каком фронте будет использована эта новая армия — для защиты Варшавы, против армий Тухачевского. Ленин был прав, говоря о необходимости передачи двух армий с Юго-Западного фронта. Владимир Ильич больше не боялся и думал только о мировой революции и считал, что и остальные соратники по партии в это верят. А соратники давно уже не верили ни в мировую революцию, ни в Ильича — они хотели жить и наслаждаться плодами захваченной власти. Они его поддерживали словами, но ни Польша, ни Германия им не были нужны — вот же под ногами огромная Россия. Удержать бы здесь власть. Они были обыкновенными людьми и хотели жрать, спать, пить, валяться в кровати с девками... Только Ленин этого не понимал... Пока.

XXXVI

Глеб Смирнитский стоял перед командующим польской армией Владиславом Сикорским. Кроме него в кабинете находились начальник разведки армии полковник Войцех

Кравчик, майор французской миссии Шарль де Голль и поручик Ян Ковалевский.

— Капитан Смирнитский, — сказал командующий, — я ознакомился с докладом пана полковника. Бесспорно, вы были одним из лучших офицеров в русской армии, и очень хорошо, что вы согласились служить в польской армии. Впрочем, поляк не может отказаться защищать свое отечество. Но откинем в сторону все наши былые отношения в прошедшую войну. Мы с вами защищали две воюющие между собой империи, которых в результате той войны и не стало. Теперь мы вместе защищаем свою родину — Польшу. Впервые за столетия наша страна свободна. И давайте ее защищать. Я присвоил вам звание капитана польской армии и надеюсь, что и эти, третьи капитанские погоны будут для вас счастливыми... Полковник Кравчик попросил, чтобы я вас выслушал. Прошу, пан капитан, но как можно короче — на фронте ситуация чрезвычайная. Боюсь, Варшава доживает последние дни!

— Господин генерал, мы предлагаем при разведке армии создать особую группу, в которую должны войти офицеры, служившие в Генеральных штабах России и Австро-Венгрии. В эту группу войдет и создаваемое подразделение радиоразведки поручика Ковалевского. Нам как воздушная дешифровка радиопереговоров противника. Наша армия слабее, значит, мы должны быть умнее. Мы должны знать о противнике все, даже, извините, когда их командующие ходят в уборную. Я думаю, в течение двух-трех недель мы сможем предоставить вам реальный план спасения Варшавы. Командиром создаваемой группы прошу назначить полковника Кравчика. И еще одно: наша группа должна быть полностью засекречена. А известно, как только появляется секретность, появляется и люди, желающие эти секреты узнать. Возможно, в результате этого удастся установить шпиона красных в вашей армии. Пан генерал, но они есть в любой армии. А мы воспользуемся этим в свою пользу, о чем противник не будет и догадываться...

— Хорошо, капитан, действуйте. Привлекайте к работе всех, кого считаете нужным. Полковник, мы с вами поедем

к командующему фронтом Юзефу Халлеру. Ситуация на фронте чрезвычайная.

Садясь в автомобиль, Сикорский спросил Кравчика:

— Ваш капитан не переборщит?..

— Если верить тому, что о нем известно, то он нам необходим...

— Я, честно говоря, мало верю в это. Во всех наших армиях есть штабы, на всех фронтах штабы, а толку? Поражение, за поражением...

— Смирнитский считает, что все наши действия заранее известны большевикам.

— С этим, полковник, я, пожалуй, соглашусь...

Две недели спустя в том же кабинете генерал Сикорский заслушал свою секретную группу.

— Зачем вы, — обратился к Кравчику генерал, — пан полковник, предлагаете, чтобы в совещании командиров дивизий приняли участие майор Шарль де Голь и капитан Смирнитский?

— Мы считаем, что появление капитана Смирнитского и майора де Голя для шпиона будет подтверждением реальности плана наступления именно на нашем фронте. И то, что нашему фронту передается армия, прибывшая из Франции. В штабе ходит масса слухов о какой-то загадочной группе военных, разрабатывающих секретный план наступления на красных. Пан генерал, план таков: пусть приказ о наступлении нашей армии и армии добровольцев уйдет через большевистских шпионов к Тухачевскому. Мы этому помешать не можем, да и не должны. Как только этот план будет известен противнику, мы скажем, кто его передал большевикам. Капитан Смирнитский считает, что шпион находится либо в штабе армии, либо в одной из наших дивизий. Вот командиров дивизий вы и соберете, чтобы объявить приказ о наступлении. В этой ситуации Тухачевский будет требовать от Юго-Западного фронта безусловного выполнения указания Ленина о передаче ему двух армий — 12-й и Первой конной — и будет уверен, что Егоров выполнит это указание. Для них всех Ленин — не-

пререкаемый авторитет, великий вождь! Они, как околдованные, верят в его величие, и в их головах просто не укладывается, что кто-то может не выполнить его приказов. Тухачевский понимает, что ему необходимо сделать последнее усилие для победы в этой войне. Для него переход в оборону равносильен отказу от выхода его армий к границе с Германией, в которой, как считают большевики, сразу должна вспыхнуть пролетарская революция. К Егорову же попадет еще один приказ — о том, что в действительности наступление будет на ослабленный в результате передачи этих двух армий его Юго-Западный фронт. И что прибывшая из Франции добровольческая армия передается в состав Южного фронта Вацлава Ивашкевича. И это будет уже приказ самого Юзефа Пилсудского. А чтобы показать, что наступление пойдет именно в южном направлении, Ивашкевич начнет боевые действия против войск Егорова... Мы уверены, что Егоров указание Ленина о передаче армий не выполнит. И не выполнит из-за Сталина. Поручиком Ковалевским расшифрованы все переговоры командующих фронтов и армий большевиков, членов их реввоенсовета. Начинается радиоигра, о которой большевики и не догадываются. Мы их запутаем. Они же как крысы — ненавидят друг друга, и каждый считает, что именно он — тот последний и легендарный командующий, который поставит точку в их революционной войне. И это понятно по радиоперехватам. Как только не обзывают Тухачевского Каменев, Егоров и особенно Сталин... Ковалевским расшифрованы все приказы из Кремля, включая распоряжения Ленина. Он взломал и секретные коды у немцев! Перед нами сейчас, как на ладони, все предполагаемые действия красных войск. И мы знаем, что армии будут стоять на месте и ждать наступления со стороны нашего Южного фронта. И тогда вот здесь, в местечке Цехевин, — полковник показал на карте, — где находится штаб 3-й армии Тухачевского, и начнет наступление наша армия и армия Леонарда Скерского. Тухачевскому, чтобы не быть полностью разбитым и не оставить в окружении отрезанные армии, придется отступить на линию Брест-Литовск — Белосток, — Крав-

чик показал рукой воображаемую линию на карте, — а мы обойдем его армии через Литву и ударим ему во фланг. Мы назвали эту операцию «Чудо на Висле», — полковник Кравчик удовлетворенно выдохнул. — Надо сказать, что вся операция разрабатывалась группой офицеров под руководством капитана Смирнитского. Осталось согласовать наши планы с главнокомандующим Юзефом Пилсудским и командующими фронтами.

Генерал Сикорский внимательно посмотрел на Глеба Смирнитского и сказал:

— Я очень рад, капитан, что вы рядом с нами. Признаюсь честно, я, когда вы у нас появились, очень ошибался по поводу вас и прошу меня за это извинить... А теперь, как я понимаю, мы должны сделать все, чтобы наши настоящие намерения остались для противника тайной...

— Ничуть, ваше превосходительство, — сказал Смирнитский. — Как раз наоборот, они будут известны, но в них никто не поверит. Построен-то план на желании Тухачевского всегда быть победителем и ненависти и зависти к нему со стороны Егорова и Сталина.

— Не слишком ли шаткая уверенность?

— Ничуть! Надо знать Тухачевского и Сталина. Каждый видит только себя победителем в этой войне!

— Но Юго-Западным фронтом большевиков командует Егоров, а не Сталин.

— В том-то и дело, что в Красной армии командуют представители коммунистической партии. Везде, кроме Тухачевского.

— А почему не у Тухачевского?

— А он военный уникум и не переносит, чтобы кто-нибудь ему мешал.

— Все-таки не могу понять — в чем здесь военная хитрость? Почему они должны поверить нам?

— Так они же получают достоверные сведения. Здесь не военная, здесь психологическая хитрость. Скажу вам больше, ваше превосходительство: мы встретились с лучшими варшавскими врачами-психиатрами, которые применяют в лечении своих больных теории Фрейда, Юнга и Ницше.

— Господи! Врачи? Вы что, рассказываете им о наших военных планах? — с недоумением спросил Сикорский.

— Нет, — засмеялся Смирнитский. — Мы им, как они сами говорят, «предложили словесный портрет для проведения психоанализа», и они рассказали, что такой человек будет делать в той или иной ситуации. И еще и спорят между собой. И все сравнивают: «А вот у меня был пациент, так он в этом случае делал...» — «Полностью согласен с вами коллега... У меня тоже был больной...» Такие неожиданные выводы делают, что верится с трудом. Особенно про Сталина. И про Ленина интересно высказываются. Считают, что он болен и у него патологические изменения в головном мозге. Вот мы и учитывали выводы врачей в наших планах и радиоигре.

— Не дай бог, и у противника тоже психиатров в армию пригласят. Что же они о нас-то наговорят? И что это будет за война?

— Психологическая, ваше превосходительство.

— Про Ницше я помню. Немцы во время войны книжку его «Так говорит Заратустра» чаще носили в своем ранце, чем Библию. А я-то думал, что это их какая-то особая библия. А вы, оказывается, и ее применяете?

— Не мы, ваше превосходительство, — врачи. Их слушаешь и трудно освободиться от мысли, что на свете существуют психически нормальные люди. Особенно у Зигмунда Фрейда: «Ид», «Эго», «СуперЭго». Или последователь Фрейда, очень молодой и очень современный доктор Карл Юнг с его теорией психоанализа и делением людей на экстравертов и интровертов. Так что с помощью польских психиатров мы получили исчерпывающие психологические портреты на советских командующих, и не только. Когда закончится война, интересно будет почитать всех этих, безусловно, талантливых врачей.

— Вот и сделайте все, чтобы она закончилась, причем нашей победой, иначе мы все будем изучать Карла Маркса и Ленина. И не дома — в Сибири. Там, капитан, холодно?

— Очень. Мы будем очень стараться, ваше превосходительство, чтобы остаться в Польше.

— Если уж честно, то я бы лучше свечку Богу поставил и помолился. Бог понятнее!

— Одно другому не мешает, ваше превосходительство.

— Да что вы меня все «ваше превосходительство»? У нас республика.

— Привычка, ваше превосходительство.

— Хорошо. Поедемте, полковник, согласовывать наши планы к Халлеру и Пилсудскому. Правда, о врачах-психиатрах я лучше промолчу, а то что обо мне могут подумать... Пан полковник, вас тоже прошу о врачах ни слова.

Садясь в автомобиль, Сикорский сказал Кравчику:

— С вашим капитаном становится страшно!

— И необычайно интересно! И как Россия войну проиграла?

XXXVII

Через четыре дня в штабе армии генерала Сикорского проходило совещание. На столе у генерала лежали карты Польши и пригородов Варшавы. На совещании присутствовали командующие дивизиями, начальник разведки полковник Кравчик, представитель Франции майор Шарль де Голль и... капитан польской армии Глеб Смирнитский.

— Прошу выслушать полковника Кравчика о ситуации на нашем фронте, — сказал командующий Владислав Сикорский.

— А чего выслушивать? Через день-два большевики ворвутся в Варшаву! Надо спешно отводить армию за Вислу, — выкрикнул командир дивизии Адам Спешек.

— Прошу не перебивать. Вы, пан подполковник, вначале выслушайте, что скажет полковник Кравчик, а потом мы выслушаем вас.

— Тухачевский по приказу Ленина стремится как можно быстрее выйти на границу с Германией, — начал полковник Кравчик. — Он, по-видимому, считает, что Польша уже разбита. Фронт его разделен. Одна армия идет на север к границе с Пруссией, другая стремится обогнуть Варшаву с юго-востока. 3-я армия стоит перед нами. Если наша

армия ударит по этой армии, то мы могли бы остановить наступление Тухачевского на Варшаву.

— Какой вы храбрец! Раз-два — и победили! И откуда вам известно, как будет поступать Тухачевский? Мы ударим своей армией по его 3-й, завязнем в боях, а в это время Тухачевский с флангов нас и раздавит! Без помощи нам не устоять. Так что не решайте за Тухачевского... — опять вмешался подполковник Адам Спешек и, указав на Смирнитского, спросил: - А что здесь, на нашем секретном совещании, делает этот капитанишко?

— Этот, как вы изволили выразиться, «капитанишко», пан подполковник, был полковником в России, в армии Колчака, и капитаном в русской лейб-гвардии. Этот капитан шесть лет воевал, и как воевал — нам с вами такого и не снилось. У пана капитана восемь орденов, и все за храбрость! Вы все знаете, что я воевал в австрийской армии подполковником, и могу подтвердить, что мы проигрывали в ту войну сражение за сражением из-за того, что на той, русской стороне были такие офицеры-поляки, как Смирнитский. Эта операция — результат работы целой группы офицеров, в том числе, капитана Смирнитского. У него, я надеюсь, счастливая звезда — он дважды защищал нашу Варшаву в ту войну и ни разу не проиграл. Продолжайте доклад пан полковник... — сказал командующий армией Сикорский.

— Я тоже воевал на стороне австрийцев и не хочу, чтобы мне указывал русский, — зло произнес подполковник Спешек.

— Во-первых, Смирнитский поляк. Во-вторых, подполковник, в каком звании вы воевали в австрийской армии? Не стесняйтесь, скажите, — попросил Сикорский.

— Фендрих, — тихо сказал подполковник.

Все засмеялись.

— Вот-вот, напомним всем: фендрих — нижний офицерский чин, а в польской армии вы имеете звание подполковника и командуете дивизией! Чувствуете разницу? Может быть, мне вас поменять на Смирнитского? Молчите? На вашем месте я бы помолчал. — Сикорский продолжил:—

Да, одной нашей армии не удержать наступление Тухачевского. Но нам передаются семьдесят тысяч прибывших из Франции поляков. Армия! Вот двумя армиями мы и ударим по 3-й армии красных. Приказ подписан главнокомандующий фронтом Юзефом Халлером. Готовьтесь к наступлению! Командиров корпусов и дивизий прошу получить приказ...

Все расходились довольные — наступление, наконец-то наступление! Польша, родная Варшава будут спасены.

Через три часа из штаба дивизии подполковника Адама Спешака вышел неприметный подпоручик. А еще через день на стол Тухачевскому положили приказ № 8358 о польском контрнаступлении с подробной картой боевых действий польских войск...

Тухачевский прочитал полученные документы, нервно заходил по кабинету и, резко остановившись, крикнул:

— Соедините меня с Егоровым!

— Иосиф Виссарионович, — обратился к Сталину командующий фронтом Александр Ильич Егоров, — что вы думаете по поводу перехваченных радиogramм поляков? Что делать-то? Надо же исполнять приказание Ленина! И Тухачевский требует.

— Хотите исполнять, исполняйте — вы же командующий! А вот если поляки и правда ударят по нам? Тогда что делать будем? Тогда нас с вами расстреляют! Вас, Александр Ильич, в первую очередь!

— Почему меня?

— А кого — меня? Партию? Может быть, Тухачевского? Так для Ленина Тухачевский — спаситель республики, а не вы. С него все сойдет как с гуся вода. А у вас какая защита? Каменев? А вы уверены в такой защите?.. То-то и оно. Если отдадите армии, а поляки, как говорится в их приказе, ударят по нашему фронту, то вас, будьте уверены, защищать никто не будет. Тухачевский — он кто? Поручик царский, дворянская кость, он не наш, не рабочий и не крестьянин.

— Так и я, Иосиф Виссарионович, тоже не из крестьян и был полковником царской армии.

— Вы, Александр Ильич, другое дело. Вы, не будучи большевиком, воюете за идеалы революции, а значит, вы, дважды наш. Ну что, будете передавать армии Тухачевскому?

— Не знаю... Перехваченное радио — вот же оно на столе. По нам удар будет, по нам! Боюсь я! Запутался!

— Раз боитесь — пошлите эту перехваченную радиogramму Каменеву. А я Ленину. Пусть знают. И от себя удар отведем. А Тухачевскому, раз уж он так требует, сообщим, что армии выдвигаются к его фронту. Попозже сообщим.

— Ох и умный ты мужик, Иосиф Виссарионович...

А Иосиф Виссарионович подумал: «Да, умный, Саша, умный. Придет время, и ты поймешь, какой я умный, да поздно будет. Сука ты полковничья!..»

— А вдруг и правда основной удар будет по Тухачевскому? Нас не расстреляют? — опять заныл Егоров.

— Кто? Каменев? Троцкий? Если наступление на его фронт будет, то мы-то ему передали армии. На бумаге. Приказ заранее подготовьте. Хотя я бы не передавал. Чужими руками жар загребать Тухачевский большой мастак... Кого вы боитесь?

— Ленина.

— Ленин большевиков не расстреливает. С кем тогда останется? Он расстреливает своих врагов!.. Не с..., Александр Ильич!

— Ну вы, Иосиф Виссарионович, совсем уж как-то по-мужицки!

— Не по-мужицки, а по-большевистски, товарищ Егоров. Запомните! Мы эти две армии, если что, Тухачевскому передадим, а то, что они не дойдут, так в этом нашей с вами вины не будет. У нас с вами перехваченный приказ самого Пилсудского есть. А это лучше всякой церковной индульгенции. И уж если честно, то нам Польша на хрен не нужна. Она нужна этому выскочке Тухачевскому.

— А Ленину?

— А Владимира Ильича насчет мировой революции некоторые товарищи здорово обманывают. Но придет время, и они об этом пожалеют, да поздно будет.

— С вами, Иосиф Виссарионович, становится страшно.

— Вы меня не бойтесь, товарищ Егоров, я своих товарищей не предаю.

— Смотрю я на вас, товарищ Сталин, — пора вам в Москву, пора.

— Может быть и пора...

XXXVIII

В штабе генерала Сикорского проходило закрытое совещание.

— Пан генерал, — докладывал полковник Кравчик, — группой поручика Ковалевского расшифрованы переговоры между Лениным, Каменевым, Тухачевским, Егоровым и Сталиным. Ленин еще раз потребовал направить в помощь Тухачевскому Первую конную и 12-ю армии, сняв их с Юго-Западного фронта. Такие радиogramмы направлены Каменеву и Егорову.

— Они нам не поверили! Боже! У нас нет сил остановить эту мощь! Бедная Варшава! Бедная Польша!..

— Пан генерал, помощи Тухачевский от Юго-Западного фронта не получит!

— Откуда вы это знаете? — спросил удивленно командующий.

— А Егоров, как мы и предполагали, поверил, что наступление будет на его фронте. Тухачевскому он направил радиogramму, что армии выдвигаются в его направлении. А приказ Пилсудского отправил Каменеву, а Сталин — Ленину. Мы их запутали.

— Мы сами-то не запутаемся?

— Не запутаемся. Главное, чтобы Тухачевский поверил, что армии ему переданы; тогда он может не бояться нашего наступления и продолжать движение с окружением Варшавы и выходу к границе с Германией. Егоров со Сталиным после поражения под Киевом и Львовом поверили, что польские войска захотят закрепить свой успех. Кстати, из перехваченных переговоров выяснилось, что член реввоенсовета Сталин ненавидит Тухачевского за то, что тот, когда командовал Кавказским фронтом, спас от разгрома

армию красных, которой тогда руководили Ворошилов и Сталин, и они этого не могут ему простить. Это даже расшифровывать не пришлось — все шло в эфире открытым текстом, вперемежку с матом. Каменев считает Тухачевского выскочкой, карьеристом и царским холуем. Хотя странно — сам бывший царский офицер.

— А что вообще известно об этом Каменева?

— Почти ничего. Воевал в мировую войну. Полковник. Награжден. На сторону большевиков перешел, прочитав всего одну книжку Ленина «Против течения». Так он сам говорит. Ничего особенного, а тем более выдающегося в нем нет. По служебной лестнице его двигает Лев Троцкий — они были вместе арестованы Временным правительством в семнадцатом году в Петрограде и, что удивительно, отпущены. Вот Троцкий и продвинул его вместо себя командующим всеми войсками Красной армии. Ленин его не переносит, говорит, что он глупый и неграмотный.

— Ленин не переносит, а он командует? Тухачевский спасает, а его за это ненавидят? Странные все-таки отношения у большевиков.

— Они ненавидят Тухачевского как умного, независимого командующего, как любимчика Ленина и как... дворянина, — тихо сказал присутствовавший капитан Смирнитский. — Они будут только рады поражению Тухачевского. И Егоров, и Сталин тоже хотят, чтобы их считали спасителями республики. На этом мы и сыграем. Но главное, мы сыграем на желании Тухачевского быть всегда первым.

— Откуда у вас такие выводы о Тухачевском?

— А я его знаю с четырнадцатого года. Мы вместе воевали в лейб-гвардии Семеновском полку. Уже тогда у него, еще подпоручика, проявилось это стремление быть всегда лучшим, быть всегда первым. Он и был лучшим. Шесть орденов за полгода войны! Для него война, наступление — это родная стихия!

— Я не знал, что вы так близко знакомы с Тухачевским. Вот, господа, что происходит в России — боевые товарищи по разные стороны войны, — сказал Владислав Сикорский.

— Господин генерал, необходимо подтвердить, что на нашем фронте наступление отменяется. И еще одно: наша группа должна быть переведена в штаб Пилсудского, и пусть об этом узнают те, кто это очень хочет знать.

— Точно, полковник, запутаемся. Я сейчас же еду к командующему фронтом Юзефу Халлеру. Полковник, вы едете со мной.

Когда командующий с полковником Кравчиком сели в автомобиль, Сикорский спросил:

— Не бойтесь, полковник, что Смирнитский — человек большевиков?

— Не боюсь, я об их дружбе знаю. Они друзья, но который год воюют друг против друга. Русские!.. Кстати, Тухачевского хорошо знает и Шарль де Голль.

— О Господи! Как бы нам, полковник, не проиграть...

— Я все проверил. Это офицеры, честно воюющие за Польшу!

— Мне иногда становится страшно, как все перепутано из-за гражданской войны в России.

— И не дай Бог в Польше!..

В штабе генерала Владислава Сикорского вновь проходило совещание. Срочное. Присутствовали все командиры дивизий. Было видно, что командующий явно расстроен.

— Мне только что доложили, — начал тихим голосом Сикорский, — что Тухачевский знает о начале нашего наступления. Это стало известно от нашего агента в штабе Тухачевского. Ему передаются две армии с Юго-Западного фронта. Это провал. Что скажете полковник? — обратился Сикорский к Войцеху Кравчику.

— Я думаю, командующий Егоров побоится не выполнить указание их вождя Ленина. Можно и головы лишиться. А Тухачевский, как известно, любимчик у Ленина.

— Хорошо, я так и доложу командующему Халлеру, что наше наступление надо отменять... А мы должны быть готовы отразить возможное наступление войск Тухачевского. Зарывайтесь в землю, панове.

У присутствующих на лицах выразилось недоумение.

— Но вы же сказали, пан генерал, что нам передается эта новая армия. Она где? — спросил Адам Спешек.

— Она передается Южному фронту.

— Так что — наступление будет там?

— Я этого, подполковник, не говорил.

— А где этот хваленый капитан и француз?

— Вы задаете слишком много вопросов, подполковник, но для вас сообщу: их в моей армии нет. Они мне никогда и не подчинялись. Их уровень фронт и там, где наступление.

Через два часа подполковник Кравчик докладывал командующему армией Сикорскому:

— Информация к Тухачевскому ушла. Данные противнику передает подполковник Адам Спешек. Мы выяснили, что он был завербован большевиками через свою любовницу, чешку, проиграв очень большую сумму денег в карты. Но мы предлагаем подполковника не арестовывать до начала операции. Пусть продолжает сообщать полученные от вас сведения. Пусть он до конца верит в то, что мы ему скормили.

— Как бы нас самих не скормили в этой путанице...

— Все — Рубикон перейден, пан генерал! Необходимо начинать операцию на Южном фронте и готовить наступление наших армий.

— Поехали, полковник, путать своих командующих.

— Не запутаемся, пан генерал!

XXXIX

Тухачевский, получив новые сведения от своего шпиона, удивился и вновь не поверил...

— Что это за игра? То наступают, то нет. Никогда, никогда я не был так близок к своей мечте: разбить Германию, а за ней и... Францию. Вначале я должен был остановиться из-за первого польского приказа. А по этому приказу, наоборот, наступать поляки будут на юге? Фальшивки! Все это делается для того, чтобы мне не передавались две армии и я остановил свое наступление, — кричал и стучал кулаком по столу в штабе фронта Михаил Туха-

чевский. — Я не верю во все эти бумажки. Они хотят меня запутать! Никакого наступления на Юго-Западный фронт не будет! Если я не прикрою 3-ю армию, то эти семьдесят тысяч прибывших поляков ударят по мне, а не по Егорову. Я их разгадал! Мне нужны эти две армии! Я этих добровольцев разобью — это не солдаты, они от одного удара моих армий побегут обратно к себе во Францию. Всем польским армиям я устрою котел! Неужели всем непонятно, что я широким охватом отсеку Варшаву от остальной Польши и выйду на границу с Германией. Варшава падет сама! А за ней... Польша! Где эти две армии? Соедините меня с Егоровым!

К командующему подошел начальник штаба.

— Товарищ командующий, получено подтверждение от Егорова о выдвижении в нашу сторону Первой конной и 12-й армий.

— Ну вот, наконец-то! Вот их-то мы и поставим в месте польского удара! Наступление начинаем! Вперед, на Германию!..

Наступление началось! Стремительное!

14 августа 1920 года, совершенно неожиданно для Тухачевского, польская армия ударила в самом слабом месте его фронта. Красноармейцы побежали! Бросали штабы и города... Армия под командованием Леонарда Скерского, прорвав фронт, вышла в тыл армий Тухачевского. А помощи от Егорова со Сталиным все не было. Кавалерийский корпус Гаи Гая, не выдержав боев с двумя польскими дивизиями, перешел границу Германии и сдался! Сорок тысяч солдат были интернированы...

Дальше все пошло еще хуже: поляки применили против войск Тухачевского маневр из плана Шлиффена: они вышли во фланг его 3-й армии, обойдя ее по территории Литвы. Десятки тысяч красноармейцев бросали оружие и сдавались в плен. Это был полный разгром!

Войска Юго-Западного фронта стояли на месте и на помощь не шли — всё ждали наступления.

Каменев, распушив свои огромные усы, топал ногами и требовал, чтобы армии от Егорова были переданы Тухачев-

скому. Троцкий его не поддержал. Очень уважал товарищ Троцкий товарища Сталина и защищал даже перед Камневым.

Армии, конечно, Егоров направил... когда Тухачевский потерпел поражение.

Бывшего подполковника польской армии Адама Спешака, как изменника, именем Польской республики поставили, сорвав погоны, к кирпичной стенке и расстреляли... Предатель — в любой армии предатель!

XXXX

Полк, которым командовал Александр Переверзев, прибыл на Западный фронт в корпус Гаи Гая. Две недели добирались поездами из Сибири. Солдаты открыто ненавидели своих командиров. По дороге началось повальное дезертирство — как какая станция поближе к дому, так бежали, увидев родные разрушенные хаты. Комиссар полка требовал — расстрелять! Переверзев подчинился: на очередной станции поставили перед строем троих пойманных дезертиров и, зачитав приказ, расстреляли. Остальные немного успокоились. Но когда узнали, куда приехали и зачем, заорали:

— Да на кой нам какая-то Польша? Кому она нужна? Большевикам? Вот пусть вместе со своим Лениным и воюют... Долой!.. Не пойдём умирать!..

Опять несколько десятков расстреляли и сказали:

— Не пойдете — всех перестреляем! Патронов хватит!

А куда деться? Пошли...

Гая Гай был армянином и, когда чего-нибудь хотел, терял рассудок — кавказская кровь ударяла в голову.

— Наш корпус первым пересечет границу с Германией. И мы первыми протянем руку немецким пролетариям! — заявил Гая Гай.

— Товарищ начальник корпуса, а кто с нами рядом пойдет? Нам поляки во фланги не ударят?

— Это кто сказал?

— Начальник полка Александр Переверзев.

— А-а, только что прибывшие? Знаю, знаю, что вы за вояки. Сколько у тебя дезертировало?

— Треть полка.

— Да тебя надо за такое расстрелять!

— За что?

— За потерю трети полка. Потерю без боя!

— По-видимому, остальные две трети я потеряю здесь?

— Заткнись, пока я тебя не отправил к твоим предкам.

Итак, слушайте мой приказ...

Десятки тысячи солдат и кавалеристов, огибая Варшаву, пошли к границе. И Тухачевский кричал по радио Гаю:

— Вперед, вперед, вперед! Наша революция на кончиках штыков твоих солдат, Гай!

Корпус Гая был отрезан!

— Как это? Почему? Откуда у нас за спиной поляки? Отбросьте их! — кричал Гай. Увидел командира. — Ты кто?

— Командир полка Переверзев.

— А-а, это ты. Вот что, Переверзев, у тебя есть возможность избежать расстрела — отбрось этих поляков.

— Откуда они? Вы же сказали, что их не будет.

— Молчать! Исполняйте приказ.

Переверзев повернулся и стал собирать мечущихся командиров батальонов и рот. Все было напрасно — солдаты бросали оружие и ложились на землю. А те, кто был на лошадях, неслись к границе, где за пулеметами лежали немцы.

— Не стреляйте, мы сдаемся! — кричали солдаты корпуса Гая. Немцы стрелять не стали — они были удивлены. Сорок тысяч солдат перебежали границу и были интернированы немцами вместе со славным командиром корпуса Гаей Гаем.

Переверзева контузило взрывом, и он потерял сознание. Какой-то солдат его полка сжалился и перетащил своего командира через границу к немцам.

Еще 60 тысяч красноармейцев армий Тухачевского попали в плен к полякам, а 25 тысяч легли в польскую землю, густо политую в этом месте русской кровью в закончившейся два года назад мировой войне.

Немцы после заключения мира между Польшей и советской Россией почти всех пленных отпустили — кормить еще! У самих есть нечего! Контуженного Переверзева опять везли на телеге, и он думал, что мир для него замкнулся этим поражением. От Гумбиннена до Гумбиннена! В лазарете не было ни лекарств, ни бинтов. Раненые гнили заживо. Переверзев, как только ему стало легче, из госпиталя убежал. Но его полка уже не было, и он вновь стал никому не нужен. Его просто выкинули из армии. Второй раз, и уже без пенсии. Сказали, прощаясь: «Спасибо скажи полякам. Они твою пенсию съели». Он поехал в Москву, домой, но квартира его уже была занята другими людьми с разжиревшими мордами, которые называли себя «пролетариями» и промышляли бандитизмом и воровством. Ему дали комнатку в огромной коммуналке, и в новой стране это уже считалось счастьем. Он перевез в эту комнатку чемодан с вещами и коробку с письмами и фотографиями — те, что остались от отца. Купил водки и напился. Потом лег на жесткую кровать, накрылся шинелью и тихонько заплакал. Ему вспоминался покойный отец и где-то пропавший единственный сын Никита... Жизнь закончилась. И не было ни славы, ни денег, ни семьи...

XXXXI

Ленин плакал. Мировая революция была так близка, рукой подать — и растаяла, как мираж. И что еще хуже — от него опять начали отворачиваться его соратники по партии. На юге страны вновь взбунтовалось казачество. Начались мирные выступления в Кронштадте. В стране был голод, голод, голод. Тысячи простых людей ежедневно умирали, не имея ни крошки хлеба. И был найден главный враг голода — кулак! Не война, не мировая революция — русский крестьянин стал главным врагом государства рабочих и крестьян!

В Кремле понимали, что Егоров со Сталиным оказались абсолютно неспособными руководить войсками. Они не выполнили его, Ленина, прямые указания, и поэтому Туха-

чевский проиграл. Проиграла советская власть, проиграла революция. Понимали, но... Ленин вынес на рассмотрение чрезвычайной сессии Центрального исполнительного комитета вопрос о наказании Егорова и Сталина.

— Я понимаю, что в нашем поражении в Польше виноват не обманутый польский пролетариат, а... наш русский кулак-мирод! Но я требую наказать товарищей Егорова и Сталина. Они не выполнили указание Центрального комитета: Первая конная пошла на помощь Тухачевскому слишком поздно, а 12-я армия вообще не двинулась в сторону Западного фронта! Егорова и Сталина я требую снять с должностей и предать революционному суду!

— Владимир Ильич, — сказал (опять пьяный) Коля Бухарин, — но и вы тоже знали, что именно против Юго-Западного фронта должны были ударить польские армии. У вас же была перехваченная шифровка поляков. Вам ее товарищ Сталин лично послал. За что же мы должны наказывать товарища Сталина? Егорова можно, он военный, но товарища Сталина нельзя. Наказывая Сталина, мы наказываем коммунистическую партию! Мы наказываем большевиков! Вы, Владимир Ильич, хотите наказать в лице товарища Сталина большевиков, партию? Ну давайте наказывать всех комиссаров, всех чекистов, всех наших представителей в армиях — это они представляют нашу партию, а не командующие армиями и фронтами. Товарищ Сталин честно исполняет свой долг большевика. Я против наказания товарища Сталина.

— Я тоже против наказания товарища Сталина! А может быть, стоит рассмотреть вопрос о наказании командующего фронтом Тухачевского? — заявил Троцкий. — Он не отвел войска, когда было известно, что наступление поляков будет именно на его фронте. По-моему, Тухачевский виноват больше всех!

— Тухачевского не трогайте — он спаситель революции! — выкрикнул Ленин.

Вопрос о наказаниях не был рассмотрен — не хватило голосов, и Ленин одной, еще не умершей половинкой головного мозга понял, что он проиграл, что Россия больше

не может и не хочет воевать! И надо было спасти свою, личную власть. И очень болела голова, и рот косило, и речь становилась несвязной. Деградировал Ильич. Некоторые уже это понимали и гадали — кто же будет следующим у руля партии? Троцкий думал, что он; Бухарин — что он; а далеко от Москвы малоизвестный усатый, сухорукий, безграмотный, злой кавказец уже знал, что он!

Чтобы не потерять страну, все завоевания революции, Исполнительный комитет решил отказаться от требований к Польше. Советская Россия признала независимость республик Прибалтики и отдала Польше Западную Украину и Западную Белоруссию, приняла обязательство вернуть все военные трофеи, вывезенные с территории Польши аж с 1772 года! И обязалась выплатить контрибуцию в 30 миллионов и передать имущества на 18 миллионов золотых рублей... Польше! Все русские цари, все императоры перевернулись в своих гробах от такого унижения!

Мировая революция, о которой так мечтали большевистские вожди, началась и закончилась в России.

Бедная Россия!..

Майор Шарль де Голль был награжден орденом Большого креста «За военные заслуги», а капитану Глебу Смирнитскому от имени Польши глава государства Юзеф Пилсудский прикрепил Золотой крест «Виртути Милитари». Пилсудский, награждая, что-то шептал губами, потом не выдержал и спросил:

— Капитан Смирнитский, я считал, считал ваши ордена и все-таки сбился со счета — это какой у вас орден?

— Девятый, ваше высокопревосходительство.

— И все, как я понимаю, за храбрость. А это первый, но, я уверен, не последний польский орден... Поздравляю вас, пан майор!

— Но я капитан, ваше высокопревосходительство.

— С этой минуты майор... Почему вы называете меня «высокопревосходительство»? У нас республика.

— Привычка... русская...

А Тухачевский по приказу Ленина поехал усмирять мятежный Кронштадт. Он никак не мог поверить, что какие-

то поляки победили его в войне. «Не может этого быть!» — думал он и всю злость за проигранную в Польше войну он выместил на простых матросах и мирных жителях этого города-крепости, которые просили только одного — хлеба. Финский залив окрасился кровью, как когда-то Волхов при походе царя Ивана Васильевича на Великий Новгород...

Потом будет восстание тамбовских крестьян, и опять кровь, и выпадающие от примененного химического оружия кровавой кашей легкие и желудки у женщин, стариков и детей.

Его мечта стать вторым Наполеоном так и осталась мечтой...

Великая гражданская война в России закончилась, и на полях сражений, в пустых деревнях и городах гнили десять с половиной миллионов мертвых граждан бывшей великой империи! А по стране, от края до края, гулял ветер пустоты... Россия лежала в руинах.

Спасибо, товарищ Ленин!

Часть третья

В ожидании последней войны

I

В мае 1937 года в Советский Союз прибыла большая делегация Польской Республики. В состав делегации входили военные и среди них подполковник польского Генерального штаба Глеб Смирнитский.

Сталин поляков ненавидел за поражение в двадцатом году, в котором тогда его обвинял Ленин, и с делегацией не встречался, но такой визит ему был нужен. Необходима была поддержка Польши — в Германии старик Гинденбург перед своей смертью привел к власти Адольфа Гитлера, назначив его рейхсканцлером. И усатенький ефрейтор, отменив после смерти великого Гинденбурга должность рейхспрезидента, стал единолично править страной и, наплевав на все версальские решения, быстро готовил Германию к новой войне. Правда, в память о передавшем ему власть Гинденбурге похоронил его прах в огромном мемориальном комплексе на поле... под Таненнбергом.

Польских военных принимал 1-й заместитель Народного комиссара обороны начальник штаба Красной армии, маршал Советского Союза Михаил Николаевич Тухачевский.

Когда прославленного советского маршала познакомили с польскими военными и руководитель делегации дошел до Смирнитского, на представление: «Подполковник Смирнитский» Тухачевский улыбнулся и сказал: «Здравствуй, Глеб».

Наступила пауза.

— Мы с паном Смирнитским вместе в империалистическую войну на германском фронте воевали. Как говорят у нас, у русских: «одной шинелью укрывались».

— У нас, поляков, так же говорят, — разрядил обстановку руководитель делегации Польши.

Переговоры, как писали газеты, «прошли в дружеской обстановке», были подписаны необходимые договоренности, которые каждая из сторон хоть завтра готова была забыть.

Перед отъездом делегации Тухачевский пригласил Глеба Смирнитского к себе домой, познакомить с семьей, как он сказал:

— Глеб, некоторые члены нашей семьи очень хотят тебя увидеть и пожать твою руку, а кое-кто и расцеловать.

Вся большая семья Тухачевских собралась по такому торжественному случаю в большой квартире Михаила Тухачевского. Мать, Мавру Петровну, братьев и сестру Глеб помнил еще со времен мировой войны. Жену, Нину Евгеньевну, тогдашнюю молоденькую невесту Михаила Тухачевского, которая ждала жениха два с половиной года, веря, что он жив и вернется из плена, Смирнитский узнал сразу. Сказал, целуя руку:

— Нина, вы не изменились за эти годы. Все так же удивительно красивы. Только где ваша коса?

Нина посмотрела на Глеба затуманившимся взглядом красивых зеленых глаз и тихонько вздохнула.

— Но-но, Глеб, ты же должен помнить, что я стрелял лучше тебя, — сказал, смеясь, Михаил.

— Зачем же тогда браунинг мне подарил?

— Сохранил?

— Да, дома лежит. Готов к использованию. Как это у вас в песне: «Если завтра война, если завтра в поход...»

— Надо же, в Польше знают наши большевистские песни.

— Хватит, хватит, — вмешалась Мавра Петровна. — Миша, знакомь Глеба Станиславича с другими гостями.

— Так, Мавра Петровна, я почти всех знаю, кроме мужа вашей дочери и жен братьев. Все немножко повзрослели.

Подошла стройная, высокая девушка с зелеными глазами и представилась:

— Светлана Тухачевская.

— Это ваша дочь? Так похожа на вас, Нина. Она учится?

— Она студентка третьего курса университета. Отличница.

— Неудивительно, имея таких родителей.

— Ты, Глеб, хочешь сказать, что она отличница, потому что носит известную в стране фамилию? — спросила с нотками удивления Нина.

— Нет. Потому что у нее умные родители.

— Ах, Глеб, ты, как всегда, шутишь.

— Я не шучу. Я всегда говорю правду.

— Скажи, Глеб, кто твоя жена? У тебя есть дети?

— Я никак не мог забыть глаза одной девушки, с которой я расстался в семнадцатом году. Я не женат и у меня нет детей, — тихо сказал Глеб.

— Зачем же расстались? Может, она тебя ждала? — еще тише сказала Нина.

— Как твоя дочь похожа на тебя!

— Да, она моя дочь...

— Красивая — в мать.

— И в отца...

— Конечно. Михаил — необыкновенный мужчина.

— Ничего-то ты не понял, Глеб. Давай закончим этот разговор, а то гости уже смотрят... сравнивают.

— Чего сравнивают?

— Не чего, а кого. Хватит, хватит. Пойдем за стол.

После обилия слез, поцелуев, хорошего стола и хорошей выпивки хозяин и гость удалились с коньяком и папиросами в кабинет Тухачевского.

— Как же, Глеб, я рад тебя видеть. Восемнадцать лет не виделись, с того дня в девятнадцатом году. Я все боялся, что ты погиб. Где ты был все эти годы?

— Отступал через всю Сибирь с Каппелем, нищенствовал в Китае, кружным путем добрался до Франции, а оттуда в Польшу. Служу в Польской армии с двадцатого года.

— С двадцатого?

— Да, Михаил, я воевал против твоих войск, когда вы напали на Польшу.

— Не мы напали, а ваша буржуазия напала на нашу молодую советскую республику.

— Михаил, да какая буржуазия в Польше? Желание быть свободными — вот что двигало всеми поляками. Кстати, я тогда встретил твоего товарища по немецкому плену — Шарля де Голля. Мы с ним о тебе много говорили. Он был очень высокого мнения о тебе и говорил, что с таким человеком, как Тухачевский, лучше в бою не встречаться! Он сейчас генерал во Франции и, думаю, далеко пойдет. Такой же, как ты, человек войны. А ты все-таки достиг своего, и даже большего — стал маршалом!

— Я еще не достиг того, что хочу. А про де Голля я читал в специальной военной литературе. Можешь мне сказать, почему я тогда, в двадцатом, проиграл вам?

Смирнитский покрутил пальцем над головой и приложил ладонь к уху.

— Что ты, — засмеялся Тухачевский, — я же маршал Советского Союза! Я, конечно, читал о новых записывающих машинах, как это... магнитофоны, но это пока только в теории. Правда, немцы далеко в этом вопросе продвинулись. И не только в этом вопросе. Надо признаться — они технические новинки очень быстро запускают в производство. Да и как ты представляешь, чтобы меня, заместителя наркома обороны, стали бы подслушивать? Меня? Кто? Нет, нет и нет. В этом доме ты можешь говорить все, что хочешь сказать. Здесь одни друзья.

— Если честно, ты не виноват в поражении — виноваты Сталин с Егоровым. Мы тогда им дезинформацию подбросили, что именно против них будет нанесен удар наших армий, они и отказались тебе помощь оказывать. Ты же шел на Варшаву, зная, что есть решение вашего председателя, как это... совнаркома Ленина передать тебе Первую конную и 12-ю армии. И мы это знали. Мы все знали. У нас были расшифрованы все ваши радиogramмы. Все! По всей вашей стране! Твои, Егорова, Сталина... Они потом сослались, что распоряжение из Москвы о передаче армий вовремя не получили. Ложь! У нас были расшифрованы даже радиogramмы Ленина. И Первая конная стала разворачиваться к тебе только в двадцатых числах, а 12-я армия вообще не шевельнулась. Обрати внимание:

Сталин не понес никакого наказания. Потому что он не военный, а политический руководитель. Ваша партия всегда политических руководителей, комиссаров, ставила выше военных. Скажу тебе: Сталин с Ворошиловым уже тогда тебя ненавидели. У нас были расшифрованы их переговоры, и знаешь, что они тогда говорили о тебе? «Этот дворянчик, царский холуй, поручик, семеновец еще и приказывать нам будет?» Они тебя ненавидели тогда и ненавидят сегодня! Если объявить, что именно Сталин виноват, что вы проиграли войну бедной Польше и подписали с нами позорный для вас Рижский мирный договор, по которому отдали нам часть Белоруссии и Украины, да еще и огромную контрибуцию выплатили, то я не уверен, что он усидит в своем кресле.

— Глеб, о чем ты? Никто в это не поверит! Да и сказки все это. История нашей страны уже написана... в камне! И ты ошибаешься, Глеб, — у меня со Сталиным очень хорошие отношения: товарищеские, большевистские; он меня всегда внимательно выслушивает и ставит в пример Ворошилову. Он же понимает, что Ворошилов и Буденный — это вчерашний день. Предстоит война, и он все делает, чтобы оттянуть ее начало и построить новую армию. Эта война будет войной моторов. В империалистическую войну танки только появились, а в будущей войне будут целые корпуса, нет — целые армии танков. Будет мощная истребительная и бомбардировочная авиация. Будет реактивная артиллерия. Будут многотысячные воздушные десанты. Мы все это создадим. У нас будет самая сильная армия в мире! Да еще наша вера в победу! В этот раз мы немцев разобьем! А нарком Ворошилов ничего не сможет со мной сделать. Не забывай, я заместитель Народного комиссара обороны, маршал Советского Союза — меня же так просто не возьмешь и не снимешь с поста. Армия возмутится. Да, и еще раз говорю: скоро война. В Германии у власти Гитлер!

— Бедная Польша — опять между двух огней! А насчет возмущения вашей армии — ты уверен, что оно возможно? У нас совсем другие сведения. Вспомни Гаю Гая. Он же

вместе с тобой воевал против Каппеля и в Польше. А осудили как шпиона и расстреляли.

— Гай дурак — зачем побег устроил? Ну посидел бы немного — и выпустили бы, война скоро! Давай не будем об этом. Значит, ты тогда воевал против меня? И ты меня победил?!

— Не против тебя, а против захвата Польши большевиками и за независимость моей страны. И не я победил, а польский народ выиграл. Иначе сейчас у нас была бы, как у вас, страна-концлагерь!

— Как ты можешь такое говорить?! Ты ничего не понимаешь, Глеб, — мы самые счастливые люди на Земле, и у нас самая лучшая в мире страна.

— О чем ты, Михаил? Ты думаешь, что мы не знаем, что происходит в вашей стране в действительности? Мы не знаем о ваших репрессиях? О миллионах умерших с голода?

— Никаких миллионов умерших не было, а были и есть враги советской власти, и мы с ними боролись и будем бороться. Вокруг нашей страны одни враги, и все хотят нашей гибели. И внутри страны есть враги советской власти, и они будут безжалостно уничтожены.

— Я не хотел говорить, но в Польше знают, как ты расправился с крестьянами в Тамбове, и о применении химического оружия, и о заложниках, нам все известно, и мы не хотим для своего народа такой судьбы.

Тухачевский при этих словах помрачнел и замолчал, потом тихо прошептал:

— Они тоже были врагами советской власти. И не полякам это говорить. Мы тоже хорошо знаем, как вы издевались над красноармейцами, попавшими к вам в плен. Они от голода ели друг друга. Может, я вру?

— Извини, Михаил. Скажу тебе честно: я, когда узнал об этом, не поверил! Это непостижимо. Но что я, майор, мог сделать? Да, я открыто возмутился — меня обозвали предателем. И просидел в одном звании все эти годы. Мне подполковника присвоили за неделю до поездки сюда. За чем меня включили в состав делегации, я не знаю. Здесь политика, а меня от нее тошнит. В сорок четвертом мне бу-

дет пятьдесят и я уйду на пенсию. Если, конечно, доживу. Надену шляпу и буду копать в саду и садить цветы. Ты должен помнить дом моего дяди. Он его оставил мне. Тетушка тоже умерла, сразу за ним, через месяц. Бывает же на свете такая любовь! Девочки, Златка и Ядвига, вышли замуж. Живут в своих домах недалеко от меня. Но я хочу поговорить с тобой об другом. По нашим сведениям, готовятся массовые репрессии в вашей Красной армии, в ее руководстве. Немцы подбросили дезинформацию Сталину о заговоре против него со стороны военных. Первым в списке на арест — ты! Ты понимаешь это? Ты понимаешь, что будет с тобой, с твоей семьей, с твоими родственниками? Ведь это Сталин!

— Глеб, не верь тому, что говорят. Это немцы вас, поляков, обманывают. Они не хотят, чтобы вы стали на сторону Советского Союза. Да, у нас были перегибы, но Сталин на них всем указал. Ты сам подумай, какие могут быть репрессии против военных, если вот-вот может начаться война? Это чепуха! Да, бесспорно, таких, как Ворошилов и Буденный, от руководства армией надо убирать; они не понимают, что война на лошадях и с саблями закончилась, предстоит другая война, не людей — моторов, но Сталин-то это понимает.

— А солдаты? Почему ты не говоришь о солдатах?

— Солдат — всего лишь маленький винтик в сложном механизме войны. В новой войне не он будет главной силой боя. Я еще раз говорю, что будет война моторов и в этой войне я точно дойду до Ла-Манша! Миром, Глеб, двигают люди, у которых есть неистребимое желание добиться великих побед. Быть первыми! И эти желания, воплощенные в действия, несмотря ни на какие преграды, и двигают мир вперед. Побеждают Магелланы и Колумбы! Побеждают одиночки! Вот я не хочу, как многие, власти. Я хочу военных побед. Глеб, я засыпаю ночью и встаю утром с этой мыслью. Я хочу войны. А победить можно, только когда у тебя самая технически совершенная и оснащенная армия. Ах, Глеб, если бы ты только знал, сколько времени мы потеряли из-за Ворошилова и таких, как он. И как их много! Какое уникальное вооружение не готово к войне. Мы выпус-

каем старье. Мы стреляем из винтовки Мосина, с которой мы с тобой ходили в атаку на германском фронте, у нас все еще пулеметы Максима, наши самолеты сделаны из фанеры, а крылья из материи, пропитанной лаком, — они горят даже при попадании пули. Нам надо все менять, а мы скачем на конях и машем саблями. Нужны танки, минометы, современные пушки и автоматы, а мы на лошадях! И нет главного — времени! А ты говоришь о солдатах. Солдат у нас, Глеб, много, да толку!.. Политруков тоже много, а лучше бы их не было... Лучше бы вместо них больше проводили практических учений, а не на картах стрелками войска двигали, где всегда побеждает Красная армия... А то генералы решений не принимают — ждут, что комиссары скажут. Плохо все, Глеб... Но я тебе об этом не говорил. Мы все равно победим! А почему ты в таком звании?

— Майора в двадцатом году присвоили, и все. Подполковника — неделю назад. Причина одна — я не давал присягу польского офицера. Я никому, кроме царя, не присягал.

— Ну и зря! Был бы генералом.

Глеб внимательно посмотрел на Тухачевского, а потом спросил:

— Скажи, Михаил, ты можешь с семьей поехать за границу, скажем, в Польшу, по приглашению руководства нашей страны или министерства обороны?

Тухачевский налил коньяк в рюмки. Выпил.

— Я, может быть, и мог бы, но с семьей никогда. Семья здесь как гарантия, что ты вернешься. И я понимаю, к чему ты это говоришь, — вдруг потупившись, грустно сказал Тухачевский.

— И все-таки, Михаил, как спасти тебя и твою семью?

— Зачем нас спасать? Все будет хорошо, Глеб.

— Ну а твоя дочь, Светлана, — она может поехать за границу? Скажем, если придет приглашение на какую-нибудь практику в университет Варшавы?

— Не знаю. Может быть.

— Тогда я сейчас же по приезде начну договариваться в Варшавском университете, и она сможет приехать ко мне, в Польшу, во время летних каникул.

— И что это даст? Ну побудет она месяц у тебя и вернется. Не останется же она в Польше? Тогда нас точно репрессуют. Таков закон!

— А мы ее замуж выдадим.

— Как это — выдадим?

— По любви. А как еще замуж выходят?

— Ну развеселил, Глеб, — женим по любви за месяц? Впрочем, в этом что-то есть. Я поговорю с женой и дочерью. А сейчас ни слова об этом. Все будет хорошо, Глеб. Все будет хорошо... Пойдем, еще посидим с моей семьей. Ты же видишь, как они тебе рады и как они тебя любят... Пойдем, Глеб, нас ждут.

— Так что, договорились?

— Хорошо, договорились, — сказал Тухачевский и тихо-тихо, совсем неслышно произнес: — О чем я? Господи! Чушь!.. — И уже громко: — Ах, я совсем забыл, — Тухачевский вышел и вернулся с шашкой, на эфесе которой отливал золотом крест ордена Святой Анны и свисал темно-красный шнур. — Возьми. Твоя.

— Сохранил? Тогда, в Омске... Господи, Михаил, как я счастлив!..

Сидели хорошо, как когда-то в четырнадцатом, во время первого приезда молодых поручиков с фронта в Москву. Произносили тосты с любовью, с нежностью, с добротой... Когда Михаил и Нина провожали Глеба к машине, Глеб на прощание сказал:

— Я вас, Тухачевские, очень сильно люблю... Михаил, я жду твоего звонка. Не затягивай.

— Я приеду на вокзал тебя проводить.

— И я приеду, — сказала Нина. — И Света.

— Очень хорошо. Тогда не прощаюсь...

Ночью Тухачевский рассказал жене о своем разговоре с Глебом. Нина заходила по спальне.

— Миша! О чем он говорит? Как это возможно? Какая Польша, какая свадьба? Он с ума сошел в своем одиночестве? Не отпущу. Что ты ему ответил?

— А я что? Я в общем-то не против, пусть Светка съездит в Польшу. Но замуж?! Я посмеялся, да и все. Давай

спать, у меня завтра тяжелый день: совещание по новым видам вооружений. А ты же знаешь, Ворошилов с Буденным всегда выступают против моих предложений...

Нина заходила по спальне, а потом произнесла:

— А может, Свету и правда отправить?

— Боюсь, что Польши скоро не будет.

— Как это?

— Так. Все, ложись спать.

— А Глеб знает?

— О Польше? Он, Нина, все понимает. Все.

Ночью Нина встала и тихо прошла в спальню дочери. При свете майского светлого ночного неба она смотрела на безмятежно спящую дочь и шептала молитву: «Господи! Прости меня за тот грех. Он же не знает, что у него есть дочь. Это только моя вина, и ничья другая...» — Она прошла в столовую и, достав из шкафа пузырек, накапала лекарство в стакан. Села за стол, положила голову на руки и заплакала.

Утром, провожая мужа на службу, она сказала:

— Пусть Света едет.

— Ты так думаешь?

— Да.

— Я не возражаю, пусть едет. Поговори с ней.

— Когда ехать?

— На летних каникулах. Значит, через две недели. Я Глебу сообщу. Позвоню с работы.

— Может, лучше я и из дома? Мало ли что... Ваши телефоны того...

— И ты туда же! Все бабские страхи. И Глеб тоже...

— Что Глеб?

— Ничего. Я позвоню. А ты поговори со Светой.

Нина Тухачевская прошла в столовую, где завтракала дочь и, присев к ней, спросила:

— Света, Глеб Станиславич предлагает тебе приехать к нему в гости в Варшаву.

— Когда, мама? — обрадованно спросила дочь.

— А ты хочешь поехать? Я удивлена.

— Хочу, очень хочу.

— Но почему?

— Если там такие красивые мужчины, как Глеб Станиславич, то я там выйду замуж!

— Что сделаешь?

— Выйду замуж. Посмотри на Глеба Станиславича — какой мужчина. Все в нем какое-то строгое... честное, не такое, как у нас... в стране.

— Света, замолчи.

— Мама, ты что, думаешь, что я не знаю о ваших отношениях с отцом, о том, что у него есть другая женщина?

— Света! — У Нины Евгеньевны на глазах выступили слезы.

— Извини, мама. Я неправа, — Света быстро оделась и уже в дверях повернулась к матери и сказала: — А в Польшу, к Глебу Станиславичу, я поеду. На все лето, а там видно будет...

II

Через два дня делегация Польской Республики уезжала из Москвы. На проводах Тухачевского не было. Глеб позвонил в наркомат обороны, но ему ответили, что маршал уехал в срочную командировку. Глеб позвонил домой Тухачевским, но к телефону никто не подошел. Ни Нина, ни Света провожать его на вокзал не пришли. Со страшным, тяжелым чувством Глеб сел в поезд и стал с болью какой-то безвыходности смотреть в окно на убегающие, такие родные для него подмосковные леса.

А Тухачевский и не мог проводить своего друга. В тот же день, когда Глеб Смирнитский побывал у него в гостях, Народный комиссар внутренних дел Николай Ежов позвонил наркому обороны Клименту Ворошилову и сказал всего одно слово: «Есть!»

Через час Ежов и Ворошилов встретились на конспиративной квартире НКВД. То, что сообщил Ежов Ворошилову, последнего шокировало, но он радостно понял: теперь Тухачевский кончился.

— Они там такого друг другу наговорили о нашей власти, о руководстве страны, что обоих можно сразу брать и к стенке ставить, — говорил возбужденно Ежов. — Они го-

ворили и ничего не боялись! Вот, возьмите, Климент Ефремович, почитайте запись разговора...

— Коля, ты настоящий большевик! Спасибо! — сказал Ворошилов.

На следующий день Ворошилов с Ежовым были приняты в Кремле Сталиным. Вытянувшись перед вождем, не смея смотреть Сталину в глаза, Николай Ежов доложил, что 1-й заместитель наркома обороны Тухачевский встречался с ненавистными, заклятыми врагами Советского Союза поляками, а одного из них, подполковника Генерального штаба Смирнитского, приводил к себе домой, где того встречали с распростертыми объятиями все собравшиеся для этой встречи родственники Тухачевского. Был накрыт стол, говорили в честь Смирнитского тосты, и, кстати, ни одного тоста за нашу страну, за советскую власть, за партию коммунистов-большевиков... за товарища Сталина, не было произнесено. Тухачевский и Смирнитский имели продолжительную беседу за закрытыми дверями в кабинете. Тухачевский отдал Смирнитскому наградную саблю, хранящуюся у него дома. Оказалось, что он ее хранил у себя с девятнадцатого года. Резко отрицательно высказался о вооруженных силах нашей страны, о политработниках Красной армии и о руководителях наркомата обороны. Смирнитский предложил Тухачевскому спрятать его семью в Польше и договорился с ним, что дочь Тухачевского Светлана, студентка университета, поедет в летние каникулы по приглашению в Польшу и там она выйдет замуж... Вот записи разговоров, — Ежов положил перед Сталиным листы бумаги.

Сталин внимательно и молча слушал, полистал листы и вдруг глаза его налились кровью, он со злостью ударил курительной трубкой по столу — та раскололась, что привело его в еще большую ярость, взглянул тяжело исподлобья на наркомов и тихо сказал:

— А кто такой Смирнитский? Почему Тухачевский так его принимает и не боится то делать?

— Товарищ Сталин, пусть товарищ Ежов доложит, — сказал Ворошилов.

— Докладывайте, товарищ Ежов.

Малюсенький, худенький Ежов, по прозвищу «Малюта», одернув гимнастерку, продолжил:

— По имеющимся у нас сведениям, Тухачевский и Смирнитский знакомы с четырнадцатого года, когда в империалистическую войну защищали прогневший царский режим в особом полку — лейб-гвардии Семеновском, а Смирнитский вообще дослужился до капитана батальона Георгиевских кавалеров...

— Семеновский — это тот полк, над которым шефствовали императоры и который расстрелял рабочих на Пресне в девятьсот пятом году? — спросил Сталин.

Сталин прекрасно знал, что Тухачевский в царской армии был поручиком в Семеновском полку. Он много чего знал о Тухачевском, да и о других тоже. Просто товарищ Сталин, как всякий безграмотный человек, очень любил показывать окружающим его трусливым партийным подхалимам свою эрудицию, чтобы все верили и говорили, что у товарища Сталина феноменальная память. У товарища Сталина была феноменальная ненависть ко всем — врожденная! И страх, тоже врожденный! А у страха феноменальная память!

— Так точно, товарищ Сталин, это тот полк.

— Продолжайте, Николай Иванович.

— Тухачевский попал в плен к немцам в пятнадцатом году, а в семнадцатом вернулся. С его слов, пять раз бежал из плена. На пятый раз удачно. Во время плена его семью поддерживал, переводя деньги и продовольственный паек, Смирнитский. Тухачевский по возвращении в Россию был восстановлен Временным правительством в армии в звании капитана, а потом, после Октябрьской революции, вступил в Красную армию военспецом.

— Да его немцы еще тогда, в семнадцатом, в страну забросили, чтобы он занимался разведкой в пользу Германии, — крикнул несдержанный Ворошилов.

— Ты, Клим, коли его просрал, помолчи, дай дослушать, — сказал Сталин и полез за папиросами.

— Смирнитский отказался дать присягу Временному правительству и был уволен из армии, а потом появился в

бандитской армии полковника Каппеля. Мы нашли в архиве ВЧК любопытный документ. Наш сотрудник докладывал, что командующий 5-й армией Тухачевский спас в Омске от расстрела подполковника каппелевской армии Смирнитского, при этом помог ему сбежать, отдав ему свой полушубок и красноармейскую буденовку, а также вернув ему оружие — браунинг. Захватить Смирнитского не удалось, по-видимому, Тухачевский сообщил ему пароль, а у Смирнитского в городе были сообщники. Смирнитский объявился в двадцатом году в Польше и служил офицером в штабе армии Сикорского и воевал против Красной армии.

— Вот оно что! В Польше, — Сталин нервно раскурил папиросу и выдохнул: — А Тухачевский был командующим Западным фронтом и, поставив наши войска на грань поражения, проиграл войну полякам, и нашей молодой республике пришлось подписать тот позорный договор о мире и отдать наши земли на Украине и в Белоруссии, еще и золотом расплачиваться! Это Владимиру Ильичу было непонятно, почему мы проиграли войну Польше, а мы уже тогда знали почему... — и голос Сталина уже загредел с угрозой на весь кабинет: — Клим, что же это творится — враг в самом нашем сердце, в Кремле?

— А я, Иосиф Виссарионович, сколько раз об этом говорил?

— Извините, товарищ Сталин, можно еще несколько слов добавить о Тухачевском? — спросил Ежов.

— Я слушаю, товарищ Ежов.

— В своей биографии Тухачевский указывает, что в плену он познакомился с неким французским капитаном де... — Ежов взглянул в бумагу, — Шарлем де Голлем. Так вот, выяснилось, что этот де Голль вместе с Смирнитским прибыл в Польшу в двадцатом году и воевал на стороне буржуазной Польши в чине то ли майора, то ли полковника. И он, и Смирнитский получили за участие в войне против наших войск высшие ордена буржуазной Польши.

— Все понятно, — сказал Сталин и, тяжело посмотрев на наркомов, с угрозой произнес: — За Тухачевским и его семьей усилить наблюдение. Они могут убежать. И ведь

как хитро этот Смирнитский придумал: дочку на практику в Польшу и замуж... Нет-нет, сделаем так: Климент, завтра же назначь его командовать каким-нибудь округом, скажем Приволжским, и отправь его в Куйбышев. И пусть обязательно доедет, не дайте ему по дороге сбежать или застрелиться. А как приедет — арестовать уже как командующего округом, а не твоего заместителя и доставить обратно в Москву... Я ведь Владимиру Ильичу тогда, в гражданскую, говорил, что Тухачевский враг. А он не верил. Ильич его считал спасителем революции. Особенно после Кронштадта. Там Тухачевский море крови пролил... и с той, и с другой стороны. Мы вообще перед товарищем Тухачевским — агнцы Божии. Мы будем его судить! Проведем открытый процесс — пусть граждане страны знают, что партия не дремлет и не позволит врагам народа свободно гулять по нашей земле, — Сталин взял со стола листок бумаги. — Вот, товарищ Ежов, список командармов и комкоров, которых необходимо арестовать вместе с Тухачевским. Жаль, нельзя заодно и Смирнитского арестовать. Ладно, никуда он от нашего справедливого гнева не денется! Хотя, видимо, храбрец, раз в Георгиевском батальоне служил — там одни отпетые монархисты служили. За царя готовы были умереть...

III

Когда польская делегация садилась в поезд, маршал Советского Союза Михаил Николаевич Тухачевский смотрел на пробегающие поля в окно другого поезда и понимал, что его жизнь закончилась. Ему даже не дали возможности позвонить домой жене и матери — принесли приказ о снятии с должности заместителя наркома обороны и назначении на должность командующего Приволжским военным округом, посадили в поезд и сказали, что семья прибудет к нему в Куйбышев. В купе напротив него неотлучно сидели два сотрудника НКВД. Пистолета у Тухачевского не было.

Тухачевский вспомнил разговор и предупреждение Глеба. И вспомнил знаменитого комкора Гаю Гая. Того так

же в тридцать пятом арестовали и дали пять лет лагерей. И никто не возмущился. Гай после суда, на пересылке, убежал, и его ловили по всей стране. Поймали и расстреляли. «Неужели как Гая? Но я же не комкор. Я маршал! Сталин, наверное, не знает, что меня арестовали. Но как без его ведома меня смогли бы снять с заместителя наркома обороны? Нет, он не знает. Надо по приезде сразу же позвонить Иосифу Виссарионовичу. Это какая-то дикая ошибка... И то, что это Ворошилов, понятно. Но неужели Сталин, великий Сталин, слушает бредни этого незаслуженно увешанного орденами, не понимающего ничего в современной войне придурка? — и вдруг вспомнился Фрунзе. — Неужели все началось с Фрунзе, с его смерти? Многие тогда говорили, что убили его на операционном столе. Нет, это все неправда. Приеду в Куйбышев и поеду обратно. А может, и раньше... сейчас вот на станции войдут и принесут приказ за подписью самого Сталина, отменяющий приказ Ворошилова. Сталин быстро разберется, кто прав, а кто виноват...

А в это время всю его семью арестовывали и заталкивали в крытые черные машины, из-за цвета и страха перед ними метко прозванные в народе «воронками».

И только Тухачевский вошел в пустой кабинет командующего округом, снял шинель и тяжело сел за стол, как вошли сотрудники НКВД, предъявили ордер на его арест как командующего округом и, не разрешая надеть шинель, вывели из здания штаба округа во двор и грубо затолкали в «воронок». А настоящий командующий округом сидел в соседнем кабинете, ничего не понимая и боясь, что вот сейчас войдут особисты и его арестуют. А к нему через полчаса зашли, извинились, поблагодарили от имени наркома обороны за проявленную большевистскую бдительность и попросили вернуться в кабинет.

Через три дня Тухачевский был доставлен в Москву, в здание НКВД на площади Дзержинского, которое в народе продолжали называть Лубянкой, куда уже свозились арестованные знаменитые командармы и комдивы. Исполнялось приказание Сталина отобрать из группы высшего

командного состава Красной армии лиц для открытого судебного процесса. Страна, народ должны были знать своих врагов в лицо!..

Сталин вызвал Ежова и, когда тот, потный от страха, вошел в кабинет, спросил тихо, по-доброму, с мягким кавказским акцентом, есть ли у товарища Ежова человек, который может заставить Тухачевского во всем признаться.

— Как говорит наш генеральный прокурор товарищ Вышинский: «Признание обвиняемого является лучшим доказательством его вины!» У тебя есть такой человек?

— Так точно, товарищ Сталин. У нас в НКВД есть сотрудник — капитан Архип Феропонтов. Он был денщиком у Тухачевского еще на империалистической войне, а потом его ординарцем на гражданской. Это он сообщил в ВЧК о побеге Смирнитского в девятнадцатом году. Это он тогда же помог, чтобы шифрограмма товарища Ленина о необходимости срочного расстрела Колчака не попала к Тухачевскому. Он у нас в ВЧК с восемнадцатого года.

— У тебя ценные кадры работают, товарищ Ежов. Хорошо! Можешь применять к арестованному любые методы пыток для признания его вины. К родственникам тоже. Мне нужен быстрый результат. Но запомни — Тухачевский мне нужен живым и без видимых следов пыток. Над ним и его сообщниками будет суд. Я твое усердие знаю. Никаких следов — понял? На родственников это не распространяется.

IV

Первый допрос Тухачевского проводил сам Николай Иванович Ежов. Любил Ежов, когда подследственные — этот мусор, пыль — плачут и признаются во всех смертных грехах. Думал, что это они от одного его «ежовского» взгляда раскаиваются. Вот он, Ежов... он бы ради партии все выдержал! Он вспомнил, как арестовывали прежнего наркома внутренних дел Генриха Ягоду, который оказался замаскированным врагом народа Енохом Гириевичем Ие-

годой. Когда у Ягоды в кабинете открыли сейф, в нем оказались одни порнографические фотографии и две пули, которыми прикончили врагов народа Зиновьева и Каменева. Вот эти пульки сейчас лежали уже в его, ежовском сейфе, и те картинки лежали. Иногда с большим удовольствием посматривал... Так Ягода при аресте обгадился. Его в подвал Лубянки штыками гнали, чтобы не прикасаться...

(Когда Ежова вот так же поволокнут прямо из кабинета вниз, в подвал, он так обгадится, что к нему приближаться побрезгуют. Так и пристрелят изгаженного, не притрагиваясь...)

Тухачевский все отрицал и требовал встречи со Сталиным. Все предъявляемые обвинения называл вымыслами.

— Мы же с вами, Николай Иванович, знаем друг друга много лет. Неужели вы верите всем этим бредням о моей шпионской деятельности?

— Ладно, — сказал Ежов, — все равно признаешься.

— В чем, товарищ Ежов?

— Я вам не товарищ!

И ушел. А пришел Архип Ферапонтов.

— Архип? Ферапонтов? А ты-то почему здесь? Не разгляжу, в каком ты звании? — удивился Тухачевский.

— Я, ваше благородие, — сказал Архип. — Я здесь с того дня, как вы меня от себя-то выгнали. Помните, в Омске? А звание у меня — капитан государственной безопасности. Чувствуете — безопасности! Ну зачем запираетесь, Михаил Николаевич? Признайтесь — и пытать не будут, даже не расстреляют, в тюрьму посадят, и все.

— Хороший рост из безграмотного ординарца. Чем такое заслужил? И в чем я должен признаться? В том, чего никогда не делал? Я за советскую власть кровь проливал, армиями и фронтами командовал — врагов бил, маршалом стал.

— Ты уже не маршал, ваша благородь, ты жук навозный. Ты лучше расскажи, о чем ты говорил у себя дома с заклятым нашим врагом, польским подполковником Смирнитским, что тебе дружкой приходится аж с четырнадцатого года?

— Так ты же с нами в атаку-то вместе ходил на германском фронте. Чего же спрашиваешь? Впрочем, ты не ходил.

— Может, и ходил, да вы не замечали. Только я с двадцатого в нашей большевистской партии и капитаном стал за борьбу с такими, как ты, врагами советской власти. А ты, мразь, с пятнадцатого по семнадцатый у немцев кофеек попивал.

— Я пять раз бежал из плена.

— Ага, я твои показания читал. И про дружка твоего, француза, что против нас в двадцатом в Польше воевал, как его... де Голль, кажется, тоже читал. Он сейчас уже генерал. Ты, ваша благородь, думал, что мы ничего не узнаем? Куда нам — мы же и читать-то не умеем. А вот все мы знаем. Ты зачем тогда, в Омске, в девятнадцатом, Смирнитского-то от расстрела спас да помог ему бежать? Агент он твой был? Колчака хотели спасти? Подписывайте признание, и будет с вас, ваше благородие. Я к вам, можно сказать, с любовью за прошлые заслуги: как-никак сапоги вам мыл. У других бы я, Михаил Николаевич, ничего бы не просил — там за дверью мои люди стоят, от одного их вида людишки обделываются и признаются, что маму родную убили.

— Ты меня не пугай, Архип, я в отличие от тебя смерти в глаза не раз смотрел. Ты-то, как известно, в пятнадцатом быстро на склад убежал — болезнь какую-то нашел. Да и в восемнадцатом, когда я тебя нашел, не жил — пресмыкался.

— Так это что же — мне сейчас надо вам в ножки кланяться?

— А ты наручникиними, и посмотрим, кто кому поклонится.

— Хорошо. Сейчас посмотрим. Эй, заплочных дел мастера — ваш выход... Я пошел, ваше благородие, а вы с моими орлами поговорите, — Ферапонтов пошел к двери, в которую входили два крепких солдата. Проходя мимо них, Ферапонтов прошептал: — Голову, лицо, шею и руки не трогать. И чтобы живой был. Я через двадцать минут вернусь. Смотрите у меня, если хоть царапину увижу.

Ферапонтов не вернулся ни через полчаса, ни через два часа... А потом был еще один день, и еще день... Тухачевс-

кий, весь, кроме лица, шеи и кистей рук, превращенный в кусок кровавого мяса, молчал, ничего не признавал и только хрипло требовал встречи со Сталиным.

Архипа Ферапонтова вызвал к себе сам товарищ Ежов и строго спросил:

— Почему нет признания Тухачевского?

— Молчит! Сильный! — был ответ.

— Плохо работаете, товарищ Ферапонтов. Разрешаю показать ему жену. Вид сделайте соответствующий, не мне вас учить. Не добьетесь признания за сутки — заменю, а вас разжалую со всеми вытекающими последствиями.

Архип хорошо знал, что означают такие «последствия».

Ночью Тухачевского из подвала, где пытали, привели в кабинет к Ферапонтову. Посадили на стул.

— Ну что, Михаил Николаевич, будем подписывать признание или нет?

— Я требую встречи со Сталиным, — просипел Тухачевский. На лице и правда не было ни одной царапины. Только сплошная боль в глазах.

— Зря! Ну что ж, я вас, ваше благородие, предупреждал. Ведите его обратно в подвал, в пятую камеру.

Тухачевского, так как он не мог идти, надев на голову мешок, потащили в подвал и, втащив в камеру, усадили на стул, застегнув наручники за спиной.

— Я вас, Михаил Николаевич, предупреждал, что вы своим молчанием, делаете только хуже для себя и своей семьи? Снимите с него мешок, — раздался спокойный голос Ферапонтова.

Мешок сняли. Тухачевский вначале из-за полумрака ничего не увидел, а когда пригляделся, то непроизвольно вскочил, но подняться не смог — заведенные назад руки в наручниках были пристегнуты цепью к кольцу в стене.

В середине комнаты к крюку в потолке за руки была подвешена голая женщина. На голове у нее был мешок, а до пола она доставала только кончиками пальцев ног. Все тело было в кровавых полосах от ударов плеткой.

— Ну что, Миша, может, хватит? — спросил Ферапонтов.

— Суки! — закричал Тухачевский.

— Так, снимите с нее мешок и дайте пару хороших плетей, чтобы кровь полилась. И пусть посмотрит, из-за кого она так мучается.

С женщины сорвали мешок, повернули лицом к Тухачевскому. Это была жена Тухачевского — Нина Евгеньевна. Узнать ее было трудно, все лицо — сплошной синяк. Солдат в синей гимнастерке без знаков различия размахнулся и ударил плетью по белому телу женщины, кожа лопнула, брызнула кровь — она закричала, он ударил еще раз — завывала.

— Стойте, суки! Отпустите жену. Я все подпишу.

— А я вам, ваше благородие, что говорил, а вы упирались. Дайте еще разок и снимите.

— Нет! — закричал Тухачевский. — Я все подпишу. Только ее отпустите.

— Ладно, поверим в ваше дворянское слово. Ее снимите и в камеру. А его благородие ведите обратно ко мне в кабинет.

В кабинете Тухачевского посадили за стол, дали ручку и бумагу, с обеих сторон встали два сотрудника НКВД — как бы чего не учудил. Перед Тухачевским положили исписанный лист бумаги.

— И всего-то дел — перепишите аккуратненько, Михаил Николаевич, — ласковым голосом произнес Ферапонтов.

— А жену отпустят? — спросил с жалостью и слезой в голосе Тухачевский.

— А зачем она нам нужна? Она не командарм. Ну из квартиры-то, конечно, придется съехать в другую, поменьше.

Тухачевский взял ручку и начал писать...

— Вы, ваше благородие, аккуратно пишете, без ошибок, — осклабился в улыбке Архип Ферапонтов.

В теплый, солнечный июньский день 1937 года в здание Верховного Суда СССР на заседание закрытой военной коллегии привезли восемь изменников родины: Тухачевского, Уборевича, Корка и других высших командармов и комдивов Красной армии. Судьи, прижавшись друг к другу,

сидели за столом так, что председателю тяжело было вставать, и он почти весь процесс стоял, что очень ускорило дело: не затягивали — шли по вопросам быстро. В состав суда входили маршалы Блюхер и Буденный. Приговоренные сидели сбоку за небольшой деревянной переборкой. Лица их были бледны, а глаза — глаза уже покойников! Позади каждого стоял красноармеец с винтовкой со штыком. Суд признал всех виновными в подготовке к свержению советской власти, заговоре, шпионаже в пользу Германии и Польши, проведении террористических актов, подготовке поражения Красной армии и приговорил всех к высшей мере социалистической защиты — расстрелу.

У обвиняемых не было адвокатов, и решение суда не могло быть обжаловано. Председатель суда товарищ Ульрих удостоился великой чести — был принят в Кремле Сталиным. Сталин читал все протоколы допросов и сказал Ульриху:

— У сотрудников НКВД масса ошибок. Не только грамматических. Я тут подправил, как надо. Василий Васильевич, ваша задача принять быстрое и правильное решение. Не забывайте, товарищ Ульрих, что это только начало. Надо с корнем выкорчевать всю эту троцкистскую сволочь из армии. Скоро война! И не дайте им возможности отказаться от показаний. Они должны признаться! Все должны быть приговорены к высшей мере — расстрелу.

А обвиняемые и не могли получить другую меру: они вставали и односложно признавались во всех своих подлых делах, что еще раз подтвердило гениальную юридическую норму прокурора Вышинского: признание обвиняемого — царица доказательств. Ни один не сказал, что не виновен!

Тухачевский и командармы сидели в обычных, застиранных солдатских гимнастерках без знаков различия. Следов побоев на лицах и на руках ни у кого не было. Ульрих настолько уверовал в свою правоту и в их признание своей вины, что даже задал вопрос: а не применялись ли по отношению к ним, чтобы получить доказательства, недозволенные методы воздействия. Все ответили отрицательно. Суд прошел быстро.

В зале суда велась киносъемка и была приглашенная «общественность», которая, услышав приговор, рукоплескала и кричала: «Смерть шпионам! Смерть врагам народа!» Эту пленку показали всему советскому народу, чтобы граждане видели, как руководство страны борется с врагами народа. И лозунги «Смерть шпионам!», «Смерть врагам народа!» становились главными лозунгами в стране — они, как ручейки, вырвались из этого зала и потекли по всей необъятной стране от края до края бушующей рекой. Сталин готовил Красную армию и страну к войне!..

На Лубянку обвиняемых не повезли. Им надели мешки на головы и провели в подвал здания Верховного суда.

— Ну, становись, ваше благородие, к стеночке, — услышал последнее Михаил Тухачевский. — Прощаться не будем.

— Что с моей семьей, Архип? — крикнул из мешка Тухачевский.

— Как что? Как и положено — она за тобой последует. Неужели не догадывался? А женой твоей мои бойцы пользовались от души. Красивая, бя...

— Сволочь! — успел крикнуть Тухачевский.

Архип Ферапонтов нажал на спусковой крючок...

Древний дворянский род Тухачевских, в котором было так много польской крови и который так много дал России хороших и смелых людей, бесстрашно защищавших и царя, и новую советскую власть, прекратил существование.

Жена Тухачевского Нина Евгеньевна — расстреляна.

Братья Николай и Александр — расстреляны.

Мать, Мавра Петровна, умерла в ссылке от голода.

Дочь Светлана сослана в лагерь. Погибла.

Сестра Ольга, жены братьев, муж Ольги сосланы в лагерь. Погибли.

V

В далекой Польше подполковник Глеб Смирнитский, придя домой, взял бутылку водки, черный хлеб, два ста-

кана и заперся в своем кабинете. Он разлил водку в стаканы, на один положил кусок черного хлеба и поставил в углу, под православной русской иконой Казанской Божией Матери, что всегда охраняла и оберегала русское воинство. Рядом поставил пожелтевшую от времени фотографию с двумя молодыми, очень красивыми офицерами в форме поручиков лейб-гвардии Семеновского полка и положил красивую шашку с боевым орденом на эфесе. Глеб выпил стоя, сел, обхватил голову руками и, приговаривая: «Ах, Миша, Миша...» — заплакал.

На столе лежала советская газета «Правда», где было сказано, что враг народа Тухачевский понес суровое и справедливое наказание. Смирнитский по каналам польской разведки узнал, что расстреляны еще семь высших командиров Красной армии. Но что было самым ужасным — вся семья Тухачевского была репрессирована.

«Ах, Миша, Миша, друг...» — шептал и плакал Глеб Смирнитский.

Он не знал, что были уничтожены за связь с врагом народа Михаилом Тухачевским Юлия Кузьмина — его последняя любовь, а заодно и ее бывший муж — комиссар Балтфлота Николай Кузьмин. Уничтожить — так всех! Никакой памяти!

Сухорукий последователь больного на голову вождя в бреднях о своей коллективизации только-только расстрелял, уничтожил голодом, миллионы граждан страны и тут же, готовясь к новой войне, начал уничтожать другие сотни тысяч и миллионы. Коллективизация! Индустриализация! Подготовка к последней войне! Вожди один другого стоили...

А вокруг страх, страх, страх...

Что-то надломилось, сломалось внутри Глеба Смирнитского после известия о гибели Михаила Тухачевского и всей его семьи. Глеб ходил на службу, но как будто и не служил. Всякий интерес к службе, к подготовке армии к войне, в которую руководство Польши, подписав мирный договор с Германией, не верило, у него пропал. Как тогда,

в двадцатом, он вдруг почувствовал огромную усталость от своей военной профессии. Он не хотел больше служить и написал рапорт о досрочной отставке. Это в сорок три года! Его вызвали в министерство обороны и посоветовали «не валять дурака» и забрать рапорт обратно. Смирнитский вспылил, чего за ним никогда не замечалось:

— Я не желаю служить в армии, которая заодно с гитлеровской Германией. Более того, я не желаю служить и правительству, которое не просто подписало договор с гитлеровской Германией, но и помогло немцам захватить Чехословакию, введя на ее территорию польские войска... Вы, видимо не понимаете, что следующей страной, на которую нападёт Гитлер, будет Польша! Неужели вы думаете, что какие-то бумажки и ваши союзы его остановят? Да первое, чего потребует от Польши Германия, — это вернуть ей Данциг и морское побережье, чтобы как в той, проигравшей войну германской империи иметь прямой сухопутный путь — польский коридор в Восточную Пруссию. А что будет с польскими евреями, с миллионами евреев — наших соотечественников? Гитлер же провозгласил своей целью уничтожение евреев и славян. Или, может быть, поляки не славяне и немцы ограничатся русскими? Так для наступления на Россию им потребуются Польша как плацдарм, как тогда Ленину нужна была Польша как плацдарм для захвата Германии!..

Его удивленно выслушали.

— Вы, Смирнитский, всегда для нас были странным и непонятным. Вас еще тогда, в двадцатом, надо было уволить из армии, когда вы отказались давать присягу офицера Польской армии. Да Пилсудский вас защитил. Сказал, что вы офицер Русской императорской армии — армии, которой нет. И до смерти вас защищал, считая вас одним из главных разработчиков плана «Битвы на Висле». Но Юзеф ошибался. Вам присвоили подполковника и послали в Москву, чтобы вы через своего друга Тухачевского выяснили военные возможности советов и вообще помогли нашей разведке завербовать Тухачевского. А вы ничего не сделали.

— Если бы я знал, для чего вы меня посылаете в Москву, я бы уже тогда подал рапорт об отставке.

— Вас, Смирнитский, надо бы арестовать и отдать под суд, но вы слишком известны среди польских военных... Придет время, мы вас арестуем и осудим. Недолго осталось.

— Когда это время придет, тогда и арестуете, а пока прощаюсь. Честь не отдаю — не заслуживаете!

Глеб Смирнитский получил приказ, что он уволен с военной службы без права ношения польской военной формы и с минимальной пенсией как не имеющий полной военной выслуги и заслуг перед Польшей.

А Глеб вдруг необыкновенно этому обрадовался — снял форму, повесил куда-то в угол шкафа и переоделся в гражданскую одежду: костюм, рубашку и шляпу; посмотрел на себя в зеркало и задорно засмеялся, чего не делал много лет...

Квартиру, что была выделена ему министерством обороны, у него забрали, но он не расстроился и поселился в домике с верандой, что оставил ему покойный дядя. Дочери дяди Ядвига и Златка выросли, вышли замуж и уехали из родного дома, но жили недалеко, в пригороде Варшавы.

Ему было сорок четыре, и он не был женат. Переодевшись из военного мундира в крестьянскую одежду, он с огромным удовольствием возился в своем саду. Он знал, что происходило в мире, и понимал, что война вот-вот начнется и Польша будет разрушена. Но смотрел на все происходящее как-то отвлеченно, как бы со стороны. Цветы и яблоневые деревья в саду заботили его больше...

VI

Глеб встретил ее случайно, как и бывает, когда вдруг в сердце мужчины возникает это непостижимое, данное Богом чувство — чувство любви. После своей любви к Нине Гриневич, будущей жене Михаила Тухачевского, он думал, что уже никогда не встретит такую, как Нина, и никого не полюбит.

В этот майский день он пришел в незнакомый ему маленький магазин цветов, чтобы купить луковицы гладиолусов. Это сестры посоветовали купить их именно здесь.

— Там продают лучшие, — сказали они и засмеялись. — Глеб, ты становишься похожим на нашего отца. Особенно в этой одежде, шляпе и с любовью к цветам.

— Дорогие сестры, поживите-ка с мое в холоде Сибири, и для вас любой полевой лютик покажется цветком Бога.

Он десятки раз проходил мимо этого магазинчика и вот зашел — с каким-то вдруг возникшим непонятным, томительным чувством зашел.

Она стояла среди обилия красивых цветов, каких-то растений в горшках, и воздух был пропитан ароматом зелени, весны и теплого солнца. И это весеннее солнце играло в ее волосах соломенного цвета и в больших, необыкновенно голубых глазах под длинными черными ресницами. И Глеб — человек, много лет видевший смерть, весь израненный и множество раз награжденный за беспримерную храбрость, стоял молчаливо, как замороженный, смотрел на девушку и понимал — не головой, сердцем, — что это и есть любовь.

Ева была простой девушкой, студенткой Варшавского университета. А продавщицей цветов она оказалась случайно, всего второй день: заболела ее подруга по университету и попросила поработать за нее — боялась потерять место. Хозяин магазинчика не возражал, он и раньше часто видел эту красивую девушку в своем магазине. Девушка под взглядом Глеба застеснялась и стала одергивать зелененький фартук на цветастом ситцевом платье.

— Что-то не так? Пану что-то не нравится?

— Вы необыкновенная! — вдруг сказал Глеб.

Девушка не ответила, только лицо ее залилось краской, глаза расширились, удивленно потемнели, и в них показались слезы. Ей многие говорили комплименты, ее считали одной из самых красивых девушек в университете, но никто и никогда вот так сразу не признавался ей в любви, да еще двумя словами. В этих словах не было слова «любовь», но они были о любви.

Глеб стоял и смотрел на девушку и не мог больше вымолвить ни одного слова. Он просто смотрел, потом тряхнул головой, как пробуждаясь, покраснел, как мальчишка, и тихо, заикаясь, спросил:

— Как вас зовут?

— Ева, — ответила девушка и опустила глаза.

— А меня Глеб.

— Что хочет купить пан Гли-иб? — как то мягко и протяжно выговорила его имя девушка, и в этом «Гли-иб» было такое теплое звучание, такая красота, что Глеб растерялся и снова замолчал и глупо смотрел на девушку, а потом смешно встряхнул головой и прошептал:

— Это и есть любовь!

— Что сказал пан Гли-иб? Я не расслышала.

— Я сказал, что я вас люблю! — сказал тихо Глеб.

— Это не смешно, пан Гли-иб. Зачем вы хотите меня обидеть?

— Я? Обидеть? Я сказал правду. Я вас люблю!

— Уходите, пан, вы меня обижаете.

— Чем я вас, Ева, мог обидеть? Тем, что сказал правду?

Но это истинная правда — я вас люблю.

— А разве так может быть — зашли, увидели и признались в любви?

— Наверное, Ева, — я не знаю. Я никогда не любил. Может быть, и любил, но это было так давно, что я этого не помню. Я прошу, Ева, только одного — разрешить мне приходить сюда, в этот магазин, и смотреть на вас.

Девушка еще больше раскраснелась, и даже в полумраке и при косых лучах солнца, падающих через окно, это было заметно. Она опустила глаза и тихо спросила:

— Какие цветы желает купить пан Гли-иб?

— А какие бы вы хотели посадить в своем саду?

— Пионы и... ромашки.

— Значит, пионы и ромашки. Поможете мне их посадить? — на лице девушки отразился нескрываемый испуг. Глеб это заметил и поспешил сказать: — Ева, простите меня. Но я это сказал только для того, чтобы иметь возможность видеть вас, и прошу вас, Ева, не подумайте

обо мне что-нибудь плохое. Я простой и честный человек.

— Вы женаты? Вы хотите надо мной подшутить?

— А-а-а, вот в чем дело... Я настолько глуп в вопросах ухаживания, что сказал, по-видимому, какую-то ерунду. Простите меня, Ева. А насчет семьи — я не женат. И не был женат. Так получилось в жизни.

— Разве так бывает?

— Значит, бывает. Так вы мне поможете?

— Хорошо, я подберу пану Гли-ибу семена для посадки.

— И расскажете, как их посадить?

— Если вы этого хотите.

— Конечно, хочу.

Девушка стала рассказывать, а Глеб смотрел на нее, кивал головой и улыбался.

— Я плохо объясняю, пан Гли-иб?

— Ева, вы прекрасно объясняете, но я ничего не понял.

— Зато я поняла... Пообещайте мне, пан Гли-иб, что я вам помогу посадить цветы и более ничего... Я католичка.

— Ева, я офицер. Я человек чести и слова, и не только по отношению к женщинам. Но обещаю: я обязательно напою вас чаем. Согласны?

— Согласна, — тихо прошептала девушка.

— Тогда в какое время за вами зайти?

— Не надо. Нас могут увидеть. Скажите мне ваш адрес.

Глеб, как мальчик, побежал домой и, хотя у него был убрано — многолетняя военная привычка к порядку, — стал прибираться в доме, мыть посуду, протирать мебель и раз за разом нагревать кипяток для чая.

Они встречались три месяца, ходили, взявшись за руки, по улицам вечерней Варшавы, катались на лодке по Висле, смотрели фильмы в модных кинотеатрах и тайно от ее родителей любили друг друга в маленьком, уютном домике Глеба. Глеб любил Еву, как маленькие дети любят свою маму, если долго ее не видят. Ему казалось, что он не может прожить без нее ни одной минуты. Он страдал и считал часы, когда она уходила в университет или домой. У Глеба и взгляд, когда он смотрел на девушку, был как у

ребенка: ласковый-ласковый, теплый-теплый, необыкновенно восхищенный. Глеб чувствовал, как из него, как после теплого весеннего дождя, уходит вся усталость, вся злость долгих лет непрерывной войны, уходит лютый сибирский холод, который тогда, в девятнадцатом, забрался в его душу, застыл ледышкой в сердце да так и не растаял за все эти годы; чувствовал, как уходит не проходящая горечь от утраты единственного друга Михаила и его семьи. Глеб смотрел на мир другими глазами, как будто и не было ему сорока пяти. Он влюбился, впервые в жизни влюбился, и этой единственной для него любовью стала Ева. Он иногда вспоминал Нину, но уже не с тоской, а с горечью утраты ее, Михаила и их дочери Светланы. Посмотрев на свою с Михаилом фотографию, он тихо произнес:

— Помнишь, Миша, тогда, при нашей встрече в первый день войны, когда ты показал фотографию своей невесты Нины, я сказал, что когда-нибудь тоже встречу свою любовь. Может быть, через двадцать лет, но встречу. Вот, Миша, я ее встретил. Миша, мне так страшно! Мне впервые в жизни так страшно.

Ева никогда не оставалась на ночь у него дома — она, как и ее семья, была католичкой и очень боялась гнева со стороны родителей и, что очень сместило Глеба, гнева со стороны Бога.

— Я грешница! — обнимая Глеба, шептала Ева ему на ухо. — Господь может меня наказать!

— Он и так наказал тебя, отдав такому старику, как я.

— Ты, Гли-иб, старик? Не смей меня. Я тебя люблю. Я чувствую себя рядом с тобой самой счастливой женщиной на свете! — и вновь обнимала и спрашивала: — Почему у тебя так много шрамов на теле? Ты воевал, Гли-иб?

— Да, немножко, в России.

— В России? Там так холодно.

— Да, любимая, там очень-очень холодно, — и в такие моменты взгляд Глеба становился отстраненным и задумчивым.

— Гли-иб, — говорила она, — я больше не буду тебя спрашивать ни о России, ни о войне. Ну только один ма-

ленький вопросик. Кто рядом с тобой вон на той фотографии?

— Это, — вздохнул Глеб, — мой единственный друг. Он погиб. И погибла вся его семья.

— Ах, Гли-иб, прости меня! — и Ева залилась слезами. А потом спросила. — А кого звали Ни-ина?

— Его жену. А почему ты спрашиваешь?

— Ты иногда ее поминаешь во сне. Ты ее любил?

— Не знаю. Это было так давно, и я знал, что она жена пропавшего на фронте моего друга.

— Как пропавшего?

— Михаил попал в плен к немцам в пятнадцатом году, а вернулся в Россию в семнадцатом.

— А ты долго воевал, Гли-иб?

— Шесть лет, — тихо-тихо произнес Глеб. — Боже, целых шесть лет. Вечность!

Шел теплый август, лили теплые, кратковременные дожди. Созревали в саду великолепные яблоки и цветы.

— Гли-иб, — спросила она, — почему ты не хочешь выйти замуж? Ты меня не любишь? Ты меня разлюбил?

— Не замуж, а жениться.

— Я, как все поляки, знаю русский очень плохо. Поляки не любят русских.

— Лучше бы они не любили немцев.

— Немцев мы ненавидим. Но ты ушел от ответа. Почему ты не женишься на мне?

— Зачем я тебе нужен? Мне сорок пять лет. Я для тебя старик. Я пенсионер. Я обыкновенный человек.

— Ты обыкновенный? Ты так плохо спишь, ты все время во сне кричишь: «Вперед!». Кем ты был Гли-иб?

— Я был военным. Офицером. И почти всю жизнь воевал. А вот сейчас воевать не хочу. Я хочу жить, Ева. Я очень хочу жить и очень хочу любить. Любить тебя.

— Я знаю, ты меня любишь. Но ты в последние дни часто становишься грустным-грустным. И не хочешь жениться. Что с тобой, любимый?

— Ева, я боюсь на тебе жениться. Скоро будет война! И я уйду воевать.

— Почему будет война, Гли-иб? Почему ты должен воевать? Есть же армия. И я хочу быть твоей женой!

— Это будет ужасная война, и я могу на ней погибнуть, а ты станешь вдовой. Зачем это тебе, такой молодой девушке?

— Гли-иб, ты такой умный и взрослый, а совсем не понимаешь женщин. Мы выходим замуж за любимых, и нам наплевать, будет потом какая-то война или нет. Война не может помешать любить!

— Хорошо, Ева. Через неделю, первого сентября, я приду к твоим родителям и буду просить у них твоей руки.

— Как это — руки?

— Так говорят, Ева, когда просят у родителей разрешения жениться на их дочери.

— Как интересно. Я люблю тебя, Гли-иб!

— И я тебя!..

VII

Бедная Роза Люксембург! Когда она кричала: «Немецкий пролетариат, ну где же ты?» — ей никто не ответил. Пролетариат ответил не ей — Гитлеру, потому что у того была рабочая партия Германии, а у Розы ничего, кроме лозунгов. А немцы — не русские, они практичные люди и кроме лозунгов требуют хлеба.

Национальный герой, полководец, генерал-фельдмаршал, рейхспрезидент Германии Пауль фон Гинденбург умер. Ну и лучше бы умер.

Гинденбург, как человек военный, всю жизнь не переносил опозданий. Ни на одну минуту! Приведение к присяге нового правительства Германии во главе с Адольфом Гитлером было назначено на 11 часов 30 января 1933 года. Гитлер в 11 часов не появился. Гинденбург рассвирепел.

— Никакого правительства не будет! — заорал он. — Виданное ли дело, чтобы какой-то ефрейтор опаздывал к фельдмаршалу!

— Господин президент, да и пусть опаздывает этот ефрейтор, не в нем же дело. Дело в том, что он олицетворяет.

А Гитлер — это война и восстановление великой германской империи. От Африки до Урала! Если мы его не приведем к власти, к власти могут прийти коммунисты, — заявил Франц фон Папен — председатель правительства.

— Не смейся меня, Франц. А то я умру раньше времени от смеха. Какие коммунисты — они, как их Розка Люксембург сдохла, никак не могут отойти от траура. Скажи правду, зачем вам этот ефрейтор? Вот и Людендорф за него. Уж кто-кто, а Эрих всегда кое-что для меня значил, но и он никогда не опаздывал!

— Этот тупой ефрейтор нам не нужен. Нам нужна война!

— Война — это хорошо. Германия должна отомстить за свое поражение в той войне. Жаль, я этого не увижу. Где этот ваш Гитлер? Скажи, Франц, только честно: ты кем при нем будешь? Что он тебе обещал? Говори.

— Вице-канцлером.

— А кто же будет рейхспрезидентом?

— Его не будет.

— Ты хочешь сказать, что я навсегда останусь последним рейхспрезидентом Германии?

— Да.

— Какое счастье быть первым и последним. Тащи своего ефрейтора. Пусть воюет. Правда, жаль, что он всего лишь ефрейтор. Боюсь, он наделает таких дел, что потом никто не расхлебает. Он же ничего не смыслит в войне, а второго Гинденбурга у Германии нет. Бедная Германия! Ну, давай его сюда.

Гитлер опоздал на целых два часа.

Когда Гинденбург с высоты своего роста взглянул на Гитлера, то скривился о смеха: маленький, худой, дерганый, косая челочка, свисающая на лоб, усики, бегающие глазки... «Боже! — подумал Гинденбург. — Да это же не немец! Как он мог получить три креста за храбрость? Его уровень — ефрейтор, а он станет канцлером? Германия, ты рехнулась! И это гов... будет править Германией? Да я сейчас умру... только бы не видеть этого».

Гитлер подошел, протянул вялую руку и сказал:

— Пауль, ты не переживай, я тебя пышно похороню, как героя нации. Ты будешь лежать на славном поле Танненберга!

Гинденбург чуть не задохнулся от такой наглости.

Опоздав на два часа, Гитлер стал канцлером Германии.

Только ошибочка вышла насчет тупого ефрейтора. Не так уж он был глуп! Он с такой легкостью захватил власть, что это очень напоминало захват власти большевиками в России. Впрочем, и у тех и у других был «социализм» в названиях партий и борьба за права рабочих в лозунгах — у Гитлера даже в названии было «рабочая партия Германии». Он издал Чрезвычайный декрет «О защите народа и государства», дополненный еще одним — «Против измены немецкому народу». Этих двух декретов хватило, чтобы держать немецкий народ в повиновении аж до мая 1945 года! Двенадцать лет! Какой народ!

Гитлер хвастался:

— Я не нуждаюсь в Варфоломеевской ночи. Чрезвычайным декретом «О защите народа и государства» мы создали особые суды, которые законным путем выдвинут обвинения против всех врагов государства и осудят их!

Надо же — а сам устроил «Ночь хрустальных ножей».

Как все знакомо! Ленин тоже, придя к власти, отменил всякие суды. Один закон — защита революции. Раз — и к стенке...

Поляки — храбрые люди! Наверно, самые храбрые на Земле. Им храбрость, перемешанная с бахвальством, застила глаза. Они в 1934-м заключили договор с Германией и напали на Чехословакию.

Даже когда Риббентроп полетел в Москву подписывать договор с Молотовым, польские власти считали, что Германия находится в отчаянном положении. Война на два фронта? Историю все немножко почитывали, знаем. В Польше боялись и тех и других. Маршал Рыдзл-Смиглы пророчествовал: «С немцами мы утратим нашу свободу. С русскими мы утратим нашу душу!»

И пока поляки хорохорились, вспоминая свою былую славу, Гитлер в рейхсканцелярии кричал:

— Данциг отнюдь не объект, из-за которого все предпринимается! Для нас идет речь о расширении жизненного пространства на Востоке. Таким образом, вопрос о том, чтобы пощадить Польшу, отпадает, и остается решение при первой подходящей возможности напасть на Польшу. Нам без войны не обойтись. Мы покончим и с Западом, и с Польшей. Отдельно или вместе — никакой разницы!

А в Польше все верили в свою исключительную храбрость. А во что еще им оставалось верить?!

Гитлеровский план «Вайс» был готов.

В Европе были лишь две державы, территориально ущемленные Версальским миром, — Германия и Россия. Но у Сталина никак не налаживались отношения с Германией. Может, министр иностранных дел Литвинов виноват? Чертов поклонник англичан. Немцы с ним не хотят разговаривать, и все тут! Сталин Литвинова заменил на «каменную жопу» — Молотова и запросил немцев: «Я, как вы хотели, еврея Финкельштейна убрал и крестьянина с Вятки Славку Скрябина поставил. В нем нет ни капли еврейской крови. Может, начнем переговоры?»

Переговоры начались.

23 августа 1939 года, за неделю до начала Второй мировой войны, Молотов и Риббентроп подписали договор о ненападении... и секретный протокол о разделе Восточной Европы, который стал известен только после войны, когда его подбросили немецкой защите на Нюрнбергском процессе! Правда, на том процессе многое можно было бы сказать, да не сказали — Советский Союз с Америкой договорились, что можно говорить, а что нет. Победители!..

Секретный протокол превращал пакт о ненападении в пакт о нападении.

В Кремле по случаю подписания договора был дан торжественный прием. Сталин, поднимая бокал, заявил:

— Я знаю, как сильно любит германский народ своего вождя, поэтому я хотел бы выпить за его здоровье!

— Я себя в этой дружественной обстановке, среди таких милых людей, как господин Сталин и господин Моло-

тов, чувствую словно среди своих старых товарищей по партии, — вторил Риббентроп.

Не ошибался, сука!

А вожди-то друг друга стоили!

Сталин Гитлеру руки для нападения на Польшу развязал.

Брошенная своими союзниками Польша готова была воевать в одиночку. «Смерть была единственной идеей Польши».

Гитлер подписал Директиву № 1 о ведении войны. Директива начиналась словами: «Нападение на Польшу должно быть проведено в соответствии с приготовлениями, предусмотренными “Планом Вайс”. День наступления — 1.9.1939, время — 4.45...»

В 4.45 броненосец «Шлезвиг-Гольштейн» открыл из всех стволов огонь по Вестерплатте.

Объявления войны не было.

Началась Вторая мировая война.

Десятки миллионов людей еще спали и не знали, что это их последние сны...

VIII

Странная это была мобилизация.

Гитлер из Берлина крикнул полякам: «Верните нам Данциг и все побережье до Восточной Пруссии!» И было понятно: вернете, не вернете, решение будет одно — война!

В жаркий, солнечный день лета 1939 года правительство Польской Республики объявило мобилизацию. И тут закричали союзники по договору о военной помощи в Париже и Лондоне: «Вы что?! Не дразните Гитлера. У вас же с Германией договор о ненападении. Ну поговорите с ними — может, это все не так и страшно. Только не объявляйте мобилизацию!» И мобилизацию в тот же день и отменили. А Гитлер просто заявил: «А-а-а, так эти поляки хотят на нас, бедных немцев, напасть? Мы должны защитить себя!» Германские войска подошли к границе с Поль-

шей и взялись за шлагбаум, а немецкие корабли подплыли к польским портам и поставили на прямую наводку свои огромные орудия. Поляки поняли, что помощи им ждать неоткуда, и на следующий день вновь объявили мобилизацию. Только слишком поздно! Солнце уходило за горизонт в тот последний день лета. А уже загоралась новая заря — кровавая!

Ничего не напоминает? 22 июня 1941 года!

И чего Гитлер хотел своим требованием, больше похожим на ультиматум? Правильно — чтобы вернули то, что забрали у Германии в результате Версальского договора: вольность (немецкую) Данцигу и открыть польский коридор вдоль моря в Восточную Пруссию. Германия в границах на 1 августа 1914 года! Так чего же удивляться, что Советский Союз захотел получить почти все земли, имевшиеся у царской России на эту же дату? И без войны! И никаких Тухачевских! Всего лишь «по просьбе трудящихся и угнетенных народов». Гений Сталина? Гений Гитлера? Очередной раздел Польши? Уже не сосчитать который. Бедная Польша!..

Так она и была бедная — аграрная страна с красивыми яблоневыми садами и красивыми людьми. И армия никакая — а какая может быть армия у бедной страны? Одна многовековая храбрость...

Германия начала войну против Польши — союзники молчали. Объявления войны-то не было! Гитлер Польшу уничтожил — вспомнили неохотно, что они союзники полякам, и выпустили ноту протеста; чихать на нее хотел уса-тенский ефрейтор после Австрии и Чехословакии. А когда Красная армия прошла без боя до Буга — испугались и стали вылезать из своих теплых постелек, да было уже поздно — Польши не стало...

И все пошло прахом — война. В дом Глеба Смирнитского в первый же день ужасающей бомбежки, от которой разрушен был почти весь город, попала бомба, и он сгорел. Глеба в доме не было. Польскую форму и погоны подполковника ему при отставке было запрещено носить, да он не

особо и помнил, куда ее два года назад засунул; надев парадную форму капитана лейб-гвардии Семеновского полка, при всех орденах, он ушел в военное ведомство Польской армии, известное ему по многолетней службе, которое оказалось закрытым — и все министерства оказались закрытыми: благоразумно и заблаговременно эвакуировались из страны в Румынию. Бежали, бросив поляков умирать и приклеив на прощание на закрытую дверь бумажку с кривой, написанной дрожащей от страха рукой надписью, что не работают... временно! Глеб, вернувшись, вместо дома и красивого сада увидел воронку от бомбы и на пепелище нашел только старую фотографию, на которой два молоденьких поручика, он и Тухачевский, были запечатлены во время своей поездки в Москву. Фотографию при взрыве присыпало землей, и обгорел только краешек. Еще сохранились шашка и икона Казанской Божией Матери.

Глеб пошел к Еве и всю дорогу шептал слова молитв, и просил Бога сохранить Еву. Он шел по улице, а прохожие с недоумением и нескрываемым восторгом смотрели на офицера в необычной, очень красивой форме с множеством наград.

Дом Евы не был разрушен, она была дома, и родители, увидев военного, входящего в калитку, удивились, а когда тот спросил Еву, догадались, что этот необычный офицер с множеством орденов и есть ухажер их дочери.

— Здравствуйте пани Анна, здравствуйте пан Анжей. Меня зовут Глеб Смирнитский, я люблю вашу дочь и хотел просить у вас ее руки. Мы хотели пожениться в этом сентябре, но сейчас я вынужден отказаться — я уйду на войну. Если я вернусь живой, то приду еще раз и попрошу вашего согласия на нашу свадьбу. Простите меня.

— Вы уходите воевать с немцами, пан Глеб? — заплакав, спросила пани Анна.

— Да, я уйду защищать Варшаву. Иду на форты, где я дрался с немцами в четырнадцатом и пятнадцатом годах.

— Мы видим, что вы военный, пан Глеб, у вас так много орденов, и, как мы понимаем, не польских. Кто вы, пан Смирнитский?

— Я подполковник Польской армии в отставке. А в мировую войну я воевал в Русской императорской армии, потом воевал в России и затем защищал Польшу от большевиков.

— У вас странная форма — необычная и очень красивая. Тоже не польская?

— Это форма капитана лейб-гвардии Семеновского полка. Я потом все вам расскажу, но извините, мне надо уходить. Я пришел проститься с Евой.

— Пан Глеб, мы хотим, чтобы вы остались живы и вернулись к нашей дочери, и мы согласны на вашу свадьбу.

— Спасибо, пани Анна, спасибо, пан Анжей — я вернусь, я обязательно вернусь.

Ева пошла проводить своего жениха. Она молчала.

— Я ухожу на форты, Ева. Думаю, город мы не удержим. Прости меня и прощай. Вот, возьми на память фотографию, шашку и икону — это все, что осталось от моего дома... нашего с тобой дома. Я не знаю, увидимся ли мы еще, но знай — я очень тебя люблю и всегда буду любить.

Ева обхватила его руками и, крепко прижавшись, заплакала, а потом сквозь поцелуи и слезы прошептала:

— Я ношу твоего ребенка, Гли-иб! Сбереги себя и возвращайся. И я обещаю тебе, что он будет носить твою фамилию.

— Только не давай ему русского имени — не то время,— Смирнитский снял с себя золотую иконку и, повесив ее на шею Евы, сказал: — Эту иконку мне подарила русская царица, она меня оберегала всю жизнь. Пусть сейчас она оберегает тебя и нашего ребенка. Знай, Ева, я никогда и никого, кроме тебя, не любил. Ты у меня единственная... Прощай, Ева!..

Глеб отстранил рыдающую девушку и, не оборачиваясь, вышел за калитку дома...

По дороге на форты он дошел до домов, где жили его сестры, и узнал, что семьи обеих сестер — сами Златка и Ядвига, их дети и мужья погибли от германских бомб. Ни семей, ни домов сестер не было — одни дымящиеся воронки...

На форты Глеб попал, встретив... Валериана Чуму. Они были знакомы еще по боям в шестнадцатом году, потом вместе воевали в Белой армии в Сибири и в Польше против советских войск в двадцатом. Правда, после отставки Глеба они не виделись, но Глеб знал, что Чума стал генералом и комендантом Пограничной охраны Польши. Чума проявил необыкновенную смелость: когда правительство Польши, при первых же выстрелах немцев, убежало из страны, он собрал семьдесят тысяч не знающих, что делать, солдат, офицеров и гражданских лиц, взломал склады с оружием и, вооружив людей, направил их защищать Варшаву.

— Смирнитский? Подполковник Смирнитский, что вы здесь делаете, еще и в форме капитана русской армии?

— А, пан Чума. Я бы надел форму польского офицера, но мне при отставке запретили ее носить. Впрочем, я не расстроен. Посмотри, Валериан, какая на мне прекрасная форма — лучшая форма в мире.

— Да, я помню то позорное пятно на нашем правительстве. Такого офицера, так много сделавшего для Польши, отправить в отставку без права ношения формы... И все-таки вы куда, капитан Смирнитский?

— Я, как бывший военный, ходил в военное ведомство; хотел, чтобы меня направили в бой, а там... закрыто!

— Все эти правительственные крысы разбежались, господин капитан. Как необычно, но до чего же приятно так обращаться к вам, пан Смирнитский. Если хотите помочь... вы же, мне помнится, дрались против немцев на фортах... Идите туда — там нет знающих, как воевать, боевых офицеров.

— Слушаюсь, пан генерал!

— Я рад, господин капитан, что город будут защищать такие храбрецы, как вы!

Офицеры пожали друг другу руки, обнялись и разошлись...

На разрушенных фортах появился странный военный: подтянутый, с сединой в волосах, в необычной военной фор-

ме и с такими же необычными погонами. На кителе этого военного было множество орденов: кресты, кресты, кресты...

— Глеб Смирнитский, — представился защитникам человек в форме. — Подполковник в отставке Польской армии, капитан лейб-гвардии Семеновского полка Русской императорской армии. Так что, если можно, обращайтесь ко мне «капитан».

Все присутствующие, и не только военные, уважительно подтянулись.

— Пан капитан, прошу вас принять командование над нашим отрядом, — вытянувшись и отдав честь, обратился к Смирнитскому офицер в чине хорунжего. — Мы, и военные, и гражданские, собрались здесь, чтобы защищать наш город, но у нас нет опытного боевого командира, а эти форты, пусть даже разрушенные, но все равно крепость.

— Пан хорунжий, я знаю эти форты, я воевал в них во время мировой войны. И если вы мне доверяете, я готов возглавить ваш отряд.

Курчавый, высокий, молодой еврей, представившись Яковом, достал фотоаппарат и сказал:

— Давайте, друзья, я сфотографирую всех вас вместе. Для истории, на память, чтобы наши потомки, посмотрев на эти снимки, сказали: «Они защищали нашу любимую Варшаву, нашу любимую Польшу!» Пан капитан, становитесь в центр!

— Давайте, друзья, я вам расскажу, как надо защищаться в этих фортах и... как надо отходить, — сказал Глеб.

— Как отходить, пан капитан? — спросил Яков. — Мы должны драться насмерть.

— Умереть, пусть даже героем, легко. Надо уметь драться как можно дольше, нанести врагу как можно больший урон и суметь остаться живым. Форты — это еще не вся Варшава и не вся Польша. Давайте учиться. Скажите, кто умеет хорошо стрелять? У нас есть две снайперские винтовки. А кто умеет стрелять из пулеметов? Мы их установим вот здесь, здесь и здесь. Подпоручик Ян Ковалевский в пятнадцатом году в уме рассчитал все углы стрельбы! Кто не боится крови и умеет перевязывать?

Генрих Штюмер, полковник германской армии, рассматривал в бинокль форты или то, что от них осталось. Он помнил, как молодым лейтенантом в пятнадцатом году вот так же смотрел в бинокль на эти форты. Они тогда были почти целые, и их защищали русские. Ах, эти русские солдаты, они тогда здорово дрались. Он помнил, что, когда их разрушили артиллерией и его взвод ворвался в крепость, там не было ни одного раненого — русские унесли с собой всех! Но сейчас перед ним были уже развалины, и, главное, в них не было русских. В них не было и боевых солдат — одни гражданские с охотничьими ружьями. Такими были сведения, полученные от разведки. «Чего же тогда на эти развалины обращать внимание», — подумал Штюмер и скомандовал:

— Вперед!

Немцы спокойно, закатав рукава, с винтовками в руках пошли к мостам через Вислу. Когда они минули молчащие форты и подошли к мостам, вдруг из развалин начался огонь пулеметов — точный, злой, от которого немцы падали, падали, падали. Немцы побежали назад.

— Что это значит? — закричал на командира полковой разведки Генрих Штюмер. — Что это за пулеметы? Откуда там солдаты?

— Я не знаю, господин полковник, — залепетал, побелевший от страха лейтенант. — Никаких военных там не должно быть.

— А они есть! Видите, сколько моих солдат лежит убитыми перед этими чертовыми фортами? Берите свой взвод разведчиков и лично идите и уничтожьте всех. Вперед, лейтенант! И без победы не возвращайтесь. А я подожду.

От взвода разведки не осталось никого. Последним от выстрела снайпера погиб лейтенант. И форт опять замолчал.

— Кто там? Поляки, которые решили умереть? — закричал Штюмер.

— Господин полковник, вас генерал, — связист протянул трубку полевого телефона.

— Генрих, я тебя знаю с пятнадцатого года. Почему ты еще не в городе?

— Так форты, господин генерал.

— Что форты? Их разнесли нашей артиллерией еще в пятнадцатом году.

— Я это помню и так и считал до сегодняшнего дня. А сейчас у меня уже триста убитых и раненых.

— Генрих, не впадай в панику, ты же старый вояка. Но я даю тебе ровно час, чтобы ты был на той стороне Вислы!

— Майор, — сказал своему заместителю полковник, — берите два батальона и перебейте всех поляков, засевших в развалинах. И чтобы через час ни о каких фортах я не вспоминал, а вы были на той стороне реки. Вперед!

Ни через час, ни через два, ни через сутки немцы на мосты зайти не смогли. Защитники дрались умело, храбро, сберегая каждый патрон.

— Полковник, считайте, что вы уже капитан! — кричал генерал Штюрмеру.

— А я и есть капитан, господин генерал. У меня осталась меньше половины полка и несколько офицеров. Все остальные погибли во славу Германии. Эти форты дерутся, как тогда, в пятнадцатом году.

— Сейчас не пятнадцатый, а тридцать девятый год, и перед вами поляки, капитан. Через час прибудет артиллерия, дайте им пострелять вволю, а потом берите эти форты голыми руками.

Когда через два часа, после того как снаряды сровняли остатки фортов с землей, немцы пошли в атаку, с ними в атаку пошел и полковник Генрих Штюрмер. Он был храбрый офицер. А что ему терять — теперь уже капитану! Форт молчал, и только когда немцы подошли почти в упор к развалинам, откуда-то из-за груды кирпича раздалась длинная пулеметная очередь. Полковник Штюрмер получил пулю в плечо и упал.

— Яков, собери всех, кто еще жив, и уходите, я прикрою ваш отход. Я приказываю, уходите! — прокричал Глеб Смирнитский, отрываясь от единственного оставше-

гося целым пулемета, — Уходите через подвалы. Я тебе показывал где. Вы еще очень будете нужны нашей любимой Польше! Живые! Прощайте!..

Глеб Смирнитский опять припал к пулемету и дал длинную очередь.

— А вы, капитан?

— Уходите, Яков!

— Мы не можем вас бросить, пан капитан.

— Я приказываю: уходите! Яков, ваше время умирать еще не пришло. А я ваш командир и русский офицер и с поля боя должен уходить последним. Так меня учили. Прощайте...

И Смирнитский больше уже не оборачивался — стрелял и стрелял из пулемета, пока снаряд не разорвался перед ним. Красная, жаркая волна отбросила его, и наступила темнота...

Когда немцы ворвались в развалины замолчавшего форта, то увидели одних убитых защитников. Почти все были в гражданской одежде, что немцев неприятно удивило. Они ожидали увидеть погибших военных — уж слишком грамотно и хорошо защитники отбивали их атаки.

У пулемета лицом вниз лежал человек, и когда немцы его перевернули, то от удивления ахнули: перед ними лежал с окровавленным лицом офицер с множеством наград на засыпанной кирпичной пылью необычной военной форме.

Немцы сгрудились над убитым и восхищенно зацокали языками. Подошедший фельдфебель крикнул куда-то в сторону:

— Господин майор, идите сюда, здесь убитый польский офицер. У него столько наград, что хватило бы всем нам.

Подошли два немецких офицера: майор и капитан. Увидев убитого, майор обрадовался — все-таки офицер. Стоявший рядом фельдфебель потянулся к одному из крестов на шее убитого — похож на немецкий железный крест, только намного красивее и отливал золотом и красной эмалью.

Убитый вдруг застонал.

— Не трогать! — рявкнул майор. Он понял, что перед ним какой-то большой офицерский чин.

Раненый прошептал:

— Ева, ты где?.. Ева, как мне больно!..

— Что он говорит? Кто знает польский? — спросил майор.

— Вилли, — сказал майору капитан, — это не по-польски. Он говорит по-русски. Я изучал русский язык в Берлинском университете.

— О! Так он — русский?! Смотри, Ганс, какая необычная форма и сколько орденов. У Сталина за храбрость дают в награду кресты?

— Вилли, ты, как всегда, шутишь. Все же знают, что Сталин дает в награду кресты, только березовые. А это, по моему, награды русской царской армии.

— Не слишком ли он был молод для такого количества наград?

— Наши отцы, Вилли, тоже были мальчишками, когда в мировую войну дрались с русскими. Мне отец говорил, что русские — очень храбрые солдаты. Он рассказывал, что если бы не их революция и их Ленин, они бы были победителями, а так оказались, как и мы, побежденными. Наш раненый полковник тоже воевал против русских на той войне. Я думаю, Вилли, этот парень заслуживает того, чтобы мы отправили его в госпиталь и доложили о нем полковнику. Посмотри, сколько у него наград! Черт знает, в каком он звании, но, думаю, не меньше, чем майор... Фельдфебель пригласите сюда полковника Штюрмера.

Фельдфебель ушел и привел бледного от потери крови, с перевязанным плечом, командира полка.

Штюрмер посмотрел на лежащего офицера, выслушал майора и капитана.

— А это удача. Напишем в рапорте, что форты защищала элитная, хорошо вооруженная воинская часть и ею руководил русский офицер в звании полковника. Да нам вместо разжалования в фельдфебели дадут по Железному кресту. Генералу-то тоже несладко будет за гибель полка. И ему оправдания будут нужны.

— Вы правы, господин полковник, — сказал майор.

Полковник Штюрмер повернулся к фельдфебелю:

— Возьмите носилки и доставьте русского офицера в полковой госпиталь. И не вздумайте украсть хоть одну наградку, я лично вас расстреляю. Понятно? А докторам в госпитале скажите, что если он умрет, они возьмут винтовки в руки и пойдут первыми в атаку! Пойдем, Вилли, сообщим генералу приятную весть, что форты нами взяты. И чем мы будем с тобой сейчас командовать, Вилли? Только Гансу хорошо — он капитан...

XI

Полковник германского вермахта Оскар фон Гинденбург, покуривая, ждал в кабинете, когда приведут необычного пленного. За окном был конец октября; дождливый, хмурый день. По улицам Берлина бежали, прикрывшись зонтиками, немцы. Они были счастливы. Полковник в последние годы жил тихо, воевать не хотел и занимал спокойную должность инспектора лагерей для военнопленных. Его уважали — не его лично, а фамилию... И у него были большие связи среди военных, знавших его отца. Но в стране уже была другая икона, которой безумно поклонялись все, — Гитлер. Оскар Гинденбург не поклонялся. Он был бароном и полковником и, в конце концов, сыном самого Пауля фон Гинденбурга — с чего бы ему преклоняться перед каким-то ефрейтором?! Полковник жил с любимой семьей и дожидался пенсии. Война для него не была чем-нибудь необычным — он свои погоны завоевал в боях. Но полковник не хотел воевать и, чтобы не идти в бой, пошел служить инспектором лагерей. Тихая, спокойная работа, подальше от фронта, поближе к дому. Польша была завоевана, и появились военнопленные, а Германия получила большой опыт в прошлую войну, когда были миллионы русских пленных, и была готова к новому наплыву военнопленных. И новые лагеря строились день и ночь на территории Польши. А впрочем, какая война — поляки с саблями бросались на танки! Храбрость безумцев. С востока Красная армия без боя до старой границы Российской империи дошла. Немцы даже отдали Советам завоеванный у поляков Брест. Украинцы с

белорусами радостно обнялись и расцеловались с красноармейцами. Воссоединились и новую границу закрыли, а внутри сотрудники НКВД чистки начали, особенно на Западной Украине. И пошли эшелоны с репрессированными в Сибирь. Только не как при Столыпине, когда на семью целый вагон давали, чтобы со всем скотом — буренками да кошками — переселялись, нет — сотню человек в один вагон, решетки на маленькие окошки, и вперед! Как врагов народа. В Сибири народу всегда мало, вот каждая власть по-своему эту проблему и решает. Проще и дешевле всех большевики...

А немцам это только в радость — чем больше будет врагов у советской власти, тем легче с русскими в будущем будет воевать.

Гинденбург сидел за столом, курил и думал: «Вот сейчас отец смотрит на нас сверху и радуется. Как же хорошо начинается война. Кто следующий? Франция? Англия? Россия?»

Гитлера от разведки интересовал ответ на один вопрос: когда начинать войну с Советским Союзом? И лагеря для военнопленных строились с размахом. Оскара Гинденбурга приглашал к себе разработчик «Плана Барбароссы» генерал Фридрих Паулюс. Спрашивал, что надо для быстрой постройки лагерей. Сказал, что ожидается несколько сотен тысяч пленных русских за два-три месяца войны.

О необычном пленном Гинденбург узнал случайно — пришло письмо от полковника Генриха Штюмера с просьбой определиться с военнопленным, находящимся на излечении после ранения. Полковник обратился к Гинденбургу, зная, какую тот занимает должность, и, конечно, в память об Пауле фон Гинденбурге, которого он обожал еще с прошлой войны.

Глеб Смирнитский после ранения на варшавских фортах находился на лечении в военном госпитале под усиленным контролем немцев. Лечили и обходились хорошо — как с особым пленным офицером. Как выяснилось, пленный был не только польским подполковником, но капитаном царской русской армии и, значит, хорошим знато-

ком России. По требованию Гинденбурга пленного перевели на лечение в госпиталь в Берлине. И сейчас полковник должен был встретиться с ним. Он бы и не встречался — отправил в лагерь, и все, но рассказал о необычном пленном умнице и всесильному руководителю абвера вице-адмиралу Вильгельму Канарису. Рассказал из уважения, зная, что тот, как и он сам, недолюбливает усатенького ефрейтора и боготворит его покойного отца. Канарис, не перебивая, заинтересованно выслушал и сказал:

— Спасибо, Оскар, но прошу тебя, не отправляй пока этого парня в лагерь. Думаю, что он нам будет интересен. Ты же должен понимать, что война с Польшей — это так, детские шалости в песочнице. Предстоит война с Францией и, главное, с Россией. Если то, что ты говоришь об этом пленном, правда, то он нам будет очень интересен, особенно как знающий все более и более набирающего популярность во Франции генерала Шарля де Голля и, конечно, как бывший русский офицер. Ты говоришь, что он дружил с маршалом Тухачевским? А откуда такие сведения?

— Все рассказал пленный офицер польского Генерального штаба.

— Оскар, придержи его и пока никому не говори о нем. Я боюсь, как бы не появилось много желающих на него посмотреть, а тем более завладеть им.

— Кого вы имеете в виду?

— Можешь мне не верить, но прежде всего русских. Не забывай, я все-таки руковожу абвером. Поговори с ним на предмет работы с нами. Не дави — так, мягко; потом скажешь мне, что ты о нем думаешь, а я постараюсь как можно быстрее у тебя его забрать. Только никому ни слова.

— Слушаюсь, господин адмирал.

— Для тебя Вильгельм. Мы же с тобой дворяне, а в нынешнее время, при власти этих усатеньких национал-социалистов, нам надо держаться друг друга. Гитлер не вечен, и это во многом будет зависеть от нас — таких, как я и ты...

Солдат ввел в кабинет полковника Гинденбурга пленного. Глеб был в сером гражданском костюме, рука висела на повязке, лицо было белым от большой потери крови в

результате проникающего ранения в грудь и повреждения легкого.

— Присаживайтесь, господин Смирнитский. Курите? Ах да, конечно, ранение. Как себя чувствуете? Может, хотите, чтобы я называл вас «пан»?

— Все равно. Зачем меня надо было спасать? Да еще и в Берлин перевозить? Упокоился бы как солдат.

— Ну что вы, подполковник, я думаю, вы еще послужите своему отечеству.

— В качестве кого?

— Подполковника.

— Извините, но я давно не хочу служить в качестве подполковника никому.

— Хорошо, послужите гражданским лицом.

— Где?

— У нас.

— Где — у вас?

— Не надо, господин Смирнитский, вы же умный человек и понимаете, где вы находитесь и кем вам предлагают служить.

— Где — понимаю, кем — нет.

— Хорошо. Нас интересуют ваши знания о боевом состоянии Красной армии.

— А почему я должен знать боевое состояние Красной армии? Я давно уже не военный, я в отставке, да и никогда не занимался вопросами боеспособности Красной армии. Так что я вряд ли могу быть вам полезен в этом вопросе. Да и в других тоже.

— Бросьте, господин Смирнитский. Нам же известна ваша биография: от учебы в Варшавском кадетском корпусе до участия в мировой войне против нас в лейб-гвардии Семеновском полку. И эпизод из вашей жизни, связанный с неудачной попыткой спасти семью русского императора, нам тоже известен. И о вашей дружбе с Михаилом Тухачевским нам известно. Сколько у вас наград — семь, восемь? Это не считая польских? Вы необыкновенно храбрый офицер. Ваша красивая и необычная форма у нас, мы ее привели в порядок и вам вернем. Все ордена в целости... Нам

также известно и то, что благодаря таким, как вы, Польша выиграла войну с Россией тогда, в двадцатом году.

— А теперь благодаря вам Россия получила обратно все завоеванные Польшей в двадцатом году земли.

— Польше надо было соглашаться на наши условия.

— Вы думаете, что в Польше не понимали, что это ультиматум? Понимали, только ничего не сделали. Да еще ваш договор со Сталиным...

— О каком договоре вы говорите? Советы забрали себе территории, которые России и принадлежали.

— Без единого выстрела.

— А вот это для нас самое удивительное! Где же ваша польская храбрость, проявленная в боях с нами, с немцами? Что — русские вам не враги?

— И когда вы начнете войну? — не ответив, задал вопрос Глеб.

— О чем это вы, господин Смирнитский?

— Я о войне против России. Я ведь военный с пятнадцати лет и кое-что понимаю в этом деле.

— Вот нам и нужны ваши знания.

— Что вы имеете в виду?

— Расскажите нам подробно, что вы знаете о состоянии русских вооруженных сил, их техническом обеспечении, военной подготовке, психологическом состоянии войск.

— А почему вы решили, что я должен такие сведения иметь, а если имею, то вам рассказывать?

— Потому, подполковник, что вы защищали императорскую Россию, русского царя и воевали с большевиками — хорошо воевали; потому, что вы защищали новую Польшу от советской власти, и потому, что вашим другом был Михаил Тухачевский, уничтоженный большевистской властью. Неужели вам не хочется отомстить за свою страну и за своего друга?

— Хочется! Но при чем здесь вы? Вы же, как и Советы, захватили нашу Польшу. Ваш Гитлер со Сталиным разделили нашу страну, как разделили ее во времена русской империи. Чем вы-то лучше?

— А вы что, не понимаете, что было бы с вашей страной, если бы большевики заняли всю Польшу? Она бы превратилась в один сплошной концентрационный лагерь. А что бы стало с вашими евреями при такой ненависти Сталина к евреям? Да что там евреи, что бы стало с поляками при такой ненависти Сталина к полякам?

— Может быть, вы и правы, но я, во-первых, поляк, во-вторых, русский офицер, в-третьих, я давал присягу один раз, и даже служа Польше, присягу не давал. А вы предлагаете, чтобы я, русский офицер, сотрудничал с врагами русских людей? Я даже крещен как православный. Так что ошиблись вы, господин... извините, в каком вы звании?

— Да бросьте — как будто вы не знаете немецких погон? Хорошо, только для вас — полковник вермахта Оскар фон Гинденбург.

— То-то мне ваше лицо, господин полковник, показалось знакомым. Мы с вами сталкивались в шестнадцатом году.

Гинденбург присмотрелся, потом на его лице появилось удивление, и он радостно воскликнул:

— Капитан лейб-гвардии? Я вас вспомнил. Вас за тот случай с выносом раненых с поля боя даже наши солдаты считали героем. Я рад снова увидеть вас, господин капитан.

— Если честно, то я тоже рад. Только не очень пойму — где вы служите. В абвере?

— Будете смеяться, но я инспектор лагерей.

— Почему? Вы же фон Гинденбург!

— Наверное, потому, что я не хочу больше воевать. И дослуживаю до пенсии, а сейчас даже офицеров, которые в отставке, призывают в армию.

— Готовитесь к серьезной войне? Вы тогда оказались правы, господин полковник, насчет будущей встречи на будущей войне.

— Я не пророк — так получилось.

— Странно другое: как вами, военными, стал командовать Гитлер?

— Он командует не нами — он руководит Германией, он фюрер немецкого народа.

— Бедная Германия!

— Не Польше об этом говорить. Вернемся к нашему разговору.

— Можете сразу к стенке поставить.

— Ну не будем спешить, господин капитан — подумайте. Сейчас вас отвезут обратно в госпиталь. Дня через два мы увидимся. Не спешите говорить «нет».

Полковник Гинденбург вызвал охрану и приказал отвезти «господина капитана» обратно в госпиталь.

Только полковник забыл, что за каждым действием абвера ревностно следила тайная полиция третьего Рейха — гестапо. А за гестапо столь же ревностно следило Министерство иностранных дел. Друзья Генрих Гиммлер и Иоахим фон Риббентроп старательно следили друг за другом и особенно за Канарисом. У них уже были сведения, что вице-адмирал заинтересовался каким-то пленным. А все пленные в Германии принадлежали Гиммлеру.

XII

Оскар фон Гинденбург был удивлен, узнав, что пленного Смирнитского, еще не оправившегося от ранений, какие-то люди вывели из палаты и, надев наручники, запихнули в крытую машину и увезли из больницы в неизвестном направлении. Никаких документов они не предъявили, но были столь профессиональны в своих действиях, что не оставалось никакого сомнения: это были сотрудники гестапо. Да еще из кабинета Гинденбурга пропала форма пленного. Полковник попробовал выяснить, кто позволил себе, не согласовывая с ним, забрать пленного, и не получил ответа. Все, кто видел, как забирали пленного, молчали и только показывали пальцем наверх. Полковник бросился за помощью к Канарису. Но и адмирал знал не больше Гинденбурга, но разозлился и, собрав закрытое совещание, потребовал от своих подчиненных выяснить, кем, куда и зачем был увезен из закрытой больницы военнопленный Глеб Смирнитский.

Гинденбург попробовал попасть на прием к своему непосредственному руководству — Генриху Гиммлеру,

но тот, сославшись на занятость, полковника не принял. В Оскаре фон Гинденбурге была пусть небольшая, но часть крови его знаменитого отца — он закричал в приемной Гиммлера, что обратится к фюреру, и его вывели из здания рослые эсэсовцы. Он написал письмо фюреру, но ответа не получил. Полковник понял, что в этой операции задействованы такие силы, что ни его знаменитая фамилия, ни благосклонность к нему самого фюрера не могут изменить произошедшего.

Через неделю к нему в загородный дом приехал Вильгельм Канарис и сообщил, что Смирнитского передали русским и виной тому неумные любовные влечения министра пропаганды — «сексуального малыша» Геббельса.

Выдача Смирнитского для вице-адмирала стала полной неожиданностью. Он тоже попытался попасть на прием к Гиммлеру, но когда пояснил суть предлагаемой беседы, то получил отказ. Он обратился за помощью к толстяку Герингу, который не мог отказать «другу Вильгельму», поставлявшему ему в течение многих лет морфий, и был принят в громадном замке Каринхалле, построенном «добродушным» толстяком за счет народных денег. Геринг был в благодушном состоянии — он только что подписал план уничтожения десятков миллионов евреев. За кружкой хорошего немецкого пива, от которого непьющему Канарису хотелось блевать, выяснилось, что тут не обошлось без помощи Риббентропа, у которого добрые отношения с таким же русским министром Молотовым.

— Наш накричавший своими лозунгами огромную грюжу малыш Геббельс где-то опять вляпался, и значительно хуже, чем тогда в любовной интрижке с чешской шлюхой. Поговаривают, что это была то ли еврейка, то ли русская шпионка и русские за молчание потребовали отдать им этого поляка. Что за поляк? Какой-нибудь еврейский родственник американских Ротшильдов или Рокфеллеров? Почему я о нем ничего не знаю? Мне самому для моего замка не хватает на обустройство нескольких десятков миллионов марок. Почему ты, Вильгельм, мне о нем не сказал? Извини, мне надо выйти в туалет, а то это пиво... — Геринг

отсутствовал недолго, вернулся очень довольный, живо жестикулировал толстыми руками. — На чем мы остановились, Вильгельм? А-а, на поляке. Кто он?

— Он, дорогой Герман, не миллионер и даже не еврей. Он военный. Русский офицер. Капитан русской лейб-гвардии в мировую войну. Храбрец.

— Я храбрецов уважаю. Сам таким был на войне. Правда, мне не пришлось воевать с русскими — я воевал с лягушатниками, но про русских говорили, что они очень храбро дерутся. И что — из-за русского капитана весь сыр-бор?

— Да. Нам, абверу, он был нужен как знаток русской души. А зачем русским — я не знаю. И, по-видимому, не узнаю никогда.

Канарис всегда выпячивал перед другими свой аристократизм и знание психологии противника. За это его не любили. У главных вождей Третьего рейха были за спиной в лучшем случае восемь классов и тюремные, уголовные университеты. «Откуда Советы узнали о Смирнитском? — думал Канарис. Это его злило — информация о необычном пленном скорее всего ушла из его ведомства, из абвера. — И как мы будем дальше воевать, если сведения с такой легкостью уходят к противнику? Надо подготовить приказ об усилении контроля. А источник надо найти! Жаль Смирнитского, передача его русским — верная смерть. А, говорят, необычный офицер, герой и храбрец! Жаль!..»

Глеб Смирнитский не знал, почему его вдруг заковали в кандалы и повезли в поезде через всю Германию в Польшу, а в Варшаве посадили в машину и повезли по разрушенной стране к границе с Советским Союзом, где немцы передали его, улыбаясь и пожимая руки, советским военным в темно-синей форме. Потом, как будто что-то вспомнив, задорно свистнули, чтобы русские остановились, и, вытащив из машины большой пакет, отдали, сказав: «Это его. Что здесь, мы не знаем». Глеб, когда его везли по пригородам Варшавы, в зарешеченное окно увидел дом Евы — уцелевший, и Еву увидел. Она копалась в саду и, подняв голову, посмотрела на проходящую машину. Ему показалась, что она удивленно вскрикнула, — и он понимал, что это ему

показалось, но для него это было таким счастьем, такой радостью, такая волна любви прошла по его сердцу... Губы прошептали: «Ева...»

XIII

Когда от агентов в Германии в контрразведку Красной армии пришла информация о необычном польском пленном, интересующем абвер, это никого не заинтересовало — ну пленный и пленный, бывший царский офицер — ерунда, но на всякий случай об этом сообщили в Управление особых отделов НКВД. Информация дошла до Бери. Лаврентий Павлович просмотрел донесение через тонкие стекла пенсне и подумал: «Смирнитский, Смирнитский... Что-то знакомое... Где-то я эту фамилию слышал...» — Память у Лаврентия Павловича, как и у его друга — такого же жестокого труса Иосифа Виссарионовича, была феноменальная. Поэтому он, прочитав, донесение убрал, а где-то в уголке памяти отложилось: «Смирнитский. Враг. Польский офицер».

А вспомнил через несколько дней, когда Сталин сказал: — Слушай, Лаврентий, мы с тобой умные люди и понимаем, что рано или поздно Гитлер Пакт о ненападении разорвет и нападет на нас. Лучше позже. И нам, как воздух, потребуется договор о военной помощи с Францией. Во Франции есть генерал де Голль, он, как никто, выступает против всяких договоров и мира с немцами. Мне что-то знакома эта фамилия, да я подзабыл. Напомни!

Сталин все помнил, но... на то он и был Сталин.

— Шарль де Голль во время империалистической войны воевал против немцев, награжден тремя орденами за храбрость, попал под Верденом в плен, сидел в лагере вместе с Тухачевским, возглавлял французскую миссию в Польше в двадцатом. Воевал против нас и, что интересно, против Тухачевского и был награжден польским орденом. После войны служить в Польше отказался — вернулся во Францию. Дослужился до звания генерала. Очень уважаем среди французских военных. Потомок древнего дво-

рянского рода. Отличительная черта — любовь к своей стране.

— Молодец, Лаврентий, у тебя хорошая память. Хорошо, что ты у меня есть. Ну и кого я направлю к этому де Голлю? Кого из наших агентов он признает как своего? Никого. Он же белая, дворянская кость. Вот где, черт, Тухачевского не хватает... А, Лаврентий, — не хватает?

— Не согласен, Иосиф Виссарионович. Тухачевский — враг! Но мне кажется, Коба, есть нужная кандидатура.

— Когда кажется, Лаврентий, креститься надо! Говори.

Вот тут то и пригодилась феноменальная память на врагов у товарища Берию.

— По делу Тухачевского проходил некий царский капитан Смирнитский. Он еще приезжал к нам в составе польской делегации в тридцать седьмом году. Они тогда встречались дома у Тухачевского. Они друзья с четырнадцатого года... Это при Ежове было.

— Что-то такое припоминаю. Гвардеец. Он еще наград много имел. Продолжай.

— Смирнитский воевал вместе с де Голлем против нас в Польше. По нашим сведениям, они все годы поддерживали очень хорошие отношения. Так вот, немцы при взятии Варшавы захватили в плен бывшего русского офицера, Глеба Смирнитского. Он был ранен, но они его вылечили, и сейчас германская разведка работает с ним на предмет его вербовки. По сведениям, в нем заинтересован сам адмирал Канарис. Но Смирнитский отказывается им помогать...

— Экая проблема, взяли бы в заложники, как мы, родственников, и все — готов!

— По имеющимся у нас данным, у него из родственников две двоюродные сестры. Почему немцы их не возьмут, мы не знаем. Но можем, если надо, узнать. Я к тому, что хорошо бы нам заполучить от немцев Смирнитского.

— Ты откуда про Смирнитского узнал?

— Работаем, Иосиф Виссарионович.

— Молодец. Я его вспомнил. Только тебя тогда точно еще на этом посту не было — Коля был. Ай да Лаврентий! Говоришь, что этот Смирнитский с немцами отказывает-

ся сотрудничать? И что мог бы нам пригодиться? Вот что: подключи все свои службы, военных, разведку. С министерством иностранных дел, с Молотовым, я сам переговорю. Но чтобы этого Смирнитского немцы нам отдали. Захватите какого-нибудь немецкого партийного бонзу на девочках-еврейках... или жену бонзы на еврее... да что мне тебя учить — у тебя евреев и евреек для таких дел предостаточно, готовы все исполнить, лишь бы их семьи не расстреляли... Иди, Лаврентий, действуй! Рыбку лови покрупнее. Но чтобы быстро — времени у нас мало.

Высокий немецкий партийный вождь нашелся — да еще какой! И девушки нужной национальности тоже. Когда Гиммлеру на стол положили снимки любвеобильного Геббельса с очередной шлюхой, да еще и с еврейкой, Гиммлер хотел доложить об этом фюреру, но передумал и встретился с Геббельсом. Тот, увидев снимки, побледнел и заплакал.

— Генрих, друг, — завопил сквозь слезы Геббельс, — не губи! У меня семья, дети — семеро. Черт попутал.

— Йозеф, тебя все время кто-нибудь да путает. Ты только что слез с этой чешки Лиды Бааровой, тебя только-только спас фюрер от расправы твоей жены и отставки, а ты вновь залез на шлюху, да еще и на еврейку. Где ты ее откопал? Что, нельзя было нашу прекрасную немецкую девушку найти — у наших Март хоть есть за что подержаться. И за что они тебя любят? Дунь — и рассыплешься? И что с тобой делать, Йозеф?

— Генрих, прошу, не выдавай. Я буду твоим должником до конца жизни.

— Ладно, попробую.

Гиммлер выяснил — это почему-то и не скрывалось, — что девушка была подложена под любителя шлюх Геббельса русскими, но ее нигде не могли найти, а снимки пришли по простой почте из района Потсдама. Через два дня Гиммлеру позвонил министр иностранных дел Иоахим фон Риббентроп и предложил встретиться.

— Генрих, — сказал Риббентроп, — к нам обратились русские с небольшой просьбой...

— Русские? С просьбой? Да пошли они...

- Не перебивай, Генрих. Это необычная просьба.
- Слушаю тебя, Иоахим. И только ради тебя.
- Ради меня не надо. Ради партии. Ради моральной чистоты партии.
- Не понял...
- Они просят передать им некоего польского подполковника Смирнитского, находящегося в нашем плену.
- Странная просьба, Иоахим. Зачем он им?
- Не знаю.
- Тогда с чего это мы им должны отдавать своих военнопленных? Я еще понимаю какой-нибудь равноценный обмен...
- А в обмен они обещают не публиковать снимки новой любовной связи нашего дорогого доктора Геббельса, которые находятся у тебя в сейфе и ты не дал им ходу.
- Откуда у тебя такие сведения?
- От русских. От моего друга Молотова. А я очень дорожу его дружбой. Как-никак, а это он и я подписали такой нужный для нашей великой Германии Пакт о ненападении. И русские — люди слова — молчат о секретном приложении к пакту. Отдай этого поляка русским.
- Но у меня нет такого поляка, и я даже не знаю, где он.
- Отдай, пока он не попал к Канарису.
- А для чего он Канарису?
- А для чего Вильгельму пленные? Для разведки.
- Откуда у тебя такие сведения? — спросил Гиммлер и подумал: «Вся тайная полиция у меня, а я не в курсе...»
- Скажу тебе просто: не скажу! Но знаю — он у Гинденбурга.
- Какого Гинденбурга? — искренне удивился Гиммлер.
- Что значит человек, не воевавший на мировой войне.
- Я был молод, я не успел...
- Этот пленный сейчас в военном госпитале в Берлине. Им занимается сын великого Пауля фон Гинденбурга, полковник, инспектор лагерей Оскар Гинденбург. И Оскар встречался с Канарисом по этому поляку.

— А эти сведения откуда?

— Тоже от русских, дорогой Генрих.

— О, мой Бог!..

— Отдай, пока не поздно. Иначе это дело докатится до Магды, она вновь побежит к фюреру, и тогда за ее любвеобильным муженьком потащат тебя. У тебя, Генрих, нет времени на размышления. Если он попадет к Канарису, тот его никому не отдаст да еще получит поддержку со стороны Геринга.

— Спасибо, Иоахим. Я всегда знал, что ты настоящий друг и партийный товарищ.

— На первое место надо ставить «партийный товарищ», а уж потом друг. Хайль Гитлер, Генрих. Беги. И запомни: ты мой должник.

— Не люблю оставаться должником.

— Надеюсь.

XIV

— И что вы упираетесь, господин Смирнитский? — выросший до звания майора госбезопасности после «прекрасно» проведенного дела Тухачевского и других врагов народа Архип Ферাপонтов прошелся по подвальному помещению. — Вы же понимаете — мы своего все равно добьемся. Вон ваш дружок, Тухачевский, тоже упирался, и что? Подписал все, что сказали, как только увидел свою жену, висящую вот на этом крюке да плеточкой по холеному дворянскому телу обихоженную. Ну нет у вас жены да детей, так двоюродные сестры есть — найдем, привезем сюда и подвесим на этот же крюк, да еще мои бойцы над ними поработают, и не только плеточкой, но и еще кое-чем, а они страсть как любят хорошие женские тела. Это же не крестьянки Тамбовской губернии и даже не жены директоров заводов, такие же крестьянки. Панночки! Ну так что, будем давать признательные показания, ваше благородие?

— Должен бы помнить, Архип, что в лейб-гвардии я капитаном был. А у Каппеля полковником. Так что высокородие... Сестер не тронете?

— Честно скажу, пока еще и не искали — мороки много, территория-то немецкая. Напишешь признательные показания — и все. Жизнь не обещаю. Не мое это дело. Как суд решит. Да и скажу вам по секрету, ваше высококорodie, интересуются уж больно вашей персоной там, наверху, — он показал пальцем в нависающий, в ржавых пятнах от крови потолок.

Сестер, как и их мужей и детей, у Глеба уже не было — они погибли во время страшной бомбардировки Варшавы немцами в сентябре 1939 года, когда город завалили тысячами бомб и сожгли вместе с жителями. Он об этом знал. Хорошо, что спаслась Ева. О ней знал только он один, и даже если бы его резали на куски, никогда бы не выдал ее имя.

— Да ладно, Архип, какой суд — к стенке поставите.

— Так вы, как и их благородие Тухачевский, вряд ли своей смерти-то боитесь. Только за родных беспокоитесь. Да не поставят вас — это я точно знаю. У меня громадный опыт. Что-то насчет вас не то. Ну так что?

— Ничего. Давай писать.

— Молодец, ваше высококорodie. А вы умней Михаила Николаевича будете. Думал, заставлять придется. А тут три дня разговоров — и все. И никаких побоев. Садитесь, Глеб Станиславович, к столу, берите ручечку, вот бумага, и пишите все подробненько о своей службе в колчаковской армии и как вас спас Тухачевский, о своей службе в польской разведке и как вам передавал сведения Тухачевский во время нашего наступления на Польшу в двадцатом году. Пишите о службе в Польской армии против нашей страны, о шпионской и террористической деятельности вместе с Тухачевским... Напишите, когда и где познакомились с французом Шарлем де Голлем и как поддерживаете сейчас с ним отношения... Для чего это — ей-богу, не знаю, но спрашивают. Расскажите о генерале Владиславе Сикорском. Видите, ваше высококорodie, мы о вас все знаем. Вот сюда, сюда садитесь, Глеб Станиславович. Не забудьте рассказать и о Яне Ковалевском. Как ему шифры передавались. Ну кто поверит, что какой-то поручик шифры наши взломал...

— Я не Станиславович, а Станиславич.

— Хорошо, хорошо, господин Смирнитский, как вам будет угодно. Вот на листе вопросы — читайте и пишете. Как напишете, так я с вами и распрощаюсь... Не бойтесь, точно знаю: расстреливать вас не будут. Не просто же так бить запретили. А то, думаете, стал бы я с вами лясы точить целых три дня?.. Да что вы, Глеб Станиславич, работы так много, что не поверите — посс... некогда.

— Почему? Верю.

— Это на вас так Польша подействовала? Раньше-то, как помнится, вы пожестче были. Возраст? Да какой у вас возраст — вы же с Тухачевским одногодки... были...

— Мы не были. Мы есть.

— Так он же там? — удивился Ферапонтов.

— А для меня здесь.

— Вас, дворян, не поймешь — вроде и воевали храбро, а чуть что — слеза. Пишите, Глеб Станиславич, да и идите, отдыхайте.

Со Смирнитского сняли наручники и посадили за стол. Справа встал солдат, чтобы заключенный не натворил чего-нибудь с собой.

Смирнитский посмотрел на лист с вопросами и начал писать. Писал старательно, не спешил. Ферапонтов, сидевший напротив, даже заскучал: стал зевать.

— А это что за ерунда? Что это за глупый вопрос? «Как я лично стрелял в товарища Сталина?» Каким образом я мог на него покушаться, если я его ни разу в жизни не видел?

— Где такой вопрос? — очнулся от дремоты Ферапонтов.

— Да вот! — Смирнитский положил ручку на стол, слева от себя, привстал и, загораживаясь от солдата, показал пальцем правой руки на строчку в лежащем перед ним листе.

Ферапонтов взял лист в здоровую левую руку, поднял к лицу и стал читать. Полумрак мешал — наклонился.

Ручка, пронзая лист, вошла ему в мозг через правый глаз.

— Это тебе за Мишу и его семью! — крикнул Смирнитский.

Архип Ферапонтов хрипел, зажимая глаз, из которого торчала круглая деревянная ручка. Между пальцами текли кровь, содержимое глаза и мозг. Ферапонтов вдруг широко открыл рот, забулькал розоватой пеной и упал головой на стол — ручка вошла в голову по самый конец рукоятки. Ферапонтов, уже мертвый, поскреб ногтями по столу и медленно сполз на пол.

От страшного удара в голову Смирнитский потерял сознание. Его больше не били. Испуганный солдатик побежал звать на помощь, крича во всю глотку: «Товарища майора убили! Товарища майора убили!» Прибежала охрана, сотрудники НКВД из других пыточных камер подвала здания на Лубянке. Все в страхе смотрели на труп Ферапонтова, на торчащий из кровавой глазницы кончик деревянной ручки. Второй глаз был широко открыт и удивленно смотрел на присутствующих.

Глеба, окатив холодной водой, привели в сознание и, надев наручники, отвели в одиночную камеру здесь же, в подвале, в которой не было ни окон, ни нар, только тусклая лампочка, забранная сеткой, под потолком. Наручники не сняли. Это была камера, где перед смертью сидел бывший руководитель НКВД Генрих Ягода. В ней в марте 1938 года его и прикончили выстрелом в голову, когда он, стоя на коленях, весь обгаженный от страха, умолял присутствующих соратников, своего заместителя Ежова не лишать его жизни и клялся в верности товарищу Сталину. И товарища Ежова здесь же, в этой камере, пристрелили, когда он, как и его предшественник Ягода тоже обоср..., ползал на коленях, просил простить его за перегибы и просчеты и клялся в верности товарищу Сталину...

О произошедшем тут же было доложено начальнику следственной части НКВД Богдану Кобулову. Кобулов в страхе побежал к Берии. Он не знал, для чего тому был нужен Смирнитский, но понимал — убийство майора НКВД, да еще таким изощренным способом, просто так ему не сойдет. Ждал и боялся: а вдруг погоны сорвут, он же армянин, для грузина — кровный враг. В голове крутился ответ на непоставленный вопрос Лаврентия Павловича: «Сами

же просили, чтобы физического воздействия пока не применяли. Так и не применяли же — так, пугали, а он возьми да и ручкой в глаз, да не в свой...» А Лаврентий Павлович вопроса не задал, просто сказал: «Сука!» — что обозначало «Расстрелять!» — и потребовал принести к нему все имеющиеся документы на Смирнитского и личное дело Ферাপонтова. Имя Смирнитского Берия вспоминать не пришлось, оно было связано с делом Тухачевского, расстрелянного в тридцать седьмом, и с разработкой плана Сталина о заключении договора о военной помощи с Францией. Смирнитский за обещание сохранить ему жизнь должен был выступить от имени польских военных в поддержку ввода Красной армии на территорию Польши и участвовать в переговорах с французским генералом Шарлем де Голлем о заключении договора о военной поддержке на случай войны. Сталину был нужен договор, чтобы оттянуть возможность войны с Германией. Он, как все, играл в политическую игру, ставкой в которой было сохранение его, Сталина, власти. Он не собирался исполнять такой договор, даже если бы тот был заключен, во что Сталин мало верил; главным для него было, чтобы немцы знали о таких переговорах и побаивались, и уж если нападали, то в первую очередь на Францию как более слабую страну.

Берия читал. Память у Лаврентия Павловича была превосходной. Допросы помощников Ферапонтова показали, что тот хорошо знал и Тухачевского, и Смирнитского еще с империалистической войны. Все к ним обращался старорежимно «ваше благородие» или по имени-отчеству. Берия прочитал листы, заполненные Смирнитским во время допросов. На одном из листов была дырка и следы крови. Ничего нового: родился в Польше, дворянин, сирота; окончил Варшавское кадетское училище и Павловское военное училище в Петербурге; воевал в германскую в лейб-гвардии Семеновском полку. «Так и пишет, сволочь, — подумал Берия. — Друзья с Тухачевским. Сволочь!» К концу войны дослужился до звания капитана этого полка, награжден семью орденами, в том числе «Георгиями» 4-й и 3-й степеней. В семнадцатом году — капитан батальона Георги-

евских кавалеров. «Храбрый, сука! — подумал Лаврентий Павлович. — Потому и не побоялся ручкой убить. Это надо же — ручкой!» — Представил и задрожал от ужаса. На этом записи обрывались. Чувствовалось, что писавший очень гордился своим прошлым и своими заслугами перед царской Россией. Не так уж и много было приговариваемых к расстрелу командиров Красной армии — бывших царских офицеров, которые бы с гордостью вспоминали свои боевые заслуги во время империалистической войны. За исключением, пожалуй, Тухачевского. Тот тоже с гордостью написал, что за первые полгода войны, пока не попал в плен, был представлен к шести боевым орденам. «Друг друга стоят!» — подумалось Берии. Он боялся — это же он согласился с предложением Кобулова назначить майора Ферапонтова вести дело Смирнитского. И всего надо-то было добиться признательных показаний о подрывной деятельности руководства Польши в развязывании террора против мирного населения братских народов Белоруссии и Украины, что и привело к необходимости ввода Красной армии на оккупированные Польшей еще с двадцатого года российские территории. И на основании этих признаний приговорить Смирнитского к расстрелу, а потом подарить надежду — предложить работать на Советский Союз в налаживании отношений с Францией. И тут такая неудача... А что на это скажет товарищ Сталин, если узнает?..

XV

Весть о гибели, да еще столь необычной, сотрудника организации, ненавидимой всем советским народом, как бы ни хотело руководство НКВД это скрыть, кругами разбежалось по Москве.

— Лаврентий, что у тебя случилось на Лубянке, если вся Москва гудит? Это надо же, мне дочка, придя домой, рассказала, что какой-то иностранный генерал прямо в кабинете на Лубянке убил голыми руками сотрудника НКВД! — спросил Лаврентия Павловича Берия вызвавший его к себе в Кремль Иосиф Сталин.

— Не генерал, Иосиф Виссарионович, — подполковник. Не голыми руками, а ручкой — в глаз. Это польский подполковник Смирнитский, которого по нашей просьбе немцы нам передали. А убитый — наш сотрудник майор Архип Ферпонтов, который вел допрос этого Смирнитского.

— Значит, хреновый у тебя сотрудник, коли какой-то польский подполковник его запросто, обыкновенной ручкой, смог убить. Туда ему и дорога. Молодец подполковник! — Сталин обладал феноменальной памятью на события и лица. — А это не тот подполковник, что в тридцать седьмом в составе польской делегации к нам приезжал? Дружок Тухачевского. И тот, которого мы у немцев выпросили?

— Тот.

— Значит, ты его просрал, Лаврентий? Он же нам был нужен для переговоров с французами как явившийся к нам по своей воле польский офицер. Он живой?

— Да. В камере.

— Ну и что ты думаешь с ним теперь делать?

— Казнить. Могу своим отдать — они с него живого кожу сдерут! Разрежут на кусочки, чтобы дольше мучился. Кобулов лично резать будет. Еще и причмокивать от удовольствия. Не зря же к нам за таким опытом немецкое гестапо приезжало учиться. Научили.

— Дурак ты, Лаврентий! Да знаешь ли ты, что у этого капитана были особые отношения с генералом Сикорским? А генерал создает во Франции свою армию из тех, кто готов воевать с Гитлером! Уже восемьдесят тысяч собрал под свои знамена. Ничего не напоминает? Да откуда тебе знать! В польскую войну вот так же из Франции в Польшу прибыла целая армия — семьдесят тысяч — и решила судьбу войны. Да еще Тухачевский все, сука, прос...! А ты — на куски порвать. Уважать надо храбрость и мужество. Даже у врагов. Насколько я помню, он не просто семеновец, а и капитан батальона Георгиевских кавалеров. Я думаю, Лаврентий, ты толком не знаешь, кто это... Эти кавалеры, насколько мне помнится, могли тогда, в марте семнадцатого, царскую семью спасти, если бы им свои же, корниловцы, не помешали. Неизвестно, как бы история страны повер-

нулась, если бы они это сделали! Я думаю, капитан твой участвовал в той операции. Сколько у него наград?

— Девять орденов. Семь царских, один колчаковский и один польский. Немцы передали вместе с формой. Прямо иконостас.

— Ты его не трогай! Да стереги лучше. Не бить! Ты понял меня, Лаврентий? Да принеси мне все, что имеется по этому полюку. Я поляков с гражданской войны не люблю, но люблю храбрецов. А его отправь в лагерь, к таким же полякам, потом скажу, что с ним делать.

— Понял, товарищ Сталин...

— И стереги его, Лаврентий, чтобы опять чего-нибудь у тебя не произошло... А вообще сколько поляков у нас в лагерях?

— Взятых в плен и интернированных было сто восемьдесят тысяч. Мелочь всю — солдат, крестьян, лавочников — мы, по вашему приказу, отпустили. В лагерях осталось двадцать три тысячи офицеров, учителей, врачей, польских попов...

— Мы вроде обещали их всех отпустить?

— Мы не немцы — никаких письменных гарантий мы им не давали.

— Ну и правильно. Они наших красноармейцев тоже в двадцатом не отпустили — заморили голодом! Теперь наш черед! Ты подумай на досуге, Лаврентий, что делать с этими поляками. Отпустить? Нет! Кормить? Ждать, когда они восстанут, как чехи в восемнадцатом? Подумай... но недолго...

Что означало «подумать... недолго» в устах Иосифа Виссарионовича, Берия хорошо знал.

Берия приехал в свой кабинет на Лубянке и вызвал к себе начальника следственной части генерала Кобулова. Лаврентий Павлович, как всякий грузин, не любил Кобулова — тот был армянином. Но уважал за усердие. Тот особенно любил сам пытаться подследственных. Кобулова пришлось ждать — опять пытал, и когда, согнувшись от страха, он тихо вошел в кабинет, то было видно, что его руки трясутся, как после тяжелой физической работы.

— Что, Богдан Захарович, — начал Берия, — устал?

— Никак нет, товарищ Берия. Я очень люблю свою работу.

— Чувствуется, что любишь. Кто Ферাপонтова назначил следствие вести по Смирнитскому? Ты! — Кобулов закивал головой. Хотя кандидатуру Ферাপонтова с Берией согласовывал. — Тебя, Кобулов, расстрелять мало! А может, расстрелять? Сука ты армянская. Вы, армяне, все такие — лишь бы нам, грузинам, нагадить! Я сейчас у Хозяина был. Рвет и мечет, требует наказать виновных. И что мне с тобой делать? У тебя что — штаны сырые? Ты не вздумай здесь обос... — пристрелю. Где у тебя Смирнитский?

— В камере. В той, особой. В наручниках, — дрожащим голосом пролепетал Кобулов..

— Где все мои предшественники сидели, пули дожидаясь? Ладно! Хозяин требует его отправить в лагерь к полякам и чтобы ни один волос с его головы не упал. Я бы лучше содрал с него шкуру с живого, но... Ты же лучше меня знаешь начальников лагерей, говори: в какой лучше, чтобы человек надежный был.

— Можно в Козельский. Там начальником новенький — кстати, по просьбе покойного Ферапонтова поставлен. Бывший командир полка. Но я его знаю плохо — не из нашей системы. Сами же говорили, чтобы ставили новеньких. Временных.

— Нет, в Козельский не надо. Узнает, что он его дружка Ферапонтова убил, и не дай-то бог прикончит этого поляка. Нет.

— Тогда в Старобельский. Там как в тюрьме — монастырь. И начальник надежный, у нас на Лубянке когда-то служил, майор Бережков. Верный чекист.

— Тогда... вызовешь сюда этого Бережкова и передашь ему Смирнитского. И скажи, чтобы за этим поляком сам, лично следил. Иначе ты его расстреляешь... а я тебя! Но к полковникам и генералам не селить. Пусть идет как капитан. Понял?

— Так точно, товарищ Народный комиссар внутренних дел. А что делать с его формой, что немцы передали, — там орденов!..

— Я не знаю, почему Хозяин его не казнит. Поэтому спрячь в сейф и сохрани. Все?

— Слушаюсь. Разрешите идти?

— Кругом! Пошел отсюда, армянская морда.

XVI

В сентябре 1939 года, сразу после разгрома Польши, приказом НКВД № 308 было создано целое управление по делам военнопленных и интернированных. В плен-то добровольно сдались 180 тысяч поляков. И были созданы 8 лагерей для пленных. Часть отпустили — а чего держать, да еще и кормить полуграмотных солдат и крестьян. Тем более родом те были в основном из Западной Белоруссии и Западной Украины. Советская власть — она к трудовому народу добрая. Вот польские офицеры — те враги советской страны, хотя и сами сдались в плен, не выстрелив ни разу по солдатам Красной армии. Таков был приказ польского командования: советским войскам сопротивления не оказывать. Хотя немцы дали письменное согласие, что сдавшиеся в плен будут отпущены домой, немцам не сдались. Москва тоже дала такое согласие. Устно.

Глеб Смирнитский был отправлен в Старобельский лагерь, в котором находилось четыре тысячи пленных польских офицеров. Как в насмешку, лагерь находился на территории монастыря Всех скорбящих радости. А сама бывшая Луганская область, где находился лагерь, носила гордое имя маршала Советского Союза Климента Ефремовича Ворошилова. В гражданскую войну воевал здесь Клим против белополяков. Хреново воевал. Рядом Сталин был. Такой же вояка. Потому и друзья.

Смирнитского не везли со всеми в переполненном экама ящике-вагоне — его запихнули в металлической клетку размерами метр на метр и высотой в полтора. И несусьно охраняли. Алексей Григорьевич Бережков лично вез. «Целее будет», — сказал. И боялся. Его вызвал к себе на Лубянку генерал Кобулов да как начал орать, а потом засмеялся:

— У тебя чего — штаны сырые? Ты не вздумай у меня в кабинете обос..., я тебя сразу вниз, в подвал, к моим бойцам. Ты там все в своих штанах вылижешь языком, насухо... Ха-ха-ха! Ладно. Слушай меня! У нас сидит некий капитан Смирнитский. Поляк. Его нам немцы передали. Не знаю для чего. Он, сука, на допросе майора Ферাপонтова ручкой в глаз убил. Чего рот открыл? Ручкой в глаз и на смерть! Ты же Архипа Ферাপонтова знал?

— Ага! — кивнул Бережков.

— Этого поляка сразу бы на куски, но Лаврентий Павлович приказал, чтобы перевели в лагерь и стерегли. Не бить, не расстреливать. В нем, говорят, заинтересован сам... — и шепотом: — Хозяин. Понял? А я тебя как самого надежного назвал. Чуешь, какое тебе доверие? Содержать в общем бараке. Он хоть и польский подполковник, но раньше был царским капитаном, и какая-то тайна с ним связана. Так что для тебя он капитан. Если что — по нему будет отдельный приказ. Смотри, майор, не подведи, иначе на одном суку висеть будем. Долго, пока живые не сгнием. Все. Пошел! — и хотел добавить, но не стал: «Русская морда!»

Глеб сидел в клетке, подогнув ноги, и кашлял кровью из пробитого легкого. В клетке было холодно — декабрь. Его везли, как зверя.

Бережков махал кулаком перед лицами солдат-конвоиров и орал:

— Он зверь! Вы не смотрите, что он такой худой и в штатском. Он голыми руками полковника на Лубянке убил, и звание у него — капитан царской армии. Он шпион и лютый враг нашего народа. Не спать! Но смотрите, если он у вас умрет или, не дай бог, вы его изувечите, то сами в этой же клетке и поедете на Колыму!

Солдаты, сменяя друг друга, круглосуточно стояли около клетки и боялись спать. А вдруг это какой-нибудь оборотень — возьмет да и улетит? Не-е, своя жизнь дороже! В страхе даже в уборную не водили — ничего, обойдешься... под себя. Поезд шел на Ворошиловград. Климента Ефремовича при жизни такой памяти удостоили.

По прибытии в город Бережкову стало легче. Смирнитского в наручниках вывели из клетки под усиленной охраной и посадили с двумя солдатами в крытый грузовик. Сзади ехала машина Бережкова. Майор до того трусил, что пистолет из кобуры достал.

Старобельский лагерь для военнопленных находился в монастыре, обнесенном высокой каменной стеной. Советская власть нашла самое хорошее применение церковным зданиям, предварительно сбив кресты и сняв колокола, — никаких тюрем не надо строить! И имел тот монастырь название «Всех скорбящих радости»! Обнесли стены сверху колючей проволокой, поставили смотровые вышки — и лагерь готов. Пленных содержали в двух зданиях и бараках, построив там нары в три яруса. Восемь генералов и полковники жили в отдельном здании, у них было свое питание, они носили награды и имели адъютантов. Польским офицерам, когда сдавались, была обещана свобода, но вместо этого их доставили в этот лагерь, и они были в полной неизвестности относительно своей судьбы и судьбы своих близких. Кормили очень скудно: в основном каша, селедка и кусок ржаного хлеба. Чай варили из брюквы и моркови сами, прямо в бараках на железных печках. Печки являлись и единственным источником тепла. И все старались по очереди хоть часик, пусть сидя, но поспать около этих печек. Но и дисциплина была. Офицеры отдавали друг другу честь и обращались уважительно — по званию.

Когда Смирнитского, в гражданском костюме, без пальто, втолкнули в офицерский барак, все удивленно обернулись: гражданских — врачей, учителей, священников — содержали в других бараках.

В наступившей тишине к синему от холода Глебу подошел офицер и спросил:

— Каким образом вас, гражданского, отправили в наш барак, где находятся одни офицеры польской армии?

Глеб разлепил посиневшие губы и что-то непонятное прохрипел.

— Да проведите вы его к огню! Видите — он же совсем раздет, — раздалось с нар.

Два офицера взяли под руки Глеба, подвели его к печке и посадили на ящик. Кто-то протянул кружку с горячим брюквенным чаем. Глеб обхватил мерзлыми, ничего не чувствующими пальцами кружку и стал вдыхать пар — губы не разжимались.

— Что же это за бедолага, которого в такой одежде пригнали сюда в этот лютый мороз? — говоривший подошел к Смирнитскому, снял с себя и накинул на Глеба свою теплую летнюю куртку.

— Спасибо, — прошептал Глеб.

— Не понял, ты что — русский?

— Поляк. Глеб Смирнитский. Подполковник.

— А почему вы, подполковник, в гражданской одежде?

— Я в отставке.

— А-а. Пейте, пейте чай, пан подполковник. Я Збышек Войда — капитан, летчик.

— Я тоже был капитаном. В русской армии.

— Интересно.

К печке пробился человек с воинскими знаками подполковника.

— А я вас, кажется, знаю. Вы в двадцатом были капитаном в штабе 5-й армии генерала Владислава Сикорского?

— Да.

— Я Зигмунд Берлинг, подполковник в отставке. Я тоже был капитаном, но в армии генерала Леонарда Скерского. Это про вас говорили, что вы с Ковалевским разработали план «Чудо на Висле»? Господа офицеры, это Глеб Смирнитский, один из самых уважаемых польских офицеров. И насколько мне известно, один из самых известных своей храбростью офицеров русской царской армии.

Все смотрели на Смирнитского и удивленно молчали — Глеб с дымящейся кружкой в руках спал!

— Господа. Помогите мне его отнести на нары, — сказал Збышек Войда. — Вот сюда, рядом со мной. Кто-нибудь дайте одеяло или шинель.

По темноте барака, над головами, поднятыми руками передали и одеяло, и шинель.

— Ну, подполковник Берлинг, может быть, что-нибудь расскажете об этом Смирнитском? — спросили из темноты.

— Я, конечно, мало что знаю, но то, что о нем говорили тогда, в двадцатом, больше похоже на сказку. Я был капитаном и могу рассказывать только то, что слышал от других офицеров. Про Смирнитского говорили, что в русской армии он был полковником и что у него наград было больше всех из боевых русских офицеров. И все за храбрость. Надо о нем рассказать генералу Леонарду Скерскому. Генерал тогда командовал 4-й армией Центрального фронта. Он должен о нем знать — если, конечно, это тот Смирнитский, который разрабатывал план «Чудо на Висле». Я, когда мы разбили красных, получил Серебряный крест «Виртути Милитари», а Смирнитский Золотой. Из рук самого Пилсудского!

XVII

— Лаврентий, я тебя вызвал, чтобы ты мне объяснил, что ты предлагаешь этой своей запиской, — Сталин поднял к глазам листок и прочел: — «Товарищу Сталину. В лагерях для военнопленных НКВД СССР и в тюрьмах западных областей Украины и Белоруссии в настоящее время содержится большое количество бывших офицеров польской армии... Дела находящихся в лагерях военнопленных... рассмотреть в особом порядке, с применением к ним высшей меры наказания — расстрела...» И как ты предлагаешь это сделать?

Лаврентий Павлович Берия, руководитель НКВД, в штатском костюме, поблескивая старомодным пенсне, подошел к столу, расстелил карту и стал докладывать:

— Товарищ Сталин. Это к вопросу, который вы мне задали в декабре: что делать с поляками? Кормить и ждать, когда они восстанут, или... Вы сами сказали, что отпускать их нельзя. Этой запиской я предлагаю решение про-

блемы. Всего в трех лагерях — в Козельске, Старобельске и Осташкове — содержится двадцать три тысячи поляков: офицеры, шпионы, полицаи, врачи, учителя, священники и прочий сброд... Все они являются закоренелыми, неисправимыми врагами советской власти. НКВД считает необходимым их дела рассмотреть в особом порядке, без суда, с применением к ним высшей меры наказания — расстрела. Пленные Старобельского лагеря будут вывезены под Харьков на наши полигоны возле сел Дергачи, Пятихатка, Безлюдовка; Осташковский лагерь — на полигоны в Ямки и Медное Тверской области. Военнопленные из Козельского лагеря будут доставлены под Смоленск, там подобрано удобное, тихое место — Катынь. На полигонах уже все приготовлено. Стрелять будем из немецкого оружия: пистолеты «вальтер» и «браунинг», в затылок. За двадцать два дня управимся. По тысяче в день.

— Нет человека — нет проблем. Лаврентий, считать ты умеешь, это точно! Я так понимаю — необходимо решение Политбюро? Ну это мы решим, — Сталин подошел к своему столу, перелистнул листок. — Вот послезавтра, пятого марта. Подойдет, Лаврентий?

— Но, товарищ Сталин, за два дня подготовить все документы...

— Прекрати ныть, Лаврентий. Я тебя знаю: если захочешь — все сделаешь в срок и даже раньше. Не умел бы, на твоём месте был бы другой человек. Голосование членов Политбюро — это не твоего ума дело. Я решу! У меня к тебе только один вопрос: кто будет в «тройке»? Сам понимаешь — люди должны быть надежные.

— Я считаю: Меркулов, Кобулов и Баштаков.

— Что за Баштаков? Я такого не знаю. Кобулова — того помню, большой любитель пытать у тебя на Лубянке. Армянин...

— Баштаков Леонид Фокеевич, у нас в органах с двадцать третьего года. В настоящее время заместитель начальника первого спецотдела. Но с завтрашнего дня будет начальником.

— А куда нынешний-то денется?

— Враг оказался — расстреляем. Баштаков его и расстрелял как шпиона.

— Хорошо. Чтобы к послезавтра все документы для членов Политбюро были готовы. Иди.

— Товарищ Сталин, можно один вопрос?

— Что еще, Лаврентий? — недовольно сказал Сталин. Он не любил, когда вопросы задавали ему. Это было позволено крайне редко и только самым ближайшим соратникам.

— Что делать с генералами, которые в Старобельском лагере? Их там восемь, в том числе Франтишек Сикорский и Леонард Скерский. И что делать с этим царским капитаном Смирнитским?

— Это уже два вопроса, Лаврентий. Считать разучился до десяти? Все тысячами считаешь? Где у тебя этот Смирнитский? Как себя ведет?

— Смирнитский в том же, где и генералы, Старобельском лагере. Содержится в общем бараке. По имеющимся сведениям, очень болен — открылось огнестрельное ранение в легкое. Не жилец. Лишнего не говорит. Пишем не пишет, хотя предлагалось неоднократно. Поддерживает отношения только с несколькими офицерами, в том числе и с завербованным нами агентом. Встречался с генералом Скерским. По агентурным данным известно, что все его родственники погибли в Варшаве во время немецких бомбежек год назад. А своей семьи у него не было.

— Плохо, что семьи не было. И жаль, что не жилец. Эх, Лаврентий, как же ты меня подвел... Уважают, говоришь? Где поляков со Старобельского лагеря будут ликвидировать?

— Под Харьковом, в районе сел Дергачи, Пятихатка и Безлюдовка.

— Ну и названия, особенно Безлюдовка. Генералы Сикорский и Скерский — это те, что Тухачевского разбили?

— Скерский — да, командовал тогда 4-й армией. А Сикорский был другой, брат, Владислав. В отставке сейчас, во Франции.

— Жаль, что не тот. Впрочем, для нас что генерал, что солдат, все на одно лицо — поляки. Генералов там, в Безлю-

довке, и расстреляете. Уж больно название подходящее... А вот по Смирнитскому... — Сталин прошел к отдельно стоящему столику и здоровой рукой взял толстую папку со всеми собранными сведениями о Смирнитском, подержал, положил и сказал:

— Тяжелая. Лаврентий, я не отрываясь, как интересную книгу, прочитал об этом Смирнитском. Смелчак и храбрец. Под статью своему дружку Тухачевскому. У того сколько было наград, не помнишь?

— Нет.

— А я помню — шесть царских орденов за полгода войны! А у Смирнитского, — девять, и все за храбрость и отвагу. Этот капитан чего только не сделал: воевал настолько храбро, что был известен на весь фронт, царскую семью дважды пытался спасти, дядю царя спас, Колчака спасал, Зеневича пристрелил, ледовый поход прошел, воевал в армии Каппеля, Чапаев тоже его рук дело. Братья Васильевы и не знают, какой у нас свидетель гибели Василия Ивановича есть. Правда, все это — если верить допросам пойманного в Крыму в двадцать первом капитана Добрынина... Но судя по наградам — правда... Воевал на стороне Польши против Тухачевского, и поляки того разбили. Насколько я понял, он один из разработчиков польского плана «Чудо на Висле». Этого гения-шифровальщика Ковалевского он откопал. Поляки, помнишь, этого наглеца еще к нам потом прислали — военным атташе, пришлось выдворять. А надо было пристрелить! Против немцев всю империалистическую воевал и сейчас против них опять воевал. Пишут, — он постучал трубкой по папке, — немцы полк вместе с командиром положили перед фортами, которые он с одними гражданскими защищал. Мало в это, конечно, верится. Наша разведка любит небылицы сочинять. Особенно про сроки нападения на нас Гитлера... Эх, как нам понадобятся скоро такие вот Смирнитские — люди, давшие один раз в жизни воинскую клятву на верность и ни разу ее не нарушившие. Это, Лаврентий, люди чести! Даже если они враги. Он храбрец, а я уважаю храбрецов. И обрати внимание: солдат не бил, в карательных операци-

ях не участвовал, пленных отпускал, никого не расстреливал. Это все-таки не Тухачевский, который тоже дворянин, тоже вроде поляк, а давал присягу царю, потом Керенскому, потом Красной армии... И где офицерская честь? Вот что сделаешь, Лаврентий. Раз он такой храбрец — пусть присутствует при расстреле поляков... в Катynie. Да-да, в Катynie. Не надо его расстреливать вместе с товарищами по лагерю, сам же знаешь, как говорят у нас, у русских: «На миру и смерть красна». Нет, отправь его в Катынь, и пусть он весь расстрел видит, и если не свихнется от увиденного или не умрет со страха, то потом расстреляйте его, но, приказываю, с почестями, как подобает храбрецу — перед строем, в мундире и со всеми его наградами... А генералов первыми в яму! Это будет наша месть за двадцатый год! А вот эти все документы по Смирнитскому, — Сталин покажал трубкой на папку, — уничтожить. И все, что есть о нем, — уничтожить. Чтобы ни одной строчки нигде о нем не осталось. Нет человека — нет проблем! Нам чужие герои не нужны! Иди, Лаврентий, устал я от героев, и своих, и чужих...

Через два дня, 5 марта 1940 года, состоялось заседание Политбюро ЦК ВКП(б). Члены Политбюро были, как всегда, собранны и напряжены. Они знали, что на любом таком заседании вдруг мог возникнуть вопрос об их собственном персональном деле, после чего можно было уже выходить за дверь, где тебя ждали сотрудники Лаврентия Павловича. Они все были трусы и очень хотели жить — любой ценой; даже когда их жен ссылали в тюрьмы и лагеря, они подобострастно улыбались вождю. Они подписывали решения, голосовали и участвовали в «тройках», отправляя на смерть сотни тысяч и миллионы ни в чем не повинных советских людей. Все они были связаны с великим вождем кровавой круговой порукой. Особенно любезен был «Всесоюзный староста» Калинин. Он знал, что Сталину известно о его слабости — мальчиках, и боялся, всем своим сраным местом боялся, что его отправят вслед за женой в лагеря, где его — при его наклонностях — заставят «кука-

рекать». А Каганович, еврей, все время кричал: «Мало расстреливаем». Лазарь Моисеевич всей своей подленькой душой хотел продлить свою поганую жизнь. В Политбюро не спорили — поднимали руки. Вопросы рассматривали быстро — всем хотелось за стол, выпить, закусить, крикнуть здравицу вождю. У Сталина еще было здоровье — пили много, с песнями, с танцами, с драками...

На 13-м вопросе задержались. Докладывал Берия, а он был большим любителем поговорить. Сталин одернул:

— Лаврентий, короче можешь? У нас еще есть и другие вопросы для рассмотрения.

Иосиф Виссарионович был прав: решение было заранее принято, и даже на записке, что лежала у Сталина на столе, были подписи товарищей Калинина и Кагановича о согласии на расстрел поляков. И Ворошилов с Молотовым были в курсе.

Проголосовали единогласно. Записали в решении: «Дела рассмотреть в особом порядке, с применением к ним высшей меры наказания — расстрела. Рассмотрение дела провести без вызова арестованных и без предъявления обвинения, постановления об окончании следствия и обвинительного заключения... Рассмотрение дел и вынесение решения возложить на тройку в составе тт. Меркулова, Кобулова и Баштакова (начальник 1-го спецотдела НКВД СССР)». И еще решили: если будут спрашивать, куда делись пленные поляки, отвечать, что убежали в Среднюю Азию. Где в песках, наверное, пропали.

И разошлись — радостные оттого, что сами живы.

И еще ровно тринадцать лет, день в день, будут принимать решения о расстрелах и вздрагивать — слава богу, пронесло, не меня! И ровно через тринадцать лет те, кто доживет, будут смотреть на агонию обоср... вождя и радоваться, что дождалось этого и что остались живы...

XVIII

У Глеба Смирнитского из простреленного легкого в начале шла кровь, потом легкое воспалилось, из него пошел

гной — Глеб слабел, худел и умирал. Он почти не ел и становился слабым и худым. За ним, как за малым ребенком, ухаживал Збышек Войда. Войду в лагере уважали. Этот молоденький капитан в двух боях над Варшавой на своем одномоторном *P-11* сбил два лучших немецких самолета: истребитель «Мессершмитт-109» и бомбардировщик «Юнкерс-87», который своей приделанной под крыльями сиреной наводил ужас при бомбардировке. А Збышек сбил. И его сбили. Но он не выпрыгнул из самолета — немцы расстреливали парашютистов, — а дотянул до какого-то поля и посадил самолет. И прославился на всю Польскую армию. Остатки его полка, уже без самолетов, отошли за Львов и были интернированы вошедшими на территорию Западной Украины войсками Красной армии.

— Глеб, я их сбил! Верить? На своем «*P-11*» я их сбил!

— Збышек, ты герой! И все поляки, что сражались и сражаются с немцами, герои. И не думай, что твой самолет плох. Я конструктора Зигмунда Пулавского знал. И если бы он не погиб, то, конечно, создал бы более современный самолет, и ты бы сбил еще больше врагов.

Двадцатипятилетнему Войде было очень приятно слышать похвалу от этого худого, кашляющего человека, про которого в бараке рассказывали легенды.

— Только не называй меня «пан Смирнитский», зови «Глеб». Я к этому привык еще в России. И мне нравится, когда меня так называют, — говорил Глеб, а про себя думал: «Так называла меня Ева».

— Вы же в отставке, Глеб, почему вас арестовали русские? Правда, и генерала Скерского тоже арестовали, хотя ему, говорят, семьдесят три года. И подполковник Берлинг был в отставке, и тоже арестовали.

— Меня не арестовали — меня немцы выдали. Я не знаю, зачем я понадобился Советам. Но меня держали и допрашивали на Лубянке — это их главная тюрьма, прямо в центре Москвы.

— Но мы же не пленные, мы интернированные, а нас не отпускают... Война же поляков с немцами закончилась, а с русскими мы не воевали. Почему, Глеб?

— Я не знаю, Збышек. Может, еще всех отпустят, — и тихо-тихо, почти шепотом: — Кроме меня.

Збышек был молод и быстро переходил с одной темы на другую:

— Правда, что в Москве девушки красивее, чем в Польше?

— Когда мы с моим другом Мишей Тухачевским бывали в Москве во время мировой войны, то да, там были очень красивые девушки. Думаю, и сейчас такие же.

— И где ваш друг?

— Он стал маршалом Советского Союза, а в тридцать седьмом по приказу Сталина его расстреляли. И всю его семью уничтожили.

— О, Боже!.. И все-таки, как вы думаете, Глеб, нас отпустят?

— Не знаю. Меня точно нет. Да я уже и не жилец.

— Почему вы не пишете писем?

— Это же у меня постоянно спрашивает подполковник Берлинг. Мне некому писать — у меня все погибли в Варшаве во время сентябрьских бомбардировок.

— А мне Берлинг не нравится. Он многим не нравится. Его часто вызывает к себе начальник лагеря, и он приходит от него довольный, и от него пахнет вином. Считают, что он продался коммунистам.

— Каждый выбирает свой путь, Збышек. Тухачевский дворянином был, а воевал за большевиков, и как воевал...

Глеб понимал, что за его выдачей немцами кроется какая-то тайна, но понять не мог — зачем? И писем не писал, говорил, что никого из родственников нет, — знал, что если он напишет Еве, то ее могут арестовать и передать большевикам. И был безмерно счастлив, что смог случайно увидеть Еву и знал, что она жива. Берлинг и ему все больше и больше не нравился — своей навязчивостью и угодничеством.

В один из дней на прогулке, когда Глеб сидел — он был слаб и очень быстро уставал, к нему подошел старый седой мужчина в генеральской форме и представился:

— Генерал Леонард Скерский.

Смирнитский встал.

— Сидите, сидите, подполковник. Я в курсе, что вы ранены. И даже знаю где — на фортах. Мы когда-то с вами воевали на одном, германском, фронте. Я о вас уже тогда слышал, капитан. А потом о вас много говорил генерал Владислав Сикорский. Я ведь командовал 4-й армией.

— Я знаю, пан генерал.

— Мы с вами оба в отставке. Ну, ваша отставка, подполковник, — это позор для армии. Мы с вами в лагере для военнопленных и будем честны — нас с вами живыми не выпустят. Это месть большевиков за поражение в двадцатом году.

— Я боюсь, генерал, что никого не отпустят.

— Вы так думаете?

— Мне очень жаль, но я воевал в гражданскую войну в России; это, как говорят большевики, «классовая война и классовая ненависть», и никаких норм морали здесь не предусмотрено.

— Вы об этом говорили офицерам?

— Никогда!

— Спасибо, пан подполковник.

— Если можно, называйте меня «господин капитан». Мне так больше нравится.

— Хорошо, господин капитан. Мы еще с вами встретимся. Я пришлю к вам доктора.

— Спасибо... Разрешите спросить, пан генерал...

— Да. Я буду рад в чем-нибудь вам помочь.

— Что происходит в Польше?

— Польша разрушена. Польши больше нет.

Офицеры пожали друг другу руки. За ними следили украдкой глаза Зигмунда Берлинга.

XIX

Польские офицеры не были врагами советской страны — они сами сдались в плен в сентябре 1939 года, не выстрелив ни разу по солдатам Красной армии. Таков был приказ главнокомандующего Польской армией маршала

Рыдз-Смиглы. К тому же стороны не объявляли друг другу войны. Польские военные оказались на территориях Западной Украины и Западной Польши, куда вошли полки Красной армии, и на них распространялись все права как на интернированных граждан. Это-то и бесило Сталина. Советский вождь никогда не признавал никаких международных договоренностей. Странно, что при этом почему-то считал, что Гитлер будет соблюдать договоренности с Советским Союзом...

Постановлением Политбюро Центрального Комитета ВКП(б) от 5 сентября 1940 года четырнадцать тысяч польских офицеров и семь тысяч гражданских лиц — врачей, учителей, ксендзов — без суда были приговорены к расстрелу. Просто росчерком пера, волей, желанием одного человека тысячи людей были лишены жизни!

Тройка — Меркулов, Кобулов и Баштаков — трудилась день и ночь, подписывая расстрельные списки.

— Фу! Все? Сколько, Леонид Фокеич, получилось? — устало спросил заместитель наркома НКВД Меркулов. — Устал. Глаза болят и руки отваливаются.

— Двадцать одна тысяча восемьсот пятьдесят семь человек, Всеволод Николаевич.

— Ну что, Богдан Захарович, пойдем в ресторан или на конспиративной квартире стол накроем?

— Лучше бы, товарищ Меркулов, на квартире. Можно и сотрудиц пригласить. У меня новенькие появились — ох и хороши: кровь с молоком!

— Да-а, хорошо тебе, Захарыч, — в подвал начальство не заглядывает. А с тебя, Фокеич, вообще-то стол накрытый причитается за новую должность.

— С огромным удовольствием, товарищ Меркулов.

— Ну вот и хорошо! Заканчиваем, подписываем акт и идем.

— Один вопрос, товарищ Меркулов: что делать со Смирнитским? Это тот, что убил майора Ферапонтова. Товарищ Берия сказал, что по нему отдельный приказ будет. Да и форма его у меня в сейфе. Товарищ Берия приказал хранить, — спросил Кобулов.

— А мы его куда включили?

— Там, где и сидит, — Старобельский лагерь.

— Леонид Фокеич, найди в списке по Старобельскому лагерю Смирнитского, поставь знак вопроса и напиши: «Отдельное распоряжение». А ты, Богдан Захарович, выясни у Лаврентия Павловича, что с ним делать. Все. Больше никого не забыли?

— Кажись, всех учли, товарищ Меркулов.

— Тогда поехали! Девочек не забудь.

— Не забуду. Сейчас и прикажу.

XX

Весь Старобельский лагерь, четыре тысячи человек, были доставлены под Харьков и расстреляны под селами Дергачи, Пятихатка, Безлюдовка. Первыми упали в огромные ямы генералы, следом 56 полковников.

Глеба Смирнитского вместе с товарищем, капитаном Збышекком Войдой, уже повели к яме, когда начальник лагеря Бережков вдруг вспомнил и закричал:

— Эй! Стой, стой! Этого, Смирнитского, в сторону! По нему отдельный приказ есть. Его казнят в другом месте. Отведите его вон к той машине. Наручники не снимать!

Глеб успел крикнуть:

— Прощай, Збышек!

— Прощай, Глеб! — услышал ответ и выстрел.

Зигмунда Берлинга среди расстреливаемых офицеров не было. Он, когда его товарищи по лагерю падали мертвыми в яму, сидел в теплом уютном купе поезда «Харьков — Москва», пил с соседом хорошее грузинское вино и закусывал бутербродами с красной и черной икрой. Сосед был в гражданском костюме с орденом на лацкане пиджака, и в кармане у него лежало удостоверение капитана НКВД.

Не все поляки храбрецы.

Что поделаешь — все люди, и все хотят жить. И герои, и трусы. Все!

Смирнитского, одного из всего лагеря, вновь посадили в клетку в поезде и повезли за сотни километров в непри-

метное местечко под Смоленском — Катюнь. Сопровождал его капитан, заместитель начальника Старобельского лагеря. Перед посадкой капитану устно передали приказ о Смирнитском, вручили плотно замотанный шпагатом сверток и сказали: «На месте развернешь...» В Смоленске Глеба перегрузили из клетки в одну из машин, везущих пленных поляков из Козельского лагеря. Сопровождавший его заместитель Бережкова, капитан, сел в кабину машины и положил на колени сверток.

Добродушный солдат-водитель спросил:

— А чего он у вас в наручниках-то? А наши вот нет.

— А он зверь. Он пальцем может человека убить!

— О, Господи! — солдатик нажал на газ.

А по дороге ехали крытые машины, сотни машин — весь Козельский лагерь везли.

Пленные офицеры в душном пространстве железного кузова удивленно потеснились, когда к ним втокнули человека в рваной гражданской одежде, тяжело кашляющего и с наручниками на руках.

Сидевший в углу майор в очках что-то писал карандашом в маленькой записной книжке.

— Вы откуда? — спросили Глеба.

— Из Старобельского лагеря.

— Да вы что? Как там?

— Всех расстреляли.

Масса людей выдохнула в ужасе: «Ах!» — и волной отстранилась от Глеба.

— А вас почему?.. — спросил кто-то дрожащим голосом. — Нам сказали, что нас везут к границе, домой — передавать будут. Мы же не пленные — интернированные. Существует же Гагская договоренность по интернированным пленным.

— Меня точно не будут передавать. Мне сказали: казнят в другом месте. Может, вас и отпустят.

— Вы военный?

— Да, подполковник в отставке, Глеб Смирнитский.

— Подождите, а вы не тот капитан лейб-гвардии Смирнитский, что в шестнадцатом на германском фронте дого-

ворился с немцами и помог раненых с поля боя вынести? Я поручиком тогда был в Польском легионе, у капитана Валериана Чумы. Он о вас рассказывал. Это вы?

— Это было так давно, что я уже и не верю, что это было со мной.

— Про вас потом многое рассказывали. Говорят, что вы Верховного главнокомандующего спасли, а в семнадцатом царицу с семьей. Сколько же вам лет?

— Сорок шесть.

— Не скажешь.

Майор в очках записал в дневнике: «К нам в машину посадили мужчину, в наручниках. Кто-то его узнал и сказал, что это капитан русской армии, который спас русскую царицу. А я думал, что царскую семью всю расстреляли. Так что врут, наверное, про этого офицера. Он из Старобельского лагеря и говорит, что там всех поляков расстреляли. Неужели и с нами то же будет? Господи, спаси и защити...»

Машина остановилась. Майор спрятал блокнотик под рубаху за пояс и снял очки. Дверь открылась — яркий солнечный свет ворвался и всех ослепил. Раздалась команда:

— Выходи по одному! Смирнитский первый.

Машины стояли в лесу, и был запах весны... А впереди была огромная яма.

Сопровождавший Глеба капитан развернул сверток и вытащил... форму капитана лейб-гвардии Семеновского полка с орденами. Немцы постарались — все сверкало, как новенькое.

— Надевайте, ваше благородие, свой сюртук. Что там, в кармане? — В кармане лежали крест Святого Георгия третьей степени и Золотой крест ордена Станислава. — Куда их? На шею? Давай застегну. Так приказано. Почему — не знаю.

— Офицера царского оставьте напоследок. Поставьте его на колени сбоку ямы, и пусть смотрит, как мы расправляемся со своими врагами. Это тот, что Ферापонтова на Лубянке пальцем убил. Так приказали с самого верха, — сказал руководивший расстрелом польских офицеров майор госбезопасности и показал пальцем в небо.

Смирнитскому надели на грязную нательную рубаху китель с погонами и орденами, связали руки за спиной и поставили на колени сбоку ямы так, чтобы он видел, как расстреливают польских офицеров, и чтобы офицеры перед смертью видели его, стоящего на коленях, в мундире и в блеске орденов.

Их выводили из машин по одному. Так, чтобы от солнечных лучей они зажмуривались и, вдыхая чистый лесной весенний воздух, делали несколько шагов к яме, где и встречали смерть. Некоторые успевали оглянуться по сторонам.

— Точно-точно, — крикнул кто-то из офицеров — это капитан Смирнитский. Я его знаю! — Крикнувший так и не успел понять, зачем его сюда привезли. Он просто радостно крикнул, оттого что оказался прав и от этого был счастлив. Ему закинули сзади на голову шинель и выстрелили в затылок.

Майор в очках Адам Сольский ничего не успел крикнуть, только посмотрел удивленно голубыми глазами на безоблачное небо. Раздался выстрел, и он вместе со спрятым дневником упал в яму.

Смирнитский мог закрыть глаза и ничего не видеть, только слышать звонкие выстрелы, вскрики, предсмертные хрипы и падение тел, но он стоял на коленях и смотрел, смотрел, и слезы бежали и бежали из его глаз... Он задышался от кашля, и из-за рта текла струйка крови.

Вдруг один из охранявших его солдат воскликнул:

— Смотри-ка, баба!

К яме подвели девушку в летной форме. Она, увидев стоящего на коленях седого офицера с множеством наград на необычном мундире, улыбнулась и кивнула ему головой, как старому знакомому, как родному — темно-русые волосы колыхнулись. У нее не было шинели, и мешок ей на голову не набрасывали. Солдат поднял пистолет и... опустил. Подошел майор и, крикнув: «Дай сюда. Смотри, как надо с врагами справляться!» — выхватил у солдата пистолет и выстрелил девушке в затылок.

«Господи! Господи! — шептал Глеб. — Да лиши ты меня разума! Убей! Не дай мне досмотреть все это до кон-

ца!.. — Глеб плакал. — Господи, жалься — лиши меня разума!..»

Девушкой была Янина Левандовска. Дочь русского и польского генерала Иосифа Довбор-Мусицкого. Гражданская летчица, желавшая защищать свою родину от немцев и попавшая в советский плен, в лагерь, где ей офицеры присвоили воинское звание подпоручика. Великая дочь польского народа упала в яму в Катыни.

Стреляли целый день. Офицерам скручивали колючей проволокой руки за спиной, подводили к яме, чтобы не забрызгаться кровью, надевали мешок на голову, а тем, которые были в шинелях, забрасывали полы сзади на голову и стреляли в затылок из немецких пистолетов, как будто подсознательно боялись, что когда-нибудь это злодеяние против человечества вскроется, и кем — гитлеровцами! Польские офицеры падали и падали в ров. К вечеру ров был полон.

Все эти тысячи офицеров — цвет и гордость польской нации — были убиты!..

К начальнику расстрельной команды подошел, весь белый, заместитель начальника Старобельского лагеря и что-то стал говорить, а потом протянул пистолет.

— Слабак! — донеслось. А заместитель побежал в кусты — его рвало. Майор подошел к Смирнитскому.

— Встать! Ну вот, холуй царский, наконец-то и твой черед настал. Устал, наверное, ждать? Ишь, как изменился... совсем старик... а говорят, сорок лет? Становись... Страшно? Глаза завязать? А погоны-то у тебя какие-то чудные... Непонятно, какое у тебя и звание — звездочки одни да вензеля. Твой-то капитан из Старобельского лагеря, смотри, каким слабаком оказался — не может в тебя выстрелить. Ну да ладно, отправим куда надо на него бумагу, и все — сам к яме станет... И этот, начальник Козельского лагеря, тоже слабак, не стал стрелять... А для тебя целая команда выстроилась из желающих пострелять.

Перед майором стоял седой старик с выцветшими, сухими глазами.

— Ты, майор, трус. Ты убиваешь женщин, — тихо и хрипло сказал Смирнитский. — А звание мое — капитан

лейб-гвардии Семеновского полка Русской императорской армии. Запомни! И для меня, русского офицера и поляка по крови, великое счастье погибнуть рядом с лучшими сыновьями Польши на родной для меня русской земле! И тебе этого не понять.

— Да куда уж нам, сиволапым, вас, буржуев, понять. Вишь, весь висюльками-то обвесился, аж в глазах рябит. Я бы тебя раздел догола да и шлепнул из этой штучки. Узнаешь? — майор показал на зажатый в руке браунинг. — Твой, сказали. Так ведь нет — приказали расстрелять перед строем как героя и даже какого-то там кавалера. Название какое-то бабское. Да у нас генералы с маршалами такой чести не удосуживаются. Ползают в обоср... штанах, рыдают, о пощаде просят, а сами, падаль, родину, народ трудовой предали... Так что становись, ваша благородь... И за что же тебе такой почет? Врагу! Не знаешь?

— Не знаю.

— Ну и ладно. Вот видишь, ты сейчас будешь там, — майор показал браунингом на полную мертвых тел яму, — а я здесь.

— Кто знает? Может, за свои грехи ты тоже туда ляжешь...

— Не лягу! — крикнул майор. — Не лягу!

Смирнитскому не стреляли в затылок. Согласно присланному из Москвы устному приказу, из уважения к его храбрости его поставили перед строем солдат с винтовками. Ему даже отдали форму с красивыми погонами и со всеми его орденами. Таков был приказ. И он стоял с отсвечивающими серебром, золотом и эмалью многочисленными орденами бывшей Великой Российской Империи.

— Смотри, совсем старик, белый, как лунь. Как в такого стрелять-то? — тихо сказал один из солдат.

— Этот старик — генерал, говорят, в Москве, на Лубянке, какого-то майора пальцем убил.

— Пальцем?! Вот это старикан. А куда стрелять-то? С теми-то все было просто: мешок на голову и пулю в затылок, — все-таки тебе в лицо не смотрят, а тут сплошные кресты.

— Так по крестам и стреляй.

— Боязно. Вроде как по Богу!

— Ты еще об этом майору скажи, враз со стариком рядом поставит.

— Разговорчики! — крикнул майор. — Целься!..

Солдаты вскинули винтовки.

Глеб посмотрел на небо — оно было голубым-голубым, каким бывает весной в Польше, когда цветут яблоневые деревья в садах. Небо цвета глаз Евы. Губы прошептали: «Прощай, Ева...»

— Пли! — скомандовал майор.

Пули разбивали эмаль и пробивали столь ненавистные стрелявшим солдатам кресты на груди Смирнитского...

Ошалевшее за целый день от выстрелов воронье, испуганно крича, еще раз взлетело с деревьев...

Майор посмотрел с сожалением на браунинг, а потом выбросил его в громадную, наполненную до краев тысячами мертвых тел яму. Сказано же — никаких следов...

Один из солдат, пока майор не видел, перекрестился и прошептал: «Прости, Господи, прими их души...»

Так закончил свое существование древний польский род Смирнитских...

А начальник Козельского лагеря стоял в стороне, прижавшись лицом к дереву, и плакал, не замечая, что плачет. Он не верил своим глазам, тому, что это он привез тысячи людей сюда на расстрел, а думал, что везет их на свободу. За месяцы службы начальником лагеря он к ним привык, он с ними, пусть в душе, но стал чем-то единым. Ему даже казалось, что он сам стал другим человеком благодаря им... И вот теперь эти, казалось бы, близкие ему люди лежали мертвые, а он был живой, пусть старый и больной, но живой, — он стоял и плакал. И проклинал тот день и час, когда случайно встретил своего бывшего ординарца Архипа Ферапонтова, который был уже майором НКВД и который предложил ему стать начальником лагеря для интернированных поляков. Он влачил жалкое существование, работая охранником на проходной одного из московских заводов, и был рад новой работе. Ферапонтов помог ему

занять эту должность, правда, предупредил, чтобы он не говорил, что дворянин, и он это скрыл. И теперь он видел результат своей службы и плакал. А этот поляк в орденах! Боже, сколько у него орденов! Начальник лагеря сам имел один из таких орденов, который он спрятал далеко и иногда, изредка, доставал его — только ночью, закрыв на замок дверь своей маленькой комнаты в большой коммунальной квартире и обязательно притушив свет. И всегда, когда он доставал свой орден, то вспоминал своего отца и своего сына, и каждый раз тихо плакал. И когда увидел одетого в такую знакомую и родную ему форму Русской императорской армии офицера, он вспомнил, что видел его несколько раз, тогда, во время прошедшей войны, и вспомнил, как тот своими словами спас его от полного падения в грязную алкогольную яму забвения. Он видел, как погибал этот офицер с такими, как ему показалось, знакомыми, как у отца и у сына, глазами, и плакал. И радовался только одному: все, больше он не будет служить этой власти, если только на его страну не нападет враг... Но какой враг посмеет напасть на его родину? Он стоял, прижавшись лицом к твердой шершавой коре высокой стройной сосны, и плакал, и видел, как упал этот поляк в красивой форме русского офицера, и вдруг поймал себя на мысли, что он завидует этому погибшему офицеру, которого он так давно знает, завидует такой его славной гибели, гибели, достойной офицера... Он плакал.

XXI

В подвале внутренней тюрьмы НКВД на площади Дзержинского (Лубянке) шел допрос, похожий на пытку. Наглаженный, со строгим взглядом майор государственной безопасности насмешливо смотрел на допрашиваемого человека. Тот, в разорванной нательной рубашке и кальсонах, бурых от крови, сидел со связанными за спиной руками перед майором и покачивался из стороны в сторону. Лицо человека было изуродовано побоями — стоявший сзади его солдат время от времени бил его кулаком в спину, чтобы он

не терял сознание и не падал, но на эти удары связанный человек почти не реагировал.

— Я в десятый раз спрашиваю тебя, сволочь Переверзев: когда и где ты был завербован польской разведкой? Хотя мы и так знаем, что ты был завербован еще в двадцатом году, вместе с Тухачевским, но из гуманных соображений предлагаем тебе признаться в своем предательстве. Не спать!.. Как ты передавал сведения польскому подполковнику Смирнитскому?

— Я уже говорил, — беззубо шепелявил тот, кого называли «сволочь Переверзев», — что я не знаю никакого подполковника Смирнитского. Майор, неделю назад мы с вами были в одном месте, в Катыни, и если бы было так, как вы мне говорите, то я должен не сидеть здесь, а лежать в той яме. Вы сами-то верите в то, что говорите?

— А я и сам не понимаю, почему ты не в той яме. Ты не знаешь, кто такой Смирнитский? Брось! Ты еще скажи, что ты не дворянин! Что папаша твой не царский полковник, а ты не царский штабс-капитан и ты не защищал с радостью ненавистное народом самодержавие в империалистическую войну!

— Мой отец погиб в русско-японскую в девятьсот пятом году, а я в августе четырнадцатого получил ранение в первом же бою и был уволен из армии на пенсию.

— После чего, скрыв свое происхождение, втерся в доверие и стал служить под началом врага народа Тухачевского и вместе с ним вредить нашей социалистической родине.

— Под началом, как вы говорите, Тухачевского я служил только с восемнадцатого по девятнадцатый год. И то Тухачевский командовал армией, а я был командиром полка, и после гражданской в связи с обострением болезни был комиссован, работал на заводе и только в тридцать девятом призван в органы. И вся моя нынешняя служба состояла лишь в охране интернированных поляков в лагере в Козельске. Начальником лагеря. Всего-то девять месяцев. Так что ваш вопрос, майор, глупость.

— Глупость? Мы еще разберемся, кто тебе позволил стать начальником лагеря. И не интернированных, а воен-

нопленных поляков — врагов нашей родины... Я задаю еще раз вопрос: как ты поддерживал связь со Смирнитским?

— А я еще раз отвечаю: никакого Смирнитского я не знаю.

— Послушай, Александр Глебович, — вдруг ласково сказал следователь, — ты великолепный актер. Тебе бы в театре выступать. Смирнитский Глеб Станиславич — это тот польский офицер, которого там, в Катыни, расстреляли перед строем.

— Который был в форме и при орденах? Почему его так расстреляли?

— Из уважения к врагу. Так приказал сделать сам товарищ Сталин.

— Что же это за враг, которого расстреливают с такими почестями?

— Тебе-то это известно лучше нас.

— Мне ничего не известно. Не добивайтесь от меня того, чего я не знаю, майор. Я не знаю никакого Смирнитского, но если вам так надо, дайте бумагу, и я ее подпишу. Можете написать, что у меня были особые отношения с Гитлером, Сталиным и Богом! Устраивает? — и допрашиваемый хрипло засмеялся, обнажая окровавленный беззубый рот.

— Не устраивает. Неужели тебе ничего не говорит его фамилия?

— Нет.

— Я, конечно, понимаю, что ты врешь, но мне надоело с тобой возиться. Глеб Смирнитский, герой империалистической войны, капитан лейб-гвардии, награжденный девятью орденами за храбрость, ты это сам видел; белогвардейский полковник, подполковник польской армии — твой родственник! Это сын твоей старшей сестры убежавшей в Польшу.

— Что?

— Не прикидывайся — ты это знал. Дочь твоего отца от первого брака убежала в Польшу; там вышла замуж за журналиста Смирнитского, и у них родился сын Глеб, который закончил военное училище в Петербурге и с первого

до последнего дня воевал на империалистической войне. И чего только не делал твой племянник! Поверить невозможно! Верховного командующего Романова спасал, царскую семью спасал, столь храбро воевал, что обогнал своего дружка Михаила Тухачевского по орденам и славе. Много чего он наделал. И в гражданскую у Каппеля служил, и опять царскую семью хотел спасти, и Колчака спасал, и Чапаева убил... И в штабе у поляков служил, и помог полякам тебя с Тухачевским в двадцатом году разбить. Точнее, вы сами сдавались. Ты же к немцам попал вместе с предателем Гаем. Там тебя и завербовали... Еще говорят, что он там, в Польше, в тридцать девятом немцев перебил видимо-невидимо. Неужели не знал, что он твой родственник? Думаешь, поверим? Сталин, как прочитал о нем собранные сведения, так и приказал расстрелять как героя.

— А как же он к нам-то попал? — прошепелявил Переверзев.

— А его немцы нам выдали. Попросили, говорят, за него. Большого не знаю. Только он на допросе здесь, на Лубянке, нашего сотрудника Архипа Ферапонтова ручкой в глаз убил.

— Ручкой? Архипа?

— Да, ручкой... А ты что, Ферапонтова знал?

— Знал. Туда ему и дорога.

— Не радуйся, туда же пойдешь. Последний вопрос к тебе: где твой сын Никита?

— Не знаю. Пропал в восемнадцатом году.

— Опять врешь! Твой сын, Никита Александрович Переверзев, прапорщик царский, воевал в составе бандитской армии Каппеля! И погиб твой сынок в июне восемнадцатого года, когда в составе банды хотел освободить царскую семью в Екатеринбурге.

— Не может быть!

— Может! И бандой той руководил не кто иной, как твой родственник Смирнитский.

— О, Господи! Откуда вам такое известно?

— Нам известно все. Так что яблоко от яблони недалеко падает. Вот вся ваша дворянская кровь и выползла. Знаешь,

почему ты здесь? По сведениям, у Смирнитского ни семьи, ни детей не было, твой сыночек мертв, так что ты единственный его живой родственник. Мать твоя с дочкой еще в гражданскую от тифа умерли. Тоже не знал? Ладно. Тебя все равно завтра расстреляют, поэтому скажу тебе честно: есть приказ, чтобы ни одного родственника у Смирнитского не осталось. Чтобы памяти о нем не осталось! И ты последний... Прощай Александр Глебович... А если и правда не знал о Смирнитском, то я тебе не завидую. Ты в отличие от него не ту жизнь прожил. И уж если совсем честно, то я и себе не завидую. Сегодня тебя к стенке, а завтра меня, только у меня есть семья и сын. И когда меня расстреляют, станет он на всю жизнь сыном врага народа... Мне твой родственник перед смертью пообещал, что меня тоже к яме поставят. Не верю, но страшно! А бумаги ты все-таки подпиши — таков порядок. Там фамилия твоего родственника не упоминается. Всех под корень! И чтобы даже фамилии не осталось. Вот так, Александр Глебович, не повезло тебе... Подписывай...

Ночью, разорвав рубаху и сплетя из нее веревку, Александр Глебович Переверзев повесился: привязал веревку к доскам, просунул петлю в щель под нары и, лежа на грязном полу, удавился. Нашли наутро мертвым. На стене кровью было криво написано: *«Господи прости»*.

Эпилог

— Я надеюсь, что вы узнали много нового о роли России в победе войск Антанты в Первой мировой войне. К сожалению, Россия как союзник по «Сердечному союзу» не получила лавров победительницы. Она из-за пришедших к власти коммунистов во главе с Лениным проиграла эту войну. В самой России простые граждане мало что знают об этой войне. Ее называли империалистической и вообще не вспоминали о миллионах русских, погибших в той войне. Так, немного знают историки, и все! А жаль! — профессор Жан Дюкло поправил своими длинными, ухоженными пальцами вельветовый пиджак и продолжил: — Тема следующей лекции «Начало Второй мировой войны. Тайный договор и новый раздел Польши между Германией и Советским Союзом. Защита Варшавы. Катынь».

— И все-таки жаль, господин профессор, что мы не знаем имя того, второго офицера на пленке. Он тоже, как мы поняли из сегодняшней вашей лекции, один из русских героев, спасших Францию, — прозвучало из аудитории.

— Я скажу вам, уважаемые коллеги, больше: мы долго и тщательно искали хоть какие-нибудь сведения об этом молодом офицере и ничего не смогли найти. Даже из российских архивов, куда мы подавали запрос, нам ничего не смогли ответить. Но я надеюсь, что когда-нибудь мы узнаем, кто этот второй офицер рядом с Тухачевским. Кстати, на следующей лекции вы тоже увидите уникальные снимки, на которых запечатлены защитники варшавских фортов во время нападения фашистской Германии на Польшу...

— А может быть, фотографию этих офицеров показать по телевидению в программе «Поиск»? Кстати, я знаю — в России тоже есть такая, очень известная, телевизионная передача, только я забыла ее название.

— Молодец, Анна! — крикнул студент, который впервые узнал, что Россия участвовала в Первой мировой войне...

В старом, теплом от солнца варшавском дворе мальчишки играли в «войнушку». Заводилой у ребят был худенький, вихрастый, сероглазый мальчик Глеб Смирнитский. Это странное, не польское имя ему дали по просьбе его прадеда, который сидел тут же, во дворе, на скамеечке. Это он, когда родился этот мальчик, попросил назвать ребенка в честь своего отца, которого он никогда не видел. Ему мать рассказывала, что тот погиб, защищая Варшаву от немцев в тридцать девятом, и она при его рождении дала ему фамилию Смирнитский, а имя русское побоялась дать — тогда русских ненавидели за оккупацию. И из воспоминаний об отце в семье остались только рассказы его матери, пожелтевшая старинная фотография с обгорелыми краями, на которой были запечатлены строгие, молодые, необыкновенно красивые офицеры с орденами в виде крестов на необычных мундирах, и шашка с орденом на эфесе и темным от времени шнуром. Фотография стояла в рамочке на столике в комнате его матери, а после ее смерти фотографию и шашку повесили на стену в гостиной. Как всякие поляки, Смирнитские очень гордились своим предком, погибшим при защите Варшавы. И в их католической семье всегда, сколько они помнили, была русская православная икона, которая, как и фотография, осталась от их славного предка Глеба Смирнитского...

Внучка старика Ева была преподавателем в Варшавском университете, и этот вихрастый, быстрый, худенький, веселый сероглазый мальчик был ее сыном. Совсем молодой девушкой-студенткой она родила по любви, а замуж не вышла, вот ее сын и носил фамилию — Смирнитский.

Ева уехала в командировку в Париж, и Глеб, как всегда, остался на попечении стариков. Набегавшись вдоволь под стоны деда и бабки, что пора домой, маленький мальчик наелся каши с молоком и сейчас спал. На худенькой груди мальчика висел серебряный крест и тускло блестела маленькая золотая иконка с выписанной на эмали Богородицей с ребенком. Деду она досталась от матери —

передала, умирая, в память об отце. Дед снял ее со своей шеи и повесил на шею мальчику при его крещении. Перед крещением дед показал иконку в Варшавском музее, эксперты которого чуть не упали в обморок: выяснилось, что такие иконки, всего несколько штук, были сделаны лично самим Фаберже и только для членов семьи последнего русского императора. Дед смог рассказать только историю ее появления в их семье: что она принадлежала его отцу, русскому офицеру, погибшему во время Второй мировой войны на варшавских фортах. Ему предложили баснословные деньги за это ювелирное изделие, но дед отказался. «Как можно продать память о родителях?!» — сказал он.

Ближе к ночи позвонила внучка. Она возбужденно кричала:

— Дедушка, тут по телевидению показали фотографию твоего отца, ну ту, что у нас в гостиной. А рядом с ним, оказывается, стоит будущий знаменитый советский маршал Тухачевский. Его еще Сталин расстрелял. И показали фотографии защитников Варшавы в тридцать девятом. Там тоже твой отец — наш дед! Он в этой, как у нас на фотографии, своей красивой форме, и у него много-много орденов, не сосчитать. Я им на телевидение позвонила, и они послали за мной машину — хотят меня расспросить по поводу твоего отца. Я согласилась, дед. Это же такое счастье! Там еще какие-то новые данные о нем нашли в немецких и в рассекреченных русских архивах. Оказывается, его расстреляли в Катыни... Там при эксгумации в сорок втором году немцы описали погибшего, который не был убит выстрелом в затылок, а был, по-видимому, расстрелян перед строем, и на истлевшей, пробитой во многих местах форме нашли множество осколков от русских орденов. Осколки вместе с описанием убитого нашлись в немецких архивах о казни польских офицеров в Катыни. На некоторых осколках обнаружены номера, и по ним запросили уже русские архивы. Оказалось, это твой отец, наш дед — Глеб Смирнитский! Дед, я побежала, я тебе со студии позвоню...

Старый человек стоял и смотрел на спящего правнука, на худенькой груди которого тускло блестела русская православная иконка. «Отец, — шептал он. — Отец...» По щекам старика текли слезы...

А с фотографии на стене на старика и мальчика смотрели два молодых, красивых офицера. Офицеры загадочно и тепло улыбались...

Содержание

Часть первая

Вторая отечественная7

Часть вторая

Великая Гражданская232

Часть третья

В ожидании последней войны392

Эпилог.485

Дмитрий Евгеньевич Ружников

Роман первый

Поляк

Верстка Е. В. Житинской
Корректор Ю. Б. Гомулина

Дизайн обложки Е. О. Шваревой



Подписано в печать 30.09.13. Формат 84x108 ¹/₃₂
Гарнитура Чартер. Печ. л. 15,5
Заказ № 10/05

Издательство «Геликон Плюс»
Изд. лицензия ЛР № 065684 от 19.02.98
Санкт-Петербург, В.О., 1-я линия, дом 28
<http://www.heliconplus.ru>